

# **Айн Рэнд**

## **Атлант расправил плечи. Книга 1**

*«Атлант расправил плечи» — центральное произведение русской писательницы зарубежья Айн Рэнд, переведенное на множество языков и оказавшее огромное влияние на умы нескольких поколений читателей. Своеобразно сочетая фантастику и реализм, утопию и антиутопию, романтическую героину и испепеляющий гротеск, автор очень по-новому ставит извечные не только в русской литературе «проклятые вопросы» и предлагает свои варианты ответов — острые, парадоксальные, во многом спорные.*

## **Айн Рэнд**

### **Атлант расправил плечи**

#### **Книга 1**

#### **Предисловие**

##### **Как нам реализовать мозги, или шаг вперед — два вперед (несколько слов об очень современной книге)**

Дорогой читатель, такая уж нам выпала доля — жить в эпоху перемен. При этом каждый понимает, что это перемены не только в наших судьбах, в истории нашего Отечества, но и в сознании. Хотим мы того или нет, но для большинства из нас переориентация сознания становится залогом выживания. И вновь перед каждым встают «проклятые вопросы», так мучившие классиков русской литературы: «Что делать?», «Кто виноват?», «Тварь ли я ничтожная или...»

У нас есть все основания считать совокупность творчества Айн Рэнд, автора романа «Атлант расправил плечи», одной из самых колоссальных (как по объему, так и по масштабам воздействия на умы) и нетривиальных попыток в нашем веке дать всеобъемлющий ответ на эти столь актуальные ныне вопросы. Несмотря на то, что пять лет мы стараемся по мере сил знакомить читателя с произведениями этой исключительно самобытной писательницы (ее первый роман «Мы — живые» опубликован на русском языке в 1993 году, а принесший ей мировую известность «Источник» в 1995-м), имя ее почти неизвестно в нашей стране. А ведь Айн Рэнд родом из России, из Санкт-Петербурга. Дочери питерского аптекаря средней руки, в ранней юности вкусившей прелестей революционной и послереволюционной российской жизни, удалось, несмотря на сомнительное социальное происхождение и антибольшевистские взгляды, закончить ставший уже Ленинградским университет и поработать экскурсоводом в Петропавловской крепости. Цельная и целеустремленная, абсолютно бескомпромиссная и склонная к нравственному максимализму, она оказалась парадоксально близка к плакатному типу комиссара, растиражированному соцреализмом. Однако взгляды и идеалы ее были противоположны коммунистическим. При таком сочетании она была в Советской России не жилаец, и прекрасно это понимала. В 1926 году ей чудом удалось вырваться сначала в Латвию, а затем и в США, где она обрела вторую родину и долгую писательскую (и не только писательскую) славу.

«Атлант расправил плечи» — самый монументальный по замыслу и объему роман Айн

Рэнд, переведенный на десятки языков и опубликованный десятками миллионов экземпляров. Место действия — Америка. Но это Америка условная: элементарный комфорт постепенно становится роскошью для немногих избранных; множатся и разрастаются кризисные зоны, где люди умирают с голоду, в других местах гниет богатейший урожай, потому что его не вывезти; уцелевшие и вновь народившиеся предприниматели обогащаются не за счет производства, а благодаря связям, позволяющим получить государственные субсидии и льготы; последние талантливые и умные люди исчезают неизвестно куда; а правительство борется с этими «временными трудностями» учреждением новых комитетов и комиссий с неопределенными функциями и неограниченной властью, изданием бредовых указов, исполнения которых добывается подкупом, шантажом, а то и прямым насилием над теми, кто еще способен что-то производить...

Антиутопия? Да, но антиутопия особого рода. Рэнд изображает мир, в котором человек творящий (будь то инженер, банкир, философ или плотник), разум и талант которого служил единственным источником всех известных человечеству благ, материальных и духовных, поставлен на грань полного истребления и вынужден вступить в борьбу с теми, кого благодетельствовал на протяжении многих веков. Атланты — одни раньше, другие позже — отказываются держать мир на своих плечах.

Айн Рэнд ставит жесткие вопросы и с такой же жесткостью дает свои варианты ответов. Возможно, именно страстная бескомпромиссность, пафос учительства, для американской литературы нехарактерные, но очень хорошо знакомые нам по литературе русской, и выделили ее из ряда современных романистов и философов. Большинство ее героев на первый взгляд вычерчены графично, почти в черно-белых тонах. Белым — творцы, герои; черным — паразиты, безликие ничтожества, черпающие силу в круговой поруке, в манипуляции сознанием, в мифах об изначальной греховности человека и его ничтожности по сравнению с высшей силой, будь то всемогущий Бог или столь же всемогущее государство, в морали жертвенности, самоуничтожения, в возвеличивании страдания и, наконец, в насилии над всеми, кто выбивается из ряда. А что случится, если немногочисленные в каждом, даже самом демократическом обществе творцы вдруг однажды забастуют?

Что делать, как создать новый, истинно человеческий мир, в котором хотелось бы жить каждой неповторимой личности? Этот вопрос и ставит Айн Рэнд. Что мы должны уяснить, чтобы почувствовать себя атлантами? Что нельзя жить заемной жизнью, заемными ценностями. Что можно и нужно изменять себя, но никогда не изменять себе. Что невозможно жить ради других или требовать, чтобы другие жили ради тебя. Что человек создан для счастья, но нельзя быть счастливым, ни руководствуясь чужими представлениями о счастье, ни за счет несчастья других, ни за счет незаслуженных благ. Нужно отвечать за свои действия и их последствия. Нельзя противопоставлять мораль и жизнь, духовное и материальное. Хваленый альтруизм в конечном счете неизменно оборачивается орудием порабощения человека человеком и только множит насилие и страдания. Но недостаточно принять эти принципы, надо жить в соответствии с ними, а это нелегко. Может быть, у Вас возникает желание резко осудить эгоистичную, безбожную, антигуманную позицию автора и ее «нормативных» героев?

Что ж, реакция вполне понятная. Однако стоит задуматься, в чем истоки такой реакции. Уж не в том ли, что страшновато выйти из-под опеки Отца (который то ли на небе, то ли в Кремле, то ли по соседству в Мавзолее), наконец признать себя взрослым и самостоятельным, принять на себя ответственность за самые важные жизненные решения? Очень хочется поспорить с философом Айн Рэнд, русской родоначальницей американского объективизма, но не так-то просто опровергнуть ее впечатляющую логику. Так как же творить мир, в котором не противно жить? Думайте. Сами. Невзирая на авторитеты.

Будем очень благодарны за Ваше мнение о книге и о поставленных в ней проблемах и за отзыв — даже критический.

## **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ**

### **Глава 1 Тема**

— Кто такой Джон Галт?

Вопрос бродяги прозвучал вяло и невыразительно. В сгущавшихся сумерках было не рассмотреть его лица, но вот тусклые лучи заходящего солнца, долетевшие из глубины улицы, осветили смотрящие прямо на Эдди Виллерса безнадежно-насмешливые глаза — будто вопрос был задан не ему лично, а тому необъяснимому беспокойству, что затаилось в его душе.

— С чего это ты вдруг спросил? — Голос Эдди Виллерса прозвучал довольно неприязненно.

Бродяга стоял, прислонившись к дверному косяку, в осколке стекла за его спиной отражалось желтое, отливающее металлом небо.

— А почему это вас беспокоит? — спросил он.

— Да ничуть, — огрызнулся Эдди Виллерс. — Он поспешно сунул руку в карман. Бродяга остановил его и, попросив десять центов, начал говорить дальше, словно стремясь заполнить один неловкий момент и отдалить приближение другого. В последнее время попрошайничество на улице стало обычным делом, так что внимать каким-то объяснениям было совсем не обязательно, к тому же у Эдди не было никакого желания выслушивать, как именно этот бродяга докатился до такой жизни.

— Вот возьми, купи себе чашку кофе. — Эдди протянул монету в сторону безликой тени.

— Спасибо, сэр, — сказал бродяга равнодушным тоном. Он наклонился вперед, и Эдди рассмотрел изрезанное морщинами, обветренное лицо, на котором застыла печать усталости и циничного безразличия. У бродяги были глаза умного человека.

Эдди Виллерс пошел дальше, пытаясь понять, почему с наступлением сумерек его всегда охватывает какой-то необъяснимый, беспричинный страх. Нет, даже не страх, ему было нечего бояться, просто непреодолимая смутная тревога, беспричинная и необъяснимая. Он давно привык к этому странному чувству, но не мог найти ему объяснения; и все же бродяга говорил с ним так, будто знал, что это чувство не давало ему покоя, будто считал, что оно должно возникать у каждого, более того, будто знал, почему это так.

Эдди Виллерс расправил плечи, пытаясь привести мысли в порядок. «Пора с этим покончить», — подумал он; ему начинала мерещиться всякая чепуха. Неужели это чувство всегда преследовало его? Ему было тридцать два года. Он напряг память, пытаясь вспомнить. Нет, конечно же, не всегда, но он забыл, когда впервые ощутил его. Это чувство возникало внезапно, без всякой причины, но в последнее время значительно чаще, чем когда бы то ни было. «Это все из-за сумерек, — подумал Эдди, — терпеть их не могу».

В сгущавшемся мраке тучи на небе и очертания строений становились едва различимыми, принимая коричневатый оттенок, — так, увядая, блекнут с годами краски на старинных холстах. Длинные потеки грязи, сползавшие с крыш высотных зданий, тянулись вниз по непрочным, покрытым копотью стенам. По стене одного из небоскребов протянулась трещина длиной в десять этажей, похожая на застывшую в момент вспышки молнию. Над крышами в небосвод вклинилось нечто кривое, с зазубренными краями. Это была половина шпиля, расцвеченная алым заревом заката, — со второй половины давно уже облезла позолота.

Этот свет напоминал огромное, смутное опасение чего-то неведомого, исходившего неизвестно откуда, отблески пожара, но не бушующего, а затухающего, гасить который уже

слишком поздно.

«Нет, — думал Эдди Виллерс — город выглядит совершенно нормально, в его облике нет ничего зловещего».

Эдди пошел дальше, напоминая себе, что опаздывает на работу. Он был далеко не в восторге от того, что ему там предстояло, но он должен был это сделать, поэтому решил не тянуть время и ускорил шаг.

Он завернул за угол. Высоко над тротуаром в узком промежутке между темными силуэтами двух зданий, словно в проеме приоткрытой двери, он увидел табло гигантского календаря.

Табло было установлено в прошлом году на крыше одного из домов по распоряжению мэра Нью-Йорка, чтобы жители города могли, подняв голову, сказать, какой сегодня день и месяц, с той же легкостью, как определить, который час, взглянув на часы; и теперь белый прямоугольник возвышался над городом, показывая прохожим месяц и число. В ржавых отблесках заката табло сообщало: второе сентября.

Эдди Виллерс отвернулся. Ему никогда не нравился этот календарь. Он не мог понять, почему при виде его им овладевало странное беспокойство. Это ощущение имело что-то общее с тем чувством тревоги, которое преследовало его; оно было того же свойства.

Ему вдруг показалось, что где-то он слышал фразу, своего рода присказку, которая передавала то, что, как казалось, выражал этот календарь. Но он забыл ее и шел по улице, пытаясь припомнить эти несколько слов, засевших в его сознании, словно образ, лишенный всякого содержания, который он не мог ни наполнить смыслом, ни выбросить из головы. Он оглянулся.

Белый прямоугольник возвышался над крышами домов, глася с непреклонной категоричностью: второе сентября.

Эдди Виллерс перевел взгляд вниз, на улицу, на ручную тележку зеленщика, стоявшую у крыльца сложенного из красного кирпича дома. Он увидел пучок золотистой моркови и свежую зелень молодого лука, опрятную белую занавеску, развевающуюся в открытом окне, и лихо заворачивающий за угол автобус. Он с удивлением отметил, что к нему вновь вернулись уверенность и спокойствие, и в то же время внезапно ощутил необъяснимое желание, чтобы все это было каким-то образом защищено, укрыто от нависающего пустого неба.

Он шел по Пятой авеню, не сводя глаз с витрин. Он ничего не собирался покупать, ему просто нравилось рассматривать витрины с товарами — бесчисленными товарами, изготовленными человеком и предназначенными для человека. Он любовался оживленно-процветающей улицей, где, несмотря на поздний час, бурлила жизнь, и лишь немногие закрывшиеся магазины сиротливо смотрели на улицу темно — пустыми витринами.

Эдди не знал, почему он вдруг вспомнил о дубе. Вокруг не было ничего, что могло бы вызвать это воспоминание. Но в его памяти всплыли и дуб, и дни летних каникул, проведенные в поместье мистера Таггарта. С детьми Таггартов Эдди провел большую часть своего детства, а сейчас работал на них, как его отец и дед работали в свое время на их отца и деда.

Огромный дуб рос на холме у Гудзона в укромном уголке поместья Таггартов. Эдди Виллерс, которому тогда было семь лет, любил убежать, чтобы взглянуть на него.

Дуб рос на этом месте уже несколько столетий, и Эдди думал, что он будет стоять здесь вечно. Глубоко вросшие в землю корни сжимали холм мертвой хваткой, и Эдди казалось, что если великан схватит дуб за верхушку и дернет что есть силы, то не сможет вырвать его с корнем, а лишь сорвет с места холм, а с ним и всю землю, и она повиснет на корнях дерева, словно шарик на веревочке. Стоя у этого дуба, он чувствовал себя в полной безопасности; в его представлении это было что-то неизменное, чему ничто не грозило. Дуб был для него величайшим символом силы.

Однажды ночью в дуб ударила молния. Эдди увидел его на следующее утро. Дуб лежал на земле расколотый пополам, и при виде его изуродованного ствола Эдди показалось, что

он смотрит на вход в огромный темный тоннель. Сердцевина дуба давно сгнила, превратившись в мелкую серую труху, которая разлеталась при малейшем дуновении ветра. Живительная сила покинула тело дерева, и то, что от него осталось, само по себе существовать уже не могло.

Спустя много лет Эдди узнал, что детей нужно всячески оберегать от потрясений, что они должны как можно позже узнать, что такое смерть, боль и страх. Но его душу обожгло нечто другое: он пережил свое первое потрясение, когда стоял неподвижно, глядя на черную дыру, зиявшую в стволе сваленного молнией дерева. Это был страшный обман, еще более ужасный оттого, что Эдди не мог понять, в чем он заключался. Он знал, что обманули не его и не его веру, а что-то другое, но не понимал, что именно.

Он постоял рядом с дубом, не проронив ни слова, и вернулся в дом. Он никогда никому об этом не рассказывал — ни в тот день, ни позже.

Эдди с досадой мотнул головой и остановился у края тротуара, заметив, что светофор с ржавым металлическим скрежетом переключился на красный свет. Он сердился на себя. И с чего это он вдруг вспомнил сегодня про этот дуб? Дуб больше ничего для него не значил, от этого воспоминания остался лишь слабый привкус грусти и — где-то глубоко в душе — капелька боли, которая быстро исчезала, как исчезают, скатываясь вниз по оконному стеклу, капельки дождя, оставляя след, напоминающий вопросительный знак.

Воспоминания детства были ему очень дороги, и он не хотел омрачать их грустью. В его памяти каждый день Детства был словно залит ярким, ровным солнечным светом, ему казалось, будто несколько солнечных лучей, даже не лучей, а точек света, долетавших из тех далеких дней, временами придавали особую прелесть его работе, скрашивали одиночество его холостяцкой квартиры и оживляли монотонное однообразие его жизни.

Эдди вспомнился один летний день, когда ему было девять лет. Он стоял посреди лесной просеки с лучшей подругой детства, и она рассказывала, что они будут делать, когда вырастут. Она говорила взволнованно, и слова ее были такими же беспощадно-ослепительными, как солнечный свет. Он слушал ее с восторженным изумлением и, когда она спросила, что бы он хотел делать, когда вырастет, ответил не раздумывая:

— Только то, что правильно. — И тут же добавил: — Ты должна сделать что-то необыкновенное... я хочу сказать, мы вместе должны это сделать.

— Что?

— Я не знаю. Мы сами должны это узнать. Не просто, как ты говоришь, заниматься делом и зарабатывать на жизнь. Побеждать в сражениях, спасать людей из пожара, покорять горные вершины — что-то вроде этого.

— А зачем?

— В прошлое воскресенье на проповеди священник сказал, что мы должны стремиться к лучшему в нас. Как по-твоему, что в нас — лучшее?

— Я не знаю.

— Мы должны узнать это.

Она не ответила. Она смотрела в сторону уходящего вдаль железнодорожного полотна.

Эдди Виллерс улыбнулся. Двадцать лет назад он сказал: «Только то, что правильно». С тех пор он никогда не сомневался в истинности этих слов. Других вопросов для него просто не существовало; он был слишком занят, чтобы задавать их себе. Ему все еще казалось очевидным и предельно ясным, что человек должен делать только то, что правильно, и он так и не понял, как люди могут поступать иначе; понял только, что они так поступают. Это до сих пор казалось ему простым и непонятным: простым, потому что все в мире должно быть правильно, и непонятным, потому что это было не так. Он знал, что это не так. Размышляя об этом, Эдди завернул за угол и подошел к огромному зданию «Таггарт трансконтинентал».

Здание компании горделиво возвышалось над всей улицей. Эдди всегда улыбался, глядя на него. В отличие от домов, стоявших по соседству, стекла во всех окнах, протянувшихся длинными рядами, были целы, контуры здания, вздымаясь ввысь, врезались

в нависавший небосвод; здание словно возвышалось над годами, неподвластное времени, и Эдди казалось, что оно будет стоять здесь вечно.

Входя в здание «Таггарт трансконтинентал», Эдди всегда испытывал чувство облегчения и уверенности в себе. Здание было воплощением могущества и силы. Мраморные полы его коридоров были похожи на огромные зеркала. Матовые, прямоугольной формы светильники щедро заливали пространство ярким светом. За стеклянными стенами кабинетов рядами сидели у пишущих машинок девушки, и треск клавиатуры напоминал перестук колес мчащегося поезда. Словно ответное эхо, по стенам изредка пробегала слабая дрожь, поднимавшаяся из подземных тоннелей огромного железнодорожного терминала, расположенного прямо под зданием компании, откуда год за годом выходили поезда, чтобы отправиться в путь на другую сторону континента, пересечь его и вернуться назад.

«Таггарт трансконтинентал»; от океана к океану — великий девиз его детства, куда более яркий и священный, чем любая из библейских заповедей. От океана к океану, от Атлантики к Тихому, навсегда, восторженно думал Эдди, словно только что осознал реальный смысл этого девиза, проходя через сверкающие чистотой коридоры; через несколько минут он вошел в святая святых — кабинет Джеймса Таггарта, президента компании «Таггарт трансконтинентал».

Джеймс Таггарт сидел за столом. На вид ему было лет пятьдесят. При взгляде на него создавалось впечатление, что он, миновав период молодости, вступил в зрелый возраст прямо из юности. У него был маленький капризный РОТ, лысеющий лоб облипали редкие волоски. В его осанке была какая-то развинченность, неряшливость, совершенно не гармонирующая с элегантными линиями его высокого, стройного тела, словно предназначенного для горделивого и непринужденного аристократа, но доставшегося расхлябанному хаму. У него было бледное, рыхлое лицо и тускло-водянистые, с поволокой глаза. Его взгляд медленно блуждал вокруг, переходя с предмета на предмет с неизменным выражением недовольства, словно все, что он видел, действовало ему на нервы. Он выглядел уставшим и очень упрямым человеком. Ему было тридцать девять лет.

При звуке открывшейся двери он с раздражением поднял голову:

— Я занят, занят, занят... Эдди Виллерс подошел к столу.

— Это важно, Джим, — сказал он, не повышая голоса.

— Ну ладно, ладно, что у тебя там?

Эдди посмотрел на карту, висевшую под стеклом на стене кабинета. Краски на ней давно выцвели и поблекли, и Эдди невольно спрашивал себя, скольких президентов компании повидала она на своем веку и как долго каждый из них занимал этот пост. Железнодорожная компания «Таггарт трансконтинентал» — сеть красных линий на карте, испещрившая выцветшее тело страны от Нью-Йорка до Сан-Франциско, — напоминала систему кровеносных сосудов. Казалось, когда-то давным-давно кровь устремилась по главной артерии, но под собственным напором беспорядочно растеклась в разные стороны. Одна из красных линий, извиваясь, врезалась между Шайенном в штате Вайоминг и Эль-Пасо в Техасе. Это была линия Рио-Норт, одна из железнодорожных веток «Таггарт трансконтинентал». К ней недавно добавились новые черточки, и красная полоска продвинулась от Эль-Пасо дальше на юг. Эдди Виллерс поспешно отвернулся, когда его взгляд достиг этой точки. Он посмотрел на Таггарта и сказал:

— Я пришел по поводу Рио-Норт. — Он заметил, как Таггарт медленно перевел взгляд на край стола. — Там снова произошло крушение.

— Крушения на железной дороге случаются каждый день. И ради этого надо было меня беспокоить?

— Джим, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Рио-Норт разваливается на глазах. Рельсы износились на всем ее протяжении.

— Мы скоро получим новые рельсы.

Эдди продолжал, словно ответа не было вовсе:

— Линия обречена. Поезда пускать бесполезно. Люди просто перестают ездить в них.

— По-моему, в стране нет ни одной железной дороги, где какие-то линии не были бы убыточными. Мы далеко не единственные. Такое положение сложилось по всей стране, но это, безусловно, временное явление.

Эдди стоял, молча глядя на него. Таггарту очень не нравилась его привычка смотреть людям прямо в глаза. У Эдди глаза были большие, голубые, и в их взгляде постоянно читался вопрос. У него были светлые волосы и честное, открытое лицо, в котором не было ничего особенного, за исключением взгляда, выражавшего пристальное внимание и искреннее недоумение.

— Чего тебе от меня надо? — рявкнул Таггарт.

— Я просто пришел сказать тебе то, что ты обязан знать, кто-то же должен был сказать.

— Что где-то произошло очередное крушение?

— Что мы не можем бросить Рио-Норт на произвол судьбы.

Таггарт редко поднимал голову во время разговора. Обычно он смотрел на собеседника исподлобья, слегка приподнимая свои тяжелые веки.

— А кто, собственно, собирается ее бросить? — спросил он. — Об этом никогда не было и речи. Мне не нравится, что ты так говоришь. Мне это очень не нравится.

— Мы уже полгода выбиваемся из графика движения. Ни один перегон на этой линии не обошелся без аварии — серьезной или не очень. Одного за другим мы теряем клиентов. Сколько мы еще так протянем?

— Эдди, твоя беда в том, что ты пессимист. Тебе не хватает уверенности в будущем. Именно это и подрывает моральный дух нашей компании.

Ты хочешь сказать, что не собираешься ничего делать, чтобы спасти Рио-Норт?

Я этого не говорил. Как только поступят новые рельсы...

Да не будет никаких рельсов, Джим. — Эдди заметил, как брови Таггарта медленно поползли вверх. — Я только что вернулся из «Ассошиэйтед стил». Я разговаривал с Ореном Бойлом.

— И что же он сказал?

— Он битых полтора часа ходил вокруг да около, но определенно так ничего и не ответил.

— А зачем ты вообще к нему ходил? По-моему, они должны поставить нам рельсы лишь в следующем месяце.

— Да, но до этого они должны были поставить их три месяца назад.

— Непредвиденные обстоятельства. Это абсолютно не зависело от Орена.

— А первоначально они должны были выполнить наш заказ еще шестью месяцами раньше. Джим, мы уже больше года ждем, когда «Ассошиэйтэд стил» поставит нам эти рельсы.

— Ну а от меня ты чего хочешь? Не могу же я заниматься делами Орена Бойла.

— Я хочу, чтобы ты понял, что мы не можем больше ждать.

— А что об этом думает моя сестрица? — медленно спросил Таггарт наполовину насмешливым, наполовину настороженным тоном.

— Она приедет только завтра.

— И что, по-твоему, я должен делать?

— Это тебе решать.

— А сам ты что предлагаешь? Только ни слова о «Реардэн стил».

Эдди ответил не сразу:

— Хорошо, Джим. Ни слова.

— Орен — мой друг. — Эдди промолчал. — И мне не нравится твоя позиция. Он поставит нам рельсы при первой же возможности. А пока их у нас нет, никто не вправе нас упрекать.

— Джим! О чем ты говоришь? Да пойми ты! Рио-Норт разваливается независимо от того, упрекают нас в этом или нет.

— Все смирились бы с этим. Пришлось бы смириться, если бы не «Финикс —

Дуранго». — Таггарт заметил, как напряглось лицо Эдди. — Всех устраивала линия Рио-Норт, пока не появилась их ветка.

— У этой компании прекрасная железная дорога, и они отлично делают свое дело.

— Кто бы мог подумать, что какая-то «Финикс — Дуранго» сможет конкурировать с «Таггарт трансконтинентал». Десять лет назад это была захудалая местная линия.

— Сейчас на нее приходится большая часть грузовых перевозок в Аризоне, Нью-Мексико и Колорадо. Джим, нам нельзя терять Колорадо! Это наша последняя надежда. Последняя надежда для всех. Если мы не исправим положение, то потеряем всех солидных клиентов в этом штате. Они просто откажутся от наших услуг и будут работать с «Финикс — Дуранго». Нефтепромыслы Вайета мы уже потеряли.

— Не понимаю, почему все только и говорят о его промыслах.

— Потому что это чудо, которое...

— К черту Эллиса Вайета и его нефть!

Эти нефтяные скважины, подумал вдруг Эдди, нет ли у них чего-то общего с красными линиями на карте, похожими на систему кровеносных сосудов? Разве не таким же чудом, совершенно немыслимым в наши дни, много лет назад протянулись по всей стране линии «Таггарт трансконтинентал»?

Эдди подумал о скважинах, откуда фонтаном били черные потоки нефти, извергавшиеся на поверхность так стремительно, что поезда «Финикс — Дуранго» едва успевали развозить ее. Нефтепромыслы когда-то были лишь скалистым участком в горах Колорадо, на них давно махнули рукой как на неперспективные и истощившиеся. Отец Эллиса Вайета до самой смерти по капельке доил пересыхающие скважины, еле сводя концы с концами. А теперь в сердце гор будто вкололи адреналин, и оно ритмично забилося, перекачивая черную кровь, которая непрерывным потоком вырывалась из каменных толщ. Конечно, это кровь, думал Эдди, ведь кровь питает тело, несет жизнь, а нефть Вайета именно это и делает. На некогда пустынных горных склонах забурилась жизнь. В районе, который раньше никто даже не замечал на карте, строились города, заводы и электростанции. Новые заводы, думал Эдди, в то время как доходы от грузовых перевозок с большей части традиционно мощных отраслей промышленности неуклонно падали из года в год. Новые нефтяные разработки — в то время как насосы останавливаются на одном крупном промысле за другим. Новый индустриальный штат — там, где, как все считали, нечего делать, разве что выращивать свеклу да разводить скот. И все это всего за восемь лет сделал один человек. Это было похоже на рассказы, которые Эдди Виллерс читал в школьных учебниках и в которые не мог поверить до конца, — рассказы о людях, добившихся невероятных свершений в те годы, когда великая страна только зарождалась. Ему очень хотелось познакомиться с Эллисом Вайетом. О нем много говорили, но встречались с ним лишь немногие — в Нью-Йорк он приезжал редко. Говорили, что ему тридцать три года и он очень вспыльчив. Он изобрел какой-то способ обогащать истощившиеся нефтяные скважины и успешно применял его в деле.

— Твой Эллис Вайет просто жадный ублюдок, которого интересуют только деньги, — сказал Таггарт. — По-моему, в мире есть вещи и поважней.

— Да о чем ты, Джим? Какое это имеет отношение к...

— К тому же он здорово нас подставил. Мы испокон века занимались транспортировкой нефти из Колорадо и без проблем справлялись с этим. Когда делами занимался его отец, мы каждую неделю предоставляли им состав.

— Но, Джим, дни старика Вайета давно прошли, сейчас «Финикс — Дуранго» предоставляет ему два состава каждый день, и их поезда ходят строго по графику.

— Если бы он дал нам время, мы бы подтянулись...

— Но время для него очень дорого. Он не может позволить себе терять его.

— И чего же он хочет? Чтобы мы отказались от всех наших клиентов, пожертвовали интересами всей страны и отдали ему одному все наши поезда?

— С чего ты взял? Ему от нас ничего не надо. Он просто работает с «Финикс —



Дуранго».

Для меня он всего лишь беспринципный мерзавец, безответственный, самонадеянный выскочка, которого сильно переоценивают. — Эдди очень удивил внезапный всплеск эмоций в обычно безжизненном голосе Таггарта. Я не уверен, что его нефтяные разработки такое уж полезное и выгодное дело. Я считаю, что он нарушает сбалансированность экономики всей страны. Никто не ожидал, что Колорадо станет индустриальным штатом. Как можно быть в чем-то уверенным или что-то планировать, если все постоянно меняется из-за таких, как он? Боже мой, Джим! Он ведь...

— Да, да. Я знаю. Он делает деньги. Но по-моему, это не главный признак, по которому оценивается полезность человека для общества. А что касается его нефти, то, если бы не «Финикс — Дуранго», он приполз бы к нам на коленях и терпеливо ждал своей очереди наравне с остальными клиентами, а не требовал, чтобы ему предоставляли больше составов, чем другим. Мы всегда категорически выступали против подобной хищнической конкуренции, но в данном случае мы бессильны, и никто не вправе нас упрекать.

Эдди почувствовал, что ему стало трудно дышать, а его виски будто сжало тисками. Наверное, это от нервного напряжения и невероятных усилий, он заранее твердо решил, что на сей раз поставит вопрос ребром; а сам вопрос был настолько ясен, что ему казалось, что ничто, кроме его неспособности убедительно изложить факты, не помешает Таггарту разобраться. Он сделал все что мог, но чувствовал, что ничего не получилось. Ему никогда не удавалось в чем-либо убедить Таггарта — всегда казалось, что они говорят на разные темы и о разных вещах.

— Джим, ну что ты несешь? Какое имеет значение, упрекает нас кто-нибудь или нет, когда линия разваливается на глазах?

На лице Таггарта промелькнула довольная холодная Улыбка.

Это очень трогательно, Эдди. Очень трогательно — твоя преданность нашей компании. Смотри, как бы тебе этак не превратиться в ее раба.

— А я и так ее раб, Джим.

— Тогда позволь мне спросить, входит ли в твои обязанности обсуждать со мной эти вопросы?

— Нет, не входит.

— Разве ты не знаешь, что у нас каждым вопросом занимается соответствующий отдел? Почему бы тебе не обратиться к тем, кто непосредственным образом отвечает за это? Почему ты лезешь с этими проблемами ко мне, а не к моей разлюбезной сестрице?

— Послушай, Джим. Я понимаю, что моя должность не дает мне права обсуждать с тобой эти вопросы. Но я не понимаю, что происходит. Я не знаю, что там говорят твои штатные советники и почему они не могут втолковать тебе, насколько все это важно. Поэтому я и решил, что мне следует самому поговорить с тобой.

— Эдди, я очень ценю нашу детскую дружбу, но неужели ты думаешь, что это дает тебе право врывать в мой кабинет, когда вздумается? Учитывая твое положение в компании, не кажется ли тебе, что не следует все-таки забывать, что я — президент «Таггарт трансконтинентал»?

Его слова не произвели никакого эффекта. Эдди смотрел на него как ни в чем не бывало, ничуть не обидевшись. На его лице появилось лишь выражение озадаченности.

— Так значит, ты ничего не собираешься делать, чтобы спасти Рио-Норт?

— Я этого не говорил. Я вовсе этого не говорил. — Таггарт повернулся и смотрел на карту, на красную полосу к югу от Эль-Пасо. — Просто, как только пойдет дело на рудниках Сан-Себастьян и наше отделение в Мексике начнет приносить прибыль...

— Джим, только об этом не надо, прошу тебя, — резко перебил его Эдди.

Таггарт повернулся, пораженный внезапной вспышкой гнева, прозвучавшей в его голосе. Эдди никогда раньше не говорил с ним таким тоном.

— В чем дело, Эдди? — спросил он.

— Ты прекрасно знаешь, в чем дело. Твоя сестра сказала...

— К черту мою сестру!

Эдди не шелохнулся и не ответил. Некоторое время он стоял, глядя прямо перед собой, но ничего вокруг не замечая. Затем слегка поклонился и вышел из кабинета.

В приемной клерки Джеймса Таггарта выключали свет, собираясь уходить. Но Пол Харпер, старший секретарь Таггарта, все еще сидел за своим столом, перебирая рычаги наполовину разобранной пишущей машинки. Служащим компании казалось, что Пол Харпер так и родился в этом углу, за этим столом и не собирался покидать его. Он был личным секретарем еще у отца Джеймса Таггарта.

Пол Харпер поднял голову и взглянул на Эдди, когда тот вышел из кабинета президента компании. Это был усталый взгляд придавленного жизнью человека. Казалось, он понимал: появление Эдди в этой части здания означает проблемы на линии, но его визит к Таггарту закончился ничем; он все прекрасно знал и был к этому абсолютно равнодушен. Это было то циничное безразличие, которое Эдди видел на лице бродяги на улице.

— Послушай, Эдди, ты случайно не знаешь, где можно купить шерстяное белье? Обегал весь город и ни в одном магазине не нашел.

— Нет, не знаю, — сказал Эдди останавливаясь. — А почему ты спросил меня?

— Да я всех спрашиваю. Может, кто-нибудь да скажет. Эдди настороженно взглянул на седую шевелюру и тощее, равнодушное лицо Харпера.

— В этой конуре довольно прохладно, а зимой будет еще холоднее, — сказал Харпер.

— Что ты делаешь? — спросил Эдди, указывая на разобранную пишущую машинку.

Да опять эта хреновина сломалась. Ее уже бесполезно отправлять в мастерскую. В прошлый раз у них ушло на ремонт три месяца, вот я и решил починить сам. Но по-моему, без толку. — Он опустил кулак на клавиши машинки — Пора тебе на свалку, старушка. Дни твои сочтены.

Эдди вздрогнул. «Дни твои сочтены». Именно эти слова он пытался вспомнить, но забыл, в какой связи.

— Бесполезно, — сказал Харпер.

— Что бесполезно?

— Все.

— Эй, Пол, ты что это?

— Я не собираюсь покупать новую машинку. Новые сделаны из олова и никуда не годятся. Когда все старые машинки развалятся, наступит конец машинописи. Сегодня утром в метро произошла авария — тормоза теперь ни к черту. Эдди, иди домой, включи радио и послушай хорошую, веселую музыку. Выбрось ты все это из головы, парень. Твоя беда в том, что у тебя никогда не было хобби. У меня на лестнице опять все лампочки повывкручивали. Сердце побаливает. Утром не смог купить капель от кашля, потому что аптека на нашей улице на прошлой неделе обанкротилась. А месяц назад обанкротилась железная дорога «Техас вестерн». Вчера временно закрыли на ремонт мост Куинсборо. А, что толку об этом говорить? Кто такой Джон Галт?

###

Она сидела у окна вагона, откинув голову назад и положив одну ногу на пустое сиденье напротив. Оконная рама подрагивала на скорости, и крошечные вспышки света изредка мелькали за стеклом, отделявшим ее от царившей за окном темной пустоты.

Она была в легких туфлях на высоком каблуке, светлый чулок плотно облегал ее вытянутую ногу, подчеркивая ее женственность и изящество, такая ножка казалась совершенно неуместной в пыльном вагоне поезда и как-то странно не вязалась с общим обликом пассажирки. На ней было дорогое, но довольно поношенное пальто из верблюжьей шерсти, бесформенно окутывавшее ее упруго-стройное тело. Воротник пальто был поднят к полям шляпы, из-под которой выбивалась прядь свисавших к плечам каштановых волос. Лицо ее казалось собранным из ломаных линий, с четко очерченным чувственным ртом. Ее губы были плотно сжаты. Она сидела, сунув руки в карманы, и в ее позе было что-то неестественное, словно она терпеть не могла неподвижность, и что-то неженственное, будто

она не чувствовала собственного тела и не осознавала, что это женское тело.

Она сидела и слушала музыку. Это была симфония триумфа. Мелодия взмывала ввысь, она говорила о полете и была его воплощением, сутью и формой движения вверх, словно олицетворяла собой все те поступки и мысли человека, смыслом которых было восхождение. Это был внезапный всплеск звуков, вырвавшихся наружу и заполнивших все вокруг. В них чувствовались раскованность освобождения и напряженность целеустремленности. Они заполняли собой пространство, вытесняя из него все, кроме радости свободного порыва. Только едва уловимый отзвук говорил, из какого мира вырвалась эта мелодия, но говорил с радостным изумлением, словно вдруг обнаружилось, что ни мерзостей, ни страданий нет и не должно быть. Это была песнь беспредельной свободы.

Она думала: хоть на мгновение — пока это длится — можно полностью расслабиться, забыть обо всем и отдаться чувствам.

Ослабь гайки, отпусти рычаги... Вот так.

Где-то на самом краешке сознания сквозь звуки музыки пробивался стук колес. Они отбивали четкий ритм, в котором каждый четвертый такт был ударным, как бы подчеркивающим направление движения. Она могла расслабиться потому, что слышала стук колес. Она слушала симфонию и думала: вот почему должны крутиться колеса, вот куда они меня везут.

Она никогда раньше не слышала этой симфонии, но знала, что ее написал Ричард Хэйли. Она узнала неистовство и необычайную насыщенность звучания. Узнала его стиль, то была чистая и в то же время сложная мелодия — во времена, когда композиторы забыли, что такое мелодия, она сидела, глядя в потолок, забыв, где находится. Она не знала, что именно слышит: звучание целого симфонического оркестра или всего лишь напев; возможно, оркестр играл в ее воображении.

И, не видя его, она смутно осознавала, что отзвуки этой мелодии присутствовали во всех произведениях Ричарда Хэйли — все долгие годы его исканий, вплоть до того дня, когда на него, уже зрелого человека, внезапно обрушилось бремя славы, которое и погубило его. Слушая музыку, она думала о том, что именно она, эта тема, и была целью всех его трудов и свершений. Она вспомнила его попытки выразить ее в музыке, отдельные фрагменты его произведений, предвосхищавших эту тему, отрывки мелодий, в которых она присутствовала, но до конца так и не раскрывалась.

Теперь, написав эту музыку, Ричард Хэйли наконец... Она резко встала. Но когда же он написал ее?

Она вдруг осознала, где находится, и только теперь задалась вопросом, откуда доносится музыка.

Неподалеку от нее, в конце вагона, молодой светловолосый кондуктор, тихонько насвистывая, регулировал кондиционер. Она поняла, что он насвистывал уже довольно долго и именно это она и слышала.

Она некоторое время недоверчиво смотрела на молодого человека, прежде чем решилась спросить:

— Скажите, пожалуйста, что вы насвистываете?

Парень повернулся к ней лицом и посмотрел на нее. У него был прямой взгляд, а на лице появилась открытая, приветливая улыбка, словно он собирался поделиться чем-то сокровенным со своим другом. Ей понравилось его четко очерченное лицо. Она уже привыкла видеть вокруг только вялые, безвольные лица, уклоняющиеся от ответственности принять четкое выражение.

— Это концерт Хэйли, — ответил он улыбаясь.

— А какой именно?

— Пятый.

Прошло некоторое время, прежде чем она сказала, тщательно подбирая слова:

— Но Ричард Хэйли написал только четыре концерта. Улыбка исчезла с лица парня. Словно его встряхнули и он, очнувшись, вернулся в реальный мир, как несколько минут

назад это произошло с ней. Его лицо сразу стало каким-то пустым, равнодушным и ничего не выражающим — так пустеет и мрачнеет прежде полная света комната в которой внезапно закрыли ставни.

— Да, конечно же, вы правы. Я ошибся, — сказал он.

— Но что же вы тогда насвистывали?

— Мелодию, которую я где-то слышал.

— Что за мелодию?

— Не знаю.

— А где вы ее слышали?

— Не помню.

Она замолчала, не зная, что сказать, а парень вновь занялся кондиционером, не проявляя к ней больше никакого интереса.

— Эта мелодия очень напоминает музыку Хэйли, но я знаю каждую написанную им ноту и уверена, что этой мелодии он не сочинял.

На его лице появилось лишь едва уловимое выражение учтивости, когда он вновь повернулся к ней и спросил:

— Вам нравится музыка Ричарда Хэйли?

— Да, очень.

Он некоторое время смотрел на нее, словно в нерешительности, затем вновь повернулся к кондиционеру. Она стояла рядом и наблюдала, как он молчаливо, со знанием дела выполняет свою работу.

Она не спала уже две ночи, но и сегодня не могла позволить себе уснуть. Поезд прибывал в Нью-Йорк рано утром, времени оставалось не так уж много, а ей нужно было еще многое обдумать.

И тем не менее ей хотелось, чтобы поезд шел быстрее, хотя это была «Комета Таггарта» — самый скоростной поезд в стране.

Она попыталась сосредоточиться, но мелодия еще жила где-то на краешке ее сознания, и она продолжала слушать ее, звучащую в полную силу, словно безжалостная поступь чего-то неотвратимого.

Она сердито тряхнула головой, сбросила шляпу, достала сигарету и закурила.

Она решила не спать, полагая, что сможет продержаться До следующей ночи. Колеса выстукивали четкий ритм. Она так привыкла к этому звуку, что подсознательно слышала только его, и он успокаивал ее. Она загасила сигарету. Ей все еще хотелось курить, но она решила подождать несколько минут, прежде чем взять другую.

Она резко проснулась, отчетливо ощутив, что что-то не так, и лишь потом поняла, что произошло. Поезд стоял. В полутемном вагоне, едва освещенном голубыми лампочками ночников, не было слышно ни звука. Она посмотрела на часы. Они не должны были здесь останавливаться. Она выглянула из окна. Поезд застыл посреди окружавших его со всех сторон пустынных полей.

Она услышала, как кто-то зашевелился на сиденье рядом, через проход, и спросила:

— Давно мы стоим?

— Около часа, — безразлично ответил мужской голос. Мужчина проводил ее удивленно-сонным взглядом, когда она вскочила с места и бросилась к двери.

Снаружи дул холодный ветер. Пустынная полоска земли простиралась под нависшим над ней ночным небом. Дэгни слышала, как в темноте шелестел травой ветер. Далеко впереди она заметила силуэты мужчин, стоявших возле локомотива; над ними, словно зацепившись за небо, горел красный огонь семафора.

Она быстро направилась к мужчинам вдоль застывших колес поезда. Когда она подошла, никто не обратил на нее внимания. Поездная бригада и несколько пассажиров тесной группой стояли у семафора. Они не разговаривали, просто стояли и безразлично ждали.

— Что случилось? Почему стоим? — спросила она. Машинист обернулся, удивленный

ее тоном. Ее слова прозвучали властно, не как вопрос любопытного пассажира. Она стояла, сунув руки в карманы, — воротник пальто поднят, развевающиеся на ветру волосы то и дело падают на лицо.

— Красный свет, леди, — сказал он, указывая пальцем вверх.

— И давно он горит?

— Около часа.

— По-моему, мы стоим на запасном пути.

— Да.

— Почему?

— Я не знаю.

Тут в разговор вмешался проводник.

— Мне кажется, нас по ошибке перевели на запасной путь. Эта стрелка уже давно барахлит. А эта штука и вовсе не работает... — Он задрал голову вверх и посмотрел на красный свет семафора. — Вряд ли зеленый когда-нибудь вообще загорится. По-моему, семафор сломался.

— Тогда чего же вы ждете?

— Когда загорится зеленый.

Она замолчала, удивленная и возмущенная, и тут помощник машиниста, посмеиваясь, сказал:

— На прошлой неделе лучший поезд «Атлантик саузерн» простоял на запасном пути целых два часа — кто-то просто ошибся.

— Это «Комета Таггарта». Этот поезд никогда не опаздывает, — сказала она.

— Да, это единственный поезд в стране, который всегда приходит по расписанию, — согласился машинист.

— Все когда-то случается впервые, — философски заметил помощник машиниста.

— Вы, должно быть, мало что знаете о железных дорогах, леди, — сказал один из пассажиров. — Все сигнальные системы и диспетчерские службы в стране гроша ломаного не стоят.

Она повернулась к машинисту, не обращая внимания на эти слова:

Раз вы знаете, что семафор сломался, что же вы собираетесь делать?

Машинисту не понравился ее властный тон, он не мог понять, почему она с такой легкостью взяла этот тон. Она выглядела совсем молодой, лишь рот и глаза выдавали, что ей за тридцать. Прямой и взволнованный взгляд темно — серых глаз словно пронизывал насквозь, отбрасывая за ненадобностью все, что не имело значения. В лице женщины было что-то неуловимо знакомое, но он не мог вспомнить, где он ее видел.

— Послушайте, леди, я не собираюсь рисковать.

— Он хочет сказать, что мы должны ждать указаний, — пояснил помощник машиниста.

— Прежде всего, вы должны вести поезд.

— Но не на красный же свет. Если на семафоре красный, мы останавливаемся.

— Красный свет означает опасность, леди, — сказал пассажир.

— Мы не хотим рисковать, — повторил машинист. — Кто бы ни был виноват, все свалят на нас, если мы поведем поезд. Поэтому мы не сдвинемся с места до тех пор, пока нам не прикажут.

— А если никто не даст вам такого приказа?

— Рано или поздно кто-нибудь да даст.

— И сколько же вы предполагаете ждать? Машинист пожал плечами:

— Кто такой Джон Галт?

— Он хочет сказать — не надо задавать вопросов, на которые никто не может ответить, — пояснил помощник машиниста.

Она взглянула на красный свет семафора, на рельсы, уходившие в темную, непроглядную даль, и сказала:

— Поезжайте осторожно до следующего семафора. Если там все будет нормально, выходите на главную магистраль и остановите поезд у первой же станции, откуда можно позвонить.

— Да ну! Это кто же так решил?

— Я так решила.

— А кто вы такая?

Возникла пауза. Дэгни была удивлена и застигнута врасплох вопросом, которого совсем не ожидала. Но в этот момент машинист взглянул на нее пристальней и одновременно с ее ответом изумленно выдал из себя:

— Господи помилуй!

— Дэгни Таггарт. — Ее тон не был оскорбительным или надменным, она просто ответила как человек, которому нечасто приходится слышать подобный вопрос.

— Ну и дела! — сказал помощник машиниста, и все замолчали.

Спокойным, но авторитетным тоном Дэгни повторила указание:

— Выходите на главную магистраль и остановите поезд у первой же станции, откуда можно позвонить.

— Слушаюсь, мисс Таггарт.

— Вам придется наверстать время и восстановить график движения поезда. На это у вас есть остаток ночи.

— Хорошо, мисс Таггарт.

Она уже повернулась, чтобы уйти, когда машинист спросил:

— Мисс Таггарт, если возникнут какие-нибудь проблемы, вы берете на себя ответственность?

— Да.

Проводник последовал за ней, когда она направилась к своему вагону.

— Но... место в сидячем вагоне? Мисс Таггарт, как же так? Почему вы нас не предупредили?

Она слегка улыбнулась:

— У меня не было на это времени. Мой личный вагон прицепили к двадцать второму из Чикаго. Но я вышла в Кливленде, потому что двадцать второй опаздывал и я решила не дожидаться, пока отцепят мой вагон. «Комета» была ближайшим поездом до Нью-Йорка, но мест в спальном вагоне уже не было.

— Ваш брат — он бы не поехал в сидячем вагоне, — сказал проводник.

Дэгни рассмеялась:

— Да, он бы не поехал.

Группа мужчин у локомотива наблюдала, как она шла к своему вагону. Среди них был и молодой кондуктор. — Кто это такая? — спросил он, указывая ей вслед.

— Это человек, который управляет «Таггарт трансконтинентал». Вице-президент компании по грузовым и пассажирским перевозкам, — ответил машинист. В его голосе звучало искреннее уважение.

Издав протяжный гудок, звук которого затерялся в пустынных полях, поезд тронулся. Дэгни сидела у окна и курила очередную сигарету. Она думала: вот так все и разваливается по всей стране. В любой момент можно ожидать чего угодно и где угодно. Но она не испытывала гнева или беспокойства. У нее не было времени на чувства.

Просто ко всем проблемам, которые необходимо было уладить, добавилась еще одна. Она знала, что управляющий отделением дороги в штате Огайо не справляется со своими обязанностями и что он — друг Джеймса Таггарта. Она бы давно вышвырнула его, но ей некого было поставить на его место. Как ни странно, хороших специалистов было трудно найти. Но она все-таки решила уволить его и предложить должность Оуэну Келлогу — молодому инженеру, который прекрасно справлялся со своей работой одного из помощников управляющего терминалом «Таггарт трансконтинентал» в Нью-Йорке. Фактически именно он руководил терминалом. Она некоторое время наблюдала за тем, как он работает. Она

всегда пыталась разглядеть в людях искры таланта и компетентности, словно старатель, терпеливо копающийся в пустой породе. Келлог был слишком молод для должности управляющего отделением штата, и она хотела дать ему еще год, чтобы он накопил опыта, но медлить было больше нельзя. Она решила сразу по приезде переговорить с ним.

Едва различимая полоска земли стремительно неслась за окном вагона, сливаясь в мутно-серый поток. Погруженная в расчеты, Дэгни вдруг заметила, что все-таки может что-то чувствовать: сильное, бодрящее чувство — радость действия.

Дэгни встала с места, когда «Комета», со свистом рассекая воздух, ворвалась в один из тоннелей терминала

«Таггарт трансконтинентал», распростершегося под Нью-Йорком. Всегда, когда поезд въезжал в тоннель, она испытывала нетерпение, надежду и непонятное возбуждение. Состояние было такое, будто обычное существование — лишь аляповатый цветной фотоснимок каких-то бесформенных предметов, а здесь и сейчас перед ней появился эскиз, выполненный несколькими резкими штрихами, на котором все представало четким, значимым — и достойным усилий.

Она смотрела на стены тоннеля, проплывающие за окнами, — голый бетон, по которому тянулась сеть труб и проводов; она видела сплетение рельсов, исчезающих во мгле тоннелей, где отдаленные капельками света горели зеленые и красные огоньки. И все — ничто не разбавляло ощущения чистой целенаправленности и восторга перед человеческой изобретательностью, благодаря которой все это стало возможным. Она подумала о здании компании, которое в этот момент находилось как раз над ней, надменно вздымаясь к небу, и о том, что эти тоннели его корнями переплелись под землей, сжимая в своих объятиях весь город и питая его.

Когда поезд остановился, она вышла из вагона и, почувствовав под ногами бетонную твердь платформы, ощутила необычайную легкость, прилив сил и желание действовать. Она быстро пошла вперед, как будто скорость могла помочь оформиться обуревавшим ее чувствам. Прошло какое-то время, прежде чем она осознала, что насвистывает какую-то мелодию. Это был мотив из Пятого концерта Хэйли.

Она почувствовала на себе чей-то взгляд и обернулась. Молодой кондуктор стоял на платформе, пристально глядя ей вслед.

Она сидела на подлокотнике кресла лицом к Джеймсу Таггарту, расстегнув пальто, под которым был помятый Дорожный костюм. Эдди Виллерс сидел в другом конце кабинета, время от времени делая пометки в блокноте. Он занимал должность специального помощника вице-президента компании по грузовым и пассажирским перевозкам, и его главной обязанностью было оберегать ее от пустой траты времени. Дэгни всегда приглашала его на подобные совещания, чтобы потом ему ничего не нужно было объяснять. Джеймс Таггарт сидел за столом, втянув голову в плечи.

— Вся Рио-Норт от начала до конца — груды металлолома. Дела обстоят намного хуже, чем я предполагала. Но мы спасем ее, — сказала она.

— Конечно, — ответил Таггарт.

— На некоторых участках путь еще можно отремонтировать. Но лишь на некоторых и ненадолго. Первым делом проложим новую линию в горах Колорадо. Через два месяца у нас будут новые рельсы.

— Разве Орен Бойл сказал, что сможет...

— Я заказала рельсы в «Реардэн стил». Эдди Виллерс подавил возглас одобрения. Джеймс Таггарт ответил не сразу.

— Дэгни, почему бы тебе не сесть в кресло по-человечески? Ну кто так проводит совещания? — сказал он раздраженно.

Она ждала, что он скажет дальше.

— Так значит, ты заказала рельсы у Реардэна, я правильно тебя понял? — спросил он,

избегая встречаться с ней взглядом.

— Да, вчера вечером. Я позвонила ему из Кливленда.

— Но совет директоров не давал на это разрешения. Я не давал разрешения. Ты не советовалась со мной.

Она подалась вперед, сняла трубку со стоявшего на столе телефона и протянула ее ему:

— Позвони Реардэну и отмени заказ. Таггарт откинулся на спинку кресла:

— Я не говорил, что хочу отменить его. Я вовсе этого не говорил, — сказал он сердито.

— Значит, заказ остается в силе.

— Этого я тоже не говорил.

Дэгни повернулась к Эдди.

— Эдди, скажи, пусть подготовят контракт с «Реардэн стил». Джим подпишет его. —

Она достала из кармана пальто скомканный листок бумаги и бросила его Эдди: — Здесь условия контракта и все необходимые цифры.

— Но совет директоров не... — начал было Таггарт.

Дэгни перебила его:

— Совет директоров не имеет к этому никакого отношения. Они больше года назад дали тебе разрешение на закупку рельсов. У кого их покупать — это уже твое личное дело.

— Мне кажется, было бы неверным принимать подобного рода решение, не дав совету возможности высказать свое мнение. Не понимаю, почему я должен брать на себя всю ответственность.

— Я беру ее на себя.

— А как насчет расходов, которые...

— У Реардэна цены ниже, чем в «Ассошиэйтед стил».

— Да, а как же быть с Ореном Бойлом?

— Я расторгла контракт. Мы имели на это право еще полгода назад.

— Когда ты расторгла его?

— Вчера.

— Но он не звонил мне, чтобы я подтвердил это.

— Он и не позвонит.

Таггарт сидел, уставившись в стол.

Дэгни спросила себя, почему он так негодует из-за того, что им придется работать с Реардэном, и почему его негодование приняло такую странную уклончивую форму. Компания «Реардэн стил» вот уже десять лет была главным поставщиком рельсов для «Таггарт трансконтинентал». Пожалуй, даже дольше, с тех пор, как выдала плавку первая Домна на сталелитейных заводах Реардэна, когда президентом «Таггарт трансконтинентал» был еще ее отец. Десять лет «Реардэн стил» исправно поставляла им рельсы. В стране было не так уж много компаний, которые в срок и качественно выполняли заказы. «Реардэн стил» была одной из этих немногих. Дэгни подумала, что, будь она сумасшедшей, то пришла бы к выводу, что ее брат потому так не хотел иметь дело с Реардэном, что тот всегда относился к работе с невероятной ответственностью, исполняя все в срок и предельно качественно. Но она не стала делать такой вывод — ни один человек не может испытывать такие чувства.

— Это несправедливо, — сказал Таггарт.

— Что несправедливо?

— Что мы из года в год отдаем все наши заказы только «Реардэн стил». Мне кажется, мы должны дать такую же возможность кому-нибудь другому. Реардэн в нас не нуждается. У него и без нас хватает клиентов. Наш долг — помогать набрать силу тем, кто помельче. А так мы просто-напросто укрепляем монополиста.

— Не говори ерунды, Джим.

— Но почему мы должны заказывать то, что нам нужно, именно в «Реардэн стил»?

— Потому что только там мы всегда это получаем.

— Мне не нравится Генри Реардэн.

— А мне он нравится. Но в конце концов, какое это имеет значение? Нам нужны



рельсы, а он единственный человек, который может их нам поставить.

— Человеческий фактор тоже очень важен. Но для тебя такого понятия просто не существует.

— Но мы же говорим о спасении железной дороги, Джим.

— Да, конечно, конечно, но ты абсолютно не принимаешь во внимание человеческий фактор.

— Абсолютно.

— Если мы закажем у Реардэна такую большую партию стальных рельсов...

— Это не стальные рельсы. Они будут сделаны из металла Реардэна.

Она всегда старалась не показывать своих чувств, но на этот раз вынуждена была нарушить это правило и громко рассмеялась, увидев, какое выражение появилось на лице Таггарта после ее слов.

Металл Реардэна представлял собой новый сплав, созданный им после десяти лет экспериментов. Реардэн недавно выставил свой сплав на рынок и до сих пор не получил ни одного заказа.

Таггарт не мог понять резкой перемены в голосе Дэгни, когда та внезапно перешла от смеха к резко-холодному тону:

— Перестань, Джим. Я прекрасно знаю, что ты сейчас скажешь. Никто никогда не использовал этот сплав. Никто не советует его применять. Он никого не интересует, и никто не хочет его покупать. Тем не менее наши рельсы будут сделаны именно из металла Реардэна.

— Но... но... никто никогда не использовал этот сплав! Он с удовлетворением отметил, что она замолчала. Ему нравилось наблюдать за эмоциями людей; они были как красные фонарики, развешанные вдоль темного лабиринта человеческой личности, отмечая уязвимые точки. Но он не мог понять, какие чувства способен вызывать в человеке металлический сплав и о чем эти чувства могут свидетельствовать. Поэтому он не мог извлечь никакой пользы из того, что заметил в лице Дэгни.

— Лучшие специалисты в области металлургии весьма скептически оценивают сплав Реардэна, допуская, что...

— Прекрати, Джим.

— Ну хорошо, на чье мнение ты опираешься?

— Меня не интересует чужое мнение.

— Чем же ты руководишься?

— Суждением.

— Чьим?

— Своим.

— Ну и с кем ты советовалась по этому поводу?

— Ни с кем.

— Тогда что же ты, черт возьми, можешь знать о сплаве Реардэна?

Что это лучшее из всего, что когда-либо появлялось на рынке.

— Откуда ты это знаешь?

— Потому что он прочнее стали, дешевле стали и намного устойчивее к коррозии, чем любой из существующих металлов.

— Ну и кто тебе это сказал?

— Джим, в колледже я изучала машиностроение. И я понимаю, когда вижу дельную вещь.

— И что же ты увидела?

— Реардэн показал мне расчеты и результаты испытаний.

— Послушай, если бы это был хороший сплав, его бы уже использовали, но этого никто не делает. — Он заметил, что она вновь начинает сердиться, и нервно продолжил: — Ну откуда ты знаешь, что он хороший? Как ты можешь быть в этом уверена? Как можно так принимать решения?

— Кто-то же должен принимать решения, Джим.

— Кто? Я не понимаю, почему именно мы должны быть первыми. Решительно не понимаю.

— Ты хочешь спасти Рио-Норт или нет? Он не ответил.

— Если бы у нас было достаточно денег, я бы сняла рельсы по всей линии и заменила их новыми. Их все необходимо заменить. Долго они не протянут. Но сейчас мы не можем себе этого позволить. Сначала надо расплатиться с долгами. Ты хочешь, чтобы мы выкарабкались, или нет?

— Но мы все еще лучшая железная дорога в стране. У других дела идут еще хуже.

— Значит, ты хочешь, чтобы мы продолжали сидеть по уши в долгах?

— Я этого не говорил. Почему ты всегда все упрощаешь? И если уж ты так обеспокоена нашим финансовым положением, то я не понимаю, почему ты хочешь выбросить деньги на Рио-Норт, когда «Финикс — Дуранго» перехватила весь наш бизнес в этом районе. Зачем вкладывать деньги в эту линию, если мы совершенно беззащитны перед конкурентом, который сведет на нет все наши усилия и уничтожит результаты наших капиталовложений.

— Потому, что у «Финикс — Дуранго» прекрасная железная дорога, но я хочу сделать Рио-Норт еще лучше. Потому, что если будет нужно, я перегоню «Финикс — Дуранго», только в этом не будет необходимости: в Колорадо вполне хватит места, и каждая сможет заработать кучу денег. И я готова заложить компанию, чтобы построить дорогу к нефтепромыслам Вайета.

— Я сыт по горло этим Вайетом. Только и слышишь: Вайетто, Вайетсе.

Ему не понравилось, как она повела глазами и какое-то время сидела неподвижно, глядя на него.

— Я не вижу особой необходимости в принятии скоропалительных решений, — обиженно сказал он. — Просто скажи мне, что тебя так тревожит в настоящем положении дел нашей компании?

— Последствия твоих действий, Джим.

— Каких действий?

— Твой эксперимент с «Ассошиэйтед стал», длящийся уже больше года, — раз. Твой мексиканский провал — два.

— Контракт с «Ассошиэйтэд стил» был одобрен советом директоров, — поспешно сказал он. — Линия Сан-Себастьян построена тоже с ведома и одобрения совета. К тому же я не понимаю, почему ты называешь это провалом.

— Потому, что мексиканское правительство собирается при первом удобном случае национализировать ее.

— Это ложь. — Его голос чуть не сорвался в крик. — Это всего лишь грязные слухи. У меня есть надежный источник в самых верхах, который...

— Не стоит показывать, что ты напуган, Джим, — сказала она с презрением.

Он не ответил.

— Сейчас бесполезно паниковать. Единственное, что мы можем сделать, — постараться смягчить удар. А это будет жестокий удар. Потерю сорока миллионов долларов не просто пережить. Но «Таггарт трансконтинентал» выдержала много жестоких потрясений, и я позабочусь о том, чтобы мы выстояли и на этот раз.

— Я отказываюсь, я решительно отказываюсь даже думать о возможности национализации Сан-Себастьян.

Хорошо, не думай об этом.

Некоторое время она молчала. Он сказал, огрызаясь:

— Не понимаю, почему ты из кожи вон лезешь, чтобы помочь Эллису Вайету, и в то же время утверждаешь, что не надо помогать бедной стране, которой никто никогда не помогал.

— Эллис Вайет не просит моей помощи, а мой бизнес состоит не в том, чтобы кому-то помогать. Я управляю железной дорогой.

— До чего же ограниченно ты на все смотришь! Не понимаю, почему мы должны помогать одному человеку, а не целой стране.

— Я не собираюсь никому помогать. Я просто хочу делать деньги.

— Это очень непрактичная позиция. Жажда личного обогащения уже в прошлом. Сейчас всеми признано, что интересы общества в целом должны ставиться во главу угла в любом коммерческом предприятии, которое...

— Долго ты еще собираешься разглагольствовать, чтобы уйти от главного вопроса?

— Какого вопроса?

— Контракта с «Реардэн стил».

Он не ответил. Он молча рассматривал ее. Она, казалось, вот-вот упадет от усталости, ее стройная фигура сохраняла вертикальное положение лишь благодаря прямой линии плеч, а плечи не опускались лишь благодаря сознательно огромному напряжению воли. Ее лицо нравилось немногим: оно было слишком холодным, а взгляд — слишком пристальным. Ничто не придавало ей очарования мягкости и нежности. Она сидела на подлокотнике кресла, и ее красивые, стройные ноги, болтавшиеся перед глазами Таггарта, раздражали его. Они противоречили той внутренней оценке, которую он давал собеседнице.

Она сидела молча, и он был вынужден спросить:

— Ты что, вот так, не раздумывая, решила позвонить и сделать этот заказ?

— Я решила это еще полгода назад. Я ждала, пока Хэнк Реардэн подготовит все для начала производства.

— Не называй его Хэнком. Это вульгарно.

— Его все так называют. Не пытайся сменить тему.

— Зачем тебе понадобилось звонить ему вчера вечером?

— Я не могла связаться с ним раньше.

— Почему ты не подождала, когда вернешься в Нью-Йорк и...

— Потому что я увидела, в каком состоянии Рио-Норт.

— Ну, мне нужно время, чтобы все обдумать, поставить вопрос на рассмотрение совета директоров, проконсультироваться у лучших...

— У нас нет на это времени.

— Ты не дала мне возможности выработать собственное мнение.

— Мне плевать на твое мнение. Я не собираюсь спорить ни с тобой, ни с советом директоров, ни с твоими профессорами. Ты должен сделать выбор, и ты сделаешь его прямо сейчас. Просто скажи: да или нет.

— Опять твои диктаторские замашки...

— Да или нет?

— Вот вечно ты так. Ты всегда все переворачиваешь и сводишь к одному: да или нет. В мире нет безусловных вещей, нет абсолюта.

— Стальные рельсы — абсолют, и мы их либо получим, либо нет. Третьего не дано.

Она ждала. Он не отвечал.

— Ну, так что ты скажешь?

— Ты берешь на себя ответственность?

— Да.

— Валяй, — сказал он и тут же добавил: — Но на свой страх и риск. Я не отменяю заказ, но и не даю тебе никаких гарантий насчет того, что я скажу совету директоров.

— Можешь говорить что угодно.

Она поднялась, чтобы уйти. Он чуть привстал, не желая завершать разговор на столь определенной ноте.

— Надеюсь, ты понимаешь, что понадобится уйма времени, чтобы завершить это дело, — сказал он с надеждой в голосе. — Это все не так просто.

— Ну конечно, конечно, — сказала она. — Я направлю Тебе подробный отчет, который составит Эдди и который ты все равно не станешь читать. Эдди поможет тебе подготовить по нему сообщение. Сегодня вечером я уезжаю в Филадельфию. Мне нужно встретиться с

Реардэном. У нас с ним впереди много дел. — И добавила: — Это все так просто, Джим.

Она уже повернулась, чтобы уйти, когда он заговорил вновь, и то, что он сказал, показалось ей поразительно бессмысленным:

— Тебе-то хорошо. Для тебя это все вполне нормально. Другие так не могут.

— Как не могут?

— Другие — они человечны, они способны чувствовать. Они не могут посвятить всю свою жизнь железу и поездам. Тебе хорошо, у тебя никогда не было никаких чувств. Ты вообще никогда ничего не чувствовала.

Она остановилась и посмотрела на него. Отразившееся в ее темно-серых глазах изумление постепенно исчезало, уступая место спокойствию, затем в ее взгляде появилось какое-то странное выражение, напоминавшее усталость, но казалось, это было нечто более глубокое, чем сопротивление скопившемуся в ней утомлению.

— Да, Джим, — сказала она тихо. — Мне кажется, я никогда ничего не чувствовала.

Эдди Виллерс пошел за ней следом в ее кабинет. Всегда, когда Дэгни возвращалась, у него возникало ощущение, что мир становится чище, проще, податливее, и он как-то забывал о тех минутах, когда у него возникала смутная тревога. Он был единственным человеком, который считал вполне естественным, что именно Дэгни, несмотря на то что она женщина, является вице-президентом огромной компании. Когда ему было всего десять лет, она сказала, что когда-нибудь будет управлять железной дорогой. Сейчас это его совсем не удивляло, как он не удивился и в тот день, когда они стояли вдвоем посреди лесной просеки.

Когда они вошли в кабинет и он увидел, как она, сев за стол, начала просматривать оставленные им для нее отчеты, его охватило чувство, которое всегда возникало у него в заведенной, готовой рвануться с места машине.

Он уже собрался выйти из кабинета, как вдруг вспомнил, что забыл сказать ей об одном деле.

— Оуэн Келлог просил принять его. Она удивленно посмотрела на него.

— Интересно. Я и сама собиралась послать за ним. Пусть его вызовут, я хочу с ним поговорить. Эдди, — неожиданно добавила она, — распорядись, чтобы меня соединили с музыкальным издательством Эйерса.

— С музыкальным издательством Эйерса? — повторил он, не веря своим ушам.

— Да, я хочу кое о чем спросить.

Когда мистер Эйерс вежливо-мягким тоном поинтересовался, чем он может быть ей полезен, она спросила:

— Не могли бы вы мне сказать, написал ли Ричард Хэйли новый концерт для фортепиано с оркестром?

— Пятый концерт, мисс Таггарт? Разумеется, нет.

— Вы уверены?

— Абсолютно, мисс Таггарт. Он вообще ничего не написал за последние восемь лет.

— А он еще жив?

— Да, жив, а что? Вернее, я не могу сказать точно, о нем уже давно ничего не слышно. Но если бы он умер, нам наверняка стало бы об этом известно.

— А если бы он что-то написал, вы бы знали об этом?

— Несомненно. Мы узнали бы это первыми. Мы публикуем все его сочинения. Но он давно ничего не пишет.

— Понятно. Спасибо.

Когда Оуэн Келлог вошел в ее кабинет, она с удовлетворением отметила, что ее смутные воспоминания о его внешности верны. У него был тот же тип лица, что и у молодого кондуктора, которого она видела в поезде. Это было лицо человека, с которым она могла работать.

— Садитесь, мистер Келлог, — сказала она. Но он продолжал стоять перед ее столом.

— Мисс Таггарт, вы меня как-то попросили предупредить вас в случае, если я решу сменить место работы. Я пришел сказать, что увольняюсь.

Она ожидала чего угодно, только не этого. Прошло какое-то время, прежде чем она тихо спросила:

- Почему?
- По личным причинам.
- Вам не нравится работать у нас?
- Нравится.
- Вам предложили что-то лучшее?
- Нет.
- На какую железную дорогу вы переходите?
- Я не собираюсь переходить ни на какую железную дорогу.
- Чем же вы собираетесь заниматься?
- Пока не решил.

Она рассматривала его с чувством легкой обеспокоенности. На его лице не было и тени враждебности. Он смотрел ей прямо в глаза и отвечал на вопросы просто и откровенно, как человек, которому нечего скрывать или выставлять напоказ. Его лицо было вежливым и бесстрастным.

- Тогда почему вы хотите уйти?
  - Из личных соображений.
  - Вы больны? Это как-то связано с вашим здоровьем?
  - Нет.
  - Вы уезжаете из города?
  - Нет.
  - Вы что, получили наследство, которое позволяет вам больше не работать?
  - Нет.
  - Значит, вы собираетесь и дальше зарабатывать себе на жизнь?
  - Да.
  - Но не желаете работать в «Таггарт трансконтинентал»?
  - Нет.
  - В таком случае должно было произойти что-то, что вынудило вас принять это решение. Что?
  - Ничего не произошло, мисс Таггарт.
  - Я хочу, чтобы вы сказали мне. Я хочу это знать, и у меня есть на то свои причины.
  - Мисс Таггарт, вы поверите мне на слово?
  - Да.
  - Никто и ничто связанное с моей работой в вашей компании не имеет никакого отношения к моему решению.
  - И у вас нет никаких особых претензий к компании?
  - Никаких.
  - В таком случае, мне кажется, вы измените свое решение, когда узнаете, что я хочу вам предложить.
  - Извините, мисс Таггарт, я не могу изменить его.
  - Могу я сказать, что я имею в виду?
  - Да, если вы этого хотите.
  - Вы поверите мне на слово, если я скажу, что решила предложить вам должность, которую собираюсь предложить, еще до того, как вы попросили о встрече со мной? Я хочу, чтобы вы это знали.
  - Я всегда поверю вам на слово, мисс Таггарт.
  - Это должность управляющего отделением дороги в Огайо. Если хотите, она — ваша.
- На его лице ничего не отразилось, словно ее слова значили для него не больше, чем для первобытного человека, который никогда не слышал о железной дороге.
- Мне это не нужно, мисс Таггарт.
- Минуту поразмыслив, она сказала твердым голосом:

— Назовите свои условия, Келлог. Назовите свою цену. Я хочу, чтобы вы остались. Я в состоянии предложить больше, чем любая другая железная дорога.

— Я не собираюсь работать на другой железной дороге.

— А мне казалось, что вы любите свою работу.

Эти слова впервые вызвали в нем какие-то эмоции. Его глаза слегка расширились, а голос прозвучал как-то странно тихо и выразительно, когда он ответил:

— Да, я люблю ее.

— Тогда скажите, что я должна сделать, чтобы удержать вас.

Это вырвалось у нее непроизвольно и прозвучало настолько искренне, что он взглянул на нее так, словно ее слова наконец-то расшевелили его.

— Мисс Таггарт, наверное, было нечестно с моей стороны прийти к вам и сказать, что я ухожу. Я знаю, вы попросили предупредить вас о моем уходе, чтобы иметь возможность сделать мне контрпредложение. Таким образом, это выглядит так, будто я пришел набивать себе цену. Но это совсем не так. Я пришел только потому, что... хотел сдержать данное вам слово.

Эта единственная заминка в его голосе словно внезапная вспышка прояснила, как много для него значило ее доверие и то предложение, которое она ему сделала, равно как и то, что ему было очень нелегко принять решение.

— Неужели нет ничего, что я могла бы предложить вам?

— Ничего, мисс Таггарт. Ничего на свете.

Он повернулся и направился к двери. Впервые в жизни она почувствовала себя совершенно беспомощной и побежденной.

— Почему? — спросила она, не обращаясь к нему.

Он остановился, пожал плечами и улыбнулся. На мгновение он словно ожил — это была самая загадочная улыбка, какую она когда-либо видела. В ней заключалась скрытая радость, глубокая печаль и бесконечная горечь.

— Кто такой Джон Галт? — спросил он.

## Глава 2

### Цепь

Началось с нескольких отдельных огоньков. По мере того как поезд компании «Таггарт трансконтинентал» подъезжал к Филадельфии, они превратились в разреженную цепь ярких огней, разрывающих темноту ночи. Они казались совершенно бессмысленными посреди голой равнины, но были слишком яркими, чтобы не иметь никакого назначения. Пассажиры лениво смотрели на них с выражением полного безразличия.

Затем появились черные, едва различимые на фоне ночного неба очертания огромного здания, стоявшего неподалеку от железнодорожного полотна. Его сплошные стеклянные стены озарялись лишь отраженными огнями проходившего поезда.

Встречный товарный состав закрыл здание, заполнив все вокруг резким, пронзительным гулом. В те внезапные мгновения, когда мимо пассажиров проносились низкие грузовые платформы, вдали можно было увидеть сооружения, над которыми нависало тяжелое красноватое зарево. Казалось, строения дышат, но дышат судорожно, неровно, и с каждым выдохом отблески зарева меняли оттенки.

Последний товарный вагон промчался мимо, и взорам пассажиров предстали угловатые строения, освещенные лучами нескольких мощных прожекторов и окутанные красными, как и небо, клубами пара.

Потом появилось нечто похожее не на здание, а скорее на огромную раковину из рифленого стекла, замыкающую опоры, балки и краны в круг ослепительно яркого оранжевого пламени.

Люди в поезде не могли понять всей сложности представшей перед ними панорамы, напоминающей протянувшийся на десятки километров город, который жил своей жизнью,

казалось, без малейшего участия человека. Они видели опоры, похожие на покосившиеся небоскребы, зависшие между небом и землей мосты и краны, внезапно появлявшиеся за толстыми стенами строений, из которых струей вырывалось пламя. Они видели цепочку плывущих сквозь ночную тьму светящихся цилиндров — это были раскаленные докрасна металлические болванки.

Здание компании стояло неподалеку от железнодорожного полотна. Огни огромных неоновых букв над крышей осветили салоны вагонов проезжавшего мимо поезда. Буквы гласили: «Рearдэн стил».

Один из пассажиров, профессор экономики, заметил своему соседу:

— Что может значить отдельный человек по сравнению с колоссальными достижениями коллектива в нашу индустриальную эпоху?

Другой пассажир, журналист, сделал заметку для будущей статьи: «Хэнк Рearдэн клеит бирку со своим именем на все, к чему прикасается. Из этого вы сами можете сделать вывод, что он за человек».

Поезд стремительно убегал во тьму, когда из-за высокого строения прорезала небо ярко-красная вспышка. Никто из пассажиров поезда не обратил на нее никакого внимания. Начало новой плавки не относилось к тем событиям, которые их научили замечать.

Это была плавка первого заказа на металл Рearдэна. У рабочих, стоявших в литейном цехе у выпускного отверстия мартена, первый поток жидкого металла породил удивительное ощущение наступившего утра. Растекавшаяся по желобу узкая жидкая полоска искрилась белизной солнечного света. Озаренные ярко-красными вспышками клубы пара с шипением вздымались вверх. Фонтаны искр судорожно били в разные стороны, словно кровь из лопнувшей артерии. Казалось, что, отражая бушующее пламя, пространство разорвется в клочья. Что раскаленный извивающийся поток вырвется из-под контроля человека и поглотит все вокруг. Но в самом жидком металле не было и намека на неистовство. Длинный белый ручеек струился с мягкостью нежной ткани, излучая сияние, подобное тому, что исходит от дружеской улыбки. Он послушно стекал по глиняному желобу и падал с высоты шести метров в литейный ковш, рассчитанный на двести тонн. Над плавным потоком поднимались снопы искр, казавшиеся изящными, как кружево, и безобидными, как бенгальские огни. Лишь присмотревшись, можно было заметить, что этот ручеек кипит. Временами из него вылетали огненные брызги и падали вниз, на землю. Это были брызги расплавленного металла. Ударившись о землю, они остывали и окутывались пламенем.

Двести тонн сплава более прочного, чем сталь, текучая жидкая масса температурой четыре тысячи градусов была способна уничтожить все вокруг. Но каждый дюйм потока, каждая молекула вещества, составлявшего этот ручеек, контролировались создавшим его человеком, являлись результатом упорных десятилетних исканий его разума.

Озарявшие темноту ослепительно-алые отблески время от времени освещали лицо человека, стоявшего в дальнем углу цеха. Он стоял, прислонившись к колонне, и смотрел. На мгновение ярко-красная вспышка отразилась в бледно-голубых, как лед, глазах, затем, пробежав по темному ребру колонны, осветила пепельные пряди волос и опустилась на пояс и карманы пальто, в которые были засунуты руки. Это был высокий худощавый мужчина. Он всегда был слишком высок для окружающих. У него было скуластое, изрезанное морщинами лицо. Но это были не те морщины, которые появляются с возрастом. Они всегда были у него; из-за них он выглядел значительно старше, когда ему было двадцать, и казался намного моложе теперь, в сорок пять. С тех пор как он себя помнил, ему все время говорили, что у него неприятное лицо, потому что оно было непреклонным и суровым, лишенным всякого выражения. Оно ничего не выражало и сейчас, когда он стоял, глядя на расплавленный поток. Это был Хэнк Рearдэн.

Расплавленная масса заполнила ковш и начала обильно переливаться через край. Затем ослепительно-белые струйки побагровели и через мгновение превратились в серые железные сосульки, которые одна за другой начали крошиться и падать на землю. Поверхность остывавшего в ковше металла начала затягиваться бугристой, похожей на земную кору

коркой шлака. Она становилась все толще и толще, в нескольких местах образовывались кратеры, в которых вес еще кипела расплавленная масса.

Высоко над головой в воздухе проплыла кабина крана, в которой сидел рабочий. Одной рукой он небрежно переключил рычаг, и огромные стальные крюки, свисавшие с цепей, поползли вниз, зацепили дужки ковша и легко, словно бидон с молоком, подняли его вверх.

Двести тонн расплавленного металла легко плыли по воздуху по направлению к литейным формам.

Хэнк Репардэн откинул голову назад и закрыл глаза. Он чувствовал, как от грохота крана дрожит колонна. «Дело сделано», — подумал он.

Рабочий увидел его и понимающе улыбнулся; это была улыбка собрата по великому торжеству, который знал, почему этот высокий светловолосый человек должен был быть здесь сегодня вечером. Репардэн улыбнулся в ответ. Улыбка рабочего была единственным поздравлением, которое он получил. Он повернулся и пошел обратно в свой кабинет. Лицо его вновь ничего не выражало.

Было уже очень поздно, когда он вышел из кабинета и пошел домой. Дом был довольно далеко от завода, и ему предстояло пройти несколько миль по безлюдной, пустынной местности, но, сам не зная почему, он решил пойти пешком.

Он шел, сунув одну руку в карман и сжимая в пальцах браслет в форме цепочки, сделанный из своего сплава. Время от времени он шевелил пальцами, перебирая звенья браслета. Ему потребовалось десять лет, чтобы сделать его. Десять лет, думал он, это долгий срок.

Дорога была темная, с обеих сторон поросшая деревьями. Глядя вверх, он увидел на фоне звездного неба несколько высохших, свернувшихся листочков, которые вот-вот должны были опасть. Впереди в окнах домов, стоявших поодаль друг от друга, горел свет, и от этого дорога казалась еще более безлюдной и затерянной в темноте.

Ему никогда не было одиноко, за исключением тех минут, когда он чувствовал себя счастливым. Время от времени он оборачивался, чтобы взглянуть на разливавшееся в небе над заводом зарево.

Он не думал о прошедших десяти годах. К этому дню от них осталось лишь чувство, которому он сам не мог дать точного определения, оно было спокойным и торжественным. Это чувство было итогом, и ему незачем было вновь пересчитывать составлявшие его слагаемые. Но слагаемые, хотя он и не вспоминал о них, оставались с ним.

Это были ночи, проведенные у огнедышащих печей в исследовательских лабораториях, ночи, проведенные в трудах над листами бумаги, которые он исписывал формулами и рвал в клочья, доведенный до отчаяния очередной неудачей.

Это были дни, когда небольшая группа молодых исследователей, которых он отобрал себе в помощь, ждала его указаний, как солдаты, готовые к безнадежному сражению, истощившие все силы, но по-прежнему рвущиеся в бой, только уже молча; и в их молчании слышались произнесенные слова: «Мистер Репардэн, это невозможно».

Это были минуты, когда он вскакивал, не закончив еду, из-за стола, внезапно озаренный новой идеей, которой нельзя было дать ускользнуть, которую нужно было осуществить и проверить, над которой он затем работал долгие месяцы, чтобы в конце концов отвергнуть как очередную неудачу.

Это были минуты, которые он пытался урвать от совещаний и деловых встреч, которые он, будучи человеком чрезвычайно занятым, человеком, которому принадлежали лучшие сталелитейные заводы в стране, пытался выкроить всеми способами, при этом почти чувствуя вину, словно он спешил на тайное свидание.

Все эти десять лет, что бы он ни делал и что бы ни видел, он был одержим одной мыслью. Эта мысль не давала ему покоя, когда он смотрел на городские здания, на железную дорогу, на отдаленные огни в окнах фермерских домов, на нож в руке безупречной светской женщины, отрезавшей кусочек фрукта во время банкета. Все это время, всегда и везде, он думал о металлическом сплаве, который превзошел бы сталь во всех отношениях, о сплаве,



который по отношению к стали стал бы тем, чем стала сталь по отношению к чугуну.

Это был длительный процесс самоистязания, когда он, потеряв всякую надежду и выбросив очередной забракованный образец, не позволял себе признаться в том, что устал, не давал себе времени чувствовать, а подвергая себя мучительным поискам, твердил: «Не то... все еще не то», — и продолжал работать, движимый лишь твердой верой в то, что может это сделать.

Потом настал день, когда это свершилось, — результат был назван металлом Реардэна.

Все это, доведенное до белого каления, растеклось и переплавилось в его душе — и сплавом стало странное спокойное чувство, которое заставляло его улыбаться, идя по темной, пустынной дороге, и изумляться тому, что счастье может причинять боль.

Он вдруг осознал, что думает о прошлом так, словно некоторые из минувших дней разворачивались перед ним, требуя, чтобы на них взглянули вновь. Ему не хотелось этого делать. Он презирал воспоминания, видя в них лишь бессмысленное потворство своим слабостям. Но он позволил себе оглянуться назад, на прожитые годы, вдруг поняв, что вспоминает о них из-за того браслета, который лежал сейчас у него в кармане.

Ему вспомнился день, когда, стоя на выступе скалы, он чувствовал, как струйки пота стекают по виску вниз, к шее. Ему было тогда четырнадцать лет, и это был его первый трудовой день на руднике в Миннесоте. Ему было тяжело дышать из-за жгучей боли в груди, и он стоял, ругая себя за то, что устал. Постояв так с минуту, он снова принялся за дело, решив, что боль не является достаточно веской причиной, чтобы прекратить работу.

Он вспомнил день, когда, стоя у окна своего кабинета, смотрел на рудник, с того утра принадлежащий ему. Тогда ему было тридцать.

То, что произошло с ним за шестнадцать лет, разделявших эти два дня, не имело никакого значения, так же как когда-то для него ничего не значила боль. Все это время он работал на рудниках и сталелитейных заводах севера страны, упорно продвигаясь к избранной цели. Единственным запомнившимся ему за время работы во всех этих местах было то, что люди вокруг, казалось, никогда не знали, что нужно делать, в то время как он знал это всегда. Он вспомнил, что задавался вопросом, почему по всей стране закрывалось столько рудников, как закрылся бы и этот, если бы он его не купил. Он мысленно взглянул на выступы маячившей в далеком прошлом скалы. Там рабочие укрепляли над воротами новую вывеску: «Рудники Реардэна».

Ему вспомнился день, когда он сидел у себя в кабинете, навалившись всем телом на стол. Было уже поздно, служащие разошлись по домам, и он мог лежать так. Он очень устал. Он словно участвовал в изнурительной гонке против собственного тела, и усталость, накопившаяся за эти годы, усталость, в которой он не хотел себе признаться, вдруг навалилась на него всей своей тяжестью и прижала к крышке стола. Он ничего не чувствовал, кроме желания не шевелиться. У него не было сил чувствовать, не было сил даже страдать. Казалось, он сжег всю свою энергию, извел на искры, приведшие в действие великое множество дел, и теперь, когда у него не было сил даже подняться, он спрашивал себя, может ли кто-нибудь вдохнуть в него ту единственную искорку, которая была ему так нужна. Он спрашивал себя, кто привел в движение его самого, кто поддерживает в нем это движение. Потом он поднял голову и медленно, с невероятным усилием поднял туловище и выпрямился в кресле, опершись дрожащей рукой о стол. Никогда больше он не задавал себе этого вопроса.

Он вспомнил день, когда, стоя на вершине холма, смотрел на угрюмо-безжизненные строения заброшенного сталелитейного завода, который купил накануне. Дул сильный ветер, и в сумрачном свете, пробивавшемся из-под нависших над головой туч, он видел грязно-красную, словно мертвая кровь, ржавчину на теле гигантских кранов и ярко-зеленые полчища сорняков, разросшихся над кучами битого стекла у подножья зияющих голыми каркасами стен. Вдали у ворот виднелись темные силуэты людей. Это были безработные из когда-то процветавшего, но пришедшего в упадок и теперь неторопливо умиравшего городка. Они молча глядели на роскошную машину, которую он оставил у заводских ворот,

и спрашивали себя, действительно ли человек, стоящий на холме, — тот самый Генри Реардэн, о котором так много говорят, и правда ли, что заводы вскоре вновь откроются. В те дни газеты писали: «Очевиден тот факт, что сталелитейное дело в Пенсильвании идет на спад. Эксперты единодушно сходятся в одном — затея Реардэна со сталью обречена на провал. Возможно, вскоре мы станем свидетелями скандального конца скандального Генри Реардэна».

Это было десять лет назад. Холодный ветер, дувший сейчас ему в лицо, словно долетел из того далекого дня. Он оглянулся. В небе над заводом полыхало алое зарево. В этом зрелище чувствовалось таинство рождения жизни, подобное восхождению утреннего солнца.

Это были этапы его пути — станции, которые оставил позади его поезд. Между этими станциями пролегли годы, но он осознавал их очень смутно и расплывчато — так все расплывается перед глазами от ветра, когда мчишься на огромной скорости.

Но все мучения и нечеловеческие усилия, думал он, стоили того, потому что благодаря им настал этот день, день, когда была выплавлена первая партия металла Реардэна, которая станет рельсами для «Таггарт трансконтинентал».

Он прикоснулся пальцами к лежавшему в кармане браслету. Этот браслет он сделал для своей жены из первой плавки нового металла.

Реардэн вдруг осознал, что подумал о чем-то абстрактном, именуемом «моя жена», а не о женщине, на которой был женат. Он пожалел внезапно, что сделал браслет, и вслед за этим ощутил угрызения совести за это сожаление.

Он тряхнул головой. Сейчас не время для былых сомнений. Сейчас он мог бы простить что угодно и кому угодно, потому что счастье облагораживает. Он ощущал уверенность в том, что сегодня каждый человек желал ему только добра. Ему очень хотелось кого-нибудь встретить, встать с распростертыми объятиями перед первым встречным незнакомым человеком и сказать: «Посмотри на меня». Он думал о том, что людям так не хватает радости и они жаждут малейшего ее проявления, чтобы хоть на мгновение освободиться от мрачного бремени страдания, которое казалось ему, сполна изведавшему эту жажду, таким необъяснимым и ненужным. Он так и не смог понять, почему люди должны быть несчастны.

Погруженный в свои мысли, он не заметил, как дошел до вершины холма. Он остановился и обернулся. Далеко на востоке узкой полоской полыхало зарево, а над ним на фоне ночного неба висели казавшиеся отсюда маленькими неоновые буквы: «Сталь Реардэна».

Он стоял выпрямившись, как перед судом, и думал о том, что в разных концах страны в темноте этой ночи полыхают неоновые слова: «Рудники Реардэна», «Угольные шахты Реардэна», «Каменноломни Реардэна».

Он подумал о прожитых годах, и ему вдруг захотелось зажечь над ними слова «Жизнь Реардэна».

Он резко повернулся и пошел дальше.

Он заметил, что по мере того, как он приближался к дому, его шаги становились медленнее, а радостное настроение постепенно улетучивалось. Он ощутил смутное нежелание входить в дом. Он вовсе не хотел его чувствовать. Нет, думал он, не сегодня; сегодня они поймут. Но он не знал и никогда не мог точно определить, какого именно понимания он ожидал от них.

Подойдя к дому, он увидел свет в окнах гостиной. Дом стоял на холме, возвышаясь над ним белой громадой. Его украшали лишь несколько псевдоколониальных пилястр, и то как бы неохотно. Дом представал в безрадостной наготе, лишенной какой бы то ни было привлекательности.

Реардэн не был уверен, что жена заметила его, когда он вошел в комнату. Она говорила, сидя у камина и грациозно жестикулируя, пытаясь придать особую выразительность своим словам. Он услышал, как она на мгновение запнулась, и решил было, что она его увидела, но, не поворачивая головы, она продолжала говорить.

— ...дело в том, что человеку искусства совершенно неинтересны так называемые

чудеса технической изобретательности, — говорила она. — Он попросту не желает восторгаться канализацией. — Тут она повернула голову, посмотрела на стоявшего в тени Реардэна и, всплеснув изящными, как лебединая шея, руками, спросила с нарочито веселым изумлением: — О, дорогой. Не рановато ли ты сегодня? Неужели не возникло необходимости замести шлак или надраить заслонки?

Все повернулись к нему: мать, его брат Филипп и Пол Ларкин — давний друг их семьи.

— Извините. Я знаю, что уже поздно, — сказал он.

— Я не хочу слышать никаких извинений, — сказала его мать. — Ты мог хотя бы позвонить.

Он посмотрел на нее, смутно пытаясь что-то вспомнить.

— Ты обещал быть сегодня к ужину.

— Да, действительно обещал. Извини, мама, но сегодня на заводе мы выплавили... — Он вдруг замолчал не договорив. Он не знал, что помешало ему выговорить то, что он так хотел сказать. Лишь добавил: — Я просто... просто забыл.

— Именно это мама и имела в виду, — сказал Филипп.

— Ой, да дайте же ему прийти в себя. Он мыслями все еще на своем заводе, — весело сказала его жена. — Да сними же пальто, Генри.

Пол Ларкин сидел, глядя на него по-собачьи преданными глазами.

— Привет, Пол. Ты давно ждешь? — спросил Реардэн. Пол улыбнулся в благодарность за проявленное к нему внимание:

— Да нет. Мне удалось вскочить в пятичасовой из Нью-Йорка.

— Что, какие-нибудь проблемы?

— А у кого в наши дни нет проблем? — На его лице появилась покорная улыбка, дававшая понять, что замечание чисто философского характера. — Нет, на этот раз никаких проблем. Просто решил повидаться с тобой.

Жена рассмеялась:

— Ты разочаровал его, Пол. — Она повернулась к Реардэну: — Генри, это что, комплекс неполноценности собственного превосходства? Ты полагаешь, что с тобой никто не желает повидаться просто так, или считаешь, что никто не может обойтись без твоей помощи?

Он хотел было сердито возразить, но она улыбнулась ему так, словно это всего лишь шутка, а у него уже просто не осталось сил на несерьезную болтовню, поэтому он ничего не ответил. Он стоял, глядя на нее, и размышлял о том, чего никогда не мог понять.

Лилиан Реардэн все считали красивой женщиной. Она была высокого роста, и у нее была очень грациозная фигура, казавшаяся особенно привлекательной в платьях стиля ампир, с высокой талией, которые она любила. У нее был изысканный профиль, его чистые, гордые линии и блестящие пряди светло-каштановых волос, уложенных с классической простотой, создавали впечатление строгой аристократической красоты. Но когда она поворачивалась в фас, люди обычно испытывали легкое разочарование. Ее лицо нельзя было назвать красивым, особенно глаза — какие-то водянисто-бледные, не серые и не карие, они казались безжизненно-пустыми, лишенными всякого выражения. Реардэна всегда удивляло, почему на ее лице никогда не было выражения радости, ведь она так часто смеялась.

— Дорогой, мы с тобой уже встречались раньше, — сказала она в ответ на его пристальный взгляд. — Хотя, кажется, ты в этом не уверен.

— Генри, ты ужинал сегодня? — спросила его мать укоризненно-раздраженным голосом, словно то, что он был голоден, являлось для нее личным оскорблением.

— Да... Нет... я не был голоден.

— Я скажу прислуге, чтобы...

— Нет, мама, не сейчас. Это неважно.

— Вот оттого-то мне с тобой так трудно. — Она не смотрела на него и говорила в пустоту. — О тебе бесполезно заботиться, ты все равно этого не ценишь. Я никогда не могла заставить тебя правильно питаться.

— Генри, ты слишком много работаешь, — сказал Филипп, — нельзя так.

Рearдэн рассмеялся:

— Но мне это нравится.

— Ты просто убеждаешь себя в этом. Это у тебя что-то вроде нервного расстройства. Когда человек с головой уходит в работу, он делает это, чтобы найти спасение от чего-то, что мучит его. Тебе следует найти себе какое-нибудь хобби.

— Перестань ради Бога, Фил, — сказал Рearдэн и пожалел, что его голос прозвучал так раздраженно.

Филипп никогда не мог похвалиться крепким здоровьем, хотя доктора не находили никаких особых дефектов в его долговязо-нескладном теле. Ему было тридцать восемь лет, но из-за хронического выражения усталости на лице иногда казалось, что он старше своего брата.

— Ты должен научиться как-то развлекаться, — продолжал Филипп, — иначе ты станешь скучным, ограниченным человеком. Зациклишься. Пора тебе выбраться из своей норы и взглянуть на мир. Ты же не хочешь вот так загубить свою жизнь.

Подавляя гнев, Рearдэн старался убедить себя, что Филипп пытается проявить заботу о нем. Он говорил себе, что с его стороны несправедливо негодовать: они все хотели показать, что беспокоятся о нем, но ему не хотелось, чтобы его работа была причиной их беспокойства.

— Я сегодня прекрасно развлекся, Фил, — — сказал он улыбаясь и удивился, почему тот не спросил его, чем именно.

Ему очень хотелось, чтобы кто-нибудь задал ему этот вопрос. Ему было трудно сосредоточиться. Белая струя металла все еще стояла у него перед глазами, целиком заполняя сознание и не оставляя места ни для чего другого.

— Вообще-то мог бы и извиниться, но я слишком хорошо тебя знаю и на извинения не рассчитываю.

Голос принадлежал его матери. Он обернулся. Она смотрела на него обиженным взглядом беззащитного, а потому обреченного на смирение человека.

— Сегодня у нас ужинала мисс Бичмен.

— Кто?

— Мисс Бичмен, моя подруга.

— Да?

— Я тебе много раз рассказывала о ней, но ты никогда ничего не помнишь из того, что я говорю. Она так хотела познакомиться с тобой, но должна была уйти сразу после ужина. Мисс Бичмен очень занятой человек. Ей хотелось рассказать тебе о том, что мы делаем в приходской школе, о занятиях слесарным делом и о резных дверных ручках, которые детишки делают своими руками.

Ему потребовалось все самообладание, чтобы из уважения к матери ответить спокойным голосом:

— Извини, мама. Мне очень жаль, что я расстроил тебя.

— Да ничего тебе не жаль. Ты вполне мог бы прийти, если бы захотел. Но разве ты хоть раз сделал что-то для кого-нибудь, кроме себя? Мы все тебе глубоко безразличны, тебя не интересует, что мы делаем. Ты считаешь, что раз ты оплачиваешь счета, то этого вполне достаточно. Деньги! Ты только это и знаешь. И ничего, кроме денег, мы от тебя не видим. Ты хоть раз уделил кому-нибудь из нас хоть капельку внимания?

Если она хотела сказать, что скучает по нему, это означало, что она его любит; а раз она его любит, с его стороны несправедливо испытывать тяжелое, мрачное чувство, которое вынуждало его молчать, чтобы его голос не выдал, что это чувство — отвращение.

— Тебе на все наплевать, — продолжала она умоляюще язвительным тоном. — Ты сегодня был нужен Лилиан по очень важному делу, но я сразу сказала, что бесполезно тебя дожидаться.

— Мама, это не имеет никакого значения. Во всяком случае, для Генри, — сказала

Лириан.

Он повернулся к ней. Он стоял посреди комнаты, так и не сняв пальто, словно все вокруг него было нереальным и далеким от действительности.

— Это не имеет совершенно никакого значения, — весело повторила Лириан.

Он не мог определить, каким тоном она говорила — оправдывающимся или самодовольным.

— Это некоммерческий вопрос. Он не имеет никакого отношения к бизнесу.

— И что же это?

— Просто я хочу устроить прием.

— Прием?

— О, не пугайся, дорогой, не завтра. Я знаю, что ты очень занят, но я планирую его через три месяца и хочу, чтобы это было большим, особым событием, поэтому не мог бы ты мне пообещать, что будешь в этот вечер дома, а не где-то в Миннесоте, Колорадо или Калифорнии?

Она как-то странно смотрела на него. Ее слова звучали легко, беспечно и в то же время многозначительно, ее улыбка, казавшаяся подчеркнуто простодушной, таила какой-то подвох.

— Через три месяца? Но ты же прекрасно понимаешь, что я не знаю наперед, какие неотложные дела могут заставить меня уехать из города.

— О, я понимаю. Но могу я назначить тебе деловое свидание, как управляющий железной дорогой, автомобилестроительным заводом или сборщик мусора, э... металлолома? Говорят, о деловых встречах ты не забываешь. Разумеется, ты волен выбрать тот день, который тебя больше устроит. — Она смотрела ему прямо в глаза, слегка наклонив голову, и в ее взгляде, направленном снизу вверх, сквозила какая-то особая женская мольба. Она спросила слегка небрежно и вместе с тем очень осторожно: — Я имела в виду десятое декабря, но может быть, тебя больше устроит девятое или одиннадцатое?

— Мне все равно.

— Десятое декабря — годовщина нашей свадьбы, Генри, — нежно сказала она.

Все смотрели на него, ожидая увидеть на его лице осознание своей вины, но по нему промелькнула лишь едва уловимая улыбка, словно слова жены лишь несколько позабавили его.

Нет, думал Реардэн, едва ли она рассчитывала этим уязвить его, ведь ему достаточно отказаться признать за собой какую-либо вину за свою забывчивость, и тогда уязвленной окажется она. Она знает, что может рассчитывать на его чувства к ней. Ее мотивом, думал он, было желание проверить его чувства и признаться в своих. Прием был не его, а ее способом отмечать торжество. Для него прием ровным счетом ничего не значил, в ее же понимании это лучшее, что она могла предложить в знак любви к нему и в память об их браке. Он должен уважать ее намерения, хотя и не разделяет ее представлений и не уверен, что какие бы то ни было знаки внимания с ее стороны ему до сих пор небезразличны. Он вынужден был уступить, потому что она полностью сдалась на его милость.

Он искренне и дружелюбно улыбнулся, признавая ее победу.

— Хорошо, Лириан, обещаю быть дома вечером десятого декабря, — сказал он спокойно.

— Спасибо, дорогой.

Она как-то загадочно улыбнулась, и ему на мгновение показалось, что его ответ всех разочаровал.

Если она доверяла ему, если еще сохранила какие-то чувства к нему, то и он готов ответить ей тем же.

Он должен был это сказать, потому что хотел сделать это, как только вошел; только об этом он и мог говорить сегодня.

— Лириан, извини, что я вернулся так поздно, но сегодня мы выдали первую плавку металла Реардэна.

На минуту воцарилась тишина. Затем Филипп сказал:

— Что ж, очень мило. Другие промолчали.

Он сунул руку в карман. Прикоснувшись пальцами к браслету, он словно вернулся в реальный мир и опять ощутил чувство, охватившее его, когда он смотрел на поток расплавленного металла.

— Лилиан, я принес тебе подарок, — сказал он, протягивая ей браслет.

Он не знал, что, опуская на ее ладонь браслет, стоит навтыжку, что его рука повторяет жест крестоносца, вручающего любимой свои трофеи.

Лилиан взяла браслет кончиками пальцев и подняла вверх, к свету. Звенья цепочки были тяжело-грубоватыми, какого-то странного зеленовато-голубого оттенка.

— Что это?

— Это первая вещь, сделанная из капель первой плавки металла Реардэна.

— Ты хочешь сказать, что это по ценности не уступает куску железнодорожной рельсы?

Он посмотрел на нее несколько озадаченно. Она стояла, позвякивая блестящим в ярком свете браслетом.

— Генри, это просто очаровательно! Как оригинально! Я произведу фурор, появившись в Нью-Йорке в украшениях, сделанных из того же металла, что и опоры мостов, моторы грузовиков, кухонные духовки, пишущие машинки и — что ты мне еще говорил? — а... суповые кастрюли.

— О Господи, Генри, какое тщеславие! — сказал Филипп.

— Он просто сентиментален, как все мужчины. Спасибо, дорогой, я оценила его. Я понимаю, что это не просто подарок.

— А я считаю, что это чистой воды эгоизм, — сказала мать. — Другой на твоём месте принес бы браслет с бриллиантами, потому что хотел бы доставить подарком удовольствие своей жене, а не себе. Но ты считаешь, что если изобрел очередную железку, то она для всех дороже бриллиантов только потому, что ее изобрел ты. Ты уже в пять лет был таким, и я всегда знала, что ты вырастешь самым эгоистичным созданием на земле.

— Ну что вы, мама, это просто очаровательно. Спасибо, дорогой.

Лилиан положила браслет на стол, встала на цыпочки и поцеловала Реардэна в щеку. Он не пошевелился и не наклонился к ней.

Постояв так с минуту, он повернулся, снял пальто и сел у камина, в стороне от остальных. Он ничего не чувствовал, кроме невероятной усталости.

Он не слушал, о чем они говорят, едва различая голос Лилиан, которая, защищая его, спорила с его матерью.

— Я знаю его лучше, чем ты, — говорила мать. — Его никто и ничто не интересует, если это не касается его работы. Его интересует только работа. Я всю жизнь пыталась воспитать в нем хоть чуточку человечности, но все было бесполезно.

Реардэн предоставил матери неограниченные средства, так что она могла жить, где и как захочет. Он спрашивал себя, почему она настояла на том, чтобы жить с ним. Он думал, что его успех, возможно, кое-что значит для нее, и если так, что-то их все же связывает, что-то такое, чего он не может не признать. Если она хочет жить в доме своего добившегося успеха сына, он не станет ей в этом отказывать.

— Бесполезно делать из Генри святого, мама. Это ему не дано, — сказал Филипп.

— Ты не прав, Фил. Ох, как ты не прав, — сказала Лилиан. — Беда как раз в том, что у Генри есть все задатки святого.

Чего они от меня хотят? — думал Реардэн. Чего добиваются? Ему от них никогда ничего не было нужно. Это они все время что-то требовали от него, и, хотя это выглядело любовью и привязанностью, выносить это было намного тяжелее, чем любую ненависть. Он презирал беспричинную любовь, как презирал незаработанное собственным трудом богатство. Они любили его по каким-то непонятным причинам и игнорировали все то, за что он хотел быть любимым. Он спрашивал себя, каких ответных чувств они от него

добиваются, — если только им нужны его чувства. А хотели они именно его чувств. В противном случае не было бы постоянных обвинений в его безразличии к ним, не было бы хронической атмосферы подозрительности, как будто они на каждом шагу ожидали, что он причинит им боль. У него никогда не было такого желания, но он всегда чувствовал их недоверчивость и настороженность. Казалось, все, что он говорил, задевало их за живое; дело было даже не в его словах и поступках. Можно было подумать, что их ранило само его существование. «Перестань воображать всякую чепуху», — приказал он себе, пытаясь разобраться в головоломке со всем присущим ему чувством справедливости. Он не мог осудить их не поняв, а понять их он не мог. Любит ли он их? Нет, подумал он, он всегда лишь хотел любить их, что не одно и то же. Он хотел любить их во имя неких скрытых ценностей, которые прежде пытался распознать в каждом человеке. Сейчас он не испытывал к ним ничего, кроме равнодушия. Не было даже сожаления об утрате. Нужен ли ему кто-нибудь в личной жизни? Ощущает ли он в самом себе нехватку некоего очень желанного чувства? Нет, думал он. Был ли в его жизни период, когда он ощущал это? Да, думал он, в молодости, но не теперь.

Чувство усталости все нарастало. Он вдруг понял, что это от скуки. Он всячески пытался скрыть это от них и сидел неподвижно, борясь с желанием уснуть, которое постепенно перерастало в невыносимую физическую боль.

Глаза у него уже слипались, когда он почувствовал мягкие влажные пальцы, коснувшиеся его руки. Пол Ларкин придвинулся к нему для доверительного разговора.

— Мне плевать, что там об этом говорят, Хэнк, но твой сплав — стоящая вещь. Ты сделаешь на нем состояние, как и на всем, за что берешься.

— Да, — сказал Реардэн. — Я знаю.

— Я просто... просто надеюсь, что у тебя не будет неприятностей.

— Каких неприятностей?

— Ну, я не знаю... ты же знаешь, как все обстоит сейчас... есть люди, которые... не знаю... всякое может случиться.

— Что может случиться?

Ларкин сидел, сгорбившись, глядя на него нежно-молящими глазами. Его короткое пухловатое тело казалось каким-то незащищенным и незавершенным, будто ему не хватало раковины, в которой он, как улитка, мог бы спрятаться при малейшей опасности. Грустные глаза и потерянная, беспомощная, обезоруживающая улыбка заменяли ему раковину. Его улыбка была открытой, как у мальчика, окончательно сдавшегося на милость непостижимой вселенной. Ему было пятьдесят три года.

— Народ тебя не очень жалует, Хэнк. В прессе ни одного доброго слова.

— Ну и что?

— Ты непопулярен, Хэнк.

— Я не получал никаких жалоб от моих клиентов.

— Я не о том. Тебе нужен хороший импресарио, который продавал бы публике тебя.

— Зачем мне продавать себя? Я продаю сталь.

— Тебе надо, чтобы все были настроены против тебя? Общественное мнение — это, знаешь ли, штука важная.

— Не думаю, что все настроены против меня. Во всяком случае мне на это наплевать.

— Газеты против тебя.

— Им делать нечего. В отличие от меня.

— Мне это не нравится, Хэнк. Это нехорошо.

— Что?

— То, что о тебе пишут.

— А что обо мне пишут?

— Ну, всякое. Что ты несговорчивый. Что ты беспощадный. Что ты всегда все делаешь по-своему и не считаешься ни с чьим мнением. Что твоя единственная цель — делать сталь и делать деньги.

— Но это действительно моя единственная цель.  
— Но не надо говорить этого.  
— А почему бы и нет? Что же мне говорить?  
— Ну, не знаю... Но твои заводы...  
— Но это же мои заводы, не так ли?  
— Да, но не надо слишком громко напоминать об этом. Ты же знаешь, как все сейчас обстоит... Они считают, что твоя позиция антиобщественна.  
— А мне наплевать, что там они считают. Пол Ларкин вздохнул.  
— В чем дело, Пол? К чему ты клонишь?  
— Ни к чему конкретно. Только в наше время всякое может случиться. Нужна осторожность.

Реардэн усмехнулся:

— Ты что, волнуешься за меня?

— Просто я твой друг, Хэнк. Ты же знаешь, как я восхищаюсь тобой.

Полу Ларкину всегда не везло. За что бы он ни брался, все у него не ладилось. Не то чтобы он прогорал, скорее не преуспевал. Он был бизнесменом, но не мог удержаться подолгу ни в одной сфере бизнеса. Сейчас у него был небольшой завод по производству шахтного оборудования.

Он просто боготворил Реардэна. Он приходил к нему за советом, изредка брал небольшие займы, которые неизменно выплачивал, хотя и не всегда вовремя. Казалось, основой их дружеских отношений было то, что он, глядя на Реардэна, будто заряжался и черпал энергию, которой Генри обладал в избытке.

Когда Реардэн смотрел на Ларкина, у него возникало чувство, которое он ощущал при виде муравья, с невероятными усилиями волочившего спичку. Это так трудно для него, думал он тогда, и так просто для меня. Поэтому он всегда, когда мог, давал Ларкину советы, проявлял внимание, такт и терпеливый интерес к его делам.

— Я твой друг, Хэнк.

Реардэн пристально посмотрел на него. Ларкин сидел, глядя в сторону, молча обдумывая что-то.

— Как твой человек в Вашингтоне? — спросил он через некоторое время.

— По-моему, в порядке.

— Ты должен быть в этом уверен. Это важно, Хэнк. Это очень важно.

— Да, пожалуй, ты прав.

— Я вообще-то именно это и пришел тебе сказать. — Для этого есть особые причины?

— Нет.

Реардэну не нравился предмет разговора. Он понимал, что ему нужен человек, который отстаивал бы его интересы перед законодателями. Все предприниматели вынуждены были содержать таких людей, но он никогда не придавал этой стороне дела особого значения, не мог убедить себя, что это так уж необходимо. Какое-то необъяснимое отвращение — смесь брезгливости и скуки — всегда останавливало его при мысли об этом.

— Проблема в том, Пол, что для этих дел приходится подбирать таких гнусных людишек, — сказал Реардэн, думая вслух.

— Ничего не поделаешь. Такова жизнь, — сказал Ларкин, глядя в сторону.

— Но почему, черт возьми, так происходит? Ты можешь мне это объяснить? Что происходит с миром?

Ларкин грустно пожал плечами:

— Зачем задавать вопросы, на которые никто не может ответить? Насколько глубок океан? Насколько высоко небо? Кто такой Джон Галт?

Реардэн встал.

— Нет, — сказал он резко. — Нет никаких оснований для подобных чувств.

Усталость исчезла, когда он заговорил о деле. Он ощутил внезапный прилив сил и острую потребность четко сформулировать для самого себя собственное понимание жизни и



утвердиться в этом понимании, которое он столь ясно ощутил по дороге домой и которому сейчас угрожало что-то непонятное и необъяснимое.

Он энергично ходил взад-вперед по комнате. Он смотрел на свою семью. Они были похожи на несчастных, сбитых с толку детей, даже мать, и глупо негодовать по поводу их убожества, порожденного не злобой, а беспомощностью. Он должен научиться понимать их, раз уж вынужден так много им давать и раз они не могут разделить его чувство радостной, безграничной мощи.

Он посмотрел на них. Мать и Филипп о чем-то оживленно разговаривали, но он заметил, что они выглядят какими-то нервными и взвинченными. Филипп сидел в низком кресле, выпятив живот и слегка ссутулившись, словно неудобство его позы должно было служить укором смотревшим на него.

— Что случилось, Фил? — спросил Реардэн подходя. — У тебя такой пришибленный вид.

— У меня был тяжелый день, — ответил тот неохотно.

— Не ты один много работаешь, — сказала Реардэну мать. — У других тоже есть проблемы, даже если это не миллиардные супертрансконтинентальные проблемы, как у тебя.

— Ну почему же, это очень хорошо. Я всегда думал, что Филиппу нужно найти занятие по душе.

— Очень хорошо? Ты хочешь сказать, что тебе нравится наблюдать, как твой брат надрыгается на работе? Похоже, тебя это забавляет, не так ли?

— Почему, мама, нет. Я просто хотел бы помочь.

— Ты не обязан ему помогать. Ты вообще не обязан ничего чувствовать по отношению к нам.

Реардэн никогда толком не знал, чем занимается его брат или чем он хотел бы заниматься. Он оплатил обучение Филиппа в колледже, но тот так и не решил, чему посвятить себя. По понятиям Реардэна было ненормально, что человек не стремится получить какую-нибудь высокооплачиваемую работу, но он не хотел заставлять Филиппа жить по своим правилам; он мог позволить себе содержать брата и не замечать тех расходов, которые нес. Все эти годы он думал, что Филипп сам должен избрать карьеру по душе, не будучи вынужденным бороться за существование и зарабатывать себе на жизнь.

— Что ты делал сегодня, Фил? — спросил он покорно.

— Тебе это неинтересно.

— Мне это очень интересно, поэтому я и спрашиваю.

— Я сегодня носился по всему штату от Реддинга до Уилмингтона и разговаривал с множеством разных людей.

— Зачем тебе нужно было встречаться с ними?

— Я пытаюсь найти спонсоров для общества «Друзья всемирного прогресса».

Реардэн не мог уследить за множеством организаций, в которых состоял его брат, и не имел четкого представления о характере их деятельности.

Он смутно помнил, что последние полгода Филипп изредка упоминал это общество. Кажется, они устраивали бесплатные лекции по психологии, народной музыке и коллективному сельскому хозяйству. Реардэн презирал подобные организации и не видел никакого смысла вникать в характер их деятельности.

Он молчал.

— Нам нужно десять тысяч долларов на очень важную программу, — продолжал Филипп, — но выбить на это деньги — поистине мученическая задача. В людях не осталось ни капли сознательности. Когда я думаю о тех денежных мешках, с которыми сегодня разговаривал... Они тратят намного больше на любой свой каприз, но я не смог вытрясти из них даже жалкой сотни с носа. У них нет никакого чувства морального долга, никакого... Ты чего смеешься? — спросил он резко.

Реардэн стоял перед ним улыбаясь.

Это было так по-детски, так очевидно и грубо — в одной фразе намек и оскорбление!

Что ж, совсем нетрудно ответить Филиппу оскорблением, тем более убийственным, что оно было бы чистой правдой. Но именно из-за этой простоты он не мог раскрыть рта. Конечно же, думал Репардэн, бедняга знает, что он в моей власти, что он сам себя подставил, а я вот возьму и промолчу — такой ответ поймет даже он. До чего же он все-таки докатился!

Репардэн вдруг подумал, что мог бы пробиться сквозь броню убожества, сковавшую брата, приятно ошеломить его, удовлетворив его безнадежное желание. Он думал — какая разница, в чем оно заключается? Это его желание; как мой металл, который значит для меня столько же, сколько для него эти десять тысяч долларов; пусть он хоть раз почувствует себя счастливым, может быть, это его чему-нибудь научит, разве не я говорил, что счастье облагораживает? У меня сегодня праздник, пусть он будет и у него — для меня это так мало, а для него это может означать так много.

— Филипп, — сказал он улыбаясь, — позвони завтра мисс Айвз в мой офис, она выдаст тебе чек на десять тысяч долларов.

Филипп озадаченно посмотрел на него. В его взгляде не было ни удивления, ни радости. Он просто смотрел пустыми, словно стеклянными, глазами.

— О, очень мило с твоей стороны, — сказал он. В его голосе не было никаких эмоций, даже обычной жадности.

Репардэн не мог разобраться в возникшем чувстве. Он ощутил странную пустоту, словно что-то рушилось внутри него, и вместе с тем необъяснимо обременительную тяжесть. Он знал, что это разочарование, но спрашивал себя, почему оно такое мрачное и уродливое.

— Очень мило с твоей стороны, Генри, — сухо повторил Филипп. — Я удивлен. Не ожидал этого от тебя.

— Неужели ты не понимаешь, Фил? — весело сказала Лилиан. — Генри сегодня выплавил свой металл. — Она повернулась к Репардэну: — Дорогой, может, объявить по этому поводу национальный праздник?

— Ты добр, Генри, — сказала мать, — но не так часто, как хотелось бы.

Репардэн стоял, глядя на Филиппа и будто ожидая чего-то. Филипп посмотрел в сторону, затем поднял голову и взглянул ему прямо в глаза:

— Ты ведь не очень-то беспокоишься об обездоленных? — спросил он, и Репардэн, с трудом веря в это, услышал в его голосе укоризненные нотки.

— Нет, Филипп, не очень. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив.

— Но эти деньги — не для меня. Я собираю их не в личных целях. У меня нет абсолютно никаких корыстных интересов. — Он говорил холодно, с сознанием собственной добродетели.

Репардэн отвернулся. Он вдруг почувствовал сильное отвращение; не потому, что Филипп лицемерил, а потому, что он говорил правду. Репардэн знал, что Филипп именно так и думает.

— Кстати, Генри, ты не возражаешь, если я попрошу тебя распорядиться, чтобы мисс Айвз выдала мне сумму наличными?

Репардэн обернулся и удивленно посмотрел на него.

— Видишь ли, «Друзья всемирного прогресса» — очень прогрессивная организация, и они всегда утверждали, что ты представляешь собой наиболее реакционный общественный элемент в стране; нам неловко вносить твое имя в список благотворителей — нас могут обвинить в том, что мы тебе продались.

Он хотел вlepить Филиппу пощечину. Но почти невыносимое презрение заставило его лишь закрыть глаза.

— Хорошо, — сказал он тихо, — ты получишь деньги наличными.

Он отошел к окну в дальнем конце комнаты и стоял, глядя на зарево, полыхавшее в небе над заводами.

Он услышал, как Ларкин выкрикнул ему в спину:

— Черт побери, Хэнк, тебе не следовало давать ему эти деньги!

Затем он услышал холодно-веселый голос Лилиан:

— Ты не прав, Пол. Ох как не прав! Что бы случилось с его тщеславием, если бы он время от времени не давал нам подачек? Что стало бы с его силой, если бы он не подчинял себе людей послабее? Что бы с ним стало, если бы он не содержал нас? Это совершенно нормально, я его ни в чем не обвиняю. Такова человеческая природа. — Она взяла браслет и вытянула руку вверх, показав, как сверкает металл в свете лампы. — Цепь, — сказала она. — Красивая, правда?

Это цепь, на которой он всех нас держит.

### Глава 3 Вершина и дно

Потолок был низким и тяжелым — как в подвале, и, проходя по комнатам, люди невольно пригибали голову, словно тяжесть нависавшего сверху панельного свода давила на плечи. Круглые обитые темно-красной кожей кабины были встроены в каменные стены, выглядевшие так, словно их разъели время и сырость. Окон не было, лишь полосы голубоватого света, напоминавшего о светомаскировке при военном положении, пробивались сквозь проемы в каменной кладке. Узкая, длинная лестница вела вниз, словно спускаясь глубоко под землю. Это был самый дорогой бар Нью-Йорка, и находился он на крыше небоскреба.

За столом сидели четверо мужчин. Находясь на высоте шестидесяти этажей над городом, они разговаривали негромко, не так, как человек обычно говорит на большой высоте, охваченный чувством свободы при виде простирающегося перед ним пространства; их голоса звучали приглушенно, под стать подвальной обстановке.

— Условия и обстоятельства, Джим, — сказал Орен Бойл, — условия и обстоятельства, абсолютно непредвиденные. У нас все было готово для производства этих рельсов, но произошел непредвиденный поворот событий, который никто не в силах был предотвратить. Если бы ты дал нам хоть какой-то шанс, Джим.

— По-моему, разобщенность является главной причиной всех социальных проблем, — медленно, растягивая слова, сказал Таггарт. — Моя сестра имеет некоторое влияние в определенных кругах наших акционеров, и мне не всегда удается противостоять их разрушительным действиям.

— Точно, Джим. Разобщенность — вот в чем проблема. Я абсолютно уверен, что в нашем сложном индустриальном обществе ни одна сфера бизнеса не может развиваться успешно, не взяв на себя часть проблем других отраслей.

Таггарт сделал глоток из своей рюмки и поставил ее обратно на стол.

— На их месте я бы уволил бармена, — сказал он.

— Возьмем, к примеру, «Ассошиэйтед стал». У нас самые современные заводы в стране и самая лучшая организация производства. Это неоспоримый факт — в прошлом году журнал «Глоб» присудил нам премию за эффективность производства. Поэтому мы можем утверждать, что сделали все, что в наших силах, и никто не имеет права нас в чем-либо обвинять. Но что же поделаешь, если дефицит железной руды — национальная проблема. Мы не могли получить руду, Джим.

Таггарт ничего не ответил. Он сидел за столом, широко расставив локти, хотя стол и без того был маленьким и неудобным. Троим его собеседникам пришлось потесниться, но они, казалось, воспринимали это как само собой разумеющееся.

— Сейчас никто не может получить руду, — продолжал Бойл. — Природные запасы исчерпаны, оборудование изношено, материалов не хватает, с транспортом перебои... имеются и другие неизбежные трудности.

— Горнодобывающая промышленность разваливается. Отсюда и крах горного машиностроения, — сказал Пол Ларкин.

— Общеизвестно, что все сферы экономики взаимосвязаны и взаимозависимы, — сказал Орен Бойл. — Поэтому каждый обязан брать на себя часть бремени всех остальных.

— По-моему, так оно и есть, — сказал Висли Мауч, но на него никто никогда не обращал внимания.

— Моей целью, — продолжал Бойл, — является сохранение свободной рыночной экономики, которая, по всеобщему мнению, проходит сейчас своего рода проверку. Если она не докажет своей социальной значимости и не примет на себя ответственности за судьбу всего общества, народ такую экономику не поддержит. Она просто рухнет, если не выработает в себе дух коллективизма, в этом нет никакого сомнения.

Орен Бойл возник неизвестно откуда пять лет назад, и с тех пор его портрет систематически появлялся на обложках всех журналов страны. Он начал свое дело, имея всего сто тысяч личного капитала и получив займ в двести миллионов от государства. В настоящее время он возглавлял огромный концерн, поглотивший множество компаний поменьше. Как он любил повторять, его пример наглядно доказывал, что у человека все еще есть шанс преуспеть в этом мире благодаря личным способностям.

— Единственным оправданием частной собственности — сказал Бойл, — является ее служение обществу.

— По-моему, так оно и есть, — сказал Висли Мауч. Орен Бойл шумно отхлебнул ликер из своей рюмки. Он был крупным мужчиной, и у него была привычка, разговаривая, сильно и размашисто жестикулировать. Все в его внешности говорило о том, что он полон жизни, за исключением маленьких и узких, как щелочки, глаз.

— Джим, — сказал он, — похоже, что сплав Реардэна — сплошное надувательство. Я слышал, что ни один из экспертов не дал ему положительной оценки.

— Да, ни один.

— Мы долгие годы усиленно работали над проблемой улучшения качества стальных рельсов, но при этом увеличивается и их вес. Это правда, что рельсы из сплава Реардэна легче, чем рельсы, изготовленные из самой дешевой марки стали?

— Да, правда, — сказал Таггарт. — Легче.

— Но это же просто смешно, Джим. Это же невозможно. Физически. И ты собираешься поставить их на такую загруженную, скоростную, важную линию?

— Да.

— Ты же сам себе создаешь проблемы.

— Не я, моя сестра. — Таггарт сидел, медленно вращая двумя пальцами ножку рюмки. На мгновение воцарилась тишина. — Национальный совет по вопросам металлургической промышленности принял резолюцию об организации комитета с целью изучения металла Реардэна. Ввиду того, что его практическое применение может представлять опасность для общества.

— По-моему, мудрое решение, — сказал Висли Мауч.

— Когда все сходятся в одном, — голос Таггарта вдруг стал хриплым, — когда все абсолютно единодушны, как смеет один человек пренебрегать общим мнением и выражать несогласие? По какому праву? Вот что я хочу понять — по какому праву?

Взгляд Бойла был устремлен прямо на Таггарта, но в полумраке, царившем в баре, было невозможно отчетливо рассмотреть лицо: он различил лишь расплывчато-водянистое голубоватое пятно.

— Если задуматься о природных ресурсах, недостаток которых мы ощущаем столь остро; если задуматься о жизненно важном сырье, которое отдельные частные лица изводят на безответственные эксперименты; если задуматься о руде... — Бойл не договорил и снова посмотрел на Таггарта.

Но Таггарт, казалось, знал, что Бойл ждет ответа, и с удовольствием растягивал паузу.

— Общество, Джим, жизненно заинтересовано в природных ресурсах, таких, как железная руда, — продолжал Бойл. — И оно не может оставаться равнодушным к бездумному расточительству какого-то антиобщественного индивидуума. Ведь частная собственность есть лишь доверительное пользование имуществом во имя благосостояния всего общества в целом.

Таггарт взглянул на Бойла и многозначительно улыбнулся. Эта улыбка, казалось, говорила, что те слова, которые он сейчас произнесет, послужат, в какой-то мере, ответом на рассуждения Бойла.

— Это не выпивка, а какие-то помои. Наверное, такова цена, которую вынужден платить интеллигентный человек, чтобы не тереться бок о бок со всяким сбродом. Но все же им следовало бы знать, что они имеют дело с людьми, которые знают, что такое хорошее спиртное. Раз уж я плачу, мне хотелось бы получить все сполна и в свое удовольствие.

Бойл ничего не ответил. Его лицо вдруг стало мрачным и угрюмым.

— Послушай, Джим... — начал он медленно. Таггарт улыбнулся:

— Что? Я тебя слушаю.

— Джим, я уверен, ты согласен с тем, что нет ничего страшнее монополизации рынка.

— Да, это так, — сказал Таггарт. — С одной стороны. Но с другой стороны, есть еще и ничем не сбалансированная, наносящая огромный ущерб конкуренция.

— Ты прав. Ты абсолютно прав. Нет ничего лучше золотой середины. Поэтому я считаю, что долг общества состоит именно в том, чтобы устранять крайности, ты согласен?

— Да, согласен.

— Давай теперь рассмотрим, как обстоят дела в горнодобывающей промышленности. Валовой объем добычи руды катастрофически падает. Это ставит под угрозу существование сталелитейной промышленности как таковой. Сталелитейные заводы закрываются один за другим по всей стране. Остался только один, который по удачному стечению обстоятельств всеобщий кризис обошел стороной. Там вроде бы добывают много руды и всегда поставляют в срок. Но кто получает прибыль? Никто, кроме владельца. Как по-твоему, это справедливо?

— Нет, не справедливо.

— Большинство из нас не является владельцами рудников. Как же мы можем конкурировать с человеком, заполучившим чуть ли не монопольное право на природные ресурсы, принадлежащие, в конечном счете, всем? Ничего удивительного, что ему всегда удается вовремя поставлять сталь, в то время как нам приходится бороться за каждый килограмм руды, ждать, терять клиентов и в конце концов разоряться. Разве это в интересах общества — позволить одному человеку уничтожить целую отрасль?

— Конечно же, нет, — ответил Таггарт.

— Мне кажется, что национальная политика должна быть направлена на то, чтобы каждый получал по праву причитающуюся ему долю рудных ресурсов с целью сохранения всей отрасли в целом. Как ты считаешь, это справедливо?

— Справедливо.

Бойл вздохнул и осторожно сказал:

— Но, наверное, в Вашингтоне не так много людей, которые могли бы понять социально-прогрессивную политику?

— Такие люди есть, их, конечно, немного, и к ним требуется особый подход, но они есть. Может быть, я поговорю с ними.

Бойл взял свою рюмку и залпом опустошил ее — так, будто он уже услышал все, что хотел услышать.

— Раз уж мы заговорили о прогрессивной политике, Орен, — сказал Таггарт, — ты мог бы задать себе следующий вопрос: сейчас, в период острого кризиса в сфере транспортных услуг, когда десятки железных дорог становятся банкротами и огромные территории остаются без железнодорожного сообщения, отвечают ли интересам общества совершенно ненужное чрезмерное скопление железных дорог в одном районе и хищническая конкуренция со стороны новичков на территориях, где давно обосновавшиеся компании имеют исторически сложившийся приоритет?

— Ну что ж, — сказал Бойл довольным голосом, — мне кажется, это очень интересный вопрос и его стоит рассмотреть более детально. Я мог бы поговорить об этом кое с кем из моих друзей в Национальном железнодорожном союзе.

— Не имей сто монет в облигациях, а имей сто друзей в организациях, — лениво

промолвил Таггарт. Он неожиданно повернулся к Ларкину: — Ты согласен, Пол?

— Что? А, да. Да, конечно, — ответил тот удивленно.

— Я рассчитываю на тебя, Пол.

— Гм?

— Я рассчитываю на твои обширные дружеские связи. Казалось, все прекрасно знали, почему Ларкин ответил не сразу. Он как-то сник и, съездившись, придвинулся к столу.

— Если все объединятся во имя общей цели, никто же не пострадает! — выкрикнул он вдруг полным отчаяния голосом. Он заметил, что Таггарт пристально смотрит на него, и умоляюще добавил: — Мне бы очень не хотелось, чтобы из-за нас кто-нибудь пострадал.

— Это совершенно антиобщественная позиция, — медленно растягивая слова, сказал Таггарт. — Тот, кто боится признать необходимость определенных жертв, не имеет никакого права говорить об общей цели.

— Я прекрасно знаю историю, выпалил Ларкин, — и признаю существование исторической необходимости.

— Вот и хорошо, — сказал Таггарт.

— Я ведь не могу выступать против общемировой тенденции? — взмолился Ларкин.

— Конечно же, нет, — сказал Висли Мауч. — Нас с вами никто не упрекнет, если мы...

При звуке его голоса Пол вздрогнул и отпрянул от стола. Его словно покорило. Он органически не выносил Мауча.

— Надеюсь, ты хорошо провел время в Мексике, Орен? — вдруг громко-непринужденным тоном спросил Таггарт.

Казалось, все понимали, что цель сегодняшней встречи достигнута и они получили ответы на все интересовавшие их вопросы.

— Мексика — прекрасная страна, — бодро ответил Бойл, — она вдохновляет и дает обильную пищу для размышлений. Продуктовые пайки у них, правда, не ахти. Я даже приболел немного. Но они там всю стараются поставить страну на ноги.

— И как у них идут дела?

— По-моему, прекрасно, просто прекрасно. Правда, сейчас там... Но в конце концов, они ведь нацелены на будущее. У Народной Республики Мексика большое будущее, это я вам точно говорю. Через пару лет они всех нас заткнут за пояс.

— Ты был на рудниках Сан-Себастьян?

Все четверо за столом сразу выпрямились и внутренне напряглись. Каждый из них вложил уйму денег в акции этих рудников.

Бойл ответил не сразу, и от этого его голос неожиданно прозвучал неестественно громко, когда он выпалил:

— О да, конечно. Именно за этим я и ездил в Мексику.

— И?..

— Что "и"?

— Как там у них дела?

— Великолепно. Просто великолепно. Это бесспорно самое богатое месторождение меди в мире.

— Ну и как они — работают?

— Еще бы. Я в жизни не видел такой бурной деятельности.

— И чем конкретно они занимаются?

— Знаешь, у них там управляющий мексикашка какой-то, я не понял и половины из того, что он мне говорил. Но работают они много, это точно.

— Какие-нибудь проблемы?

— Проблемы? Где угодно, только не там. Рудники Сан-Себастьян — последнее оставшееся в Мексике частное предприятие, и это многое меняет. Именно поэтому там кипит работа.

— Орен, — осторожно произнес Таггарт, — а как насчет слухов, что рудники Сан-Себастьян собираются национализировать?

— Клевета, — ответил Бойл. — Просто грязные слухи. Уж я-то знаю. Я ужинал с министром культуры Мексики и обедал с прочими шишками.

— Вообще-то следовало бы издать закон об ответственности за распространение слухов и сплетен, — угрюмо проронил Таггарт. — Давайте выпьем еще.

Он раздраженно махнул рукой, подавая знак официанту. В темном углу зала была небольшая стойка, за которой стоял старый, с изрезанным морщинами лицом бармен. Он подолгу стоял неподвижно и, когда его подзывали, передвигался с высокомерной медлительностью. Его обязанностью было так обслуживать посетителей, чтобы, находясь в этом баре, они получали максимум удовольствия, но он вел себя как издерганный фельдшер на приеме венерических больных.

Все четверо молча сидели за столом, пока официант не принес очередную порцию выпивки. Он поставил бокалы на стол — в полутьме они напоминали четыре бледно-голубых язычка слабого пламени. Таггарт взял свой бокал и вдруг улыбнулся.

— Давайте выпьем за жертвы во имя исторической необходимости, — сказал он, глядя на Ларкина.

На мгновение наступила тишина. В освещенной комнате это было бы состязанием людей, смотрящих в глаза друг другу, но здесь, в полумраке, каждый видел лишь темные провалы глазниц других. Затем Пол Ларкин поднял бокал.

— Плачу за всех, ребята, — сказал Таггарт.

Никто не нашелся, что ответить, пока Бойл с вежливым любопытством не заговорил:

— Послушай, Джим, я хотел у тебя спросить, что, черт побери, творится на твоей линии Сан-Себастьян?

— Что ты хочешь сказать? Что там не так?

— Ну, не знаю, но мне кажется, что пускать по такой линии всего один пассажирский поезд в день — это...

— Один поезд в день?!

— ...это просто курам на смех, к тому же еще какой поезд. Ты, наверное, унаследовал эти доисторические вагоны от своего прапрадедушки, да и он, должно быть, гонял их нещадно. А где ты откопал паровоз?

— Паровоз?

— Вот именно. Я, кроме как на фотографиях, раньше такого не видел. В каком музее ты его раздобыл? Ну-ну, не делай вид, будто ничего не знаешь, скажи, что ты затеял?

— Да, конечно, я знаю, — поспешно сказал Таггарт. — Это всего лишь... Ты случайно оказался там именно на той неделе, когда у нас возникла небольшая заминка с локомотивами — давно заказали новые, но вышла заминка, — ты ведь знаешь, какие у нас проблемы с вагоностроителями, но это временно.

— Конечно, — сказал Бойл, — заминки неизбежны. Тем не менее на таком ужасном поезде я еще не ездил. Чуть душу из меня не вытряс.

Через несколько минут все заметили, что Таггарт замолчал. Казалось, он был поглощен собственными проблемами. Когда он резко, без извинений поднялся, остальные тоже встали, восприняв это как приказ.

— Было очень приятно, Джим. Очень приятно. Вот так и рождаются великие проекты — за бокалом вина с друзьями, — пробормотал Ларкин, напряженно улыбаясь.

— Преобразования в обществе происходят медленно, — холодно сказал Таггарт, — нужно набраться терпения и быть осторожными. — Впервые за весь вечер он повернулся к Висли Маучу: — Что мне в тебе нравится, Мауч, так это то, что ты не болтлив.

Висли Мауч был человеком Реардэна в Вашингтоне.

В небе еще виднелись отблески заката, когда Таггарт и Бойл вышли на улицу. Резкая перемена обстановки слегка шокировала их — сумрачный бар невольно нагонял чувство, что и весь город погружен в непроглядную темень.

Огромное здание тянулось к небу, возвышаясь над ними, прямое и острое, как занесенный над головой меч. Вдалеке наверху зависло табло гигантского календаря.

На улице было прохладно; Таггарт нервно, раздраженным жестом поднял воротник и застегнул пуговицы пальто. Он не собирался возвращаться вечером на службу, но пришлось. Ему нужно было переговорить с сестрой.

— ...впереди у нас трудное дело, Джим, — говорил Бойл, — трудное дело, в котором так много опасностей и осложнений, в котором так много поставлено на карту...

— Все зависит от знакомства с теми, от кого все зависит. Осталось только выяснить, от кого именно все зависит, — медленно произнес Таггарт.

Дэгни Таггарт было девять лет, когда она решила, что когда-нибудь будет управлять «Таггарт трансконтинентал». В тот день она стояла посреди железнодорожного полотна, глядя на две ровные линии стальных рельсов, которые, устремившись вперед, сливались где-то вдаль в одну точку. Дорога прорезала лес и совсем не гармонировала с окружавшими ее вековыми деревьями, ветви которых опускались на зеленые шапки кустарников и росшие то тут, то там полевые цветы. Глядя на нее, Дэгни испытывала гордую радость. Стальные рельсы блестели на солнце, а черные шпалы напоминали ступени лестницы, по которым ей предстояло подняться.

Ее решение не было внезапным — в словах запечатлелось то, что она знала давным-давно. С молчаливого согласия, словно связанные клятвой, давать которую не было никакой необходимости, она и Эдди посвятили себя железной дороге с детства, едва начав что-то понимать в окружающем мире.

Она испытывала полное безразличие к миру, непосредственно окружавшему ее, — и к взрослым, и к детям. Она воспринимала то, что ей пришлось оказаться в окружении тупых, серых людей, как некое печальное недоразумение, которое надо перетерпеть. Она замечала вокруг проблески иного мира и знала, что он существует, мир, в котором строились поезда и возводились мосты, мир, который создал телеграфную связь и семафоры, мигающие в ночной темноте зелеными и красными огнями.

Дэгни никогда не задумывалась, почему она так любит железную дорогу, — она знала, что это чувство невозможно с чем-то сравнить или объяснить. Она испытывала подобное в школе на уроках математики. Это был единственный предмет, который ей действительно нравился. Решая задачи, она ощущала необыкновенное волнение, дерзкое чувство восторга от того, что приняла брошенный вызов и без труда победила, и страстное желание и решимость идти дальше, справиться с очередным, куда более трудным испытанием. Хотя математика давалась ей очень легко, она испытывала растущее чувство уважения к этой точной, предельно рациональной науке. Она часто думала: «Как хорошо, что люди дошли до этого, и как хорошо, что я в этом сильна». Два чувства росли и крепили в ней: искреннее восхищение этой царицей наук и радость от осознания собственных способностей. То же самое она ощущала по отношению к железной дороге: преклонение перед гением человеческого разума, благодаря которому это стало возможным, но преклонение со скрытой улыбкой, словно она хотела сказать, что знает, как сделать железную дорогу еще лучше, и когда-нибудь сделает. Она смиренно бродила вокруг железнодорожного полотна и паровозных депо, но в этом смирении чувствовался оттенок гордости и величия — величия, которого ей предстояло добиться собственным трудом.

С детства она постоянно слышала в свой адрес две фразы. «Ты невыносимо заносчива», — часто говорили ей, хотя Дэгни никогда не пыталась доказать, что она умнее других, и «Ты эгоистична», — хотя, когда она спрашивала, что это значит, ей ничего не отвечали. Она смотрела на взрослых, удивляясь, как они могут предполагать, что она почувствует вину, если сами обвинения не сформулированы.

Ей было двенадцать лет, когда она сказала Эдди Виллерсу, что будет управлять железной дорогой, когда вырастет. В пятнадцать лет она впервые задумалась над тем, женщины железными дорогами не управляют и что кое-кому это может не понравиться. Ну и черт с ним, подумала она и больше не переживала по этому поводу.

Ей было шестнадцать лет, когда она начала работать в «Таггарт трансконтинентал». Ее



отец ничего не имел против, это лишь несколько позабавило и удивило его. Сначала она работала ночным диспетчером на небольшой загородной станции. Несколько лет она работала по ночам, а днем училась в машиностроительном колледже.

Джеймс Таггарт, которому был двадцать один год, начал карьеру одновременно с ней — в отделе рекламы.

Дэгни быстро продвигалась по служебной лестнице «Таггарт трансконтинентал». Она занимала одну ответственную должность за другой, потому что, кроме нее, занять их было некому. Она заметила, что талантливых работников в компании немного и с каждым годом становится все меньше и меньше. Ее непосредственные начальники, от которых зависело принятие окончательных решений, всеми способами избегали ответственности; она же просто отдавала распоряжения, и распоряжения эти выполнялись. И на каждой ступеньке своего продвижения она вела всю реальную работу задолго до того, как получала соответствующую должность. Она словно переходила из одной пустой комнаты в другую. Никто не препятствовал ей, но никто и не одобрял ее продвижения.

Ее отец, казалось, был удивлен и в то же время гордился ею, но он ничего не говорил, и она замечала на его лице выражение грусти, когда он смотрел на нее. Он умер, когда ей было двадцать девять лет. «Всегда найдется Таггарт, способный управлять компанией» — это были последние слова, которые он сказал ей. И при этом как-то странно посмотрел на нее. Взгляд выражал и поздравление, и сочувствие.

Контрольный пакет акций перешел к Джеймсу Таггарту. В тридцать четыре года он стал президентом компании. Дэгни предвидела, что совет директоров выберет именно его, но так и не смогла понять, почему они сделали это так охотно. Они говорили что-то о традициях, о том, что президентом компании всегда был старший из сыновей Таггартов. Казалось, выбирая Таггарта президентом компании, они руководствовались тем же чувством, которое заставляло их сворачивать, если дорогу им перебегала черная кошка, — страхом. Они говорили о его особом даре «создавать железным дорогам солидную репутацию», о благосклонности к нему прессы, о его «связях в Вашингтоне». Он был необычайно искусен в снискании благосклонности у законодателей.

Дэгни ничего толком не знала о том, что называли связями в Вашингтоне и что эти связи могли означать. Но похоже, это было необходимо, поэтому она выбросила это из головы и не возвращалась больше к этому вопросу, полагая, что в мире существует множество различных работ, которые малоприятны, но тем не менее необходимы, такие, к примеру, как очистка сточных канав. Кто-то же должен этим заниматься, а Джиму, похоже, это нравилось.

Она никогда не стремилась к президентскому креслу; отдел грузовых и пассажирских перевозок был ее единственной заботой, больше ее ничто не волновало. Однажды, когда она выехала с очередной проверкой на линию, старые работники «Таггарт трансконтинентал», которые терпеть не могли Джима, сказали ей: «Всегда найдется Таггарт, способный управлять компанией». При этом она заметила на их лицах то же выражение, которое видела на лице отца незадолго до смерти. Она была уверена, что Джим не настолько умен, чтобы причинить большой вред компании, и что она всегда сможет выправить положение, что бы он ни натворил.

В шестнадцать лет, сидя за диспетчерским пультом и глядя на освещенные окна проезжавших мимо поездов, она думала, что наконец-то нашла свой мир. Годы спустя она поняла, что это не так. Она вдруг обнаружила, что вынуждена бороться с тем, на что не стоило затрачивать ни малейших усилий. Она сочла бы за честь противопоставить себя сильному противнику и оспаривать свое превосходство в беспощадном поединке, но вместо этого ей приходилось бороться с серостью, заурядностью и полным отсутствием профессионализма. Словно огромный комок ваты, мягкий и бесформенный, который никому и ничему не мог оказать ни малейшего сопротивления, непреодолимым препятствием встал на ее пути. Дэгни была обескуражена и сбита с толку этим загадочным явлением. Она спрашивала себя, как такое могло случиться и в чем причина, но не находила ответа.

Первые несколько лет ей иногда до боли хотелось увидеть хотя бы проблеск способностей, хоть намек на умение работать. Она мучилась от жажды встретить друга или врага, который оказался бы умнее ее. Но со временем это прошло. Она должна была работать, у нее просто не было времени чувствовать боль, во всяком случае, такие минуты выдавались нечасто.

Первым решением, которое принял Джеймс Таггарт, став президентом компании, был запуск строительства линии Сан-Себастьян. На это решение повлияло множество людей, но для Дэгни имя одного человека затмило собой все остальные. С этим именем было связано затянувшееся на пять лет строительство многомильной абсолютно бесполезной железнодорожной ветки, с этим именем были связаны огромные убытки ее компании — цифры, которые перетекали со страницы на страницу отчетов, словно струйка крови из незатягивающейся раны. Это имя можно было увидеть на лентах телетайпных сообщений, поступающих со всех еще уцелевших бирж мира, и на дымовых трубах заводов, освещенных алым заревом, вырывающимся из медеплавильных печей. Это имя мелькало в скандальных газетных заголовках и на пергаментных страницах старинных дворянских альманахов; это имя стояло на карточках, прикрепленных к букетам цветов в будуарах женщин, живших в разных местах и на разных континентах.

Этим человеком был Франциско Д'Анкония.

В двадцать три года, унаследовав состояние своего отца, Франциско Д'Анкония стал известен как медный король мира.

Сейчас, в тридцать шесть, он был известен как самый богатый человек и самый скандальный, никчемный плейбой на земле. Он был последним потомком одного из самых знатных семейств Аргентины. Ему принадлежали множество пастбищ, на которых разводили скот, кофейные плантации и большая часть медных рудников в Чили. Фактически он был хозяином доброй половины Южной Америки и владельцем множества рудников, рассыпанных по всем Соединенным Штатам, словно горсть медных монет.

Когда Франциско Д'Анкония купил огромный участок пустынных гор на территории Мексики, прошел слух, что он обнаружил там огромные залежи меди. Он без малейшего труда распродал акции своего предприятия, не было отбоя от желающих их приобрести, и он просто выбрал среди подавших заявку тех, кого хотел. Он был гением финансовых операций, его талант называли феноменальным. Ни один человек не сумел превзойти его ни в одном предприятии, и любое дело, до которого он снисходил, увеличивало его и без того баснословное богатство.

Те, кто громче всего поносил его, первыми пытались ухватиться за любую возможность погреть руки за счет его таланта и урвать кусок его нового приобретения. Джеймс Таггарт, Орен Бойл и их друзья были в числе основных акционеров проекта, который Франциско Д'Анкония назвал «Рудники Сан-Себастьян».

Дэгни так и не смогла понять, что заставило Джеймса Тагарта построить железную дорогу из Техаса в пустынные районы Сан-Себастьян. Похоже, он и сам этого толком не понимал. Он был как поле, не защищенное от ветра лесополосой, открытое всем порывам ветра, им вертели как хотели, а результат получался совершенно случайно. Лишь немногие из совета директоров проголосовали против этого проекта. Компании нужны были все свободные средства на реконструкцию Рио-Норт, она не могла позволить себе и то и другое. Но Джеймс Таггарт был новым президентом компании. Это был первый год его правления. Он победил.

Правительство Мексики с чрезвычайной радостью подписало контракт, гарантировавший «Таггарт трансконтинентал» право собственности на железнодорожную линию в течение двухсот лет — в стране, где не признавали никаких прав собственности. Франциско Д'Анкония получил аналогичную гарантию на свои рудники.

Дэгни всячески пыталась воспрепятствовать строительству этой железной дороги. Но она была слишком молода и, будучи в ту пору рядовым сотрудником отдела перевозок, не обладала достаточной властью. Ее никто не послушал.

Она никак не могла понять — ни тогда, ни сейчас, — какими мотивами руководствовались те, кто решил построить эту линию. Сидя беспомощным зрителем на одном из заседаний совета, она вдруг почувствовала, что в кабинете царит какая-то странная атмосфера уклончивости. Эта уклончивость чувствовалась в каждом слове, в каждом доводе, словно так и не сформулированная истинная причина решения была предельно ясна всем — всем, кроме нее.

Они говорили о важности будущих торговых связей с Мексикой, о будущем огромном потоке грузовых перевозок, о невероятных доходах, которые гарантированы эксклюзивному перевозчику неисчерпаемых запасов меди. Они приводили в качестве основного довода бывшие достижения Франциско Д'Анкония, но никто не упомянул результатов минералогического исследования рудников Сан-Себастьян. Фактических данных почти не было. Та информация, которую обнародовал Франциско Д'Анкония, конкретностью не отличалась. Но казалось, факты никого не интересовали.

Они много говорили о том, в каком бедственном положении находится Мексика и как отчаянно она нуждается в железных дорогах:

— У них никогда не было возможности сбросить вековую отсталость... Я считаю нашим долгом помочь отсталой стране развить собственную индустрию. Мне кажется, мы не имеем права оставаться безучастными к трудностям наших ближайших соседей.

Она сидела, слушала и думала о тех ветках, которые компания вынуждена была бросить на произвол судьбы. В течение многих лет доходы «Таггарт трансконтинентал» медленно, но неуклонно снижались. Она думала о жизненной необходимости ремонтных работ, которыми с преступной безответственностью пренебрегали на всех линиях огромной железнодорожной системы. У компании вообще отсутствовала программа действий в сфере технического обслуживания линий. То, что они делали, напоминало игру с куском резины, которую можно слегка вытянуть, а через какое-то время растянуть еще и еще.

— Мне кажется, мексиканцы — очень трудолюбивый народ, но их экономика застряла на пещерном уровне. Как они могут осуществить индустриализацию страны, если им никто не помогает? По-моему, рассматривая вопросы наших инвестиций, мы должны прежде всего принимать во внимание человеческие ценности, а не исходить из чисто материальных соображений.

Дэгни думала о локомотиве на Рио-Норт, который сошел с рельсов и сейчас валялся во рву. Она думала о тех пяти днях, когда движение на этой линии остановилось из-за того, что рухнула подпорная стенка и тонны горной породы осыпались на железнодорожное полотно.

— Как человек всегда должен думать о благе своего ближнего, а лишь потом о своем собственном, так и страна должна в первую очередь думать о благоденствии своего соседа и лишь потом о собственном благополучии.

Дэгни думала об Эллисе Вайте, который недавно появился в Колорадо и за действиями которого все пристально наблюдали, — то, что он делал, было лишь первым слабым ручейком огромного, стремительного потока изобилия, который вот-вот должен хлынуть с некогда пустынных просторов этого штата. Рио-Норт довели до грани краха как раз в тот момент, когда ее полная рабочая мощность так необходима.

— Материальное благополучие — это еще далеко не все. Надо подумать и о нематериальном — о принципах. Мне, признаться, становится просто стыдно, когда я думаю о той огромной системе железных дорог, которой мы располагаем, в то время как во всей Мексике существует лишь пара недоразвитых узкоколеек. Старая теория об экономической самодостаточности давно изжила себя. Просто невозможно и недопустимо, чтобы одна отдельно взятая страна процветала, в то время как остальные бедствуют.

Дэгни думала, что для того, чтобы возродить былую мощь «Таггарт трансконтинентал», потребуется каждый имеющийся в наличии рельс, гвоздь, доллар — а всего этого осталось катастрофически мало.

На том же заседании в той же восторженной манере говорили об организационном уровне мексиканского правительства, которое все держало под контролем. У Мексики

большое будущее, говорили они, и через пару лет эта страна превратится в довольно опасного конкурента. У них там дисциплина, неустанно повторяли они с ноткой зависти в голосе.

Неопределенными намеками и недоговорками Джеймс Таггарт дал понять, что его друзья в Вашингтоне, имен которых он никогда не называл, очень заинтересованы в строительстве этой линии, потому что это способствовало бы решению определенных дипломатических проблем, и что признательность мировой общественности сторицей окупит все расходы «Таггарт трансконтинентал».

Они проголосовали за строительство Сан-Себастьян и выделили на это тридцать миллионов долларов.

Когда Дэгни вышла из здания компании и вдохнула чистый холодный воздух улицы, в ее голове многоголосым эхом звучало лишь одно слово: уйти... уйти... уйти...

Она ошеломленно слушала. Мысль об уходе из «Таггарт трансконтинентал» была непостижимой, невозможной. Ее охватил ужас — не от того, что она так подумала, а от того, что заставило ее так подумать. Дэгни сердито тряхнула головой и сказала себе, что именно теперь она, как никогда, нужна «Таггарт трансконтинентал».

Двое из совета директоров и вице-президент по грузовым и пассажирским перевозкам подали в отставку. На его место Таггарт назначил одного из своих друзей.

На просторах Мексиканской пустыни началось строительство новой линии, в то время как на Рио-Норт поступило распоряжение снизить скорость движения поездов, потому что путь очень ненадежен.

Огромную железнодорожную станцию с зеркалами и мраморными колоннами построили посреди пыльной незаасфальтированной площади мексиканской деревни — а на Рио-Норт из-за того, что не выдержали рельсы, пошел под откос и взорвался состав с нефтью. Эллис Вайет не стал дожидаться, когда суд определит, было ли это крушение вызвано непреодолимыми обстоятельствами, как поспешно заявил Таггарт. Он передал право на перевозку нефти «Финикс — Дуранго», небольшой и малоизвестной железнодорожной компании, которая упорно и не без успеха цеплялась за жизнь, изо всех сил стараясь встать на ноги. Нефть Вайета стала своего рода катализатором для «Финикс — Дуранго». Компания начала стремительно расти вместе с нефтяными промыслами Вайета, с фабриками и заводами на пустынных просторах Колорадо.

А в это время через чахлые маисовые поля Мексики со скоростью пять миль в месяц продвигалась прокладка линии Сан-Себастьян.

Дэгни было тридцать два года, когда она заявила Джеймсу Таггарту, что уходит из компании. Последние три года, не занимая соответствующей должности и не имея фактически никакой власти, она руководила работой отдела перевозок. Содрогаясь от омерзения, она тратила драгоценное время на нейтрализацию действий приятеля Джима, который занимал должность вице-президента по грузовым и пассажирским перевозкам. У него не было никакой программы действий, и все решения, которые он принимал, были ее решениями, но принимал он их, лишь предприняв все возможное, чтобы ее решения не прошли. В конце концов она поставила Таггарту ультиматум.

— Но, Дэгни, ты же женщина! Женщина — и вдруг вице-президент компании?! Да это просто неслыханно! Совет директоров никогда на это не пойдет.

— В таком случае я умываю руки.

Она не думала о том, как проведет остаток своей жизни. Решение уйти из «Таггарт трансконтинентал» было для нее таким же мучительным, как ожидание ампутации обеих ног.

Но она все же решилась на это и была готова принять любое испытание, которое выпадет на ее долю.

Она так и не смогла понять, почему совет директоров единодушно проголосовал за то, чтобы назначить ее вице-президентом компании.

Именно она завершила в конце концов строительство Сан-Себастьян. Когда она

приняла дела, работы шли уже в течение трех лет. Была проложена лишь треть общей протяженности пути, но затраты уже превысили сметную стоимость всего строительства. Она уволила всех друзей Джима и нашла подрядчика, который в течение года завершил работы.

Сан-Себастьян начала функционировать, но ни ожидаемого объема перевозок, ни поездов, груженных медью, так и не последовало, лишь изредка с гор с диким лязгом спускались составы из двух-трех вагонов. Рудники, сказал Франциско Д'Анкония, все еще в стадии разработки. «Таггарт трансконтинентал» продолжала нести убытки.

Сейчас, как и много вечеров подряд, Дэгни сидела за столом в своем кабинете, пытаясь определить, какие линии и как скоро смогут спасти компанию.

Рио-Норт после реконструкции с лихвой покрывала бы все убытки. Глядя на листы цифр, которые означали убытки и еще раз убытки, Дэгни не думала о затянувшейся бессмысленной агонии их начинания в Мексике. Она думала о телефонном звонке.

— Хэнк, только ты в силах спасти нас. Ты можешь в кратчайшие сроки поставить нам рельсы и предоставить максимальную отсрочку платежа?

— Могу, — ответил ей ровный, уверенный голос на другом конце линии.

Эта уверенность придала ей сил. Она склонилась над листами на столе, обнаружив вдруг, что ей стало легче сосредоточиться. Наконец-то у нее появилось хоть что-то, на что она могла рассчитывать, уверенная, что ее не подведут в решающий момент.

Джеймс Таггарт прошел через приемную кабинета Дэгни, все еще сохраняя на лице выражение уверенности, которую он чувствовал, сидя в баре в окружении своих друзей. Когда он открыл дверь кабинета, это выражение моментально исчезло. Он подошел к ее столу словно ребенок, которого куда-то тащат, чтобы наказать.

Дэгни сидела, склонившись над листами бумаги, пряди ее растрепанных волос поблескивали в свете настольной лампы, складки белой блузки, спадавшей с плеч, подчеркивали грациозность фигуры.

— В чем дело, Джим? — спросила она.

— Что ты пытаешься проверить на Сан-Себастьян?

— Провернуть? С чего ты взял? — подняла голову Дэгни.

— Что за график движения ты установила на этой линии и какие ты по ней пускаешь поезда?

Дэгни рассмеялась. Ее смех звучал весело и чуть устало.

— Послушай, Джим, тебе хоть иногда нужно читать отчеты, которые ты получаешь.

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что мы выдерживаем этот график и пускаем эти поезда уже целых три месяца.

— Один пассажирский поезд в день?

— Да, по утрам. И один товарный через день.

— Боже мой! И это на такой важной линии?!

— Твоя важная линия не покрывает расходов даже на эти два поезда.

— Но население Мексики ожидает от нас настоящих, качественных транспортных услуг.

— Не сомневаюсь.

— Им нужны поезда.

— Для чего?

— Для того, чтобы осуществить индустриализацию страны. Неужели ты ожидаешь, что они будут развиваться экономически, если мы не предоставляем им соответствующих транспортных ресурсов?

— А я от них этого и не ожидаю.

— Ну, знаешь, это твое личное мнение. Не понимаю, по какому праву ты сократила график движения. Да одна только транспортировка меди с лихвой покроет все расходы.

— Когда?

Он посмотрел на нее, и на его лице появилось то довольное выражение, которое

замечаешь на лице человека, собирающегося сказать что-то, что наверняка причинит боль.

— Ну ты же не сомневаешься в успехе медных рудников, раз уж этим занимается сам... Франциско Д'Анкония? — Таггарт произнес это имя с особым ударением и сейчас наблюдал за ее реакцией.

— Может быть, он твой друг, но... — начала Дэгни. Таггарт перебил ее:

— Mow? Я все время думал, что он твой друг.

— Только не последние десять лет, — спокойно возразила Дэгни.

— А жаль, правда? Тем не менее он один из самых удачливых предпринимателей в мире. Еще ни разу не бывало, чтобы он потерпел неудачу, я имею в виду бизнес, и он всадил миллионы в эти рудники, поэтому, мне кажется, на него можно положиться.

— Когда ты наконец поймешь, что Франциско Д'Анкония превратился в абсолютно никчемного человека?

Таггарт рассмеялся:

— Что касается его личностных качеств, то я всегда был о нем именно такого мнения. Но в этом ты со мной не соглашалась. Еще как не соглашалась! Ты, конечно же, помнишь наши бесконечные ссоры по этому поводу? Напомнить тебе кое-что из того, что ты о нем говорила"! О том, что ты с ним делала, я могу лишь догадываться.

— Ты что, пришел обсуждать Франциско Д'Анконию?

Ее лицо не выражало абсолютно никаких эмоций, и поэтому на лице Таггарта проступила озлобленность — опять у него ничего не получилось.

— Черт возьми, ты прекрасно знаешь, почему я пришел, — огрызнулся он. — То, что я сегодня узнал о нашей линии в Мексике, просто уму непостижимо.

— Что?

— Какой подвижной состав ты используешь на Сан-Себастьян?

— Худшее из того, что смогла найти.

— Ты не отрицаешь этого?

— Я сообщала тебе об этом в своих отчетах.

— Это правда, что ты выпускаешь на линию паровоз?

— Эдди нашел этот паровоз по моему указанию в одном из заброшенных депо Луизианы. Он не смог даже узнать, как называлась та железная дорога.

— И это старье ты пускаешь на линию как поезд нашей компании?

— Да.

— Ничего не скажешь, хорошенькая идея. Что, черт побери, происходит? Слышишь, я хочу знать, что происходит?!

Глядя на него в упор, она спокойно ответила:

— Если хочешь знать, я не оставила на Сан-Себастьян ничего, кроме металлолома, да и того как можно меньше. Я убрала оттуда все, что можно было убрать: все маневровое и ремонтное оборудование, даже пишущие машинки и зеркала.

— Какого черта? Зачем?

— Затем, чтобы бандитам как можно меньше досталось, когда они отнимут линию.

Таггарт вскочил:

— Ну, я этого так не оставлю. На этот раз номер у тебя не пройдет. Это ж надо сотворить такое низкое, такое неслыханное... Да как ты посмела... лишь из-за каких-то грязных слухов, в то время как у нас подписан контракт на двести лет и...

— Джим, — медленно произнесла она, — у нас нет ни одного вагона, ни одного локомотива, ни единой тонны угля, чтобы перебросить на ветку в Мексике.

— Нет, я этого не допущу, я решительно не позволю предпринимать такие возмутительные действия по отношению к дружественной стране, которой так нужна наша помощь. Погоня за материальными благами — это еще далеко не все. Существуют и определенные моральные обязательства, моральные ценности, хотя тебе этого не понять. Она придвинула к себе блокнот и взяла карандаш:

— Хорошо, Джим, сколько поездов ты хочешь пустить по Сан-Себастьян?

- Гм?
- С какой линии снять поезда, чтобы перевести их в Мексику?
- Я не хочу ниоткуда ничего снимать.
- Откуда в таком случае я возьму оборудование для линии в Мексике?
- А это уже твои проблемы. Это твоя работа.
- Здесь я бессильна. Решать придется тебе.
- Опять твой обычный грязный трюк — сваливаешь всю ответственность на меня.
- Я жду указаний, Джим.
- Ничего не выйдет. Я не позволю тебе заманить меня в ловушку.

Она бросила карандаш на стол:

- В таком случае в Мексике все остается по-старому.

— Ну, погоди, дождись только заседания совета директоров в следующем месяце. Я потребую решения раз и навсегда относительно того, как далеко может заходить отдел перевозок в превышении своих полномочий. Ты за это ответишь.

— Отвечу.

Прежде чем дверь кабинета закрылась за его спиной, она вернулась к работе.

Когда она закончила и, отодвинув бумаги в сторону, подняла глаза, за окном царила непроглядная тьма, домов не было видно, и город превратился в бесконечную цепь поблескивающих окон. Она неохотно встала из-за стола. Она не хотела признаться себе, что устала, это было бы равноценно признанию своего, пусть незначительного, поражения. Но сегодня она действительно чувствовала усталость.

В здании компании было темно и пусто. Служащие давно разошлись по домам, и лишь Эдди Виллерс все еще сидел за своим столом, отгороженным от остальной части комнаты стеклянной перегородкой. От этого казалось, что он сидит в углу, в квадрате света, окруженный со всех сторон темнотой. Проходя мимо, она махнула ему рукой.

Она спустилась на лифте не к парадному входу, а к вестибюлю терминала «Таггарт трансконтинентал». Ей нравилось ходить домой именно этой дорогой.

Ей все время казалось, что вестибюль терминала чем-то напоминает храм. Взглянув вверх, на висевший высоко над головой потолок, она увидела его ярко освещенные своды, которые подпирали мощные гранитные колонны, и верхнюю часть широких, словно застекленных ночной темнотой окон. Своды вестибюля, замершие высоковерху, словно оберегая суетящихся под ними людей, создавали мирно-торжественную атмосферу — как в соборе.

На самом видном месте в вестибюле стоял памятник Натаниэлю Таггарту — основателю компании. К нему уже так привыкли, что не обращали на него никакого внимания, воспринимая как неотъемлемую часть интерьера. Дэгги была единственным человеком, который замечал памятник и никогда не считал его присутствие здесь чем-то само собой разумеющимся. Всегда, проходя по вестибюлю терминала, она смотрела на этот памятник, и для нее это было единственной молитвой, которую она знала.

Натаниэль Таггарт начинал в свое время рядовым искателем приключений без гроша за душой. Он явился откуда-то из Новой Англии и построил железную дорогу через весь континент в те годы, когда стальные рельсы только-только появились. Его дорога выдержала все выпавшие на ее долю испытания, а ее строительство стало настоящей легендой, потому что в то время люди либо не понимали этого, либо просто не верили, что такое возможно.

Он был убежден в том, что никто не может и не имеет права его остановить. Он избрал цель и неуклонно двигался к ней, и путь его был таким же твердым и прямым, как железнодорожные рельсы. Он никогда не пытался заручиться благосклонностью правительства, получить от него ссуду или землю для строительства железной дороги. Он получал деньги от тех, у кого они были; он ходил из дома в дом, его можно было увидеть в роскошных кабинетах богатых банкиров и на приходящих в упадок фермах. Он никогда не говорил об общественном благосостоянии, он просто говорил людям, что они получают огромную прибыль с его железной дороги, объяснял, почему рассчитывает на большие

доходы, и приводил свои доводы. А у него были очень веские доводы. В течение всех последующих поколений «Таггарт трансконтинентал» была одной из немногих железнодорожных компаний, которая ни разу не обанкротилась, и единственной компанией, контрольный пакет акций которой, принадлежавший ее основателю, остался в руках его потомков.

При жизни имя Нэта Таггарта было известно всем, но не пользовалось особой популярностью: его произносили не с уважением, а с ноткой негодующего любопытства, и если кто-нибудь и восхищался им, то так, как восхищаются удачливым грабителем. Но ни один цент из его состояния не был добыт силой или мошенничеством, за ним не было никакой вины, за исключением того, что он собственным трудом заработал свое состояние и никогда не забывал о том, что оно принадлежит только ему.

О нем ходило множество слухов. Поговаривали даже, что в одном из западных штатов он убил местного законодателя, который пытался аннулировать предоставленную ему концессию в то время, как его железная дорога была наполовину проложена через территорию штата. Кое-кто из законодателей хотел, сыграв на понижение, сколотить состояние на акциях Нэта Таггарта. Таггарта обвиняли в убийстве, но его вину так и не доказали. С тех пор у него не было никаких проблем с законодательной властью.

Говорили также, что ради строительства железной дороги Нэт Таггарт неоднократно ставил на карту собственную жизнь, а однажды поставил и нечто большее. Отчаянно нуждаясь в средствах, когда строительство его линии было приостановлено, он спустил с лестницы одного высокопоставленного чиновника, который предложил ему правительственный займ. Затем он предоставил собственную жену в залог за займ, полученный от одного миллионера, который ненавидел его, но восхищался красотой его жены. Он выплатил всю сумму в срок, сохранив таким образом право на жену. Эта сделка была заключена с ее согласия. Она была необычайно красива и принадлежала к благородному семейству одного из южных штатов, но ее лишили права на наследство за то, что она сбежала с Нэтом Таггартом, когда тот был еще молодым безвестным оборванцем.

Дэгни иногда сожалела о том, что Нэт Таггарт был ее предком. То, что она чувствовала по отношению к нему, не относилось к категории семейной привязанности, когда не приходится выбирать, кого любить. Она не хотела, чтобы ее чувство было сродни тому, что человек должен испытывать к своим родственникам. Она любила лишь то, что хотела любить, и ее всегда возмущало, когда любви от нее требовали. Но если бы можно было выбирать предков, она, не колеблясь, с величайшим почтением и благодарностью выбрала бы Нэта Таггарта.

Скульптуру Нэта Таггарта лепили с портрета работы неизвестного художника. Кроме этого портрета, не сохранилось ни одного снимка, ничего запечатлевшего его внешность. Он дожил до глубокой старости, но его можно было представить только молодым и полным сил, каким изобразил его неизвестный художник.

Еще в детстве с этой скульптурой накрепко связались ее первые представления о великом.

Когда Дэгни слышала это слово в школе или церкви, она думала, что знает его истинное значение, — она вспоминала об этой скульптуре — о высоком молодом человеке со стройным, гибким телом и скуластым лицом. Он стоял, высоко подняв голову, готовый к любым испытаниям, на его лице светилась радость от сознания своей силы. Все, чего Дэгни хотела от жизни, заключалось в желании держать голову так же, как он, — высоко и гордо.

Сегодня вечером, проходя по вестибюлю, Дэгни вновь посмотрела на скульптуру. На мгновение она ощутила необычайное облегчение. Словно какое-то неведомое гнетущее бремя вдруг исчезло и она почувствовала, будто слабый поток воздуха нежно одувал ее лицо.

В углу, рядом с парадным входом в вестибюль терминала, стоял газетный киоск. Он принадлежал тихому, немногословно вежливому старику, который, будучи одновременно и продавцом, вот уже двадцать лет стоял за прилавком. В свое время у него была табачная



фабрика, но он разорился, и у него остался только этот киоск, из которого он изо дня в день наблюдал за водоворотом сновавших мимо незнакомых лиц. Все его родственники и друзья давно умерли, и единственной радостью в его жизни осталось хобби. Он коллекционировал сигареты — все, которые производились в мире. Он знал все марки сигарет, как нынешние, так и те, что когда-либо выпускались.

Дэгни любила по пути домой останавливаться у его киоска. Он был неотъемлемой частью терминала «Таггарт трансконтинентал л», как сторожевой пес, слишком старый и слабый, чтобы охранять, но само присутствие которого внушало чувство уверенности. Ему нравилось наблюдать за ней, его забавляла мысль, что он единственный человек, осознающий всю значимость этой молодой женщины в плаще и шляпе набекрень, которая, стараясь не привлекать внимания, все время куда-то спешила, торопливо пробираясь сквозь толпу.

Сегодня вечером она как обычно остановилась у киоска, чтобы купить пачку сигарет.

— Как ваша коллекция? Появилось что-нибудь новенькое? — спросила она.

Нет, мисс Таггарт, — ответил он, грустно улыбаясь и отрицательно качая головой. — Новых сортов сейчас не выпускают вообще, даже старые исчезают один за другим. В продаже осталось лишь пять-шесть видов сигарет, а когда-то их было очень много. Сейчас вообще ничего нового не производят.

— Будут производить. Все это лишь временно.

Старик посмотрел на нее, но ничего не ответил. Затем он сказал:

— Мне нравятся сигареты, мисс Таггарт. Мне нравится думать об огне, который человек держит в своих руках. Огонь, эта могучая, опасная сила, которую человек укротил и держит у кончиков своих пальцев. Я часто думаю о тех минутах, когда человек сидит в полном одиночестве, смотрит на дым своей сигареты и размышляет. Я часто задавал себе вопрос, какие великие свершения выросли из таких минут. Когда человек думает, в его сознании вспыхивает искорка живого огня, и в такие минуты огонек дымящейся сигареты является как бы отражением его личности.

— А думают ли люди вообще? — Слова вырвались у нее произвольно, и она тут же замолчала. Этот вопрос давно мучил ее, и ей не хотелось обсуждать его.

Старик посмотрел на нее так, словно заметил внезапную заминку в ее голосе и понял ее причину. Но он не стал продолжать эту тему, лишь сказал:

— Мне не нравится то, что происходит сейчас с людьми, мисс Таггарт.

— Что вы имеете в виду?

— Не знаю. Но я наблюдаю за людьми вот уже двадцать лет и заметил большие перемены. Я помню, как когда-то они торопливо проходили мимо, и мне нравилось наблюдать за ними. Да, все спешили, но знали, куда именно они спешат, и им очень хотелось туда успеть. Сейчас люди торопятся оттого, что им страшно. Ими движет не целеустремленность, нет. Ими движет страх. Они никуда не спешат, они просто убегают, и я далеко не уверен в том, что они сами знают, от чего бегут. Они не смотрят друг на друга. Да, они часто улыбаются, пожалуй, даже слишком часто, но какой-то скверной улыбкой. Она выражает не радость, а мольбу. Нет, я не понимаю, что происходит с миром. — Он пожал плечами. — Кто такой Джон Галт?

— Это всего лишь ничего не значащая фраза. — Дэгни вздрогнула, услышав, как резко прозвучал ее голос, и, словно извиняясь, добавила: — Мне очень не нравится это вульгарно-бессмысленное выражение. Что оно значит? Откуда взялось?

— Этого никто не знает, — медленно ответил старик.

— Но тогда почему все его повторяют? Похоже, никто не может толком объяснить, в чем его смысл, но тем не менее все произносят его с таким видом, будто знают, что оно означает.

— А почему это вас так беспокоит? — спросил он.

— Мне не нравится то, что подразумевается, когда произносят эти слова.

— Мне тоже, мисс Таггарт.

Эдди Виллерс ужинал в рабочей столовой терминала «Таггарт трансконтинентал». В главном здании находился ресторан для высокопоставленных работников компании, но Эдди он не нравился. Он чувствовал себя куда более уютно в этой столовой, которая словно являлась частью железной дороги.

Столовая располагалась под землей и представляла собой просторный зал, стены которого были выложены белым, сверкавшим в свете электрических лампочек кафелем. Высокие потолки, блестящие стойки из стекла и хрома создавали ощущение пространства и света.

В столовой Эдди время от времени встречал одного рабочего. Ему нравилось его лицо. Однажды они разговорились и с тех пор всегда, когда встречались, ужинали вместе.

Эдди забыл, спрашивал ли он когда-нибудь, как зовут его собеседника и кем конкретно он работает. Судя по всему, тот явно не занимал высокой должности — его сшитая из грубой ткани спецовка была во многих местах испачкана машинным маслом. Этот рабочий был для Эдди не столько личностью, сколько молчаливым слушателем, проявлявшим живой интерес к тому, что было смыслом и его жизни: к «Таггарт трансконтинентал».

Сегодня, спустившись поздно вечером в столовую, Эдди заметил его в углу полупустого зала. Эдди радостно улыбнулся, махнул рукой в знак приветствия и направился со своим подносом к его столу.

Сидя в этом укромном уголке, расслабившись после бесконечно-напряженного трудового дня, Эдди чувствовал себя очень уютно. Здесь он мог говорить так, как никогда не говорил в другом месте, признаваться в том, в чем никогда и никому не признавался. Здесь, глядя во внимательные глаза рабочего, он мог просто размышлять вслух.

— Рио-Норт — наша последняя надежда, — сказал Эдди, — но она спасет нас. Во всяком случае у нас будет хоть одна линия в хорошем состоянии, и как раз там, где она больше всего нужна. Это поможет спасти всю компанию. Смешно, правда, говорить о последней надежде для «Таггарт трансконтинентал»... Ты согласишься, если кто-то скажет, что с Землей столкнется метеорит и уничтожит ее?.. Я тоже не верю...

«От океана к океану, навсегда» — с самого детства мы слышали эти слова, она и я. Нет, никто не говорил «навсегда», но подразумевается именно это... Я обыкновенный человек. Я не смог бы построить эту железную дорогу. Если она погибнет, я не смогу воскресить ее. Мне придется уйти вместе с ней... Ты не обращай на меня внимания. Не знаю, почему лезут в голову такие вещи. Наверное, я немного устал. Да, я сегодня работал допоздна. Она не просила меня задержаться, но у нее в кабинете горел свет после того, как все давно разошлись по домам... Да, она уже ушла... Проблемы? Проблемы всегда найдутся. Но она спокойна. Она знает, что справится... Конечно же, дела наши плохи. У нас намного больше аварий, чем ты думаешь. На прошлой неделе мы потеряли еще два локомотива. Один, можно сказать, рассыпался от старости, а другой столкнулся со встречным поездом... Да, мы заказали локомотивы в «Юнайтэд локомотив уоркс». но ждем их уже целых два года. Я даже не знаю, получим ли мы их когда-нибудь вообще... А как они нам нужны! Движущая сила — ты не представляешь себе, как это важно... Это основа всего... Чего ты смеешься?.. Да, я уже говорил, что дела наши плохи. Но хорошо хоть, что с Рио-Норт все уладилось. Через пару недель мы получим первую партию рельсов, а через год по полностью обновленной линии пойдут поезда. На этот раз нас ничто не остановит... Конечно, я знаю, кто будет класть рельсы, — Макнамара из Кливленда, тот самый подрядчик, что избавил нас от мороки с Сан-Себастьян. Здесь мы можем быть спокойны. Он знает свое дело. Хороших подрядчиков осталось не так уж много... Конечно, мы в лютой запарке, но мне это нравится.

В последнее время я прихожу в контору на час раньше, чем обычно, но она всегда на месте, задолго до меня... Что? Не знаю, что она делает по ночам. Ничего особенного, я думаю... Нет, она ни с кем никуда не ходит. Большею частью сидит дома и слушает музыку. Она слушает пластинки. Какие? А тебе что за дело? Ну, Ричарда Хэйли... Ей очень нравится его музыка. Кроме железной дороги это единственное, что она по-настоящему любит.

## Глава 4

### Незыблемые перводвигатели

Движущая сила, подумала Дэгни, глядя на возвышающийся в сумерках небоскреб компании «Таггарт трансконтинентал», — вот что ему необходимо в первую очередь; движущая сила, чтобы это здание стояло; движение, чтобы оно оставалось непоколебимым. Оно покоится не на сваях, вбитых в гранит, — оно покоится на двигателях, работающих по всему континенту.

Дэгни испытывала легкое беспокойство. Она только что вернулась из поездки на завод «Юнайтэд локомотив уоркс» в Нью-Джерси, куда отправилась, чтобы лично встретиться с президентом компании. Она ничего не узнала — ни причины задержек, ни когда будут готовы дизельные двигатели. Президент компании проговорил с ней два часа, но его ответы не имели отношения к ее вопросам. Каждый раз, когда она пыталась сделать беседу более конкретной, в его тоне появлялся какой-то особый снисходительный упрек, будто она нарушала некое общеизвестное неписаное правило, выказывая тем самым плохое воспитание.

Идя по заводу, она увидела заброшенные в углу двора остатки огромного механизма. Некогда это был прецизионный станок — таких сейчас нигде и не найти. Станок не был изношен — он пришел в негодность от людской небрежности, разъеден ржавчиной и черными каплями грязного масла. Она отвернулась при виде его. Подобные вещи всегда на мгновение ослепляли ее вспышкой жесточайшего гнева. Она не знала почему; она не могла объяснить этого чувства, лишь осознавала в нем крик протеста против несправедливости. Это была реакция на нечто большее, чем старый станок.

Когда она вошла в приемную своего кабинета, там уже никого не было, кроме ожидавшего ее Эдди Виллерса. По тому, как он посмотрел на нее и молча последовал за ней в кабинет, Дэгни сразу поняла, что что-то случилось.

— В чем дело, Эдди?

— Макнамара ушел.

Она озадаченно посмотрела на него:

— Что значит — ушел?

— Ушел. Оставил работу. Закрыв дело.

— Макнамара, наш подрядчик?

— Да.

— Но этого же не может быть!

— Знаю.

— Что случилось, почему?

— Никто не знает.

Дэгни, стараясь не спешить, расстегнула пальто, села за стол и начала снимать перчатки. Затем сказала:

— Давай с самого начала. Эдди. Сядь. Он говорил спокойно, продолжая стоять:

— Я разговаривал с его главным инженером, по междугородной. Этот главный инженер звонил нам из Кливленда, чтобы предупредить. Это все, что он сказал. Он больше ничего не знает.

— Что он сказал?

— Что Макнамара закрыл свое дело и исчез.

— Куда?

— Он не знает. Никто не знает.

Дэгни заметила, что забыла снять вторую перчатку. Она стянула ее и бросила на стол.

Эдди сказал:

— У него была куча контрактов, которые могли принести целое состояние. У него клиенты были расписаны на три года вперед. — Она молчала. Он добавил, уже спокойнее: —

Я бы не боялся, если бы мог понять... Но когда не видишь никакой причины... — Она продолжала молчать. — Он был лучшим подрядчиком в стране.

Они посмотрели друг на друга. Дэгни хотела сказать: «О Боже, Эдди!» Вместо этого она произнесла ровным голосом:

— Не волнуйся. Мы найдем другого подрядчика для Рио-Норт.

Было уже поздно, когда Дэгни вышла из офиса. Она остановилась на тротуаре у входа в здание компании, глядя на улицу. Она вдруг почувствовала, что у нее не осталось энергии, цели, желаний, будто внутри перегорел и заглох мотор.

За домами высоко в небе струился слабый свет — отражение тысяч неизвестных огней, электрическое дыхание города. Ей хотелось отдохнуть. Отдохнуть, подумала она, и развлечься.

Ничего, кроме работы, в ее жизни не было, да ей и не хотелось ничего другого. Но иногда наступали такие моменты, как сегодня, когда она внезапно чувствовала невыносимую пустоту, даже не пустоту, а безмолвие, не отчаяние, а неподвижность, будто в ней самой без каких-либо особых неполадок все остановилось. Тогда она ощущала желание получить кратковременную радость извне, желание быть сторонним наблюдателем чужой работы или величия. Не обладать, а лишь отдаваться; не действовать, а только реагировать; не создавать, а восхищаться. Без этого мне дальше не двинуться, подумала Дэгни. Без радости мы как машина без топлива.

Дэгни закрыла глаза, и на ее лице проступила легкая улыбка горького удовлетворения. Движущей силой собственного счастья всегда была она сама. Сейчас же ей хотелось чувствовать себя увлеченной силой чужих свершений. Как люди любят смотреть из темноты прерии на освещенные окна проносящегося мимо поезда — ее поезда, символа силы и целеустремленности, который придавал им уверенность посреди пустоты пространства и ночи, — так и она хотела на мгновение ощутить короткое приветствие, мимолетное видение, просто радость помахать рукой и сказать: «Кто-то куда-то едет».

Она медленно двинулась вперед — руки в карманах пальто, тень шляпы, слегка сдвинутой набок, падает на лицо. Здания вокруг нее взметнулись так высоко, что невозможно было увидеть небо, не запрокинув головы. Она подумала: «Сколько же вложено в этот город — и сколько он мог бы дать!..»

Из квадратного рта динамика, установленного над дверью магазина, на улицу лились звуки. Это был симфонический концерт, который шел где-то в городе. Звуки напоминали долгий бесформенный скрип, лишенный всякой мелодии, всякой гармонии, всякого ритма. Если музыка — это эмоция, а эмоцию порождает мысль, то эти звуки были криком хаоса, безрассудства, беспомощности, криком самоотречения.

Дэгни продолжала идти. Она остановилась у витрины книжного магазина, где была выставлена пирамида томов в коричневато-пурпурных обложках — «Гриф линяет». Рекламный плакат рядом сообщал: «Роман века, кропотливое исследование алчности бизнесмена. Смелая попытка показать деградацию человека».

Она шла мимо кинотеатра. Его огни залили полквартала, и только в вышине можно было разглядеть огромную фотографию и часть надписи. Фотография изображала улыбающуюся молодую женщину. Даже тем, кто видел ее лицо впервые, оно казалось примелькавшимся. Надпись гласила: «...в эпохальной драме, дающей ответ на извечный вопрос: „Надо ли женщине признаваться?“»

Она шла мимо ночного клуба. Из его дверей, пошатываясь, вышла пара и направилась к такси. Лицо девушки блестело, сильно накрашенные глаза казались темными пятнами. На ней была накидка из горноста и роскошное вечернее платье, спадавшее с одного плеча подобно халату неряшливой домохозяйки, открывая грудь больше, чем следует, — не дерзко, не вызывающе, а с каким-то усталым безразличием. Спутник вел ее, держа за обнаженную руку; на лице его была хитрая усмешка, подобающая не мужчине, живущему предвосхищением романтического приключения, а мальчишке, который вот-вот нацарапает на заборе неприличное слово.

«Что я рассчитывала увидеть?» — спросила себя Дэгни, продолжая идти. Этим люди живут, в этом проявляется их душа, их культура, их представления о счастье. Нигде ничего другого она не видела по крайней мере много лет.

На углу улицы, на которой она жила, Дэгни купила газету и направилась домой.

Ее квартира состояла из двух комнат на верхнем этаже небоскреба. Стекла углового окна делали помещение похожим на рубку плывущего корабля, а огни города превращались в блики черных волн из стали и камня. Она включила лампу, и длинные треугольники теней прорезали голые стены геометрическим узором из легких линий, составленных прямыми углами немногочисленных предметов мебели.

Она стояла посреди комнаты, одна между небом и городом. Только одно могло дать ей то чувство, которое она хотела сегодня испытать; это была единственная форма радости, которую она открыла. Она включила проигрыватель и поставила пластинку Ричарда Хэйли.

Это был Четвертый концерт — последняя написанная им вещь. Гром вступительных аккордов вымел из ее сознания все видения улицы. Концерт был мощным кличем восстания. Это было «нет», брошенное всем необозримым, бесконечным пыткам; отрицание страдания, отрицание, которое несло в себе агонию борьбы за освобождение. Звуки были подобны голосу, говорящему: «Нет никакой необходимости в боли — почему же тогда самую мучительную боль испытывают те, кто отрицает ее неизбежность? Мы, несущие любовь и тайну радости, к какому наказанию мы приговорены за это и кем?» Мучения превратились в вызов, страдания — в гимн видению будущего, ради которого стоило терпеть, стоило вынести все, даже это. Это была песнь неповиновения и отчаянного поиска.

Она сидела неподвижно, с закрытыми глазами и слушала.

Никто не знал, что случилось с Ричардом Хэйли. История его жизни была подобна коротенькой повести, написанной, чтобы проклясть величие и показать, какую цену приходится за него платить. Это были долгие годы, проведенные на чердаках и в подвалах, годы, впитавшие серый тон стен, в которых был заточен человек, чья музыка изобиловала яркими красками. Это была бесконечная изнурительная борьба против длинных пролетов неосвещенных лестниц, против замерзшего водопровода, против цены бутерброда в вонючей закусочной, против лиц людей, слушавших музыку с пустыми глазами.

Это была битва, в которой не было возможности снять напряжение в активных боевых действиях, в которой невозможно было распознать конкретного противника и приходилось лишь биться в глухую стену, стену безразличия, идеально поглощающую любой звук — удары, аккорды и крики; битва молчания для человека, который наделял звуки необычайной выразительностью; молчание безвестности, одиночества, ночей, когда случайный оркестр играл одну из его работ, а он смотрел в темноту, сознавая, что его душа изливается в дрожащих, расходящихся из радицентра кругах и проносится над городом, где нет ни единого человека, который ее услышит.

«Музыка Ричарда Хэйли несет в себе героическое начало. Наш век перерос это», — утверждал один критик.

«Музыка Ричарда Хэйли несозвучна нашему времени. В ней слышен экстаз, самозабвенный порыв. Кому это нужно в наши дни?» — говорил другой.

Его жизнь была кратким изложением жизней всех тех, чья награда — памятник в парке через сто лет после того, когда награда могла что-либо значить, разве что Ричард Хэйли не поспешил умереть. Он дожил до того дня, который — согласно общепризнанным законам истории — не должен был увидеть. Ему было сорок три, и это был день премьеры «Фаэтона» — оперы, которую он написал в двадцать четыре года. Он сознательно изменил древнегреческий миф в соответствии со своей целью, наделив его иным смыслом: Фаэтон — юный сын Гелиоса, укравший колесницу отца и с честолюбиво-безрассудной смелостью попытавшийся перевезти солнце через небо, — не погиб, как в мифе; в опере Фаэтону удалое<sup>1</sup> то, к чему он стремился. Тогда, девятнадцать лет назад, оперу поставили и спектакль сняли после первого же представления — под свист и улюлюканье публики. В ту ночь Ричард Хэйли ходил по улицам до самого рассвета, пытаясь найти ответ на один

вопрос, но так и не нашел.

Через девятнадцать лет, когда оперу поставили вновь, последние звуки музыки слились с громом величайшей овации, какую только слышал оперный театр. Восторг зрителей вырвался из древних стен театра, крики восхищения выплеснулись в фойе, на лестницы, на улицы, долетев до юноши, который бродил по этим улицам девятнадцать лет назад.

Дэгни была в опере в ту памятную ночь. Она была одной из немногих, кто открыл для себя музыку Ричарда Хэйли намного раньше, но она никогда не видела его самого. И вот она увидела, как его вытолкнули на сцену, смотрела, как он стоял перед гигантской волной машущих рук и приветственно кивающих голов. Он стоял неподвижно — высокий, очень худой человек с седеющей головой. Он не кланялся, не улыбался, просто стоял и смотрел на толпу. Его лицо было спокойным — честный, невозмутимый взгляд всерьез задумавшегося над непонятным вопросом человека.

«Музыка Ричарда Хэйли, — написал один критик на следующее утро, — принадлежит человечеству. Она порождена величием народа и это величие выражает». «В жизни Ричарда Хэйли, — сказал один священнослужитель, — содержится вдохновляющий урок. Он проложил себе путь в жестокой борьбе, но имеет ли это значение сейчас? Сколько справедливости и благородства заключено в том, что он вынес страдания, несправедливость, жестокость и оскорбления из уст братьев своих, — иначе он не сумел бы обогатить их жизни и научить их ценить красоту великой музыки».

На следующий день после премьеры Ричард Хэйли исчез.

Он не оставил никаких объяснений. Просто заявил своим издателям, что его карьера окончена. Он продал им права на свои работы за скромную сумму, хотя знал, что теперь авторские гонорары могли принести ему целое состояние. Он исчез, не оставив адреса. Это было восемь лет назад, и никто не видел его с тех пор.

Дэгни слушала Четвертый концерт, закрыв глаза и запрокинув голову. Она лежала, вытянувшись на краю кушетки, ее тело было расслаблено и спокойно; но напряжение подчеркивал рот на замершем лице — чувственный рот, очерченный линиями неутоленного желания.

Через некоторое время она открыла глаза и заметила газету, которую бросила на кушетку. Она рассеянно потянулась за газетой, чтобы быстренько пробежаться по крикливым заголовкам и убрать газету с глаз долой. Газета упала и раскрылась. Дэгни увидела знакомое лицо на фотографии и заголовок статьи. Она сложила газету и отбросила ее в сторону.

Это было лицо Франциско Д'Анкония. Газетный заголовок сообщал о его приезде в Нью-Йорк. Ну и что из этого, подумала Дэгни. Она не обязана видеть его. Она не видела его уже столько лет.

Она села, глядя на лежавшую на полу газету. Не читай ее, подумала Дэгни, не смотри на нее. Но его лицо — она успела заметить — не изменилось. Как лицо может оставаться таким же, когда все остальное ушло? Напрасно они напечатали снимок, на котором он улыбается. Такая улыбка не для газет. Это улыбка человека, который способен видеть, знать и придавать существованию величие. Это насмешливо-вызывающая улыбка блестящего интеллекта. Не читай, подумала Дэгни, не сейчас, не под эту музыку, только не под эту музыку!

Она дотянулась до газеты и раскрыла ее.

В статье говорилось, что сеньор Франциско Д'Анкония любезно согласился дать интервью прессе в своих апартаментах в отеле «Вэйн-Фолкленд». Он сообщил, что приехал в Нью-Йорк по двум важным причинам: гардеробщица клуба «Каб» и ливерная колбаса из магазина «Деликатесы Мо» на Третьей авеню. Ему нечего сказать о предстоящем бракоразводном процессе мистера и миссис Джилберт Вейл.

Миссис Вейл — дама благородного происхождения и необычайной привлекательности — нанесла своему знатному молодому мужу сокрушительный удар, публично заявив, что хочет избавиться от него ради любовника — Франциско Д'Анкония. Она представила прессе

подробный отчет о своем тайном романе, включая описание ночи накануне Нового года, которую она провела на вилле Д'Анкония в Андах. Ее муж пережил этот удар и подал на развод. Она подала встречный иск на половину его состояния, исчислявшегося миллионами, сопровождая его изложением личной жизни мужа, на фоне которой, по ее словам, ее собственная жизнь выглядела совершенно невинно. Все это в красках расписывали газеты в течение многих недель. Но когда репортеры поинтересовались у сеньора Д'Анкония, ему нечего было сказать на этот счет. «Станете ли вы отрицать рассказ миссис Вейл?» — спросили его. «Я никогда ничего не отрицаю», — ответил он. Репортеров удивил его внезапный приезд в город; они полагали, что он не захочет присутствовать при скандале, который вот-вот достигнет высшей точки и выплеснется на первые полосы газет. Но они ошиблись. Франциско Д'Анкония сделал еще одно замечание по поводу своего приезда. «Мне захотелось стать свидетелем фарса», — заявил он.

Дэгни выпустила газету из рук. Затем села и наклонилась, положив голову на руки. Она не двигалась, лишь пряди волос, свисавших к коленям, время от времени резко вздрагивали.

Величественные аккорды музыки Хэйли продолжали литься, наполняя комнату, и, проходя сквозь стекла окон, вырывались на улицы города. Она слушала музыку. Это был ее поиск, ее плач.

Джеймс Таггарт оглядел гостиную своей квартиры, пытаясь угадать, который час; ему не хотелось искать часы.

Он сидел в кресле, в помятой пижаме, босой — лень было отыскивать туфли. Свет серого неба в окне резал глаза, еще слипавшиеся от сна. Он чувствовал в голове ужасную тяжесть, предвещавшую боль. Джеймс сердито подумал, зачем он торчит в гостиной. А, да, вспомнил он, посмотреть, сколько времени.

Он перегнулся через ручку кресла, чтобы разглядеть часы на соседнем доме: двадцать минут первого.

Через открытую дверь спальни он слышал, как Бетти Поуп чистит зубы в ванной. Ее пояс валялся на полу рядом со стулом, где лежала остальная ее одежда; пояс был бледно-розовый со сломанными застёжками.

— Давай побыстрее, а? — раздраженно крикнул ей Таггарт. — Мне нужно одеться.

Бетти не ответила. Она оставила дверь ванной открытой, и было слышно, как она полощет горло.

«Зачем я все это делаю?» — подумал он, вспоминая прошедшую ночь. Но искать ответ на этот вопрос казалось слишком хлопотным.

Бетти Поуп вышла в гостиную, поправляя складки своего атласного в оранжевую и пурпурную клетку пеньюара. «Она выглядит ужасно в этом пеньюаре, — подумал Таггарт, — намного лучше она смотрится на страницах светской хроники, в костюме для верховой езды». Она была высокой и худощавой — одни кости и суставы, да и те двигались не очень плавно. У нее было заурядное лицо, нездоровый цвет кожи и вызывающе снисходительный взгляд, происхождение которого объяснялось тем фактом, что она принадлежала к одному из самых известных семейств.

— А, черт, — сказала она, не имея в виду ничего конкретного, и потянулась, чтобы размяться. — Джим, где у тебя маникюрные ножницы? Мне нужно подстричь ногти на ногах.

— Не знаю. У меня голова раскалывается. Дома подстрижешь.

— Утром ты выглядишь неаппетитно, — сказала она безразлично. — Как улитка.

— Может, заткнешься?

Она бесцельно бродила по комнате.

— Я не хочу домой, — сказала она, не вкладывая в слова особого чувства. — Не люблю утро. Еще один день, и опять нечего делать. Сегодня днем я пью чай у Лиз Блейн. Может, будет весело, потому что Лиз стерва. — Она взяла бокал и одним глотком выпила то, что осталось в нем с вечера. — Почему ты не починишь кондиционер? Здесь так пахнет.

— Ты закончила в ванной? — спросил он. — Мне нужно одеться. У меня сегодня важная встреча.

— Заходи. Мне все равно. Мы тут и вдвоем поместимся. Ненавижу, когда меня торопят.

Бреясь, он смотрел сквозь открытую дверь ванной, как она одевается. Она долго пристраивала на талии пояс, пристегивала к нему чулки, надевала неказистый, но дорогой твидовый костюм. Клетчатый пеньюар, рекламу которого она увидела в популярном журнале мод, был по своему назначению подобен мундиру — его предписывалось надевать в определенных случаях. Когда подобные случаи возникали, она покорно влезала в пеньюар, а потом столь же покорно сбрасывала его.

Природа их отношений была того же свойства — ни страсти, ни желания, ни настоящего удовольствия, ни даже чувства стыда. Половой акт для них не был ни наслаждением, ни грехом. Он ничего не значил. Они слышали, что мужчинам и женщинам полагается спать вместе, потому так и поступали.

— Джим, почему бы тебе не пригласить меня в армянский ресторан сегодня вечером? — спросила она. — Я обожаю шашлык.

— Не могу, — сердито пробурчал он сквозь мыльную пену на лице. — У меня сегодня будет кошмарный день.

— А почему бы тебе не отменить все это? — Что?

— Ну что там у тебя?

— Это очень важно, дорогая. Это заседание совета директоров.

— Ой, кончай ты про свою чертову железную дорогу. Надоело. Терпеть не могу бизнесменов. Они ужасные зануды.

Он не ответил.

Она лукаво взглянула на него, и ее голос приобрел живую нотку, когда она проговорила с манерной медлительностью:

— Джон Бенсон сказал, что ты не очень-то много значишь на этой своей железной дороге, потому что всем руководит твоя сестра.

— Что? Он так сказал?

— Я думаю, твоя сестра — это что-то ужасное. Я думаю, это отвратительно — женщина, которая ведет себя как какой-то механик, а корчит из себя большую шишку. Это так неженственно. Да что она о себе думает, в самом деле?

Таггарт шагнул на порог и облокотился на дверной косяк, изучая Бетти Поуп. На его лице проступила тонкая улыбка — саркастическая и самоуверенная. Все-таки кое-что нас объединяет, подумал он.

— Может, тебе это покажется интересным, дорогая, — сказал он. — Сегодня я намерен разобраться с ней раз и навсегда.

— Не может быть, — заинтересованно проговорила она. — В самом деле?

— Именно поэтому сегодняшнее заседание совета так важно.

— Ты серьезно хочешь вышвырнуть ее?

— Нет. Это ненужно и нежелательно. Я просто поставлю ее на место. Долго я ждал этой возможности.

— У тебя есть на нее что-то? Что-нибудь компрометирующее?

— Нет, нет. Ты не поймешь. Она просто зашла слишком далеко, и ее нужно спустить с небес на землю. Она совершила непозволительные поступки, ни с кем не посоветовавшись, и серьезно обидела наших мексиканских соседей. Когда совет узнает об этом, они напишут для отдела перевозок пару новых указаний, и с моей сестрой будет легче управляться.

— А ты умный, Джим, — сказала Бетти.

— Мне нужно одеваться. — Его голос прозвучал удовлетворенно. Он повернулся к раковине и весело добавил: — Может, я все-таки угощу тебя сегодня шашлыком.

Зазвонил телефон.

Он поднял трубку. Оператор1 сообщил, что звонят из Мексики.



Это был его человек из мексиканских политических кругов.

— Я ничего не мог сделать, Джим! — захлебывался он. — Я ничего не мог сделать!.. Нас не предупредили, клянусь Господом; никто не подозревал; никто не знал, что его готовят; я сделал все что мог; ты не можешь меня винить, Джим; это было как гром с ясного неба! Указ вышел сегодня утром, пять минут назад; они обрушили его на нас внезапно, без предупреждения! Правительство Мексики национализировало рудники и железнодорожную линию Сан-Себастьян.

...и таким образом, джентльмены, я могу уверить вас, членов совета, что причин для паники нет. События сегодняшнего утра — печальный факт, но я верю, опираясь на знание внутренних процессов, которые формируют в Вашингтоне нашу внешнюю политику, что наше и мексиканское правительства придут к разумному соглашению и что мы получим полную и справедливую компенсацию за свою собственность. — Джеймс Таггарт стоял за длинным столом, обращаясь к совету директоров. Его голос был отчетлив и ровен; он внушал доверие. — Тем не менее рад сообщить вам, что я предвидел возможность такого поворота событий и принял все необходимые меры, чтобы защитить интересы «Таггарт трансконтинентал». Несколько месяцев назад я поручил отделу перевозок сократить количество поездов на линии Сан-Себастьян до одного в день, снять ценное оборудование и заменить его устаревшим, а также снять или заменить все, что только можно. Мексиканскому правительству достались лишь несколько деревянных вагонов и старенький паровоз. Мое решение сохранило нашей компании миллионы долларов. Однако я полагаю, что наши акционеры вправе ожидать, чтобы люди, ответственные за это мероприятие, теперь ответили за последствия своей халатности. Таким образом, я предлагаю попросить уйти со своих постов мистера Кларенса Эддингтона, экономического консультанта, который предложил строительство линии Сан-Себастьян, и мистера Жюля Мотта, нашего представителя в Мексике.

Члены совета сидели вокруг длинного стола и слушали. Они думали не о том, что им делать, а о том, что им сказать людям, которых они представляли. Речь Тагарта дала то, что им было нужно.

Когда Таггарт вернулся в свой кабинет, его ждал Орен Бойл. Как только они остались одни, поведение Тагарта изменилось. Он навалился на крышку стола, ссутулился, его лицо побледнело.

— Ну и?.. — спросил он.

Бойл беспомощно развел руками:

— Я проверил, Джим. Все так и есть. Д'Анкония потерял пятнадцать миллионов долларов с этими шахтами. Все чисто, никакого обмана — он вложил наличные и потерял.

— И что он теперь собирается делать?

— Ну, он же не позволит, чтобы его ограбили. Он слишком умен. Должно быть, у него что-то припасено на этот случай.

— Надеюсь.

— Он перехитрил кучу самых ловких стяжателей в этом мире. Неужели он даст околпачить себя кучке мексиканских политиканов с их указом? У него наверняка есть на них кое-что, и последнее слово будет за ним. Поэтому нам тоже нужно быть начеку. Ну, это за тобой, Джим. Ты его друг.

— Друг, черт возьми. Я таких друзей...

Он нажал на кнопку вызова секретаря. Секретарь вошел неуверенно, с каким-то несчастным видом. Это был человек не первой молодости, с бледным лицом и благовоспитанными манерами добропорядочного бедняка.

— Ты договорился о моей встрече с Д'Анкония? — резко спросил Таггарт.

— Нет, сэр.

— Но я же, черт побери, велел тебе позвонить.

— Мне не удалось, сэр. Я пытался.  
— Попробуй еще раз.  
— Я имею в виду, что мне не удалось договориться о встрече.  
— Почему?  
— Он отклонил ее.  
— Ты хочешь сказать, он отказался встретиться со мной?  
— Да, сэр. Я это имел в виду.  
— Так он не хочет видеть меня?  
— Нет, сэр, не хочет.  
— Ты говорил с ним лично?  
— Нет, я разговаривал с его секретарем.  
— Что он сказал? Ну, что он конкретно сказал? Секретарь замялся и от этого стал выглядеть еще более несчастным.  
— Что он сказал?  
— Он сказал, что сеньор Д'Анкония сказал, что вы на него нагоняете скуку, мистер Таггарт.

Резолюция, которую они приняли, была известна под названием «Против хищнической конкуренции». Стоял темный осенний вечер. Сидя в огромном зале заседаний, члены Национального железнодорожного союза пытались не смотреть друг на друга.

Национальный железнодорожный союз являлся организацией, созданной с целью защиты интересов и благосостояния железных дорог в целом. Как заявили его организаторы, этого можно было достичь путем развития сотрудничества во имя общей цели, а для этого каждому члену вменялось в обязанность подчинить собственные интересы интересам всей отрасли, которые определялись большинством голосов. Любое решение, одобренное большинством членов союза, было законом для остальных, законом, которому следовало беспрекословно подчиняться.

— Люди одной профессии или занятые в одной отрасли промышленности должны держаться вместе, — заявили организаторы союза. — У нас общие проблемы, общие интересы и общие враги. Мы бесцельно тратим силы в борьбе друг против друга вместо того, чтобы объединиться. Наш бизнес будет расти и процветать, если мы объединим усилия.

— Против кого создается союз? — спросил какой-то скептик.

— Что значит, против кого? Ни против кого. Но если уж вы так ставите вопрос, то его деятельность будет нацелена против грузоотправителей, товаропроизводителей, вообще против любого, кто попытается нажиться за наш счет. Да возьмите любой союз, против кого он создается?

— Именно это я и хотел бы знать, — сказал скептик.

Когда резолюция «Против хищнической конкуренции» была выдвинута на голосование на ежегодном заседании союза, она была впервые предана широкой огласке. Но все члены союза давно уже знали о ней, и она активно обсуждалась в узких кругах, особенно в последние несколько месяцев. Все присутствовавшие в зале заседаний были президентами железнодорожных компаний. Они были далеко не в восторге от этой резолюции и надеялись, что она никогда не будет поставлена на голосование. Но когда это все-таки произошло, они проголосовали за.

Никто из выступавших перед голосованием не упомянул ни одной конкретной железной дороги, на которую должна была распространяться эта резолюция. Они говорили лишь об общественном благосостоянии и о том, что в то время, как оно находится под угрозой в связи с острым кризисом в сфере транспортных услуг, железные дороги уничтожают друг друга, руководствуясь хищническими законами джунглей, где сильный пожирает слабого. Они говорили и о том, что наряду с районами, охваченными глубокой депрессией, где не осталось фактически ни одной функционирующей железной дороги, существуют обширные территории, где две или даже несколько железных дорог

ожесточенно конкурируют, тогда как каждая из них одна могла бы предоставить все необходимые транспортные ресурсы. По их словам, перед сравнительно новыми железнодорожными компаниями открывались широкие возможности именно в кризисных зонах. Конечно, там вряд ли можно ожидать большой прибыли, зато можно будет обеспечить транспортом нуждающееся население. Ведь не прибыль, а служение обществу является первоочередной задачей железных дорог.

Затем они говорили о том, что большие, давно и прочно стоящие на ногах железнодорожные компании есть необходимый фактор общественного блага, что крушение даже одной из них стало бы национальной катастрофой и что, если одна из таких компаний в своем стремлении к общественному благу и упрочению доброй воли между народами разных стран оказалась на грани краха, долг и прямая обязанность всех и каждого помочь ей перенести этот удар и выстоять.

Конкретно не упоминалась ни одна железная дорога, но, когда председатель союза торжественно поднял руку, подавая знак к началу голосования, все посмотрели в сторону Дэна Конвэя — президента «Финикс — Дуранго».

Лишь пятеро из членов союза проголосовали против, но когда председатель огласил, что резолюция принята большинством голосов, не последовало ни обычного оживления, ни одобрительных возгласов. В зале воцарилась мертвая тишина. Вплоть до последней минуты каждый надеялся, что кто-то спасет его от этого.

Резолюция «Против хищнической конкуренции» подавалась как некая мера «добровольного саморегулирования», призванная «способствовать исполнению» законов, давно принятых Национальным законодательным собранием. В соответствии с ней всем членам Национального железнодорожного союза категорически запрещалось предпринимать любые действия, которые бы могли рассматриваться как «хищническая конкуренция». Это означало, что в районах, которые попадали под ограничение, могла функционировать лишь одна железнодорожная компания, что преимущество в этих районах отдавалось старым, давно укоренившимся железным дорогам и что новички, несправедливо вторгшиеся на чужую территорию, обязаны свернуть свою деятельность в течение девяти месяцев по получении соответствующего распоряжения.

И только Исполнительный комитет Национального железнодорожного союза был уполномочен решать, на какие районы распространяются данные ограничения.

После закрытия заседания все быстро разошлись. Никто из присутствовавших не задержался, как обычно, чтобы обсудить происшедшее. Огромный зал моментально опустел. Никто даже не посмотрел в сторону Дэна Конвэя, никто не сказал ему ни слова.

В вестибюле Джеймс Таггарт встретил Орена Бойла. Они не договаривались о встрече, но Таггарт не мог не заметить крупного мужчину, стоявшего, прислонившись к мраморной стене, и узнал Бойла прежде, чем увидел его лицо.

Они подошли друг к другу, и Бойл сказал, улыбаясь уже не так заискивающе, как обычно:

— Я свое дело сделал. Теперь твоя очередь, Джимми.

— Тебе не следовало сюда приходить. Зачем ты пришел? — угрюмо спросил Таггарт.

— Так, ради удовольствия, — ответил Бойл.

Дэн Конвэй сидел в одиночестве среди пустых кресел. Он все еще оставался на своем месте, когда пришла уборщица, чтобы убрать в зале. Когда она окликнула его, он покорно поднялся и побрел к двери. Проходя мимо нее, он пошарил в кармане и протянул ей пятидолларовую купюру, — протянул молчаливо, покорно, не глядя ей в лицо. Казалось, он толком не соображал, что делает. Судя по его поведению, он считал, что находится в таком месте, где приличия требуют оставить перед уходом чаевые.

Дэгни все еще сидела за своим столом, когда дверь с шумом распахнулась и в ее кабинет влетел Таггарт. Никогда раньше он не позволял себе так врываться к ней. Он выглядел очень возбужденным и взволнованным.

Она не видела его с тех пор, как стало известно о национализации линии Сан-

Себастьян.

Он не искал случая обсудить это с ней, и она ничего ему не говорила. Ее правота подтвердилась настолько красноречиво и ярко, что комментарии были излишни. Отчасти чувство такта, отчасти жалость не позволяли ей указать ему, какие выводы следует сделать из происшедшего. А по всей логике он мог сделать только один вывод. Ей рассказали, что он говорил на совете директоров. В ответ Дэгни лишь пожала плечами, презрительно улыбнувшись. Раз уж он столь хладнокровно присвоил себе ее заслуги, то уж теперь-то ради собственной выгоды оставит ее в покое и предоставит ей свободу действий.

— Так, значит, ты считаешь, что никто, кроме тебя, ничего для дороги не делает?

Она изумленно посмотрела на него. Он стоял перед ее столом, дрожа от возбуждения. Его голос перешел почти на хрип, граничащий с воплем:

— Значит, ты считаешь, что я развалил компанию, не так ли? И теперь никто, кроме тебя, не в состоянии спасти нас? Думаешь, у меня нет никаких способов компенсировать наши мексиканские потери?

— Что тебе от меня надо? — медленно спросила она.

— Я хочу сообщить тебе кое-какие новости. Помнишь, несколько месяцев назад я тебе говорил о резолюции «Против хищнической конкуренции»? Тебе тогда эта мысль не понравилась, еще как не понравилась.

— Ну и что?

— Ее утвердили.

— Что утвердили?

— Эту резолюцию. Приняли всего несколько минут назад, на заседании союза. Так вот, через девять месяцев в Колорадо от «Финикс — Дуранго» не останется и следа.

Она вскочила, опрокинув пепельницу, которая разбилась о пол.

— Вот мерзавцы!

Он стоял не двигаясь и улыбался.

Она чувствовала, что дрожит всем телом, дрожит от бессильной ярости. Она понимала, что сейчас полностью беззащитна перед ним и что ему это нравится. Но все это не имело для нее никакого значения. Затем она заметила гнусную улыбку на его лице, и внезапно ее слепая ярость исчезла. Она больше ничего не чувствовала. Она стояла молча, изучая его улыбку с каким-то холодным, бесстрастным любопытством.

Они стояли, глядя друг на друга, и на его лице было такое выражение, словно сейчас впервые в жизни он не боялся ее. Он ликовал. Эта резолюция значила для него что-то куда большее, чем устранение конкурента. Это была победа не над Дэном Конвэем, это была победа над ней. Она не знала почему, но была уверена, что он думает именно так.

У нее промелькнуло в голове, что в лице Таггарта, в том, что заставило его так улыбаться, скрывается какая-то тайна, о которой она даже не подозревала и узнать которую теперь очень важно. Но эта мысль лишь на мгновение мелькнула у нее в голове и исчезла.

Она подбежала к шкафу, рывком открыла дверцу и схватила свое пальто.

— Куда это ты собралась? — В голосе Таггарта прозвучали разочарование и легкая озабоченность.

Она ничего не ответила и выбежала из кабинета.

— Дэн, ты должен бороться. Я помогу тебе. Я сделаю все, что в моих силах.

Дэн Конвэй отрицательно покачал головой.

Он сидел в плохо освещенной комнате, на столе перед ним лежала раскрытая конторская книга с выцветшими страницами. Когда Дэгни вбежала в кабинет, она застала Конвэя в этой позе, и за то время, что она находилась там, он ее так и не изменил. Когда она вошла, он улыбнулся и сказал мягким и каким-то безжизненным голосом:

— Забавно, я так и знал, что ты придешь.

Они не очень хорошо знали друг друга, но встречались несколько раз в Колорадо.

— Нет, — сказал он. — Что толку?

— То есть из-за этой резолюции союза, которую ты подписал? Ее правомочность сомнительна. Это экспроприация. Да ни один суд не подтвердит ее законность, а если Джим попытается прикрыться своим бандитским лозунгом о благосостоянии общества, я сама выйду и поклянусь, что «Таггарт трансконтинентал» никогда одна не справится с грузооборотом в Колорадо. Даже если суд примет решение не в твою пользу, ты можешь подать апелляцию и оспаривать это решение по меньшей мере лет десять.

— Да, — сказал он, — я мог бы это сделать. Не уверен, что выиграл бы, но я бы мог попытаться и протянуть таким образом еще несколько лет, но... Нет, в любом случае я сейчас думаю не о юридической стороне этого дела. Дело не в этом.

— Тогда в чем?

— Дэгни, я не хочу бороться.

Она недоверчиво посмотрела на него. Она была абсолютно уверена, что он еще никогда в жизни не произносил этих слов, а в таком возрасте человеку уже просто не переделать себя.

Дэну Конвэю было под пятьдесят. У него было широкое, бесстрастное лицо упрямо-неподатливого человека, которое куда больше подошло бы машинисту локомотива, чем президенту компании. Это было лицо настоящего бойца. У него была свежая загорелая кожа и начинавшие сесть волосы. В свое время он купил небольшую железную дорогу в Аризоне, дела которой шли из рук вон плохо. Прибыль, которую она приносила, была намного меньше прибыли преуспевающего бакалейного магазина. Он сделал ее лучшей железной дорогой Юго-Запада. Он был неразговорчив, мало читал и никогда не учился в колледже. Все сферы человеческой деятельности, за одним исключением, были ему абсолютно безразличны. Фактически он был начисто лишен того, что люди называют культурой. Но он прекрасно разбирался в железных дорогах.

— Почему ты не хочешь бороться?

— Потому что они имели право сделать то, что сделали.

— Дэн, ты сошел с ума.

— Я ни разу в жизни не нарушал данного мною слова. Мне наплевать, что решит суд. Я обещал подчиняться большинству, и я вынужден подчиниться.

— А ты мог ожидать, что это большинство так поступит с тобой?

— Нет. — По его бесстрастному лицу пробежала тень. — Нет. Я этого не ожидал. Они целый год говорили об этой резолюции, но я не верил. Даже когда началось голосование, я все еще не верил, что это может случиться. — Он говорил мягко, не глядя на нее и все еще переживая в душе бессильное удивление.

— Чего же ты ожидал?

— Я думал... Они говорили, что все мы должны работать во имя всеобщего блага. Мне казалось, что то, что я сделал в Колорадо, было во благо — во благо для всех. Я думал, что делаю хорошее дело.

— Глупец! Неужели ты не понимаешь, что тебя именно за это и наказали — за то, что ты делал свое дело.

Он покачал головой:

— Я этого не понимаю и не вижу никакого выхода.

— Разве ты обещал им уничтожить себя?

— Мне кажется, ни у кого из нас уже просто нет выбора.

— Что ты хочешь сказать?

— Дэгни, сейчас весь мир в ужасном состоянии. Не знаю, что с ним произошло, но что-то ужасное. Люди должны объединиться и найти выход из сложившегося положения. Кто же, если не большинство, должен решать, что делать? Мне кажется, что это единственный справедливый способ принятия решений, во всяком случае, я другого не вижу. В данном положении без жертв не обойтись, и раз уж это выпало мне, я не имею никакого права жаловаться. Правда на их стороне. Люди должны объединиться.

Она вся дрожала от гнева, и ей пришлось сделать невероятное усилие, чтобы ее голос

звучал спокойно:

— Если это достигается такой ценой, то будь я проклята, если захочу так жить с людьми на одной планете. Если остальные могут выжить, лишь уничтожив нас, то почему мы вообще должны хотеть, чтобы они выжили? Нет ничего, что могло бы оправдать самопожертвование. Ничто не может оправдать превращения людей в жертвенных животных. Ничто не может оправдать истребление лучших. Человека нельзя наказывать за способности, за умение делать дело. Если уж это справедливо, то лучше нам всем начать убивать друг друга, поскольку никакой справедливости в мире не осталось.

Он ничего не ответил. Он смотрел на нее с выражением полного бессилия.

— Ну как? Можно жить в таком мире? — спросила она.

— Я не знаю, — прошептал он.

— Дэн, неужели ты и вправду считаешь, что это правильно? Честно, положи руку на сердце — разве это правильно?

Он закрыл глаза.

— Нет, — сказал он. Затем посмотрел на нее, и впервые она заметила в его глазах мучительную боль. — Именно это я и хочу понять. Я знаю, что должен считать это правильным — но не могу. У меня язык не поворачивается сказать это. У меня все время перед глазами моя железная дорога, все ее мосты, семафоры, все те бессонные ночи, когда... — Он уронил голову на руки: — О Боже, так это чертовски нечестно!

— Дэн, — процедила Дэгни сквозь зубы, — борись. Он поднял голову. Его взгляд был совершенно пустым.

— Нет, это было бы неправильно. Я слишком эгоистичен.

— Перестань молоть чушь. Ты же прекрасно понимаешь, что это чепуха.

— Я не знаю. — Он говорил очень устало. — Я сидел здесь и пытался понять... Я больше не знаю, что правильно, а что нет. По-моему, мне уже все равно.

Она вдруг поняла, что дальнейшие уговоры бессмысленны, что Дэн Конвэй никогда больше не будет человеком дела, таким, каким он был. Она не знала, что заставило ее почувствовать уверенность в этом.

— Но ты же никогда раньше не сдавался, никогда не отступал.

— Никогда. — Он говорил с каким-то спокойным, безразличным удивлением. — Я боролся с бурями и наводнениями, с оползнями и трещинами в рельсах. Я знал, как бороться с этим, и мне это нравилось... Но в этой битве борьба бесполезна, она просто невозможна.

— Почему?

— Не знаю. Кто знает, отчего мир таков? Кто такой Джон Галт?

Дэгни поморщилась:

— И что ты собираешься делать?

— Не знаю.

— Я хочу сказать... — Она замолчала на полуслове. Он знал, что она имела в виду.

— Дело всегда найдется. — Он говорил без особой уверенности. — По-моему, они собираются ввести ограничения только в Колорадо и Нью-Мексико. У меня все еще есть железная дорога в Аризоне, как и двадцать лет назад. Ею и займусь. Я устал, Дэгни. У меня как-то не было времени заметить это, но по-моему, я действительно устал.

Она ничего не могла сказать.

— Я не собираюсь строить дорогу через одну из кризисных зон, — сказал он все тем же безразличным тоном. — Они пытались всучить мне это в качестве утешительного приза. Но все это лишь пустые разговоры. Нельзя строить железную дорогу там, где на сотни миль лишь пара чахлах ферм, которым с трудом удается прокормить самих себя. В таких районах невозможно добиться, чтобы дорога окупилась и дала прибыль. А если этого не сделаешь ты, то кто это сделает за тебя? Это просто чушь. Они сами не знали, что говорили.

— К черту их кризисные зоны. Я думаю о тебе. Что ты будешь делать с самим собой?

— Не знаю... Есть масса вещей, на которые раньше у меня просто не было времени. Рыбалка, например. Мне всегда нравилось рыбачить. Может быть, я начну читать книги, я

всегда этого хотел. Буду жить не спеша. Рыбачить. Знаешь, в Аризоне есть такие тихие и спокойные места, где на мили вокруг не встретишь ни души. — Он посмотрел на нее и добавил: — Выбрось это из головы. Зачем тебе переживать за меня?

— Не за тебя, — сказала вдруг она. — Это... Надеюсь, ты понимаешь, что я хотела помочь тебе бороться не ради тебя.

Он улыбнулся. Это была легкая, дружеская улыбка.

— Я понимаю.

— Я хотела тебе помочь не из жалости, сочувствия или еще какой-нибудь мерзости. Послушай, я собиралась устроить тебе в Колорадо сущий ад. Я собиралась влезть в твой бизнес и, если понадобится, просто размазать тебя по стенке и выжить оттуда.

Он слабо рассмеялся, давая понять, что должным образом оценил услышанное.

— Да, уж ты бы постаралась, — сказал он.

— Только я полагала, что в этом не будет надобности. Я думала, что там хватило бы места для нас обоих.

— Да, хватило бы.

— И тем не менее, если бы я поняла, что нам двоим там тесно, я бы сделала свою дорогу лучше твоей, разорила бы тебя, и мне было бы наплевать, что случится с тобой потом. Но это... Дэн, мне кажется, я даже смотреть не смогу на Рио-Норт. Боже мой, Дэн, я не хочу быть бандитом!

Какое-то время он молча смотрел на нее, смотрел как-то странно, словно со стороны, а затем мягко сказал:

— Эх, девочка, тебе бы следовало родиться на сотню лет раньше. Тогда бы у тебя был шанс.

— К черту это. Я сама себе этот шанс организую.

— И у меня в твоём возрасте были такие намерения.

— У тебя это получилось.

— Ты так думаешь?

Она сидела неподвижно, не в силах даже шелохнуться. Он вдруг выпрямился и сказал резко, словно отдавая приказ:

— Тебе нужно всерьёз заняться Рио-Норт, и чем скорее, тем лучше. Ты должна подготовить все до того, как я уйду оттуда, потому что, если ты не успеешь, это будет равносильно смертному приговору для Эллиса Вайета и других предпринимателей Колорадо, самых лучших людей, оставшихся в этой стране. Ты должна не допустить этого. Теперь тебе одной придется нести на своих плечах этот груз. Твоему брату бесполезно объяснять, что, если бы ты боролась со мной, тебе было бы намного легче. Но мы с тобой знаем это. Поэтому приготовься заранее. Что бы ты ни делала, ты не будешь ни бандитом, ни нахлебником. В той части страны ни один бандит долго не протянет, и все, чего ты добьешься, будет заработано честным трудом. А такие, как твой брат, не в счет. Теперь все зависит только от тебя.

Дэгни сидела, глядя на него, и спрашивала себя, что могло сломить такого человека; она твердо знала одно: только не Джеймс Таггарт.

Она заметила, что Конвэй смотрит на нее так, словно его тоже мучает какой-то вопрос. Затем он улыбнулся, и она с удивлением отметила, что его улыбка выражала горечь, жалость и сочувствие.

— Не надо меня жалеть, — сказал он. — Я думаю, что из нас двоих именно тебе придется пережить очень трудные времена, и тебе будет намного больнее и труднее, чем мне.

Дэгни позвонила на завод и договорилась встретиться в полдень с Хэнком Реардэном. Едва она повесила трубку и склонилась над картами Рио-Норт, разостланными на ее столе, как дверь кабинета открылась. Дэгни вздрогнула, она никого не ожидала и не думала, что кто-то может войти к ней без приглашения.

В кабинет вошел незнакомый человек. Это был молодой, высокий мужчина. Что-то в его внешности говорило о взрывном темпераменте, хотя она и не могла понять, что именно. Возможно, ей так показалось потому, что ей сразу бросилось в глаза его самообладание, казавшееся чуть ли не вызывающим. У него были темные глаза и растрепанные волосы. На нем была очень дорогая одежда, но он носил ее так, словно ему было абсолютно безразлично, как он одет.

— Эллис Вайет, — представился он.

Она непроизвольно поднялась. Ей стало ясно, почему никто не смог остановить его в приемной.

— Садитесь, мистер Вайет, — сказала она улыбаясь.

— В этом нет необходимости. — Он не улыбнулся в ответ. — Я не веду долгих разговоров.

Медленно, словно в раздумье, продолжая смотреть на него, она села, откинувшись на спинку кресла и сказала: — Я вас слушаю.

— Я пришел поговорить с вами, потому что, насколько я понимаю, вы единственный человек в этой команде бестолочей, у которого еще остались мозги.

— Чем могу быть вам полезна?

— Я пришел предъявить вам ультиматум. — Он изъяснялся предельно ясно, произнося каждое слово необыкновенно четко. — Я требую, чтобы «Таггарт трансконтинентал» через девять месяцев наладила движение в Колорадо так, как того требует мой бизнес. Если ваша грязная интрига, которая помогла вам отделаться от «Финикс — Дуранго», имела целью оградить вас от необходимости работать должным образом, то заявляю, что номер не пройдет. Я не предъявлял к вам никаких претензий, никаких требований, когда вы не смогли предоставить мне тот уровень услуг, в котором я нуждался. Я просто нашел того, кто мог это сделать. Теперь же вы хотите вынудить меня иметь дело только с вами и надеетесь диктовать свои условия, не оставляя мне выбора. Вы надеетесь, что мне придется снизить уровень производительности до уровня вашей некомпетентности. Так вот, вы крупно просчитались. Медленно, с усилием она спросила:

— Хотите, я расскажу вам, что собираюсь сделать с нашей линией в Колорадо?

— Нет. Меня не интересуют ваши намерения, и я не собираюсь обсуждать их. Что и как вы будете делать, меня не волнует. Это ваша работа. Я вас просто предупреждаю. Все, кто хочет работать со мной, должны либо принимать мои условия, либо не иметь со мной дела вообще. Но запомните, я не заключаю никаких сделок с некомпетентностью. Если уж вы хотите зарабатывать на перевозках моей нефти, вы должны быть так же хороши в своем деле, как я в своем. Я хочу, чтобы вы это поняли.

— Я понимаю, — сказала она спокойно.

— Я не стану попусту тратить время, доказывая вам, почему вы должны серьезно отнестись к моим словам. Вы и сами все поймете, раз уж вы настолько умны, что в состоянии заставить эту прогнившую лавочку хоть как-то работать. Мы с вами прекрасно понимаем, что, если «Таггарт трансконтинентал» будет работать в Колорадо так, как пять лет назад, это разорит меня. Я знаю, что именно этого вы и добиваетесь. Вы хотите кормиться за мой счет, а потом, выжав из меня все что можно, возьметесь за кого-то другого. Сейчас почти все так делают. Поэтому вот мой ультиматум: сейчас я в вашей власти, и вы в силах уничтожить меня. Возможно, мне придется уйти, но учтите, что, уходя, я не забуду прихватить всех вас с собой.

Где-то глубоко внутри, под покровом бесчувственности, с которой она выслушивала эти резкие, как пощечина, слова, Дэгни почувствовала капельку жгучей боли, словно от ожога. Ей хотелось рассказать ему о долгих годах, которые она провела в поисках такого человека, как он, с которым ей хотелось бы работать; она хотела сказать, что его враги были и ее врагами, что у них общая цель и они по одну сторону баррикады. Ей хотелось крикнуть ему в лицо: «Я не одна из них!», но она знала, что не сделает этого. Она несла ответственность за «Таггарт трансконтинентал» и за все, что делалось от имени компании.



Сейчас она не имела никакого права оправдываться.

Выпрямившись в кресле и глядя на него тем же пристальным и открытым взглядом, что и он, она спокойно ответила:

— Вы получите необходимый вам транспорт, мистер Вайет.

Она увидела на его лице едва заметное удивление. Похоже, он не ожидал такого ответа, возможно, его больше всего удивило то, что она не пыталась защититься или оправдаться. Какое-то время он молча пристально рассматривал ее, затем сказал, уже не так резко:

— Хорошо. Спасибо. До свидания.

Она склонила голову. Он слегка поклонился и вышел из кабинета.

— Вот такие вот дела, Хэнк. Я разработала практически нереальный график, чтобы реконструировать Рио-Норт за год, теперь придется сделать это за девять месяцев. Ты должен был завершить поставку рельсов в течение года. Сможешь сделать это за девять месяцев? Если есть хоть какой-то способ сделать это, сделай. Если нет, мне придется искать какие-то другие варианты, чтобы завершить начатое.

Реардэн сидел за столом, полуприкрыв свои холодно-голубые глаза.

— Я сделаю это, — сказал он ровным, уверенным голосом.

Дэгни откинулась на спинку стула. Она почувствовала невероятное облегчение. Пожалуй, даже больше: она вдруг поняла, что ей не нужно никаких гарантий того, что все будет сделано. Не нужно было никаких доказательств, вопросов или объяснений; сложнейшая ситуация была решена лишь тремя словами, сказанными человеком, который знал, что говорит.

— Не показывай, что у тебя гора с плеч свалилась, — сказал он насмешливо, — во всяком случае не так явно. А то я могу подумать, что «Таггарт трансконтинентал» в моей власти.

— А то ты этого не знаешь!

— Знаю. И собираюсь заставить тебя заплатить за это.

— Я в этом не сомневаюсь. Сколько?

— Двадцать долларов сверху на каждую тонну, оговоренную в контракте, начиная с заказа, который вы получите завтра.

— Дороговато, однако, Хэнк. Что, подешевле нельзя?

— Нельзя. Я мог бы запросить вдвое дороже, и ты бы заплатила.

— Да, заплатила бы. Но ты этого не сделаешь.

— Почему?

— Потому что ты тоже заинтересован в успехе Рио-Норт. Это первый опыт практического применения металла Реардэна.

Он рассмеялся:

— Это ты точно подметила. Мне нравится иметь дело с человеком, у которого нет иллюзий относительно того, что ему сделают одолжение.

— Знаешь, почему мне стало так легко, когда ты решил воспользоваться своим преимуществом и запросил высокую цену?

— Почему?

— Потому что я наконец имею дело с человеком, который не притворяется, что делает одолжение.

Он снова улыбнулся. Ему определенно все это очень нравилось.

— Ты что, всегда играешь вот так, в открытую? — спросил он.

— Я что-то не замечала, чтобы ты играл как-то по другому.

— А я думал, что я единственный человек, который может себе это позволить.

— Хэнк, я человек решительный, меня в этом смысле не сломать.

— Думаю, однажды я сломаю тебя именно в этом смысле.

— Зачем?

— А мне всегда этого хотелось.

— Тебе что, мало трусов вокруг?

— Именно поэтому мне так хочется сделать это — потому что ты единственное исключение. Так, значит, ты считаешь, я поступил бы правильно, стараясь выжать из тебя все до последнего цента, пользуясь твоим критическим положением?

— Конечно. Я же не идиотка. Твой бизнес состоит не в том, чтобы оказывать мне благодеяния.

— А тебе что, не хотелось бы, чтобы это было именно так?

— Я не попрошайка, Хэнк.

— А тебе не кажется, что будет очень сложно выплатить сумму, которую я запросил?

— Это мои сложности. Мне нужны эти рельсы.

— Двадцать долларов сверху на тонну?

— Нет проблем, Хэнк.

— Хорошо. Ты получишь рельсы. Похоже, я получу баснословные прибыли, если «Таггарт трансконтинентал» не развалится раньше.

— Если я не перестрою линию за девять месяцев, это наверняка произойдет.

— Нет, пока ты у дел, этого не случится.

Когда он не улыбался, его лицо казалось каким-то неодушевленным, лишь глаза все время оставались живыми, с какой-то холодной, сияющей чистотой, восприимчивые и проницательные.

Но никто не мог сказать, какие чувства возникали в его душе под влиянием того, что он замечал. Наверное, он и сам этого не знал.

— Они здорово постарались, чтобы максимально усложнить тебе жизнь, правда?

— Да. Я рассчитывала, что компанию спасет Колорадо, но теперь спасение Колорадо полностью зависит от меня. Через девять месяцев Дэн Конвэй закроет свою дорогу. Если к этому сроку Рио-Норт не будет готова, бессмысленно заканчивать реконструкцию. Этот район не протянет без железной дороги и дня, не говоря уже о неделе или месяце. Все предприятия штата просто задохнутся без транспорта. Они росли и развивались с такой скоростью, что просто невозможно представить, что с ними случится, если они хоть на мгновение остановятся. Это все равно что рвануть стоп-кран, когда поезд несется со скоростью двести миль в час.

— Я знаю.

— Я могу поставить дело на железной дороге. Но я не могу гонять поезда по стране издолщиков, не способных даже толком вырастить репу. Мне нужны такие люди, как Эллис Вайет, люди, которые производили бы то, что я буду перевозить. Поэтому через девять месяцев я должна предоставить ему самую лучшую железнодорожную линию и столько составов, сколько ему нужно. Даже если нам всем придется разбиться в лепешку.

Рearдэн улыбнулся:

— Я вижу, ты настроена серьезно и для тебя это очень много значит.

— А для тебя?

Он ничего не ответил, просто продолжал улыбаться.

— Тебя что, это не волнует? — спросила она почти сердито.

— Нет.

— Значит, ты просто не понимаешь, что это значит и насколько это важно.

— Я знаю одно: я должен выплавить рельсы, а ты — уложить колею за девять месяцев.

Она улыбнулась — расслабленно, устало, слегка виновато:

— Да. И я знаю, что мы сделаем это. Я понимаю, что бесполезно сердиться на таких людей, как Джим и его дружки. Нам некогда этим заниматься. Сначала надо уничтожить плоды их деятельности. А потом... — Она вдруг замолчала и пожала плечами. — Потом они уже не будут иметь никакого значения.

— Да, это так. Не будут иметь значения. Когда я узнал об этой их резолюции, мне стало просто противно. Но пусть тебя не беспокоят эти убудки. — Последнее слово прозвучало особенно яростно от того, что он говорил ровным голосом, а его лицо было совершенно

спокойно. — Мы с тобой всегда сумеем спасти страну от последствий их действий. — Он встал и принялся ходить по комнате. — Колорадо им не остановить. И это Сделаешь ты. А потом вернутся Дэн Конвэй и другие. Все это безумие ненадолго. Оно само себя уничтожит. Просто тебе и мне какое-то время придется работать еще больше, вот и все.

Она смотрела, как он расхаживал по кабинету. Этот кабинет очень подходил ему. В нем стояла лишь самая необходимая мебель, строго функциональная, очень качественная по материалам и разработке. Вся комната чем-то напоминала двигатель, помещенный в большую стеклянную коробку. Но Дэгни заметила одну удивительную деталь — нефритовую вазу, стоявшую в бюро. Ваза была густого темно-зеленого цвета, и при взгляде на ее гладкую, изгибающуюся поверхность возникало неудержимое желание потрогать, прикоснуться к ней. Ваза казалась неуместной в этом кабинете, абсолютно несовместимой со строгостью обстановки — в ней был легкий оттенок чувственности.

— Колорадо — замечательное место, — сказал Репардэн. — Скоро оно будет лучшим в стране. Ты сомневаешься, что меня волнует его судьба? Этот штат становится моим основным потребителем. Ты должна знать об этом, если у тебя есть время читать отчеты о грузовых перевозках.

— Я знаю. Я читала их.

— Я подумываю о том, чтобы через пару лет построить там свой завод. Тогда им не придется платить тебе за доставку стали. — Он посмотрел на нее: — Ты много потеряешь, если я сделаю это.

— Действуй. Меня вполне устроит грузооборот, связанный с доставкой оборудования, снабжением и перевозкой продуктов для твоих рабочих. К тому же за тобой последуют и другие, а они тоже обратятся ко мне. Я даже не замечу потерь, связанных с прекращением транспортировки твоей стали... Ты чего смеешься?

— Замечательно.

— Что?

— То, как ты на все реагируешь. Совсем не так, как другие.

— Тем не менее я должна признать, что на данный момент ты — наш основной грузоотправитель.

— А ты что, думаешь, я этого не знаю?

— Тогда я не понимаю, почему Джим... — Она замолчала на полуслове.

— ...пытается всячески навредить мне? Потому что идиот.

— Я в этом не сомневаюсь. Но здесь замешано что-то большее. Это намного хуже, чем просто глупость.

— Не трать зря времени, пытаясь понять это. Пусть хоть лопнет, все равно он ни для кого не представляет никакой опасности. Такие люди, как Джим, — просто мусор.

— Надо думать.

— Кстати, что бы ты делала, если бы я сказал, что не смогу поставить тебе рельсы в срок?

— Закрыла бы какую-нибудь линию, любую, и сняла с нее рельсы, чтобы достроить Рио-Норт в срок.

Он рассмеялся:

— Вот потому-то я и не волнуюсь за «Таггарт трансконтинентал». Но тебе не придется этого делать, во всяком случае, пока я занимаюсь своим делом.

Она вдруг подумала, что была не права, считая его бесчувственным, — скрытым мотивом его поведения была радость. Она внезапно поняла, что всегда чувствовала себя в его присутствии легко и раскованно, и знала, что он испытывает то же самое. Из всех, кого она знала, он был единственным человеком, с которым она могла разговаривать совершенно естественно, не напрягаясь. Это, думала она, человек большого ума и достойный соперник. И тем не менее их всегда что-то разделяло, словно между ними была закрытая дверь. В его манерах, его поведении всегда чувствовалось что-то безличное, непроницаемое.

Он остановился у окна и какое-то время смотрел в него.

— Ты знаешь, что сегодня вам доставят первую партию рельсов?

— Конечно, знаю.

— Иди сюда.

Она подошла. Он указал пальцем вдаль, где за заводскими зданиями на запасном пути вытянулась цепочка вагонов. Над вагонами возвышался кран. Его огромный магнит цепко удерживал словно прилипший к нему груз — рельсы. Стояла пасмурная погода, небо было покрыто хмурыми серыми тучами, и, тем не менее, рельсы блестели, словно металл отражал свет из космоса.

Цепь крана поползла вниз, опуская зеленовато-голубые рельсы в вагон. Затем кран с величественным безразличием двинулся обратно. Он был похож на гигантский чертеж геометрической теоремы, вычерченный в небе и легко проплывавший над головами людей.

Они стояли у окна и молча наблюдали. Дэгни заговорила, лишь когда по воздуху поплыла вторая партия груза. Слова, которые она произнесла, были не о рельсах, не о железной дороге, не о выполненном в срок заказе. Они прозвучали салютом новому явлению природы:

— Металл Реардэна.

Он услышал, но ничего не ответил. Посмотрел на нее и отвернулся.

— Хэнк, это великолепно.

— Да. Я знаю.

Он сказал это очень просто и откровенно. В его голосе не было ни самодовольного тщеславия, ни излишней скромности. Она знала, что его слова были данью признательности — редчайшей признательности, которой один человек может отплатить другому, — человеку, который понимает и осознает величие другого.

— Когда я думаю о том, что может этот металл, что станет возможным с его применением... Хэнк, это самое важное событие в сегодняшнем мире, и никто не знает этого.

— Мы знаем.

Они не смотрели друг на друга. Они наблюдали за работой крана. Вдалеке, на лобовой части локомотива она различила две буквы — «ТТ».

— Я собираюсь заказать локомотивы из металла Реардэна, как только найду производителя, способного это сделать.

— Они тебе очень пригодятся. С какой скоростью ходят твои поезда на Рио-Норт?

— Сейчас? Мы счастливы, если удастся выжать из них двадцать миль в час.

Он указал в сторону вагонов:

— Когда ты проложишь линию из этих рельсов, то сможешь пускать поезда со скоростью двести пятьдесят миль в час.

— Думаю, через пару лет именно так и будет — когда у меня появятся вагоны из металла Реардэна, которые будут вдвое легче и надежней стальных.

— Тебе стоит подумать о воздушных линиях. Мы сейчас проектируем самолет из моего металла. Это будет очень легкий самолет, который сможет поднять в небо любой груз. Не за горами тот день, когда воздушные перевозки тяжелых грузов станут обычным делом.

— Знаешь, я как-то думала о том, какие двигатели можно сделать из этого металла. Им же сносу не будет.

— А ты думала, каким будет проволочное ограждение из металла Реардэна? Самое обыкновенное проволочное ограждение для птицефабрики. Да миля такого забора обойдется в копейки, а простоят годы. А кухонная посуда?.. Она будет самой дешевой в мире, и ею сможет пользоваться не одно поколение. А океанские лайнеры? Им будет нипочем любая торпеда. Я тебе говорил, что мы проводим испытания линии связи с использованием металла? Я сейчас провожу столько разных испытаний, что, кажется, никогда не смогу показать людям все, чего можно достичь с помощью этого металла.

Они говорили о металле Реардэна и его беспредельных возможностях так, словно стояли на вершине горы и смотрели на безграничную равнину, простиравшуюся внизу, и

бесчисленные, расходившиеся в разные стороны дороги. На самом деле разговор состоял преимущественно из цифр — они говорили о весе, давлении, сопротивлении, производственных затратах.

Она забыла о своем брате и его железнодорожном союзе. Она забыла всех и все, что было в прошлом, все это словно окуталось туманом, это следовало отбросить в сторону и мчаться вперед, не останавливаясь, потому что прошлое было каким-то незавершенным и нереальным.

Но это уже стало реальностью, это были четкие, определенные перспективы, это было чувство целеустремленности, света и надежды. Именно так она хотела жить — ей всегда хотелось, чтобы ни один час ее времени, ни один совершенный ею поступок не были по значимости меньше этого.

Дэгни взглянула на Реардэна как раз в тот момент, когда он повернулся к ней. Они стояли очень близко друг к другу, и она заметила по его глазам, что он чувствовал то же, что и она. Если радость — цель и смысл существования, думала она, и если то, что может заставить человека чувствовать себя счастливым, является величайшей тайной человеческой души, то в этот момент они увидели друг друга обнаженными.

Он сделал шаг назад и сказал каким-то странным бесстрастным голосом:

— А ведь мы с тобой — пара негодяев, правда? — Почему?

— У нас нет никаких духовных идеалов и целей. Мы оба вполне удовлетворены материальным миром.

Она посмотрела на него, не в силах понять его слова. Но его взгляд был устремлен мимо нее, вдаль, в сторону работавшего крана. Она пожалела, что он сказал это. Само по себе обвинение ничуть не волновало ее. Она никогда не была о себе такого мнения и никогда не мыслила такими понятиями, а потому была просто не в состоянии испытывать чувство вины за то, что она такая, какая есть. Но у нее возникла смутная тревога — словно то, что побудило его произнести эти слова, было чревато серьезными последствиями, опасными для него. Он сказал это не просто так, но в его голосе не было никаких чувств — ни раскаяния, ни стыда. Он сказал это безразлично, равнодушно, словно констатируя факт.

Но по мере того как она смотрела на него, опасение исчезало. Он смотрел в окно на свой завод. На его лице не было вины или сомнения, было лишь полное спокойствие, основанное на безграничной вере в себя, в свои силы.

— Дэгни, — сказал он, — кем бы мы ни были, мы движем этим миром, и спасем его тоже мы.

## **Глава 5**

### **Апогей рода Д'Анкония**

Когда Эдди вошел в ее кабинет, первым, что она заметила, была крепко зажата в его руке газета. Она подняла голову и посмотрела на него — его лицо было напряженным и озадаченным.

— Дэгни, ты очень занята?

— А что такое?

— Я знаю, ты не любишь говорить о нем, но здесь есть кое-что, на что, мне кажется, тебе стоит взглянуть.

Она молча протянула руку и взяла газету.

В статье, помещенной на первой полосе, говорилось о том, что после национализации рудников Сан-Себастьян правительство Народной Республики Мексика вдруг обнаружило: рудники не имеют никакой ценности и абсолютно бесперспективны. Они несколько не оправдали ни пяти лет, ушедших на разработку, ни многомиллионных затрат. Несколько небольших жил, которые все же были обнаружены, не представляли никакого интереса для дальнейшей разработки — стало предельно ясно, что крупных залежей меди здесь не было и быть не могло. В атмосфере всеобщего возмущения и негодования правительство Народной

Республики Мексика в связи с этим открытием проводило одно чрезвычайное заседание за другим. Они чувствовали себя обманутыми, словно их обокрали.

Наблюдая за Дэгни, Эдди заметил, что, закончив читать, она еще долго сидела, глядя на газету. Он знал, что легкий испуг, который он испытал, прочитав эту статью, имел под собой какое-то основание, хотя и не мог сказать определенно, что именно напугало его.

Эдди ждал. Она подняла голову, но не смотрела на него. Ее пристальный, напряженно-внимательный взгляд был устремлен мимо него, словно 'она пыталась рассмотреть что-то вдали.

Низким, приглушенным голосом Эдди сказал:

— Франциско — не дурак. Каким бы он ни был и независимо от того, насколько глубоко он погряз в безнравственности и порочности — а я уже давно не пытаюсь разобраться, почему это с ним случилось, — он далеко не дурак. Он не мог совершить подобной ошибки. Это просто невозможно. Я этого просто не понимаю.

— А я, кажется, начинаю кое-что понимать. — Она резко выпрямилась в кресле, отчего по ее лицу словно пробежала дрожь, и сказала: — Позвони в «Вэйн-Фолкленд» и скажи этому негодяю, что я хочу с ним встретиться.

— Дэгни, — грустно сказал Эдди с укоризной в голосе, — это же Фриско Д'Анкония.

— Теперь уже не Д'Анкония. Он был им... когда-то.

Над городом уже начали сгущаться сумерки, когда она шла по улицам, направляясь к отелю «Вэйн-Фолкленд». Эдди сказал, что Д'Анкония готов принять ее в любое удобное для нее время. Высоко под облаками, в окнах небоскребов загорелись первые огоньки. Небоскребы походили на заброшенные маяки, посылавшие слабые, едва заметные сигналы в пустынные просторы моря, где не осталось ни одного корабля. Несколько снежинок, кружась, пролетели мимо темных витрин пустых магазинов и растаяли в грязи на обочине тротуара. Ряд красных фонарей пересекал улицу, уходя в мрачную, пасмурную даль.

Она спрашивала себя, почему ей хочется бежать, почему у нее такое чувство, будто она бежит, но не вниз по улице, нет, — вниз по склону холма под лучами палящего солнца, к дороге на берегу Гудзона, откуда начиналось поместье Таггартов. Она всегда так бежала, когда, крикнув: «Это Фриско Д'Анкония», Эдди бросался вниз по холму к машине, ехавшей вдоль берега Гудзона.

Он был единственным гостем, чей приезд в пору их детства всегда был событием, величайшим событием. Этот забег навстречу друг другу стал для них троих своего рода состязанием. На склоне холма, как раз посередине между дорогой и домом, росла береза. Дэгни и Эдди всегда старались добежать до березы раньше, чем Фриско поднимется к ней вверх по холму. Но каждое лето в день своего приезда Франциско добежал до березы первым. Им никогда не удавалось обогнать его. Франциско всегда побеждал — всегда и во всем.

Его родители были старыми друзьями Таггартов. Он был единственным ребенком в семье и с раннего детства путешествовал по всему свету; говорили, что отец хотел воспитать его так, чтобы он воспринимал весь мир как свой будущий дом, свои будущие владения. Эдди и Дэгни никогда не знали наперед, где Франциско проведет зиму, но раз в год, каждое лето, строгий гувернер привозил его на месяц в поместье Таггартов.

Франциско считал само собой разумеющимся, что дети Таггартов его друзья. Они были наследниками «Таггарт трансконтинентал», а он — наследником «Д'Анкония коппер». Когда ему было четырнадцать лет, он сказал Дэгни: «Мы — — единственная аристократия, оставшаяся в мире. Аристократия денег. Это единственная настоящая аристократия, только люди этого не понимают».

У Франциско была собственная кастовая система: для него детьми Таггарта были не Дэгни и Джим, а Дэгни и Эдди. Он редко снисходил до того, чтобы замечать существование Джима. Однажды Эдди спросил его: «Франциско, ты ведь принадлежишь к благородному роду, правда?» Он ответил: «Пока еще нет. Наш род просуществовал так долго лишь потому, что никому из нас не позволялось считать, что он родился Д'Анкония. Д'Анкония нужно

стать».

Он произнес свое имя так, словно хотел одним его звучанием поразить слушавших.

Его предок, Себастьян Д'Анкония, покинул Испанию много веков назад, еще во времена, когда Испания была самой могущественной державой в мире; он принадлежал к высшему слою испанской знати. Он покинул Испанию, потому что главе святой инквизиции не понравился образ его мышления и на дворцовом балу тот посоветовал Д'Анконию пересмотреть свои взгляды. Себастьян Д'Анкония выплеснул ему в лицо вино из своего бокала и бежал, прежде чем его успели схватить. Он бросил все: богатство, поместье, мраморный дворец, девушку, которую любил, и уплыл к берегам Нового Света.

Его первым поместьем в Аргентине стала деревянная лачуга у подножия Анд. Фамильный герб Д'Анкония, прикрепленный над входом, светился, словно маяк, отражая лучи палящего солнца, в то время как Себастьян Д'Анкония разрабатывал свой первый медный рудник.

Долгие годы он вместе с дезертировавшими из армии солдатами, беглыми заключенными и полуголодными индейцами с рассвета до заката долбил киркой скалы.

Спустя пятнадцать лет Себастьян Д'Анкония послал за любимой, которая по-прежнему ждала его. Приехав, она увидела серебряный фамильный герб Д'Анкония над входом в мраморный замок, увидела сады огромного поместья, а вдали — горы и медные карьеры. Он поднял ее на руки и внес в дом. Он выглядел моложе, чем пятнадцать лет назад, когда она видела его последний раз.

Франциско однажды сказал Дэгни: «Наши с тобой предки, они бы понравились друг другу».

Все годы своего детства Дэгни жила в мире будущего, в мире, который она надеялась найти и в котором ей не пришлось бы испытывать ни презрения, ни скуки. Но один месяц в году она чувствовала себя свободной. Этот месяц она могла жить в настоящем. Когда Дэгни бежала вниз по склону холма навстречу Франциско Д'Анкония, она будто покидала темницу.

— Привет, Слаг!

— Привет, Фриско!

Сначала им обоим не понравились эти прозвища. Она сердито спросила его:

— Ты что, собственно, хочешь этим сказать? Он ответил:

— Если ты не знаешь — слаг означает пламя, пылающее в паровозной топке.

— От кого ты это услышал?

— От рабочих «Таггарт трансконтинентал».

Он знал пять языков и говорил по-английски без малейшего акцента — безупречным литературным языком, который намеренно смешивал со слэнгом. В ответ она прозвала его Фриско. Он рассмеялся, удивленный и раздосадованный:

— Раз уж вы так варварски исковеркали название одного из своих величайших городов, ты могла бы хоть со мной воздержаться от этого.

Но со временем они привыкли к своим прозвищам. Они им даже нравились.

Это началось, когда Франциско гостил у них второй раз. Ему тогда было двенадцать лет, ей — десять. Этим летом по каким-то загадочным причинам Франциско каждое утро исчезал. Еще до рассвета он уезжал на велосипеде и возвращался точно к обеду, когда все собирались на террасе за прозрачным, как хрусталь, столом, всегда подчеркнуто вежливый и совершенно невозмутимый. Когда Дэгни и Эдди начинали его расспрашивать, он лишь смеялся и отказывался отвечать. Однажды они попытались последовать за ним в холодной предрассветной темноте, но им пришлось отказаться от этой затеи: никто не мог уследить за ним, если он этого не хотел.

Через некоторое время миссис Таггарт начала волноваться и решила выяснить, в чем дело. Она так и не смогла понять, как ему удалось обойти законы по трудоустройству детей, но обнаружила, что Франциско работает посыльным, заключив устный договор с диспетчером одной из местных линий «Таггарт трансконтинентал», находившейся в десяти милях от поместья. Диспетчер был крайне удивлен, когда миссис Таггарт лично пришла к

нему. Он и понятия не имел, что его посыльный — гость Таггартов. Местные рабочие знали его как Фрэнки, и миссис Таггарт сочла лишним называть его полное имя. Она просто объяснила, что он работал без ведома и разрешения своих родителей и должен немедленно уйти. Диспетчеру было жаль расставаться с ним. Он сказал, что Фрэнки самый лучший посыльный, который когда-либо у него работал.

— Я хотел бы оставить его. Может быть, мы могли бы договориться с его родителями? — предложил он.

— Боюсь, это невозможно, — ответила миссис Таггарт.

— Франциско, что сказал бы твой отец, если бы узнал об этом? — спросила она его, вернувшись домой.

— Отец спросил бы, хорошо ли я делал свое дело. Его интересовало бы только это.

— Перестань, я спрашиваю вполне серьезно. Франциско любезно смотрел на нее, у него были манеры, которые впитывались в кровь Д'Анкония столетиями, но что-то в этом взгляде заставило ее усомниться в его учтивости.

— Прошлой зимой я устроился юнгой на сухогруз, который перевозил медь моего отца. Отец искал меня три месяца, но, когда я вернулся, он задал мне только этот вопрос, — ответил он.

— Так вот, значит, как ты проводишь зимы? — ухмыльнулся Джим Таггарт. В его ухмылке сквозило превосходство — превосходство от того, что он обнаружил нечто дававшее повод для презрения.

— Это было прошлой зимой, — любезно ответил Франциско невинно-спокойным тоном. — До этого я провел зиму в Испании, в поместье герцога Альба.

— А почему тебе захотелось поработать именно на железной дороге? — спросила Дэгни.

Они стояли, глядя друг на друга: ее взгляд выражал восхищение, его — насмешку, но это была не злая насмешка, а словно приветственная улыбка.

— Чтобы самому почувствовать, что это такое. И еще — чтобы сказать тебе, Слаг, что я работал в «Таггарт трансконтинентал» раньше, чем ты, — ответил он.

Дэгни и Эдди проводили зимы, пытаясь научиться чему-то новому, чтобы удивить Франциско и хоть раз в чем-то превзойти его. Им это никогда не удавалось. Когда они показали ему, как играть в бейсбол, — эта игра была ему незнакома, — он немного понаблюдал за ними и сказал: «Кажется, я понял, как это делается. Дайте мне попробовать». Он взял битку и так ударил по мячу, что тот перелетел полосе дубов на дальнем краю поля.

Когда Джиму подарили на день рождения катер, они все стояли на причале, наблюдая, как инструктор обучает Джима управлять им. До этого никто из них не катался на катере. Белое, блестящее суденышко в форме пули неуклюже двигалось по воде, прерывисто фыркая мотором и оставляя за собой неровный пенистый след, в то время как инструктор, сидевший рядом с Джимом, то и дело перехватывал у него штурвал. Вдруг Джим ни с того ни с сего поднял голову и крикнул Франциско:

— Думаешь, ты сможешь лучше, чем я?

— Смогу.

— Тогда попробуй.

Когда катер причалил и Джим с инструктором вылезли на берег, Франциско проскользнул к штурвалу.

— Подождите минуточку, я хочу взглянуть, что здесь к чему, — сказал он инструктору, который все еще стоял на мостике.

Инструктор не успел и глазом моргнуть, как катер рванул на середину реки, словно выпущенная из пистолета пуля. Прежде чем все поняли, что происходит, он стрелой унесся вдаль, навстречу солнцу; Дэгни видела лишь четкий пенистый след на воде, смотрящего только вперед водителя и слышала мерный гул двигателя.

Она заметила странное выражение на лице отца, который смотрел вслед исчезающему вдали катеру. Он ничего не сказал. Просто стоял и смотрел. Она вспомнила, что уже видела



однажды на его лице похожее выражение, — когда он осматривал сложную систему блоков, которую соорудил двенадцатилетний Франциско, чтобы построить подъемник на вершину скалы, с которой он учил Дэгни и Эдди нырять в Гудзон. Листы с расчетами валялись рядом, разбросанные по земле; отец собрал их, просмотрел и спросил: — Франциско, сколько лет ты изучал алгебру?

— Два года.

— А кто научил тебя этому?

— Никто. Я сам догадался.

Она не знала, что на мятых листках, которые держал в руках ее отец, было начертано некое примитивное подобие дифференциального уравнения.

Наследниками Себастьяна Д'Анкония всегда были старшие сыновья, которые умели с честью носить имя своего рода. Уже стало семейным преданием, что тот из наследников, кто не сумеет преумножить доставшееся ему состояние, опозорит род. На протяжении столетий, из поколения в поколение род Д'Анкония не ведал этого позора. Аргентинская легенда гласила, что руки Д'Анкония имеют чудодейственную силу святых — только это была способность не исцелять, а творить.

Все наследники рода Д'Анкония были людьми незаурядных способностей. Но никто из них не выдерживал никакого сравнения с тем, чем обещал стать Франциско. Словно столетия пропустили все свойства этой семьи сквозь мелкое сито и, отбросив несущественное и незначительное, оставили лишь чистый, сияющий талант, словно по воле счастливого случая наконец было сотворено существо, близкое к совершенству, лишенное каких бы то ни было случайных черт.

Франциско удавалось все, за что он брался; он мог сделать это лучше, чем кто бы то ни было, не затрачивая особых усилий. Он осознавал это, но в его манерах не было и тени хвастовства, он даже не думал о каком-то сравнении. Его позицией было не «я могу это сделать лучше тебя», а просто «я могу это сделать», но под этим он подразумевал: сделать наилучшим образом.

Отец Франциско стремился дать ему всестороннее образование, и, какие бы предметы ему ни приходилось изучать, он, смеясь, с легкостью овладевал ими в совершенстве. Отец обожал его, но тщательно это скрывал, как и то, что гордится, осознавая, какой изумительный талант он воспитывает. Все в один голос твердили, что Франциско станет апогеем рода Д'Анкония.

— Не знаю, какой девиз выбит на фамильном гербе Д'Анкония, но уверена, что Франциско изменит его на «Зачем?», — сказала однажды миссис Таггарт.

Это был первый вопрос, который он обычно задавал, когда ему предлагали что-то сделать, и ничто не могло заставить его действовать, если он не получал убедительно-веского ответа. Он словно ракета несся сквозь дни летнего месяца и, если кто-то останавливал его в этом полете, всегда мог определить смысл и цель каждой минуты своей жизни. Для него невозможными были лишь две вещи: бездействие и отсутствие цели. «Давайте выясним» — вот слова, которыми он аргументировал свои действия Дэгни и Эдди, берясь за что-то, или: «Давайте сделаем». Для него это было единственной формой радости и наслаждения.

— Я могу это сделать, — сказал он, когда, прильнув к склону скалы и вбивая в гранитную твердь железные клинья, строил свой подъемник. Он работал мастерски, со знанием дела, не обращая внимания на пятнышки крови, выступавшие из-под повязки на запястье. — Нет, мы не можем работать по очереди, Эдди. Ты еще слишком мал и не справишься с молотком. Лучше выдирай сорняки и расчищай мне место. Все остальное я сделаю сам... Кровь? А, это я вчера порезался. Дэгни, сбегай в дом, принеси чистый бинт.

Джим наблюдал за ними. Они с ним не общались, но часто видели, как, стоя в стороне, он как-то особенно пристально наблюдает за Франциско.

Он редко разговаривал в присутствии Франциско, но однажды остановил Дэгни и, презрительно улыбнувшись, сказал:

— Воображаешь себя железной леди с собственными убеждениями? Да ты просто тряпка и размазня, бесхребетное, бесхарактерное существо — вот кто ты такая. Просто отвратительно, как ты позволяешь этому самодовольному, тщеславному молокососу указывать тебе. Он крутит тобой как хочет. У тебя совсем нет гордости. Стоит ему свистнуть, и ты, как собака, бежишь и ждешь его указаний. Ты ему разве что ботинки не чистишь.

— Скажет — буду чистить, — ответила Дэгни. Франциско мог победить в любом из проводившихся в округе состязаний, но он никогда в них не участвовал. Он мог стать президентом местного юношеского клуба, но игнорировал все попытки его руководителей принять в клуб самого именитого наследника в мире. Дэгни и Эдди были его единственными друзьями. Они не могли определенно сказать, кто кому принадлежал — они ему или он им. Но это не имело никакого значения. В любом случае они были счастливы.

Каждое утро они втроем отправлялись в одно из своих путешествий. Однажды пожилой профессор литературы, друг миссис Таггарт, увидел их на автомобильной свалке. Они разбирали на части кузов. Он остановился, покачал головой и сказал Франциско:

— Молодому человеку вашего положения подобало бы проводить время в библиотеках, изучая историю мировой цивилизации.

— А чем, по-вашему, я занимаюсь? — ответил Франциско.

Поблизости не было никаких заводов, но Франциско научил Эдди и Дэгни ездить, прицепившись к вагонам, и они отправлялись в отдаленные города, где, перебравшись через забор, гуляли по заводским дворам или наблюдали через окна за работой станков и машин, как другие дети смотрят кино. «Когда я буду управлять „Таггарт трансконтинентал“...» — говорила иногда Дэгни. «Когда я стану хозяином „Д'Анкония коппер“...» — говорил Франциско.

Им не нужно было ничего объяснять друг другу. Каждый знал мотивы и цели другого.

Иногда проводникам удавалось поймать их, и тогда начальник станции, находящейся за сотню миль от поместья, звонил миссис Таггарт и говорил: «У нас тут трое малолетних бродяг, которые говорят, что они...» — «Да, это действительно они. Отправьте их, пожалуйста, обратно», отвечала миссис Таггарт.

— Франциско, — спросил однажды Эдди, когда они стояли на одной из станций «Таггарт трансконтинентал», — ты побывал во всех уголках света. Скажи, что самое важное на земле?

— Это, — ответил Франциско, указывая на эмблему «ТТ» на локомотиве. И добавил: — Жаль, что мне не довелось знать Нэта Таггарта.

Он заметил, как посмотрела на него Дэгни. Он больше ничего не сказал, но несколько минут спустя, когда они шли по узкой, сырой тропинке, произнес:

— Дэгни, я всегда готов преклонить колени перед семейным гербом. Я всегда буду преклоняться перед символами благородства. Мне же положено быть аристократом. Но мне наплевать на всякие там замшелые башни старинных замков или облезлых единорогов. Гербальдику наших дней можно увидеть на рекламных тумбах и рекламных страницах популярных журналов.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Эдди.

— Торговые марки промышленных компаний, — ответил Франциско. Тогда ему было пятнадцать лет.

«Когда я стану хозяином медных рудников Д'Анкония...»; «Я изучаю горное дело и минералогию, потому что должен быть готов стать хозяином „Д'Анкония коппер“»; «Я изучаю электромашиностроение, потому что энергетические компании являются основными клиентами „Д'Анкония коппер“»; «Я собираюсь изучать философию, — мне это понадобится, чтобы защищать „Д'Анкония коппер“».

— Ты когда-нибудь думаешь о чем-нибудь кроме «Д'Анкония коппер»? — спросил его однажды Джим.

— Нет.

— Мне кажется, что в мире существуют и другие вещи.

— Пусть о них думают другие.

— Разве это не эгоистичная позиция?

— Эгоистичная.

— Чего ты добиваешься?

— Денег.

— У тебя их что, недостаточно?

— Каждый из моих предков за свою жизнь увеличивал производительность компании Д'Анкония примерно на десять процентов. Я собираюсь увеличить ее на сто.

— Зачем? — спросил Джим, с издевкой подражая голосу Франциско.

— После смерти я надеюсь попасть в рай, хотя одному черту известно, что это такое, и хочу быть в состоянии заплатить цену, открывающую дорогу в рай.

— Добродетель — вот цена, открывающая дорогу в рай.

— Именно это я и имел в виду, Джеймс. Я хочу иметь право заявить, что обладал величайшей добродетелью в мире — был человеком, который делал деньги.

— Любой дурак может делать деньги.

— Джеймс, когда-нибудь ты поймешь, что у слов есть буквальные значения. — Франциско улыбнулся; его улыбка излучала насмешку. Глядя на Франциско и Джима, Дэгни вдруг подумала о разнице между ними. Оба улыбались насмешливо. Но казалось, что Франциско смеялся над многим потому, что видел нечто более великое. Джим же смеялся так, словно хотел, чтобы в мире не осталось ничего великого.

Однажды ночью она вновь заметила на губах Франциско особенную улыбку. Той ночью они сидели втроем вокруг костра, который разожгли в лесу. Отблески огня словно укрыли их за забором из прерывистых, лижущих языков пламени, в которых потрескивали поленья и ветки и отражались далекие звезды. У Дэгни было такое чувство, будто за этим забором ничего нет, — ничего, кроме темной пустоты, скрывающей какое-то захватывающее дух, пугающее пророчество... Как будущее. Но будущее, думала она, будет как улыбка Франциско. Эта улыбка — ключ к будущему, предупреждение, дававшее понять характер того, что ждет впереди; будущее отражалось на его лице, в пламени костра под ветками сосен. И внезапно она испытала чувство невыносимого счастья, невыносимого, потому что оно было слишком полным и она не знала, как его выразить. Она взглянула на Эдди. Он смотрел на Франциско. Эдди как-то по-своему чувствовал то же, что и она.

— Почему тебе нравится Франциско? — спросила она его неделю спустя, когда Франциско уехал.

Эдди удивленно посмотрел на нее. Ему даже в голову не приходило, что восхищение Франциско может вызвать какие-то вопросы или сомнения.

— С ним я чувствую себя в безопасности, — ответил он.

— А я с ним всегда ожидаю чего-то волнующего и опасного, — сказала Дэгни.

Следующим летом Франциско исполнилось шестнадцать. В тот день она стояла рядом с ним на вершине скалы у реки. На них были изорванные рубахи и шорты. Они порвали их во время подъема. Они смотрели вниз, на Гудзон; говорили, что с этой скалы в ясный, безоблачный день виден Нью-Йорк. Но они видели лишь легкую дымку — это сливались вдаль река, небо и свет солнца.

Она встала на колени на выступе скалы и наклонилась вперед, пытаясь рассмотреть далекий город. Развевавшиеся на ветру волосы спадали ей на глаза. Она оглянулась через плечо и увидела, что Франциско не смотрит вдаль, — он смотрел на нее. Это был странный взгляд — пристальный, без тени улыбки. Некоторое время она стояла неподвижно, упершись напряженными руками в скалу; каким-то необъяснимым образом его взгляд заставил ее осознать позу, в которой она стояла, заставил подумать о плечах, высунувшихся из-под разорванной рубахи, и длинных загорелых ногах.

Она сердито встала и отошла от него. И, подняв голову, негодующим взглядом отвечая на его строгий взгляд, уверенная в том, что взгляд этот выражал осуждение и враждебность,

она услышала свой вызывающе смеющийся голос:

— Что тебе нравится во мне?

Он рассмеялся. Пораженная, она спрашивала себя, что заставило ее произнести это.

— Вот что мне нравится в тебе, — сказал он, указывая вдаль, в сторону блестевших на солнце рельсов «Таггарт трансконтинентал».

— Это не мое, — сказала она с грустью.

— Мне нравится, что это будет твоим.

Она радостно улыбнулась, признавая за ним победу. Она не знала, почему он так странно посмотрел на нее, но чувствовала, что он увидел какую-то связь, которую она не осознавала, между ее телом и чем-то внутри нее, чем-то, что когда-нибудь даст ей силы управлять железной дорогой.

— Давай посмотрим, виден ли Нью-Йорк, — сказал он и подтолкнул ее к краю скалы.

Она думала, что он как-то по-особенному сжал ей руку, держа ее вдоль своего тела, она стояла, прижавшись к нему, и чувствовала тепло солнца, исходящее от его ног, прижатых к ее ногам. Они стояли, всматриваясь вдаль, но не видели ничего, кроме легкой туманной дымки.

Когда тем летом Франциско уехал, она подумала, что его отъезд похож на переход границы: закончилось его детство — осенью он должен был поступить в университет. Затем настанет ее очередь. Она чувствовала живое нетерпение с примесью волнующего страха, словно Франциско грозила неведомая опасность. Она вспомнила, как когда-то, много лет назад, он первым прыгнул со скалы в Гудзон и скрылся под водой, а она стояла и смотрела, зная, что через мгновение он появится на поверхности и затем придет ее очередь нырять.

Она отбросила страх. Для Франциско опасность была лишь возможностью еще раз с блеском проявить себя; не было такого сражения, которое он мог бы проиграть, не было такого врага, который мог бы его победить. Затем она вспомнила слова, которые услышала несколько лет назад. Эти слова показались ей очень странными, странным было и то, что они сохранились в ее памяти, ведь тогда она сочла их бессмыслицей. Их произнес старый профессор математики, друг ее отца, который гостил у них тем летом. Ей нравилось его лицо, и она до сих пор помнила странное выражение грусти в его глазах, когда однажды вечером, сидя в сгущавшихся сумерках на террасе с ее отцом, он указал на гулявшего в саду Франциско и сказал: «Этому мальчику придется нелегко. У него слишком развита способность радоваться. Что он будет делать с ней в мире, где почти нет места для радости?»

Франциско стал студентом самого престижного университета Соединенных Штатов. Его отец давным-давно решил, что он будет учиться именно в Университете Патрика Генри в Кливленде — лучшем высшем учебном заведении в мире. Этой зимой он не приехал навестить ее в Нью-Йорк, хотя дорога заняла бы всего одну ночь. Они не переписывались, они вообще никогда не писали друг другу.

Но она знала, что летом он придет на месяц к ним в поместье.

Этой зимой ее несколько раз посещало какое-то неясное опасение: на ум постоянно приходили слова, сказанные профессором, — смысл этого предупреждения Дэгги не могла разгадать и поэтому постаралась его забыть. Думая о Франциско, она чувствовала крепнущую уверенность в том, что этот месяц приблизит ее к будущему, словно в подтверждение того, что мир, который она видела впереди, реален, хотя и чужд окружающим ее людям.

— Привет, Слаг!

— Привет, Фриско!

Стоя на склоне холма в первое мгновение их новой встречи, она вдруг поняла смысл того мира, в котором они оба существовали вопреки всем остальным. Это длилось лишь мгновение, она почувствовала, как край юбки, развевавшийся на ветру, бьет ее по коленям, почувствовала лучи солнца на своих ресницах и толкавшую вверх вызванную громадным облегчением силу — она уперлась ногами в поросшую травой землю, подумав, что сейчас, преодолев ветер, невесомая, поднимется вверх.

Это было внезапное чувство свободы и безопасности — она поняла, что ничего не знает о его жизни, никогда не знала, и что в этом никогда не будет необходимости. Мир случайностей — семей, званных обедов, школ, людей без жизненной цели, гнущихся под бременем неведомой вины, — не был их миром, не мог изменить его, ничего не значил. Они никогда не обсуждали то, что случалось с ними, лишь делились своими мыслями и планами на будущее.

Она молча смотрела на него и слушала внутренний голос, который говорил ей: «Не то, что есть сейчас, а то, что мы создадим... Ты и я... Нас не остановить. Прости, что я боялась потерять тебя, боялась, что ты уйдешь к ним; прости меня за мои сомнения, им никогда не достичь твоей высоты; я больше никогда не буду бояться за тебя...»

Он тоже замер на миг, глядя на нее, и в его взгляде она прочла не только приветствие после долгой разлуки. Так мог смотреть лишь тот, кто весь год думал о ней каждый день. Дэгни не была в этом уверена — это длилось лишь мгновение, такое короткое, что, едва уловив его, она увидела, как он повернулся, указывая на березу позади себя, и сказал так, как они говорили в детстве, играя в эту игру:

— Когда ты наконец научишься бегать быстрее? Мне всегда придется ждать тебя?

— А ты будешь ждать меня? — весело спросила она.

— Всегда, — ответил он без улыбки.

Они поднимались по холму к дому, и всю дорогу он разговаривал с Эдди, а она молча шла рядом. Она чувствовала, что в их отношениях появилась какая-то сдержанность, которая, как ни странно, как-то по-новому сближала их.

Она не спросила о его учебе в университете. Много дней спустя поинтересовалась лишь, нравится ли ему там.

— Сейчас там преподают много ненужного, но некоторые предметы мне действительно нравятся, — ответил он.

— Ты нашел друзей?

— Да, двоих. — Больше он ничего ей не сказал.

К этому времени Джим перешел на последний курс колледжа в Нью-Йорке. Годы, проведенные в колледже, придали его манерам странную воинственность, словно он обрел какое-то новое оружие. Однажды он ни с того ни с сего остановил Франциско посреди лужайки и заявил агрессивно-праведным тоном:

— Мне кажется, теперь, когда ты вырос и учишься в университете, тебе пора узнать кое-что об идеалах. Пора забыть эгоистичную алчность и подумать об ответственности перед обществом, потому что те миллионы, которые ты унаследуешь, не предназначены для твоего личного удовольствия, они вверяются тебе во имя блага бедных и терпящих лишения, и я считаю, что тот, кто этого не понимает, самый развращенный и порочный человек.

— Не стоит высказывать свое мнение, Джеймс, когда тебя не просят. Иначе ты рискуешь оказаться в дурацком положении, поняв, какова ценность твоих суждений в глазах собеседника, — вежливо ответил Франциско.

— А в мире много таких людей, как Джим? — спросила его Дэгни, когда они отошли в сторону.

Франциско рассмеялся:

— Да, очень много.

— И тебя это не тревожит?

— Нет. Мне не обязательно иметь с ними дело. А почему ты спросила об этом?

— Потому что я думаю, что они чем-то опасны... Не знаю, чем именно...

— Боже мой, Дэгни! Неужели ты думаешь, что такие субъекты, как Джеймс, могут испугать меня?

Несколько дней спустя, когда они шли вдвоем по лесу вдоль берега реки, она спросила:

— Франциско, а кого ты считаешь самым порочным человеком?

— Человека, у которого нет цели.

Она стояла, глядя на ровные стволы деревьев, над которыми возвышалась сияющая

полоса горизонта.

Лес был сумрачен и прохладен, но на ветвях деревьев играли горячие серебристые лучи солнца, отраженные гладью реки. Дэгни спрашивала себя, почему ей вдруг так понравился этот вид, — раньше она никогда не обращала внимания на окружающую ее природу, — почему она так ясно и отчетливо осознавала радость и наслаждение, чувствовала каждое движение своего тела. Ей не хотелось смотреть на Франциско. Она чувствовала его присутствие более реально, не глядя на него, словно ее острое ощущение себя исходило от него, как отраженный водой солнечный свет.

— Так ты считаешь себя удачным экземпляром?

— Всегда так считала, — не оборачиваясь, с вызовом ответила она.

— Посмотрим, как ты это докажешь. Посмотрим, чего ты достигнешь, руководя компанией. Каких бы успехов ты ни добилась, я хочу, чтобы ты вывернулась наизнанку, пытаясь стать еще лучше. А когда ты, отдав последние силы, достигнешь цели, ты немедленно начнешь двигаться к новой. Вот чего я жду от тебя.

— Почему ты считаешь, что я вообще хочу что-то тебе доказать? — спросила она.

— Хочешь, чтобы я ответил?

— Нет, — прошептала она, пристально глядя на маячивший вдали противоположный берег.

Он засмеялся и спустя некоторое время сказал:

— Дэгни, в жизни имеет значение лишь одно — насколько хорошо ты делаешь свое дело. Больше ничего. Только это. А все остальное приложится. Это единственное мерило ценности человека. Все те моральные кодексы, которые тебе навязывают, подобны бумажным деньгам, которыми расплачиваются мошенники, скупая у людей нравственность. Кодекс компетентности • — единственная мораль, отвечающая золотому стандарту. Когда станешь старше, поймешь, что я имею в виду.

— Я и сейчас понимаю. Но, Франциско... почему мне кажется, что об этом знаем только мы с тобой?

— А какое тебе дело до других?

— Я стараюсь понять все, но в людях есть что-то, чего я не могу понять.

— Что?

— Я никогда не пользовалась особой популярностью в школе, и меня это не особо волновало, но теперь я поняла причину. Причина просто невероятна: меня недолюбливают не потому, что я все делаю плохо, а потому, что я все делаю хорошо. Меня не любят потому, что я всегда была лучшей ученицей в классе. Мне даже не нужно учиться. Я всегда получаю отличные оценки. Может быть, для разнообразия начать получать двойки и стать самой популярной девушкой в школе?

Франциско остановился, взглянул на нее и ударил ее по лицу.

Земля закачалась у нее под ногами.

То, что она ощутила, можно было измерить только бурей чувств, вспыхнувших у нее в душе. Она знала, что убила бы любого другого человека, посмеявшегося поднять на нее руку, чувствовала неистовую ярость, которая придала бы ей силы сделать это, — и такое же неистовое удовольствие от того, что ее ударил Франциско. Она чувствовала удовольствие от тупой, жгучей боли и привкуса крови в уголках губ. Она почувствовала удовольствие от того, что вдруг поняла в нем, в себе и в его побуждениях.

Она напрягла ноги, чтобы остановить головокружение; высоко подняла голову и стояла, глядя на него с сознанием своей силы, с насмешливой торжествующей улыбкой, впервые чувствуя себя равной ему.

— Что, больно я тебе сделала? — спросила она.

Он выглядел удивленным. И вопрос, и улыбка были явно не детскими.

— Да — если тебе приятно это слышать. Мне приятно.

— Никогда больше так не делай и не шути подобным образом.

— А ты не будь ослом. С чего ты взял, что я действительно хочу быть популярной?

— Когда повзрослеешь, ты поймешь, какую низость сказала.

— Я и сейчас понимаю.

Он резко отвернулся, достал свой носовой платок и смочил его в воде.

— Иди сюда, — приказал он.

Она засмеялась, отступив назад:

— Ну уж нет! Я хочу оставить все, как есть. Надеюсь, щека страшно распухнет. Мне это нравится.

Он долго смотрел на нее, потом медленно и очень серьезно сказал:

— Дэгни, ты просто прекрасна!

— Я всегда знала, что ты так думаешь, — ответила она вызывающе безразличным тоном.

Когда они вернулись домой, она сказала матери, что разбила губу, упав на камень. Она солгала первый раз в жизни. Она сделала это не для того, чтобы защитить Франциско, — она сказала так потому, что чувствовала: по какой-то непонятной ей самой причине это происшествие — тайна, слишком драгоценная, чтобы посвящать в нее кого-то.

Следующим летом, когда Франциско снова приехал к ним в поместье, ей было уже шестнадцать. Она бросилась вниз по холму ему навстречу, но вдруг резко остановилась. Он увидел это, тоже остановился, и какое-то время они стояли, глядя друг на друга через разделявшее их зеленое пространство длинного склона. Потом он двинулся к ней, очень медленно, а она стояла и ждала.

Когда он подошел, она невинно улыбнулась, словно между ними и не подразумевалось никакого соперничества.

— Тебе, наверное, будет приятно узнать, что я уже работаю на железной дороге. Ночным диспетчером на станции Рокдэйл.

Он рассмеялся:

— Ну хорошо, «Таггарт трансконтинентал», гонка началась. Посмотрим, кто окажет большую честь великим предкам: ты — Нэту Таггарту или я — Себастьяну Д'Анкония.

Этой зимой она упорядочила течение своей жизни до простоты геометрического чертежа, несколько прямых линий — каждый день в машиностроительный колледж и обратно домой, каждую ночь на работу и с работы — и замкнутый круг ее комнаты, заваленной чертежами двигателей, «синьками» стальных конструкций и железнодорожными расписаниями.

Миссис Таггарт с грустью и замешательством наблюдала за дочерью. Она могла бы простить ей все грехи, кроме одного: Дэгни абсолютно не интересовали мужчины, она была начисто лишена романтических наклонностей. Миссис Таггарт очень неодобрительно относилась к крайностям; если нужно, она готова была смириться с крайностями противоположного характера и думала, что во всяком случае это было бы лучше. Она чувствовала себя очень неловко, когда ей пришлось признать, что в семнадцать лет у ее дочери нет ни одного поклонника.

— Дэгни и Франциско Д'Анкония? — горько улыбалась она в ответ на вопросы любопытных друзей. — О нет, это не роман. Это своего рода международный индустриальный концерт. Все остальное, похоже, не имеет для них значения.

Миссис Таггарт услышала, как однажды вечером в присутствии гостей Джеймс сказал с ноткой странного удовольствия в голосе:

— Дэгни, хоть тебя и назвали в честь красавицы-жены Нэта Таггарта, ты больше похожа на него, чем на нее.

Миссис Таггарт не знала, что расстроило ее больше: слова Джеймса или то, что Дэгни восприняла их как комплимент.

Миссис Таггарт думала, что ей так и не удалось сформировать мнение о дочери и понять ее. Для нее Дэгни была всего-навсего девушкой, торопливо расхаживающей взад и вперед по квартире в кожаной куртке с поднятым воротником и короткой юбке, с длинными, стройными, как у танцовщицы варьете, ногами. Походка у нее была мужская — резкая и

стремительная, но движения обладали грацией, были быстры, упруги и как-то странно, вызывающе женственны.

Временами миссис Таггарт замечала на ее лице выражение, которого не могла точно определить: не просто веселость, а такая незапятнанно чистая радость, что она находила это просто ненормальным, — ни одна молодая девушка не могла быть настолько бесчувственной, чтобы не обнаружить, что в мире есть место печали. Она пришла к заключению, что ее дочь просто не способна испытывать какие-либо чувства.

— Дэгни, неужели тебе никогда не хочется хорошо провести время? — спросила она однажды.

Дэгни недоверчиво посмотрела на нее и ответила:

— А я что, по-твоему, плохо его провожу?

Решение вывести Дэгни в свет стоило миссис Таггарт долгих и тревожных раздумий. Она не знала, кого представляет высшему свету — мисс Дэгни Таггарт из «Светского альманаха» или ночного диспетчера со станции Рокдэйл. Она склонялась к тому, что последнее куда ближе к истине, и была уверена, что Дэгни наверняка отклонит подобное предложение. Она очень удивилась, когда, по непонятным причинам, радуясь, как ребенок, Дэгни охотно приняла его.

Она вновь испытала крайнее удивление, когда увидела Дэгни одетой к банкету. Это было первое нарядное платье, которое она надела, — белое, шифоновое, с огромной, похожей на плывущее по небу облако юбкой. Миссис Таггарт боялась, что у Дэгни будет нелепый вид, но она выглядела просто красавицей. В этом платье она казалась старше и еще невиннее, чем обычно; стоя перед зеркалом, она держала голову так, как держала бы ее жена Нэта Таггарта.

— Вот видишь, Дэгни, как прекрасна ты можешь быть, если захочешь, — нежно, с легкой укоризной в голосе сказала миссис Таггарт.

— Да, вижу, — ответила она без тени замешательства.

Миссис Таггарт лично руководила украшением банкетного зала в отеле «Вэйн-Фолкленд», у нее был изысканно-артистический вкус, и убранство зала стало ее шедевром.

Дэгни, я хочу, чтобы ты научилась замечать такие вещи, как освещение, цветы, музыка, цветовая гамма. Не так уж они незначительны, как ты думаешь, — сказала миссис Таггарт.

— Я никогда так и не думала, — радостно ответила Дэгни.

Впервые миссис Таггарт почувствовала какую-то связь с Дочерью, что-то общее между ними. Дэгни смотрела на нее как ребенок, с благодарностью и доверием.

— Все это делает жизнь прекрасной и придает ей особую прелесть. Дэгни, я хочу, чтобы этот вечер стал для тебя особенным. Первый бал — самое романтическое событие в жизни.

Но самым удивительным для миссис Таггарт стало мгновение, когда она увидела Дэгни, которая стояла в свете люстр, глядя на танцевальный зал.

Это был уже не ребенок, не девушка, а уверенная в себе женщина, наделенная таинственной силой, и, глядя на нее, миссис Таггарт замерла от восторга. В век циничного, равнодушно-повседневного однообразия, среди людей, которые держались так, словно их тела были не из плоти, а из дряблого мяса, осанка Дэгни казалась чуть ли не неприличной, потому что женщина могла стоять так, обернувшись лицом к залу, лишь много веков назад, когда демонстрация полуобнаженного тела восторженным взглядам мужчин была дерзким поступком, когда это имело значение, единственное значение, признаваемое всеми, — вызов. И это, думала миссис Таггарт, девушка, которую я считала лишенной сексуальной привлекательности. Она почувствовала необыкновенное облегчение, и вместе с тем ее несколько позабавило, что подобное открытие вызвало такое облегчение.

Но оно длилось недолго. Под конец вечера в углу зала она заметила Дэгни, которая, сидя на балюстраде, как на заборе, болтала ногами под шифоновой юбкой, словно на ней были брюки, а не вечернее платье. Она разговаривала с парой молодых людей беспомощного вида. Ее лицо было презрительно пустым.



По дороге домой они не сказали друг другу ни слова. Но несколько часов спустя, под воздействием внезапного порыва, миссис Таггарт вошла в комнату дочери. Дэгни стояла у окна, на ней все еще было вечернее платье, похожее на облако, поддерживающее тело, — тело, которое теперь казалось слишком худым, миниатюрное тело с узкими плечами. За окном, освещенным первыми лучами восходящего солнца, по небу плыли серые, хмурые тучи.

Когда Дэгни обернулась, миссис Таггарт заметила на ее лице замешательство и беспомощность. Лицо было спокойным, но что-то в нем заставило миссис Таггарт пожалеть о том, что ее дочь открыла для себя, что такое печаль.

— Мама, они что, думают, будто все наоборот? — сказала она.

— Что? — озадаченно спросила миссис Таггарт.

— То, о чем ты говорила: музыка и цветы. Неужели они считают, что среди музыки и цветов они сами становятся более романтичными, а не наоборот?

— Дорогая, что ты имеешь в виду?

— Там не было ни одного человека, которому бы все это по-настоящему нравилось, который способен думать или чувствовать, — безжизненным голосом сказала Дэгни. — Они расхаживали по залу и повторяли скучные, бессмысленные вещи, которые говорят где угодно. Наверное, решили, что в ярком свете люстр их чушь станет блистательной.

— Дорогая, ты воспринимаешь все слишком серьезно. Вовсе не обязательно блистать интеллектом на балу. Просто нужно быть веселым.

— Как? Будучи глупым?

— Я хочу сказать... ну... тебе что, не понравилось общаться с молодыми людьми?

— С кем? Да любого из тех парней, что там были, я могла бы по стенке размазать.

Много дней спустя, сидя за столом на станции Рокдэйл и чувствуя себя в своей тарелке, Дэгни вспомнила о бале и пожалала плечами, с презрением упрекнув себя за то, что испытала разочарование. Она подняла голову. Стояла весна, и в темноте за окном она различила листья на ветвях деревьев: было тепло и безветренно. Она спрашивала себя, чего ожидала от этого бала. Ответа на этот вопрос она не знала. Но вновь почувствовала это сейчас, здесь, склонившись над выдавшим виды столом и вглядываясь в темноту, — предвкушение чего-то неведомого медленно, как теплая жидкость, поднималось в ней. Она прилегла грудью на стол, не чувствуя ни утомления, ни желания работать.

Когда летом Франциско приехал в поместье, она рассказала ему о бале и о своем разочаровании. Он слушал молча, впервые глядя на нее тем насмешливым взглядом, которым обычно смотрел на других. Этот взгляд, казалось, видел слишком многое. У нее было ощущение, будто он услышал в ее словах гораздо больше, чем она сказала.

Она увидела то же выражение в его глазах в тот вечер, когда очень рано ушла от него. Они сидели вдвоем на берегу реки. У нее был час свободного времени до работы. По небу тянулись легкие, тонкие полосы алого заката, а красные искорки его отблесков лениво плыли по воде. Он долго молчал, и она резко поднялась и сказала, что должна идти. Он не пытался остановить ее; откинулся назад, упершись локтями в траву, и, не двигаясь, смотрел на нее; казалось, он хотел сказать, что понимает, что с ней происходит.

Быстро и сердито шагая к дому вверх по склону холма, она спрашивала себя, что заставило ее уйти, — и не знала. Это было внезапное беспокойство, порожденное чувством, определить которое она смогла лишь теперь — чувством надежды.

Каждый вечер она садилась в машину и проезжала пять миль от поместья до станции. Возвращалась на рассвете, спала несколько часов и вставала вместе с остальными. Ей совсем не хотелось спать. Раздеваясь, чтобы лечь в постель при первых лучах восходящего солнца, она чувствовала насыщенное, радостное, беспричинное нетерпение, желание поскорее встретить зарождающийся новый день.

Она вновь увидела это насмешливое выражение в глазах Франциско, когда он смотрел на нее, стоя на противоположной стороне теннисного корта. Она не помнила начала этой игры; они часто играли в теннис, и он всегда выигрывал. Она не знала, в какое именно

мгновение решила, что на этот раз выиграет. Когда она осознала это, в ней поднялась тихая ярость. Она не знала, почему должна выиграть, не понимала, почему это так необходимо. Знала лишь, что должна победить и победит.

Казалось, она играла очень легко. Ее воля словно исчезла, и чужая сила играла за нее. Она посмотрела на Франциско, на его стройное, стремительное в движениях тело с загорелой кожей, которая выделялась на фоне белой рубашки. Наблюдая за его мастерскими движениями, она ощутила чувство надменного удовольствия, потому что ей предстояло превзойти его, победить его, — поэтому каждый его удачный выпад становился ее победой, а совершенство его движений — ее триумфом.

Она чувствовала нарастающую боль усталости, — не осознавая, что это боль, — ощущала ее внезапные приступы в разных частях тела и в следующее мгновение забывала о них... В плече, в лопатках, в бедрах, к которым прилипли мокрые края шорт, в мышцах ног, когда она подпрыгивала, чтобы достать мяч, и не помнила, опустилась ли потом на землю, в веках, когда небо вдруг сделалось темно-красным, и из этой темноты на нее кружащимся белым пламенем полетел мяч, словно электрический разряд выстрелил из лодыжки, обжег спину и устремился дальше, направляя мяч прямо во Франциско. Она испытывала ликующее торжество, потому что каждый приступ боли, начинавшийся в ее теле, должен был закончиться в его теле, потому что он, так же как и она, выбился из сил, потому что то, что она делала с собой, она делала и с ним, — вот что он сейчас чувствует, вот до чего она его довела; она ощущала в своем теле не свою, а его боль.

В те мгновения, когда ей удавалось увидеть его лицо, она замечала, что он смеется. Он смотрел на нее так, словно все понимал. Он играл не ради победы, а чтобы сделать игру тяжелее и изнурительнее для нее: он то лупил по мячу, заставляя ее носиться по всему корту, то, намеренно теряя очки, посылал мяч под левую руку и смотрел, как она мучительно выгибается всем телом, нанося ответный удар, то стоял неподвижно, позволяя ей надеяться, что не возьмет подачу, и лишь в последний момент небрежно выбрасывал руку и посылал мяч через сетку с такой силой, что достать его было практически невозможно. Дэгни казалось, что она больше не в силах двинуться, но она с удивлением осознала, что бежит в другой конец корта, поспевает к мячу и бьет — с такой силой, словно хочет разнести его в клочья, бьет словно не по мячу, а по лицу Франциско.

Еще один удар, думала она, даже если сейчас хрустнут мои кости... Еще один удар — даже если легкие, судорожно выталкивающие воздух, откажут и я задохнусь. Потом она уже ничего не чувствовала — ни боли, ни своих мышц, была лишь одна мысль: победить, увидеть его выбившимся из сил, свалившимся от усталости и в следующее мгновение умереть самой.

Она выиграла. Может быть, он впервые в жизни проиграл из-за того, что смеялся. Она стояла неподвижно; Франциско подошел к сетке и бросил свою ракетку к ее ногам, словно знал, что именно этого она хотела. Он отошел от корта и в изнеможении повалился на траву, уронив голову на руки.

Дэгни медленно подошла к нему. Она стояла над ним и смотрела на его тело, раскинувшееся у ее ног, на взмокшую от пота рубашку и рассыпавшиеся по руке пряди волос. Он поднял голову. Его взгляд медленно устремился вверх по ногам, по шортам, по блузке — к ее глазам. Это был насмешливый взгляд, казалось, он видел ее насквозь, читал ее мысли. Этот взгляд словно говорил, что победила не она, а он.

В эту ночь она сидела за рабочим столом в старом здании станции, глядя через окно на темное небо. Ей больше всего нравилось это время суток, когда верхние рамы становились светлее, а рельсы, просматривавшиеся в нижней части окна, делались похожими на ниточки нечищеного серебра. Она выключила настольную лампу и смотрела, как над неподвижной землей беззвучно встает рассвет. Было тихо и спокойно, ни один листок не дрожал на ветвях деревьев, небо утратило свой прежний цвет и превратилось в полосу сверкающей водной глади.

В это время суток телефон молчал, словно движение остановилось на всей линии.

Вдруг она услышала шаги. Вошел Франциско. Он никогда раньше не приходил сюда, но она не удивилась, увидев его.

— Что ты здесь делаешь в такое время? — спросила она.

— Мне не спалось.

— А как ты добрался? Я не слышала, чтобы подъезжала машина.

— Я пришел пешком.

Прошло много времени, прежде чем она поняла, что так и не спросила, зачем он пришел, и не хотела спрашивать.

Он бродил по комнате, рассматривая путевые листы, густо развешанные по стенам, календарь с изображением «Кометы Таггарта», снятой в момент стремительного приближения к объективу. Он вел себя как дома, словно понимал, что это место принадлежит им, — они всегда чувствовали себя так везде, куда бы ни пришли вместе. Казалось, ему не хотелось говорить. Задал несколько вопросов о ее работе и замолчал.

По мере того как за окном светало, движение на линии оживлялось, и в тишине начал звонить телефон. Она вернулась к работе. Он сидел в углу, перекинув одну ногу через подлокотник кресла, и ждал.

Дэгни работала быстро, чувствуя необыкновенную ясность ума. Она находила удовольствие в быстрых, точных движениях своих рук. Она сосредоточилась на резком, звонком звуке телефона, на номерах поездов, вагонов и заказов. Больше она ничего не осознавала. Для нее больше ничего не существовало.

Но когда тонкий лист бумаги слетел на пол, она, наклонившись поднять его, вдруг с особой остротой ощутила свое тело и его движения. Заметила серую ткань своей льняной юбки, закатанные рукава серой блузки и тянувшуюся за листом бумаги обнаженную руку. Она почувствовала, что безо всяких на то причин ее сердце остановилось, — остановилось судорожно, как в момент предчувствия. Она подняла бумагу и вернулась к работе.

Почти рассвело; мимо станции, не останавливаясь, прошел поезд. В чистом утреннем свете длинная цепочка вагонных крыш слилась в непрерывную серебристую ленту; поезд, казалось, повис над землей и, не касаясь ее, несясь по воздуху мимо здания станции. Пол дрожал, в окнах дребезжали стекла. Восторженно улыбаясь, Дэгни смотрела на пронесившийся мимо поезд. Она взглянула на Франциско. Он смотрел на нее, улыбаясь точно так же.

Когда пришел ее сменщик, она сдала дела, и они с Франциско вышли на улицу. Солнце еще не взошло, но там, где оно поднималось, воздух блестел и переливался. Дэгни не чувствовала усталости. Она словно только что проснулась. Когда она направилась к машине, Франциско сказал:

— Давай пойдем пешком. Вернемся за машиной позже.

— Хорошо.

Она не удивилась и ничего не имела против того, чтобы пройти пять миль до дома пешком. Это казалось совершенно естественным; естественным для реальности этого мгновенья, реальности, которая была отчетливо явственна, но словно отрезана от остального мира, непосредственна, но ни с чем не связана, как яркий островок в густой пелене тумана, — такие обостренные ощущения бывают в состоянии легкого опьянения.

Дорога шла через лес. Они спустились с шоссе и пошли по старой тропинке, которая, извиваясь, тянулась между деревьями сквозь мили девственного леса. Вокруг не было и следа присутствия человека. При взгляде на старые выбоины, поросшие травой, существование других людей казалось еще более призрачным, словно к отдаленности пространства прибавлялась отдаленность во времени. Над землей еще клубилась легкая сумрачная дымка, но в просветах между стволами деревьев висели сияющие зеленью листья, словно освещавшие лес. Они шли вдвоем сквозь безмолвно-застывший мир. Она вдруг осознала, что за долгое время ни один из них не проронил ни слова.

Они вышли на опушку. Это была небольшая лощина на дне оврага, куда спускались крутые склоны холмов. По траве извивался ручеек, и деревья клонили свои ветви вниз, к

земле, словно живой зеленый занавес. Журчание ручейка подчеркивало царившую вокруг тишину.

Маячившая далеко вверху прорезь неба делала это место еще более защищенным от посторонних глаз. Высоко на гребне холма первые лучи восходящего солнца осветили верхушки деревьев.

Они остановились и посмотрели друг на друга. Лишь когда он сделал это, она поняла, что знала: так и будет. Он схватил ее, она ощутила на губах его поцелуй, почувствовала, как ее руки неистово обнимают его в ответ, и впервые осознала, как сильно ей этого хотелось.

На мгновение она ощутила рвущийся изнутри протест и легкий страх. Франциско настойчиво прижимал ее к себе, гладил ее грудь, словно заново познавал близость ее тела, уже на правах собственника — для такой близости не нужно было ее согласия. Она попыталась отстраниться от него, но лишь откинувшись назад, чтобы видеть его лицо и улыбку, — улыбку, которая говорила ей, что он давно уже получил ее согласие. Она понимала, что должна бежать, но вместо этого наклонила к себе его голову, и их губы слились в поцелуе.

Она знала, что легкий страх, который она испытывала, не имеет значения: Франциско сделает то, что хочет, все решал он один, он не оставил ей выбора, ничего, кроме одного, и именно этого она больше всего хотела — покориться. Всякое сознательное представление о его намерениях у Дэгни исчезло. Она была не в состоянии поверить, что это происходит с ней. Знала лишь, что ей страшно, но то, что она чувствовала, было похоже на крик: «Только не проси... не проси моего согласия... сделай это!»

На мгновение она напряглась, как бы сопротивляясь, но его губы были прижаты к ее губам, и, не прерывая поцелуя, они медленно опустились на землю. Она лежала неподвижно. Он сделал это очень просто, не колеблясь ни секунды, словно по праву, — по праву того невыносимого наслаждения, которое они получили.

Потом он объяснил, что это означало для них обоих. Это были его первые слова после того, что произошло. Он сказал: «Мы должны были узнать это друг от друга». Она посмотрела на его стройное тело, растянувшееся на траве рядом с ней; он был в легких черных брюках и черной рубашке. Ее взгляд остановился на ремне, стягивавшем его стройную талию, и она вдруг ощутила чувство переполнявшей ее гордости от того, что обладала этим телом, что оно принадлежало ей. Она лежала на спине, глядя в небо, не чувствуя никакого желания шевелиться, думать или осознавать, что за этим мгновением существует время.

Вернувшись домой, она легла в постель обнаженной, потому что ее тело стало каким-то незнакомым и слишком драгоценным для прикосновения ночной рубашки, ей было приятно чувствовать свою наготу и представлять тело Франциско на белой простыне своей постели. Она решила, что не будет спать, потому что ей не хотелось утратить самое прекрасное утомление, которое она когда-либо испытывала. Засыпая, она думала о том, сколько раз не находила способа выразить мгновенное осознание чувства, которое было куда больше счастья, — это было словно благословение всему миру, влюбленность в собственное существование, и существование именно в этом мире. Дэгни подумала, что пережитое ею сегодня и есть способ выразить это чувство. Возможно, это и была серьезная и важная мысль, она этого не знала. Ничто не могло быть серьезным в мире, где не было места самому понятию боли. Она не могла оценить важности своих выводов. Она спала в тихой, залитой солнцем комнате, и на ее лице застыла слабая, едва уловимая улыбка.

Этим летом они встречались в лесу, в укромных уголках у реки, в заброшенном шалаше и в подвале дома — в эти мгновения она училась ощущать прекрасное. Она носила легкие брюки и летние платья из хлопка и все-таки никогда не выглядела так женственно, как в минуты, когда стояла рядом с ним, замирая в его объятиях, отдаваясь всему, чего он хотел, признавая его власть сделать ее беспомощной перед тем райским блаженством, которое он способен был ей подарить.

Он научил ее всем способам чувственности, которые только мог придумать. «Разве не

прекрасно, что наши тела могут давать такое наслаждение?» — просто сказал он. Они были счастливы и ослепительно невинны. Они даже не допускали мысли, что радость может быть греховной.

Они хранили свои отношения в тайне, но не потому, что считали их постыдными, а потому, что это касалось только их и никто не имел права это обсуждать или оценивать. Ей были хорошо известны взгляды на секс, которых в той или иной форме придерживалось общество: секс — это уродливая, низменная человеческая слабость, с которой, к сожалению, приходится мириться. Целомудрие заставляло ее воздерживаться — но не от желаний своего тела, а от контактов с людьми, разделявшими такие взгляды.

Этой зимой Франциско приезжал в Нью-Йорк с непредсказуемыми перерывами. Он мог исчезнуть на месяцы, а иногда прилетал из Кливленда без предупреждения два раза в неделю. Бывало, сидя на полу своей комнаты, окруженная со всех сторон чертежами, таблицами и схемами, она слышала стук в дверь и, крикнув: «Я занята», слышала за дверью насмешливый голос: «В самом деле?» Она вскакивала с пола и, открыв дверь, видела Франциско; они уходили в небольшую квартирку, которую он снял в тихом районе города.

— Франциско, — сказала она однажды, внезапно удивленная своей мыслью, — я что, твоя любовница?

— Именно так оно и есть, — рассмеялся он в ответ.

Она ощутила гордость, которую полагается испытывать женщине, удостоенной титула жены.

В долгие месяцы его отсутствия она никогда не задумывалась над тем, верен ли он ей. Она знала, что он не обманывает ее. Знала, хотя и была слишком молода, чтобы понимать, что неразборчивость в желаниях, беспорядочные половые связи возможны лишь для тех, кто и секс, и самих себя считает воплощением порока.

Она очень мало знала о жизни Франциско. Шел последний год его обучения в университете. Он редко говорил об этом, и она никогда его не расспрашивала. Она подозревала, что он очень много работает, потому что временами замечала неестественное возбуждение на его лице, которое появляется, когда напрягаешься выше допустимого предела. Однажды она поддела его, похвастав, что давно работает в «Таггарт трансконтинентал», в то время как он еще не начал зарабатывать на жизнь.

— Отец запретил мне работать в своей компании, пока я не закончу учебу, — сказал он.

— С каких это пор ты стал таким послушным?

— Я должен уважать его мнение. Он хозяин «Д'Анкония коппер»... Однако не все медные компании в мире принадлежат ему. — В его улыбке пряталось лукавство.

Она узнала все лишь следующей осенью, когда Франциско, закончив университет, вернулся в Нью-Йорк после того, как съездил в Буэнос-Айрес к отцу. Он рассказал ей, что за последние четыре года прошел два курса обучения: в Университете Патрика Генри и на медеплавильном заводе на окраине Кливленда. «Мне нравится до всего доходить самому», — сказал он. В шестнадцать лет Франциско начал работать у печи на этом заводе; теперь, когда ему было двадцать, он стал его владельцем. Он получил свидетельство о праве собственности, чуть-чуть приврав насчет даты своего рождения, в тот же день, когда ему вручили университетский диплом. Оба документа он послал отцу.

Он показал фотографию своего завода. Это был маленький, невзрачный, выдавший виды заводик, о котором никто не слышал. Над воротами у входа, словно новый флаг на мачте ветхого корабля, висела вывеска: «Д'Анкония коппер».

Ответственный по связям с общественностью в нью-йоркском филиале фирмы его отца негодуя простонал:

— Но, дон Франциско, нельзя же так! Что скажут газеты? Такое имя — и над каким-то захудалым заводиком!

— Это мое имя, — ответил Франциско.

Войдя в кабинет отца в Буэнос-Айресе — большую комнату, строгую и современную,

как лаборатория, единственным украшением которой были фотографии крупнейших рудников и медеплавильных заводов, на самом почетном месте — напротив рабочего стола отца он увидел фотографию кливлендского заводика с новой вывеской над воротами.

Отец перевел взгляд с фотографии на Франциско:

— Не рановато ли ты начал?

— Я не мог целых четыре года только ходить на лекции.

— Где ты взял деньги, чтобы купить этот заводик?

— Играл на Нью-йоркской фондовой бирже.

— Кто тебя этому научил?

— Вовсе не трудно вычислить, какие предприятия будут иметь успех, а какие нет.

— А где ты брал деньги для игры на бирже?

— Из того, что ты высылал мне, и из своих заработков на заводе.

— Когда же у тебя было время наблюдать за рынком?

— Когда я писал работу о влиянии теории Аристотеля о перводвигателе на последующие философские учения.

Этой осенью Франциско пробыл в Нью-Йорке недолго. Отец послал его в Монтану помощником управляющего на рудник Д'Анкония.

— Отец считает, что было бы опрометчивым позволить мне подняться слишком быстро. Раз уж ему нужна демонстрация моих способностей, я согласен на его условия, — улыбаясь, сказал он Дэгни.

Весной Франциско вернулся и возглавил нью-йоркский филиал «Д'Анкония коппер».

Следующие два года они виделись редко. Через день после встречи она даже не знала, где он, в каком городе, на каком континенте. Он всегда приходил неожиданно, и ей это нравилось, потому что делало его присутствие в ее жизни постоянным, словно скрытый луч света, который в любую минуту мог озарить ее жизнь.

Всякий раз, видя Франциско в своем кабинете, она думала о его руках, как в тот день, когда он сидел за штурвалом катера. Он вел свое дело так же рискованно и стремительно, уверенный в себе и в своих силах. Но один незначительный случай, словно потрясение, врезался в ее память. Это было совсем не похоже на него. Однажды вечером она видела, как, стоя у окна в своем кабинете, он смотрел на темные зимние сумерки, окутавшие город. Он долго стоял не двигаясь. Его лицо было напряженным и озабоченным; на нем застыло выражение, которое она считала невозможным для Франциско, — горькое, бессильное негодование.

— В мире что-то не так. Всегда было не так. Что-то, чему нет ни определения, ни объяснения, — сказал он. Он не сказал, что имеет в виду.

Когда она увидела его вновь, от этого негодования не осталось и следа. Была весна, и они стояли вдвоем на крыше — террасе ресторана. На ней было вечернее платье из легкого шелка, развевавшееся на ветру рядом с его стройной фигурой в строгом черном костюме. Она смотрела на город. Позади них в зале играла музыка. Это был этюд из концерта Ричарда Хэйли. Имя Хэйли было известно немногим, но они вместе открыли для себя его музыку, и она им понравилась.

— Нам не нужно всматриваться в небоскребы вдаль, правда? Мы достигли их высоты, — сказал Франциско.

Она улыбнулась и ответила:

— Я думаю, мы уже миновали их... Я почти боюсь... Мы будто поднимаемся на скоростном лифте.

— Конечно. А чего ты боишься? Пусть он поднимается все выше и выше. Разве обязательно должен быть предел?

Ему было двадцать три года, когда умер его отец и он уехал в Буэнос-Айрес, чтобы взять в свои руки дела и имущество Д'Анкония, принадлежавшие теперь ему. Она не видела его целых три года.

Сначала он изредка писал ей: о своей компании, о состоянии мирового рынка и делах,

затрагивающих интересы «Таггарт трансконтинентал». Его письма были короткими, написанными от руки и, как правило, ночью.

Без него она не чувствовала себя несчастной. Она делала свои первые шаги к власти над будущим королевством. Крупные промышленники, друзья ее отца, говорили, что за молодым Д'Анкония нужен глаз да глаз, — если эта компания была могущественной и раньше, то в будущем, в связи с надеждами, которые подавал Франциско, она обещала перевернуть мир. Слыша это, Дэгни улыбалась, не испытывая ни малейшего изумления. Бывали минуты, когда она чувствовала неистовое желание видеть его, но это была не боль, а нетерпение. Она пыталась не думать об этом, уверенная, что они оба работают во имя будущего, которое даст им все, чего они хотят, в том числе и друг друга. Потом он перестал писать.

В тот весенний день, когда ей исполнилось двадцать четыре года, на ее столе в офисе «Таггарт трансконтинентал» зазвонил телефон.

— Дэгни, — сказал голос, который она сразу узнала, — я в отеле «Вэйн-Фолкленд». Давай поужинаем вдвоем сегодня вечером, в семь часов. Приходи.

Он даже не поздоровался, словно они расстались вчера. Ей потребовалось время, чтобы восстановить дыхание, — она впервые в жизни осознала, как много значит для нее этот голос.

— Хорошо, Франциско, — — ответила она. Больше им ничего не нужно было говорить друг другу. Вешая трубку, она подумала, что его возвращение вполне естественно, все было именно так, как она себе представляла, если не считать того, что ей вдруг захотелось произнести вслух его имя, — она не ожидала, что, произнеся его, почувствует счастье.

Войдя в этот вечер в его номер, она остановилась на пороге, пораженная. Он стоял посреди комнаты и смотрел на нее. Она увидела улыбку, которая медленно, словно против воли, появилась на его лице, будто он утратил способность улыбаться и был удивлен тем, что эта способность вернулась к нему. Он недоверчиво смотрел на нее, словно не веря, что это она, и не веря в свои чувства. Этот взгляд был как крик о помощи, как плач человека, не способного плакать. Когда она вошла, он начал с их обычного «привет», но осекся. Через какое-то мгновение он сказал:

— Дэгни, ты прекрасна. — Он произнес это так, словно слова причиняли ему боль.

— Франциско, я...

Он покачал головой, не позволяя ей произнести слова, которых они никогда не говорили друг другу, хотя в ту минуту оба услышали их.

Он подошел, обнял ее, поцеловал в губы и долго не выпускал из своих объятий. Взглянув ему в лицо, Дэгни увидела, что он самоуверенно и насмешливо улыбается. Эта улыбка говорила, что он полностью контролирует себя, ее — все; улыбка приказывала ей забыть то, что она увидела в первое мгновение встречи.

— Привет, Слаг, — сказал он.

Чувствуя неуверенность во всем, кроме одного — не надо ни о чем спрашивать, Дэгни улыбнулась и сказала:

— Привет, Фриско.

Она поняла бы любую перемену в нем, только не то, что видела. На его лице не осталось и искорки жизни, ни следа той радости, которую она привыкла видеть. Его лицо стало безжалостным. Мольба, которая отразилась в его первой улыбке, не была свидетельством слабости. Он выглядел как человек, преисполненный решимости, — решимости, которая казалась беспощадной. Он вел себя как человек, который старается выстоять под невыносимым бременем. Она увидела то, во что никогда бы не поверила: горечь на его лице; он выглядел так, словно что-то причиняло ему страшные мучения.

— Дэгни, не удивляйся ничему, что я делаю или буду делать, — сказал он.

Это было единственное объяснение, которое он дал ей, продолжая вести себя так, словно и объяснять-то нечего.

Она испытала лишь легкое беспокойство; было просто невозможно бояться за его

судьбу и вообще чего-нибудь бояться в его присутствии. Когда он засмеялся, ей показалось, что они снова вернулись в лес на берегу Гудзона; он не изменился, думала она, и никогда не изменится.

Ужин подали в номер. Она находила несколько забавным сидеть напротив него за столом, накрытым с ледяной официальностью и шиком, в гостиничном номере, который больше походил на европейский дворец.

«Вэйн-Фолкленд» был самым знаменитым и изысканным из оставшихся в мире отелей. Лишенный кричащей роскоши стиль; бархатные портьеры, лепнина, скульптура, свечи, казалось, противоречили его назначению: гостеприимство этого отеля могли позволить себе лишь бизнесмены, приезжавшие в Нью-Йорк по делам мирового масштаба. Она видела, что официанты, накрывавшие на стол, относятся к Франциско с исключительным почтением, что означало статус особого клиента, но он этого даже не замечал. Он относился ко всему равнодушно, словно был у себя дома. Он давно привык к тому, что он — сеньор Д'Анкония, хозяин «Д'Анкония коппер».

Но ей показалось странным, что он не заговорил о своей работе. Она ожидала, что именно этим он захочет поделиться с ней в первую очередь. Он ничего об этом не сказал. Вместо этого вынудил ее говорить о своей работе, о продвижении по службе, об отношении к своей компании. Она рассказывала, как всегда, признавая, что он единственный человек, который может понять ее страстную преданность «Таггарт трансконтинентал». Он не делал никаких замечаний, только внимательно слушал.

Официант включил музыку. Они не обратили на это внимания. Но вдруг неистовый ураган звуков заполнил комнату, и здание словно потряс подземный толчок, стены задрожали. Потрясение было вызвано не громкостью, а насыщенностью звучания. Это был новый, недавно написанный Четвертый концерт Хэйли.

Они молча слушали это олицетворение бунта — гимн триумфа, гимн величия тех, кто отказался признать боль. Франциско слушал, глядя через окно на город. Потом без всякого перехода или предисловия спросил странным невыразительным тоном:

— Дэгни, что бы ты сказала, если бы я попросил тебя бросить «Таггарт трансконтинентал» и позволить компании катиться в преисподнюю, что непременно случится, если дела примет твой братец?

— А что бы я сказала, если бы ты попросил меня совершить самоубийство? — сердито ответила она.

Он промолчал.

— Почему ты спросил об этом? Вот уж не думала, что ты способен шутить на эту тему. Это на тебя не похоже.

На его лице не было и тени юмора.

— Нет, конечно, не стал бы, — тихо и печально ответил он. Дэгни заставила себя заговорить о его работе. Он лишь отвечал на вопросы, ничего не добавляя. Она повторила ему то, что слышала о блестящих перспективах «Д'Анкония коппер» под его руководством.

— Это правда, — сказал он безжизненным тоном. Внезапно взволновавшись, не понимая, что подтолкнуло ее, она спросила:

— Франциско, зачем ты приехал в Нью-Йорк?

— Встретиться с другом, который позвал меня, — медленно ответил он.

— Бизнес?

Глядя мимо нее, словно отвечая на какие-то свои мысли, с горькой улыбкой, но странно мягким и печальным голосом он ответил:

— Да.

Когда Дэгни проснулась, было уже далеко за полночь. Город внизу не издавал ни звука. В тишине казалось, что жизнь на время замерла. Разморившись от счастья и утомления, она лениво повернулась и взглянула на Франциско. Он лежал на спине, на фоне туманного ночного неба за окном она видела его профиль. Глаза его были открыты. Он не спал. Губы у него были плотно сжаты — как у человека, который испытывает невыносимую боль,



смирился с ней и терпит, не пытаюсь скрыть свои мучения.

Она так испугалась, что не могла шелохнуться. Франциско почувствовал ее взгляд и повернулся к ней. Он внезапно вздрогнул, сорвал с нее одеяло, посмотрел на ее обнаженное тело и уткнулся лицом ей в грудь. Он обнимал ее за плечи, вздрагивая всем телом. Потом прижался губами к ее коже, и она услышала его приглушенный голос:

— Я не могу бросить это. Не могу.

— Что? — прошептала она.

— Тебя...

— А зачем?

— ...и все остальное.

— Почему ты должен это бросить?

— Дэгни, помоги мне остаться. Отказаться. Хотя он и прав.

— Отказаться от чего, Франциско? — тихо спросила она.

Он не ответил, лишь сильнее прижался к ней.

Она лежала неподвижно, осознавая только одно: необходимо быть осторожной. Его голова лежала у нее на груди, а она, глядя в потолок, нежно перебирала его волосы и, оцепенев от ужаса, ждала.

— Он прав, но это так тяжело. О Боже, как тяжело! — простонал он.

Через некоторое время он поднял голову и сел. Он перестал дрожать.

— Что случилось, Франциско?

— Я не могу тебе сказать. — Он говорил просто, открыто, не пытаюсь скрыть страдание, но это был голос владеющего собой человека. — Ты еще не готова услышать это.

— Я хочу помочь тебе.

— Ты не можешь мне помочь.

— Ты сказал: помочь тебе отказаться.

— Я не могу отказаться.

— Тогда позволь мне разделить это с тобой. Он покачал головой.

Он сидел, глядя на нее, словно раздумывая, спросить или не спросить. Потом вновь покачал головой, отвечая уже самому себе.

— Я не уверен, что сам смогу это вынести, как же справишься ты? — сказал он, и в его голосе прозвучали новые, странные нотки нежности.

Медленно, с усилием, стараясь удержать рвавшийся наружу крик, она сказала:

— Франциско, я должна знать.

— Ты простишь меня? Я знаю, ты напугана, и это жестоко. Но, пожалуйста, ради меня... оставь все, как есть... как есть... и не спрашивай меня ни о чем.

— Я...

— Это все, что ты можешь сделать для меня. Хорошо?

— Хорошо, Франциско.

— Не бойся за меня. Это только сегодня. Больше такого не случится. Это станет намного проще... со временем.

— Если бы я могла...

— Нет. Спи, дорогая.

Впервые он назвал ее этим словом.

Утром он смотрел на нее открыто, не пытаюсь избегать ее встревоженного взгляда, но не говорил о случившемся ночью. Она заметила на его лице выражение спокойствия и страдания, выражение, похожее на страдальческую улыбку, хотя он не улыбался. Как ни странно, от этого он казался моложе. Теперь он выглядел не как мученик, а как человек, который видел, ради чего стоит терпеть пытку.

Она не задавала никаких вопросов. Лишь спросила, прежде чем уйти:

— Когда я снова тебя увижу?

— Не знаю. Дэгни, не жди новой встречи. В следующий раз, когда мы встретимся, ты не захочешь меня видеть. У меня есть причина сделать то, что я собираюсь сделать, но тебе я

этой причины сказать не могу, и ты вправе меня возненавидеть. Я не хочу унижаться, прося тебя поверить мне на слово. Ты должна жить своими понятиями и своими суждениями. Ты будешь проклинать меня. Тебе будет очень больно. Постарайся не принимать это слишком близко к сердцу. Помни о том, что я тебе сказал, это все, что я мог сказать.

Целый год от него не было никаких известий, и она ничего о нем не слышала. Когда до нее дошли сплетни и она начала читать сообщения в газетах, то поначалу не верила, что это относится к Франциско Д'Анкония. Вскоре ей пришлось в это поверить.

Она прочитала в газете о приеме, который он устроил на своей яхте в гавани Вальпараисо. Гости были в купальных костюмах, и всю ночь на палубу падал искусственный дождь из шампанского и лепестков роз.

В другой статье рассказывалось о вечеринке, которую он устроил в алжирской пустыне. Он построил огромный павильон из тонкого льда и каждой из приглашенных дам подарил манто из горностая, при условии, что это манто, а затем вечернее платье и все остальное будет снято по мере того, как будут таять ледяные стены.

Она читала отчеты о деловых проектах, которые он предпринимал через длительные промежутки времени. Они были необыкновенно успешны и разоряли его конкурентов. Но делами он занимался редко, это для него было словно мимолетное спортивное увлечение. Он совершал неожиданный налет, а затем год или два о нем ничего не было слышно. Он исчезал, оставляя «Д'Анкония коппер» на попечение управляющих.

Она читала интервью, в которых он говорил:

«К чему мне стремиться делать деньги? У меня их столько, что три поколения моих потомков смогут так же наслаждаться жизнью, как и я».

Однажды она встретила его на дипломатическом приеме в Нью-Йорке. Он вежливо поклонился, улыбнулся и посмотрел на нее так, словно между ними ничего не было. Она отвела его в сторону и спросила:

— Франциско, почему?..

— Почему что? — спросил он. Она отвернулась.

— Я же тебя предупреждал, — сказал он. Больше она не пыталась искать с ним встреч.

Она пережила это. Смогла пережить, потому что не верила в страдание. Она признала — с удивлением и негодованием, — что ей действительно больно, но не допустила, чтобы это как-то повлияло на нее. Страдание было для нее бессмысленным стечением обстоятельств, оно никогда не было частью ее жизни. Дэгни не позволила боли овладеть ею. Она не могла сказать, какие силы нашла в себе и откуда они взялись, но в ее сознании отложились несколько слов, которые были равнозначны сопротивлению: это не имеет значения, это нельзя воспринимать всерьез. Она всегда помнила эти слова, даже когда в душе не оставалось ничего, кроме крика, словно ей хотелось обезуметь, чтобы разум не мог сказать ей, что правдой было невозможное. Не воспринимать всерьез — твердила непоколебимая уверенность в ее душе, боль и уродство нельзя воспринимать всерьез.

Она поборола боль. Оправилась от потрясения. Годы помогли ей дожить до того дня, когда она смогла спокойно вспоминать прошлое, а затем и до дня, когда она перестала думать о прошлом. С этим покончено. Это больше не имело никакого значения.

В ее жизни не было других мужчин. Дэгни не знала, была ли она несчастлива из-за этого. Она обрела чистый, ясный смысл жизни в работе — именно к такой жизни она всегда стремилась, именно так всегда хотела жить. Однажды Франциско подарил ей чувство, которое принадлежало одному миру с ее работой. Все мужчины, которых ей довелось встретить после этого, были похожи на тех, кого она видела на своем первом балу.

Она победила свои воспоминания, но ее все время мучил один вопрос, единственное слово — «почему?», и исцелить от этого ее не смогло даже время.

С какой бы трагедией Франциско ни столкнулся, почему он избрал самый отвратительный выход, низкий и постыдный, как тот, который находит для себя какой-нибудь бесхребетный алкоголик? Тот Франциско, которого она знала, не мог стать низким трусом. Незаурядный ум не мог обратить свою гениальность на создание банкетных залов с

тающими стенами. И тем не менее это произошло, и не было никакого разумного объяснения, которое помогло бы ей понять причину случившегося и спокойно забыть Франциско. Она не могла сомневаться в том, кем он был; она не могла сомневаться в том, кем он стал. Но это были взаимоисключающие вещи. Иногда Дэгни даже сомневалась, что мыслит здраво, сомневалась, что вообще существует такое понятие, как здравомыслие. Но она не позволила сомнениям взять верх над своим разумом. И все же не видела никакого объяснения, никакой нити, которая привела бы к причине его поведения. За все десять лет она не обнаружила и намека на разгадку.

Нет, думала она, идя по окутанному сумерками городу, мимо пустых витрин разорившихся магазинов, к отелю «Вэйн-Фолкленд», на этот вопрос нет ответа. Она не будет искать его. Теперь это уже не имеет значения.

Остаток негодования, чувство, мелкой дрожью нараставшее в ее душе, не относилось к тому человеку, с которым она должна была встретиться, — это был крик протеста против святотатства, против гибели бывшего величия.

В просвете между домами она увидела башни отеля. Дэгни почувствовала легкую дрожь в ногах, у нее перехватило дыхание, и на мгновение она остановилась. Затем спокойно двинулась дальше.

К тому времени как она прошла через мраморный холл к лифту и вышла в тихие, широкие, щедро покрытые бархатными коврами коридоры отеля, Дэгни не чувствовала ничего, кроме злости, которая с каждым шагом становилась все холоднее и холоднее.

Дэгни была уверена, что чувствует злость, когда постучала в дверь номера. Она услышала, как он ответил «войдите», толкнула дверь и вошла.

Франциско Доминго Карлос Андреас Себастьян Д'Анкония сидел на полу и играл в шарики.

Люди обычно не задумывались, красив ли Франциско Д'Анкония, — это казалось совершенно излишним. Когда он входил в комнату, смотреть на кого-то другого было просто невозможно. Он был высок, необыкновенно строен и двигался так, словно у него за плечами развевался рыцарский плащ. Говорили, что во Франциско Д'Анкония бурлит энергия великолепного здорового животного, но, говоря так, люди смутно осознавали, что ошибаются: в нем кипела энергия здорового человека — явление настолько редкое, что никто не мог его определить.

Никто не отзывался о его внешности как о романской, но именно это слово больше всего подходило к нему — не в современном, а в изначальном значении, когда оно относилось не к Испании, а к Древнему Риму. Его фигура была гибка и худощава, тело — упруго. У него были длинные ноги, его движения отличались плавностью и стремительностью. Фигура и лицо поражали изумительной четкостью и правильностью линий, которые можно увидеть лишь в скульптуре. У него были прямые черные волосы, которые он отбрасывал со лба назад. Загар лишь подчеркивал изумительный контраст черных волос и чисто-голубого цвета глаз. У него было открытое лицо, живая мимика которого отражала все, что он чувствовал, словно ему нечего скрывать. Выражение его глаз всегда оставалось спокойным; глядя в них, невозможно было догадаться, о чем он думает.

Он сидел на полу в гостиной, в пижаме из тонкого черного шелка. Шарики, лежавшие на полу вокруг него, были выточены из полудрагоценных камней, встречающихся в Аргентине: сердолика и горного хрусталя. Когда Дэгни вошла, он не встал. Он сидел, глядя на нее; хрустальный Шарик, словно слезинка, скатился с его ладони. Он улыбнулся неизменной дерзкой ослепительной улыбкой, как в детстве:

— Привет, Слаг!

Она услышала свой голос, покорно, беспомощно, радостно отозвавшийся:

— Привет, Фриско.

Она смотрела на его лицо — это было лицо, которое она знала. На нем не было ни следа той жизни, которую он вел, ни напоминания о том, что произошло в их последнюю ночь. Никаких признаков пережитой трагедии — ни горечи, ни напряжения, лишь

подчеркнутое и окрепшее с годами ироническое выражение, опасная, непостижимая веселость и безмятежное душевное спокойствие, лишенное чувства вины. Но это, думала она, невозможно. Это еще ужаснее, чем все остальное.

Он внимательно рассматривал ее: на ней было наброшенное на плечи поношенное пальто и серый костюм, похожий на служебную форму.

— Если ты специально так оделась, чтобы я не заметил, как ты хороша, то ты просчиталась. Ты прекрасна. Жаль, что я не могу тебе сказать, какое это облегчение — увидеть умное и при этом женское лицо. Но у тебя нет никакого желания выслушивать это. Ты ведь не для этого пришла, — сказал он.

Его слова были совершенно неуместны во многих отношениях, но его непринужденность вернула ее к реальности, к той злости, которую она чувствовала, и к цели ее визита. Она стояла и смотрела на него, ее лицо не выражало никаких чувств, ничего личного.

— Я пришла задать тебе один вопрос, — сказала она.

— Спрашивай.

— Ты сказал репортерам, что прилетел в Нью-Йорк, чтобы стать свидетелем фарса. О каком фарсе ты говорил?

Он громко рассмеялся, как человек, которому редко выпадает возможность повеселиться над тем, чего он совершенно не ожидал.

— Знаешь, Дэгни, это мне больше всего в тебе нравится. В Нью-Йорке живет семь миллионов человек. Из этих семи миллионов ты — единственная, кому пришлось в голову, я говорил не о скандальном разводе Вейлов.

— Тогда о чем?

— А как ты думаешь?

— О сан-себастьянском крахе.

— Это куда забавнее развода Вейлов, правда?

— Ты сделал это осознанно, хладнокровно и намеренно, — сказала она жестким, безжалостным, обвиняющим тоном.

— Тебе не кажется, что будет лучше, если ты снимешь пальто и сядешь?

Дэгни поняла, что допустила ошибку, дав ему понять, насколько это ее задело. Она холодно повернулась, сняла пальто и отбросила его в сторону. Он не поднялся помочь ей.

Она села в кресло. Он по-прежнему сидел на полу на расстоянии от нее, но ей казалось, что он сидит у ее ног.

— Так что я сделал намеренно?

— Вся эта афера с рудниками Сан-Себастьян. — И каковы были мои истинные намерения?

— Именно это я и хочу знать.

Он рассмеялся, словно она просила объяснить в нескольких словах сложную науку, изучить которую можно, лишь посвятив ей всю жизнь.

— Ты знал, что эти рудники гроша ломаного не стоят. Знал еще до того, как начал это мерзкое дело.

— Тогда почему я начал его?

— Только не надо говорить, что ты с этого ничего не получил. Я и так знаю. Я знаю, что ты потерял на этой аванюре пятнадцать миллионов долларов. И тем не менее ты сделал это намеренно.

— Ты видишь какие-нибудь мотивы, которые толкнули меня на это?

— Нет. Это просто непостижимо.

— Неужели? Ты полагаешь, что у меня гениальный ум, выдающиеся знания и незаурядные организаторские способности; все, за что я берусь, непременно приносит успех. И при этом заявляешь, что у меня не было никакого желания сделать все, что в моих силах, на благо Народной Республики Мексика. Непостижимо, правда?

— Еще до того, как купил эту землю, ты знал, что Мексика находится в руках

правительства бандитов. Ты не обязан был начинать для них разработку этих рудников.

— Не обязан.

— В любом случае тебе наплевать на мексиканское правительство, потому что...

— Вот здесь ты не права.

— ...ты знал, что рано или поздно они отберут у тебя рудники. Акционеры в Америке — вот что тебя интересовало. Ты хотел разорить их.

— Это правда. — Франциско смотрел ей прямо в глаза. Он не улыбался, его лицо было серьезным. — Часть правды, — добавил он.

— В чем же заключается остальная часть правды?

— Я добивался не только этого.

— Чего же еще?

— Угадай.

— Я пришла сказать тебе, что начинаю понимать, какова твоя цель.

Он улыбнулся:

— Если бы ты знала, то не пришла бы сюда.

— Ты прав. Я ее не понимаю и, возможно, никогда не пойму. Я всего лишь начинаю догадываться кое о чем.

— О чем?

Ты исчерпал все мыслимые формы порочности и стремился к новым острым ощущениям путем надувательства таких людей, как Джим и его дружки. Тебе хотелось посмотреть, как они будут корчиться и извиваться. Не знаю, до какой степени испорченности надо дойти, чтобы наслаждаться подобным зрелищем, но именно ради этого ты и приехал в Нью-Йорк.

— Надо признать, покорчились они изрядно. В частности твой братец Джеймс.

— Они безмозглые глупцы, но в данном случае единственное их преступление заключается в том, что они поверили тебе. Поверили твоему имени и твоей чести.

Дэгни увидела, что его лицо вновь стало серьезным; она знала, что он был искренен, когда сказал:

— Да. Они поверили. Я знаю.

— И находишь это смешным.

— Нет, я не нахожу это смешным.

Рассеянно и равнодушно он продолжал играть шариками, время от времени бросая их. Она вдруг заметила, что он ни разу не промахнулся. Он бросал мастерски. Взмах кисти — и шарик катится по ковру, неизменно ударяясь в конце о другой. Ей вспомнилось детство и ее уверенность, что все, за что он возьмется, будет сделано как нельзя лучше.

— Нет, — повторил он, — я не нахожу это смешным. Твой брат и его друзья ничего не смыслят в горнодобывающей промышленности. И ничего не знают о том, как делать деньги. Считают, что вовсе необязательно этому учиться. Считают, что знания излишни, а понимание не обязательно. Они знают, что в мире есть я и что я сделал для себя честью знать все. Они думали, что могут довериться моей чести. Ведь человек никогда не обманывает подобного рода доверие, правда?

— Так значит, ты намеренно обманул их доверие?

— Это уж тебе решать. Ты заговорила об их доверии и моей чести. Я подобного рода понятиями больше не мыслю... — Он пожал плечами и добавил: — Да мне наплевать на твоего братца и его друзей. Их теория стара как мир. К ней прибегали на протяжении столетий. Но она не стопроцентна. Здесь есть одна сторона, которой они не учили. Они считали, что вполне безопасно наживаться за счет моего ума, полагая, что моей единственной целью является богатство. Все их расчеты строились на том, что я хотел делать деньги. А что, если я этого не хотел?

— Тогда чего же ты хотел?

— Они никогда меня не спрашивали. Не вникать в мои Цели, мотивы, желания является основной частью их теории.

— Но если ты не хотел делать деньги, чего же ты хотел?  
— Да чего угодно. Например, тратить.  
— Тратить деньги на предприятие, которое обречено на провал?  
— А откуда я мог знать, что эти рудники обречены на провал?  
— А как ты мог этого не знать?  
— Да очень просто. Не думал о них.  
— Ты начал проект, не думая о том, что делаешь?  
— Нет, не совсем так. Но предположим, я оступился? Ведь я только человек. Я совершил ошибку. Потерпел неудачу.

Он взмахнул кистью руки — хрустальный шарик, сверкая, покатился по полу и с силой ударил по коричневому шарiku в другом конце комнаты.

— Я не верю, — сказала она.  
— Не веришь? Но разве я не имею права быть тем, что теперь именуется человеком? Почему я должен платить за чьи-то ошибки и не могу позволить себе совершить хотя бы одну?

— Это на тебя не похоже.  
— Не похоже? — Он лениво растянулся во весь рост на полу и расслабился. — Ты хотела дать мне понять, что раз уж я сделал это намеренно, то ты делаешь мне честь, признавая, что у меня все же есть какая-то цель? Ты все еще не можешь поверить, что я обычный лоботряс?

Она закрыла глаза и услышала его смех. Это был очень веселый смех. Она поспешно открыла глаза, но на его лице не было и капли жестокости. Он просто смеялся.

— Мотив моего поступка, Дэгни? А ты не думала, что это, может быть, самая простая вещь на свете — минутная прихоть?

Нет, думала она, это неправда, неправда, раз он так смеется, раз у него такое лицо. Безответственные тупицы, думала она, не способны так безмятежно радоваться; никчемный, лишенный цели в жизни человек не может обладать таким непоколебимым спокойствием духа, научиться так смеяться можно только в результате самых глубоких размышлений.

Глядя на его тело, растянувшееся на ковре у ее ног, она бесстрастно отметила, какие воспоминания это у нее вызвало: черная пижама подчеркивала его стройность, под распахнутым воротником виднелась молодая, гладкая, загорелая кожа, и ей вспомнился юноша в легких черных брюках и рубашке, который когда-то на рассвете лежал, растянувшись рядом с ней на траве. Тогда ее обуревала гордость от того, что это тело принадлежало ей; она все еще чувствовала его. Она вдруг вспомнила, как много раз они были близки; теперь это воспоминание должно было быть оскорбительным для нее. Но она не чувствовала ничего подобного. Она ощущала по-прежнему гордость, гордость без сожаления или надежды — чувство уже не было настолько сильным, чтобы расшевелить ее, но и подавить его она не могла.

Необъяснимо, по какой-то сильно удивившей ее эмоциональной ассоциации, она вспомнила о том, что совсем недавно передало ей такое же ощущение чистой радости, какое исходило сейчас от него.

— Франциско, — мягко сказала она, — мы оба любили музыку Ричарда Хэйли...  
— Я и сейчас ее люблю.  
— Ты когда-нибудь встречался с ним?  
— Да. А что?  
— Ты случайно не знаешь, не написал ли он Пятый концерт?

Он замер. Она думала, что он невосприимчив к каким бы то ни было потрясениям. Но он был потрясен. Она даже не пыталась понять, почему из всего сказанного ею только это действительно задело его. Его замешательство длилось лишь мгновение, затем он спокойно спросил:

— А почему ты думаешь, что он его написал?  
— Так написал или нет?

— Ты знаешь, что у него только четыре концерта.

— Да. Мне просто интересно, не написал ли он еще один.

— Он перестал писать.

— Я знаю.

— Тогда почему ты спросила?

— Так, вдруг пришло в голову. А что он сейчас делает? Где он?

— Не знаю. Я давно его не видел. Так почему ты вдруг решила, что он написал Пятый концерт?

— Я не сказала, что он его написал. Я просто спросила тебя об этом.

— Почему ты вспомнила о Хэйли?

— Потому что... — Она почувствовала, что ее самообладание несколько пошатнулось. — Потому что я не могу постичь разумом такой резкий скачок: от музыки Хэйли до... миссис Джилберт Вейл.

Он с облегчением рассмеялся:

— А, это... Между прочим, если ты читала, что обо мне писали газеты, то, наверное, заметила одно забавное несоответствие в интервью миссис Вейл.

— В газетах я на такие вещи не обращаю внимания.

— А следовало бы. Она предоставила газетчикам такое яркое описание того дня накануне Нового года, что мы провели вместе на моей вилле в Андах. Лунный свет над горными вершинами, красные, как кровь, цветы, свисающие с виноградной лозы у открытых окон. Замечаешь, что не так в этой картинке?

— Я могла бы спросить об этом тебя, но не собираюсь этого делать, — сказала она тихо.

— О... В принципе все правильно, за исключением того, что в канун Нового года я был в Эль-Пасо, на открытии линии Сан-Себастьян. Тебе следовало бы помнить об этом, хотя ты и не сочла нужным присутствовать на церемонии. У меня есть фотография, где я стою, обнявшись с твоим братом и сеньором Ореном Бойлом.

У нее перехватило дыхание. Она вспомнила, что это действительно было так, и вспомнила то, что прочитала в интервью миссис Вейл.

— Франциско, что... что это значит? Он рассмеялся:

— Делай выводы, Дэгни. — Его лицо вдруг стало серьезным. — Почему ты решила, что Хэйли написал Пятый концерт? Не симфонию, не оперу, а именно концерт?

— Почему это тебя волнует?

— Это меня вовсе не волнует. — И мягко добавил: — Мне по-прежнему нравится его музыка, Дэгни. — Затем он снова заговорил непринужденно: — Но она из прошлой жизни. В наши дни развлечения носят несколько иной характер. — Он перевернулся на спину и лежал, заложив руки за голову. Он лежал, глядя в потолок, словно там разворачивались сцены экранизированного фарса. — Дэгни, разве тебя не позабавило поведение мексиканского правительства в связи с рудниками Сан-Себастьян? Ты читала передовицы и правительственные заявления в их газетах? Они называют меня грязным, беспринципным мошенником, который бессовестно обманул их. Они надеялись прибрать к рукам процветающий концерн. Я не имел права так разочаровывать их. Ты читала о том паршивом бюрокрашке, который хотел, чтобы на меня подали в суд?

Он рассмеялся, лежа на спине. Его руки были широко раскинуты, образуя крест. Он казался совершенно беззащитным, раскрепощенным и молодым.

— Во что бы ни обошелся этот фарс, он того стоил. Цена представления оказалась мне по карману. Если бы я поставил его сознательно, то побил бы рекорд императора Нерона. Он всего лишь сжег Рим; а я сорвал крышку с люка, ведущего в ад, и показал, каково там.

Он встал, подобрал несколько шариков и снова сел, рассеянно подбрасывая их на ладони. Они звенели мягким, чистым звуком — так звенит драгоценный камень. Она вдруг поняла, что игра в шарики — это отнюдь не поза. В ней проявлялась его неутомимость; он просто не мог долго пребывать в бездействии.

— Правительство Мексики выпустило прокламацию, призывая народ проявить терпение и смириться еще на некоторое время с трудностями. Похоже, их Госплан имел серьезные виды на медь Сан-Себастьян. Это должно было поднять уровень жизни населения и обеспечить кусок жареной свинины по воскресеньям каждому жителю Мексики — мужчинам, женщинам, детям и жертвам аборта. Теперь эти плановики взывают к народу с просьбой винить не правительство, а порочного богача, потому что я оказался не алчным капиталистом, каким мне пристало быть, а безответственным плебеем. Откуда мы знали, спрашивают они, что он нас так подведет? Что ж, очень даже верно. Откуда они могли это знать? — Она заметила, как он перебирает пальцами шарики. Он делал это бессознательно, мрачно глядя в пространство, но она не сомневалась, что это действие приносит ему облегчение. Пальцы его двигались медленно, с чувственным удовольствием ощупывая фактуру камня. Она не усмотрела в этом ничего вульгарного. Напротив, здесь было нечто необъяснимо притягательное — как будто чувственность вовсе не имела физической природы, а происходила из некой духовной проницательности. — Но это далеко не все. Им еще многое предстоит узнать. Например, строительство жилья для рабочих рудников. Оно обошлось в восемь миллионов долларов. Дома из стальных конструкций, с водопроводом, электричеством и кондиционерами. А также школа, церковь, больница и кинотеатр. Все это построено для людей, которые ютились в жалких лачугах. В награду за это мне планировалось дать возможность унести ноги целым и невредимым — особая уступка за то, что я по несчастному стечению обстоятельств не являюсь уроженцем Мексики. Этот рабочий поселок тоже входил в их планы как блистательный образец прогрессивного государственного жилищного строительства. Так вот, эти дома — просто картонные коробки! Они не простоят и года. Трубы для водопровода, как и большая часть оборудования для рудников, куплены у дельцов, главным источником снабжения которых являются городские свалки Буэнос-Айреса и Рио-де-Жанейро. Водопроводу я дам месяцев пять, а электропроводке — с полгода. Прекрасные дороги, которые мы там построили, протянут не больше чем пару зим: они из дешевого цемента и уложены наголо, без фундамента, а ограждения на опасных поворотах сделаны из крашеных досок. Один хороший оползень — и все. Церковь будет стоять. Ее построили на совесть. Она пригодится.

— Франциско, — прошептала Дэгни, — ты что, специально так сделал?

Он поднял голову; Дэгни удивилась, заметив на его лице бесконечную усталость.

— Специально, по небрежности или по глупости — не имеет никакого значения, неужели ты не понимаешь? В любом случае недостает одного и то же.

Дэгни дрожала. Несмотря на все свое самообладание, она закричала:

— Франциско! Если ты видишь, что творится в мире, понимаешь все, о чем говорил, ты не можешь смеяться! Ты, именно ты должен бороться с ними.

— С кем?

— С бандитами и с теми, кто позволяет рвать мир на части. С мексиканским Госпланом и им подобными.

Его улыбка стала опасной.

— Нет, дорогая. Это с тобой я должен бороться. Она посмотрела на него, ничего не понимая:

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что на строительство жилья для рабочих пошло восемь миллионов. На деньги, ушедшие на эти картонные домики, можно было бы построить добротное жилье. Так же я заплатил и за остальное. Деньги ушли к людям, которые богатеют подобным способом. Но такие люди долго богатыми не останутся. Деньги утекут не к тем, кто лучше всех производит, а к самым продажным. По меркам нашего времени побеждает именно тот, кто меньше всего создает. Эти деньги пойдут прахом на проекты вроде рудников Сан-Себастьян.

— Так вот чего ты добиваешься, — сказала она с усилием.

— Да.



— Ты находишь это забавным? — Да.

— Я думаю о твоём имени, — сказала она, в то время как её разум кричал, что упреки бесполезны. — В роду Д'Анкония сложилась традиция, что каждый должен оставить после себя большее состояние, чем унаследовал.

— О да, мои предки обладали незаурядной способностью вовремя предпринимать верные действия, а также правильно и своевременно делать капиталовложения... Конечно, капиталовложения — понятие довольно относительное. Все зависит от того, чего ты хочешь добиться. Возьмем, например, рудники Сан-Себастьян. Они обошлись мне в пятнадцать миллионов долларов, но в сорок миллионов — «Таггарт трансконтинентал», в тридцать пять миллионов — таким акционерам, как Джеймс Таггарт и Орен Бойл, и в сотни миллионов косвенных потерь. Не такая уж плохая отдача на вложенный капитал, правда, Дэгни? Она сидела, выпрямившись в кресле.

— Ты хоть понимаешь, что говоришь?

— О, в полной мере. Мне опередить тебя и перечислить тебе последствия этого фарса, которыми ты собиралась меня упрекнуть? Во-первых, я не думаю, что «Таггарт трансконтинентал» сможет возместить потери от этой идиотской линии Сан-Себастьян. Ты думаешь, что вы выкарабкаетесь, но это не так. Во-вторых, Сан-Себастьян помог твоему братцу уничтожить «Финикс — Дуранго», которая была, пожалуй, последней хорошей железной дорогой.

— Ты все это понимаешь?

— Не только это. Я понимаю куда больше.

Она не знала, почему сказала это, просто вспомнила вдруг лицо с неукротимыми темными глазами, которые, казалось, сейчас смотрели на нее.

— Ты... ты знаешь Эллиса Вайета?

— Конечно.

— Ты понимаешь, что это для него значит?

— Конечно. Теперь его очередь.

— Ты что, находишь это... забавным?

— Куда более забавным, чем крах мексиканского правительства.

Она встала. Долгие годы она считала его порочным. Боялась этого. Думала об этом, пыталась забыть и больше никогда к этому не возвращаться, но даже не подозревала, что его порочность зашла так далеко.

Дэгни смотрела мимо него; она не сознавала, что произнесла вслух слова, сказанные когда-то им:

— Кто окажет большую честь великим предкам: ты — Нэту Таггарту или я — Себастьяну Д'Анкония...

— Неужели ты не поняла, что я назвал эти рудники в честь моего великого предка? Такую дань его памяти он несомненно одобрил бы.

Дэгни словно на время ослепла. Она никогда не задумывалась, что означает слово «кошунство» и что чувствует человек, столкнувшись с этим, — теперь она знала, что это такое.

Он встал и учтиво стоял рядом, с улыбкой глядя на нее сверху вниз. Это была холодная, безликая, не выдававшая чувств улыбка.

Она вся дрожала, но это не имело значения. Ей было безразлично, что он видел, что понял и над чем смеялся.

— Я пришла, потому что хотела знать причину того, что ты сделал со своей жизнью, — сказала она без злости в голосе.

— Я назвал тебе причину, — сказал он бесстрастно, — но ты не хочешь в нее поверить.

— Я все время видела тебя таким, каким ты был. Не могла забыть. И то, каким ты стал, не укладывается в рамки разумного и постижимого.

— Не укладывается? А мир, который ты видишь вокруг себя, укладывается?

— Ты был человеком, которого никакой мир не мог сломить.

— Да, это правда.  
— Тогда — почему? Он пожал плечами:  
— Кто такой Джон Галт?  
— Только не говори языком подворотни.

Он посмотрел на нее. На его губах застыла тень улыбки, но голубые глаза были спокойны, серьезны и в это мгновение до неприятного пронизательны.

Он ответил так же, как десять лет назад, в их последнюю ночь в этой же гостинице:  
— Ты еще не готова услышать это.

Он не проводил ее к выходу. Она положила руку на ручку двери, обернулась и остановилась. Он стоял посреди комнаты и смотрел на нее. Это был взгляд, обращенный ко всему ее естеству; она знала его значение и застыла на месте.

— Я по-прежнему хочу спать с тобой, — сказал он, — но для этого я недостаточно счастлив.

— Недостаточно счастлив... — повторила она в полном замешательстве.

Он рассмеялся:

— Ну разве нормально, что это первое, что ты ответила? Он ждал, но она молчала.  
— Ты ведь тоже этого хочешь, правда?

Она чуть не ответила «нет», но поняла, что правда еще хуже.

— Да, хочу, — холодно сказала она, — но то, что я хочу этого, не имеет для меня никакого значения.

Он улыбнулся в знак признательности, давая понять, что знает, чего ей стоило сказать это.

Но когда она открыла дверь, собираясь уйти, он без улыбки сказал:

— В тебе очень много смелости, Дэгни. Когда-нибудь тебе это надоест.

— Что надоест? Смелость?

Но он не ответил.

## **Глава 6**

### **Некоммерческое**

Стараясь ни о чем не думать, Реардэн прижался лбом к зеркалу.

Иначе у меня не хватит сил продолжать, сказал он себе. Он сосредоточился на прохладном прикосновении зеркальной поверхности и размышлял, что же делать, чтобы отрешиться от всего и ни о чем не думать, особенно если вся жизнь прожита в соответствии с аксиомой, что постоянное, четко-безжалостное функционирование разума есть первостепенная обязанность. Он спрашивал себя, почему ему всегда казалось, что в мире нет ничего, с чем бы он не справился, и все-таки не мог собраться с духом, чтобы прикрепить несколько запонок из черного жемчуга к своей накрахмаленной манишке.

Была годовщина его свадьбы, и все последние три месяца он знал, что прием состоится именно сегодня, как того хотела Лилиан. Он обещал ей присутствовать на торжестве, чувствуя себя спокойным при мысли, что от этого дня его отделяют три долгих месяца и что, когда придет время, он воспримет это как должное и отнесется к этому как к многочисленным обязанностям своего перегруженного рабочего дня. Затем, работая по восемнадцать часов в сутки, он благополучно забыл об этом, пока полчаса назад, поздно вечером, к нему не зашла секретарь и не сказала: «Мистер Реардэн, ваш прием». — «О Боже!» — вскричал он, сорвавшись с места. Он бросился домой, взбежал вверх по ступенькам, скинул одежду и начал переодеваться, осознавая лишь, что нужно спешить, но не осознавая почему. Когда Реардэн вдруг понял, зачем он это делает, он остановился.

«Тебя ничего не интересует, кроме бизнеса» — он слышал это всю свою жизнь, словно обвинительный приговор. Он всегда знал, что бизнес считают своего рода тайным и постыдным культом, которому невинный обыватель предаваться не станет, что люди относятся к бизнесу как к гадкой необходимости, от которой никуда не денешься, но

упоминать о которой не следует, что разговор о делах считается оскорблением более высоких чувств, — человек смывает с рук машинное масло, прежде чем войти в дом, и так же он должен, входя в гостиную, выбросить из головы мысли о делах. Он никогда не придерживался таких взглядов, но не находил ничего неестественного в том, что его семья разделяет их. Реердэн считал само собой разумеющимся — как бывает с чувством, которое впитываешь в детстве и с которым живешь, не подвергая его сомнениям и не подбирая ему названия, — что, словно мученик какого-то тайного религиозного культа, посвятил себя служению вере, ставшей его страстью, но сделавшей его изгоем среди людей, от которых он не мог ожидать сочувствия.

Он понимал, что должен посвятить жене часть своей жизни, в которой не должно быть места бизнесу, но так и не нашел в себе сил сделать это или хотя бы почувствовать себя виноватым. Он не мог ни изменить себя, ни обвинять ее, когда она осуждала его.

Месяцами он не уделял Лилиан ни минуты, — нет, подумал он, годами, все восемь лет их совместной жизни. Ему были абсолютно безразличны ее интересы, он даже не знал, в чем они заключались. У нее был широкий круг друзей, и он слышал, что их имена составляют гордость национальной культуры, но у него никогда не было времени познакомиться с ними или, по крайней мере, дать себе труд узнать, какими именно достижениями они стяжали себе славу. Он знал лишь, что часто видел их имена на обложках журналов в газетных киосках. Если Лилиан возмущает такое его отношение, думал он, — она права. Если ее отношение к нему предосудительно — он заслужил это. Если семья называет его бессердечным — это правда.

Он никогда не жалел себя. Когда на заводе возникали какие-нибудь проблемы, его первой заботой было установить, какую он допустил ошибку, — он не искал виновного, он обвинял себя; от себя он требовал совершенства. И сейчас он тоже не искал себе оправдания; он признал свою вину. Но на заводе это подталкивало его к немедленному действию, чтобы исправить промах, а сейчас это не срабатывало... Еще хоть несколько минут, думал он, с закрытыми глазами стоя у зеркала.

Он никак не мог прервать поток слов, возникающих в его сознании, — все равно что пытаться голыми руками заткнуть фонтан, бьющий из сломанной колонки. Жгучие струи полуслов-полуобразов обстреливали его мозг. Сколько часов, думал он, придется провести, глядя в лица гостей и видя, как взгляды тяжелеют от трезвой скуки или мутнеют и глупеют от выпитого, притворяться, что не замечаешь ни того, ни другого, мучительно придумывать, что бы сказать, тогда как ему не о чем с ними говорить, в то время как эти часы нужны ему, чтобы срочно решить важный вопрос, — необходимо найти замену начальнику прокатного цеха, который внезапно, без всяких объяснений уволился, он должен сделать это немедленно — таких работников, как бывший начальник, найти крайне сложно; а если цех прекратит выпуск проката... Из него делали рельсы для «Таггарт трансконтинентал»... Он вспомнил молчаливый упрек, осуждение и накопившееся презрение, которые видел в глазах родных всегда, когда им удавалось найти хоть какое-то свидетельство его страстной привязанности к своему делу, и тщетность своего молчания, своей надежды, что они не догадаются, насколько дорога ему его работа, — он вел себя как закоренелый пьяница, напускающий на себя притворное безразличие к выпивке в кругу людей, которые, прекрасно зная о его постыдной слабости, смотрят на него с презрительной усмешкой. «Я слышала, вчера ты пришел домой в два часа ночи. Где ты был?» — спрашивала за ужином мать. «Где еще, конечно же, на заводе», — отвечала Лилиан таким тоном, каким другие жены говорят: «В кабаке, где же еще...»

Или Лилиан с хитровой усмешкой спрашивала его: «Что ты делал вчера в Нью-Йорке?» — «Был с друзьями в ресторане». — «Дела?» — «Да». — «Я так и знала». И Лилиан отворачивалась, не говоря больше ни слова, а у него не оставалось ничего, кроме стыда, — он поймал себя на мысли, что ему очень хочется, чтобы Лилиан подумала, будто он летал в Нью-Йорк на холостяцкую пирушку. Во время шторма на озере Мичиган затонул сухогруз, тысячи тонн руды, предназначавшейся для «Реердэн стил», пошли ко дну. Эти суда давно

дышат на ладан, и если он не возьмет на себя проблемы, связанные с ремонтом, владельцы единственной еще не разорившейся в районе озера Мичиган транспортной компании обанкротятся... «Этот уголок? — спросила после перестановки в гостиной Лилиан, указывая на диваны и кофейные столики. — Нет, Генри, что ты, они не новые, но наверное, я должна чувствовать себя польщенной: не прошло и трех недель, а ты уже заметил. Это мой вариант утренней приемной, вроде той, что в Лувре, но подобные вещи тебя вряд ли интересуют. Это ведь не цены на фондовом рынке...» Заказ на медь, который он разместил полгода назад, до сих пор не выполнен. Дата поставки переносилась уже три раза: «Мы ничего не можем поделаться, мистер Реардэн»; пришлось налаживать связи с другой компанией. Поставки меди с каждым днем становились все более и более ненадежными... Филипп не улыбнулся, когда, разговаривая с одним из друзей матери об организации, в которую он вступил, поднял глаза и взглянул на Реардэна, но на его оплывшем лице появилось выражение, похожее на улыбку превосходства, когда он сказал: «Нет, Генри, тебя это не касается. Это не имеет отношения к бизнесу, никакого. Это совершенно некоммерческое предприятие...»

Его подрядчик в Детройте, который занимался реконструкцией большой фабрики, рассматривал возможность использования конструкций из металла Реардэна; нужно слетать в Детройт и переговорить с ним лично — он должен был сделать это еще неделю назад, он мог бы сделать это сегодня вечером... «Ты меня не слушаешь, — сказала мать, рассказывая ему за завтраком сон, который она видела ночью, в то время как все его мысли были заняты ценами на уголь. — Ты никогда в жизни никого не слушал. Тебя никто и ничто не интересует, кроме тебя самого. Тебе наплевать на всех и на каждого»... Отпечатанные страницы, лежавшие на столе в его кабинете, содержали результаты испытаний авиационного двигателя, сделанного из металла Реардэна. Пожалуй, сейчас больше всего на свете ему хотелось прочесть этот доклад — текст пролежал на его столе три дня, а он даже не притронулся к нему, у него не было времени; почему бы ему не прочитать его сейчас и...

Открыв глаза, он отошел от зеркала и яростно тряхнул головой.

Он хотел взять жемчужные запонки, но его рука потянулась к стопке деловых писем, лежавших на туалетном столике. Письма были отобраны как срочные, и прочесть их нужно было сегодня же, но он не успел сделать это в кабинете. Секретарь сунула их ему в карман, когда он уходил. Дома, раздеваясь, он бросил их на туалетный столик.

Из стопки на пол выпала газетная вырезка. Это была передовица, которую мисс Айвз пометила, сердито перечеркнув красным карандашом. Статья называлась «О равных возможностях». Он не мог не прочитать ее. За последние три месяца вокруг этого законопроекта было слишком много шума — угрожающе много.

Он читал, слыша голоса и наигранный смех, доносившиеся снизу и напоминавшие, что гости собрались, прием начался и ему предстоит встретить горькие, полные упрека взгляды родных, когда он спустится вниз.

В статье говорилось: несправедливо в период спада производства, сокращения рынков сбыта и все уменьшающихся возможностей заработать на жизнь позволять одному человеку владеть множеством предприятий в различных отраслях, в то время как другие не имеют ничего; на экономике страны пагубно отражается тот факт, что кучка предпринимателей сосредоточила в своих руках все природные ресурсы, не оставив тем самым никаких шансов другим; конкуренция, писала газета, играет первостепенную роль в жизни общества, и долг общества заключается в том, чтобы не позволить никому подняться на уровень, ставящий его вне конкуренции. Автор статьи предсказывал, что предложенный на рассмотрение Законодательного собрания законопроект о равных возможностях, запрещающий любому человеку или корпорации владеть предприятиями более чем в одной отрасли, вскоре будет принят.

Висли Мауч, человек Реардэна в Вашингтоне, сказал, что для беспокойства нет никаких оснований. Предстоит Драчка, но законопроект не пройдет. Реардэн ничего не смыслил в битвах такого рода. Он предоставил все Маучу и его людям. У него едва хватало времени бегло просматривать доклады Мауча из Вашингтона и подписывать чеки на суммы, которые

Мауч запрашивал для ведения борьбы.

Реардэн не верил, что законопроект пройдет. Он просто не мог в это поверить. Всю жизнь имея дело с чистой реальностью технологий, металла и производства, он обрел твердую уверенность, что человек должен заниматься тем, что разумно, а не безумно, что человек всегда должен стремиться к правильному, потому что реальность в конечном итоге всегда берет верх, а бессмысленное, неправильное и несправедливое не имеет будущего, не может привести к успеху, не может ничего — только уничтожить себя. Бороться против таких вещей, как этот законопроект, казалось ему нелепостью, он даже слегка стыдился этого, словно ему вдруг предложили помериться силами с человеком, который при изготовлении стальных сплавов полагался на средневековую нумерологию.

Он говорил себе, что этот законопроект таит опасность. Но даже самые громкие вопли в самых истеричных передовицах не вызывали в нем никаких эмоций, тогда как, узнав из доклада о лабораторных испытаниях об изменении характеристик металла Реардэна на одну десятую, он вскакивал с места от радости или беспокойства. Ни на что другое у него уже не хватало сил.

Реардэн скомкал передовицу и бросил ее в корзину для бумаг. Он почувствовал, как на него медленно наваливается гнетущая усталость, которой он никогда не ощущал на работе, опустошенность, которая, казалось, поджидала и охватывала его, как только он переключался на что-то другое. Сейчас у него осталось одно-единственное желание. Ему страшно хотелось спать.

Он сказал себе, что должен спуститься к гостям, что родные вправе требовать от него этого, что он должен научиться получать удовольствие от того, что приятно им, — не ради себя, ради них.

Реардэн задавался вопросом, почему осознание этого не имеет над ним никакой власти, не побуждает к действию. Всю жизнь, когда бы он ни приходил к убеждению, что какой-либо его поступок будет правильным, желание действовать появлялось автоматически. «Что со мной происходит?» — спрашивал он себя. Нежелание поступать правильно — разве это не явное проявление морального разложения? Признать свою вину и при этом чувствовать лишь глубочайшее, холодное равнодушие — разве это не измена тому, что являлось источником его гордости, его жизненных сил?

Он не стал размышлять над, "ответом на этот вопрос и быстро закончил одеваться.

С тонким белым платочком в нагрудном кармане черного вечернего костюма, высокий и стройный, с присущей ему спокойной уверенностью в себе, Реардэн неторопливо спустился по лестнице в гостиную — являя собой, на радость наблюдавших за ним матрон, идеальное воплощение великого промышленника.

У подножья лестницы он увидел Лилиан. Аристократические складки лимонно-желтого вечернего платья в стиле ампира выгодно подчеркивали грациозность ее фигуры; она стояла с горделивым видом человека, полностью владеющего собой. Он улыбнулся. Ему нравилось видеть ее счастливой. Это служило своеобразным оправданием приема.

Он подошел к ней и остановился. Она никогда не надевала слишком много украшений, проявляя привитый вкус. Но сегодня вечером она разоделась — бриллиантовое ожерелье, серьги, кольца и броши. В глаза сразу бросалось, что на руках у нее ничего не было, лишь правое запястье украшал браслет из металла Реардэна. Рядом со сверкающими бриллиантами он выглядел дешевой побрякушкой, купленной в магазине бижутерии.

Переведя взгляд с ее запястья на лицо, он заметил, что она смотрит на него. Она слегка прищурилась, и он не мог определить выражения ее глаз; затуманенный, словно с поволокой взгляд был слишком многозначительным, в нем явно что-то скрывалось, но невозможно было определить что.

Ему захотелось сорвать браслет с ее руки, но он лишь покорно кивал головой в знак приветствия, пока Лилиан веселым голосом представляла ему стоявших рядом дам. Его лицо ничего не выражало.

— Что такое человек? Всего лишь набор химических Компонентов в соединении с

манией величия, — говорил доктор Притчет группе гостей. Он взял с хрустального подноса канapé с икрой и, подержав его двумя пальцами, целиком засунул в рот. — Метафизические притязания человека просто нелепы. Ничтожное количество протоплазмы, полное каких-то уродливых понятий и мелочных, жалких чувств, — и это воображает себя чем-то значимым! Нет, воистину именно в этом сокрыт корень всех бед человечества.

— Профессор, а какие понятия не являются уродливыми и жалкими? — спросила жена одного автопромышленника.

— Нет таких понятий, — сказал доктор Притчет, — во всяком случае, в пределах человеческих возможностей.

— Но если мы начисто лишены каких бы то ни было хороших понятий, то каким образом мы можем определить, что наделены лишь уродливыми? Я хочу сказать — по каким критериям? — нерешительно спросил один молодой человек.

— А нет никаких критериев.

Эта фраза заставила слушателей замолчать.

— Философы прошлого были дилетантами, — продолжал доктор Притчет. — Именно нашему веку выпала участь заново определить цель философии. Она состоит не в том, чтобы помочь людям найти смысл жизни, а в том, чтобы доказать им, что его попросту не существует.

— А кто может это доказать? — с негодованием спросила симпатичная молодая девушка, отец которой владел угольной шахтой.

— Это пытаюсь сделать я, — сказал доктор Притчет. Последние три года он заведовал кафедрой философии в Университете Патрика Генри.

Лилиан Реардэн подошла к окружившим доктора Притчета гостям; ее бриллианты сверкали в свете люстр. На ее лице играла чуть обозначенная нежная улыбка, легкая, как тень.

— Человек своеволен лишь потому, что упрямо пытается докопаться до смысла своего существования, — продолжал доктор Притчет. — Но поняв однажды, что он ничтожен в сравнении с бескрайней вселенной, что его действия ничего не значат и совершенно неважно, жив он или умер, человек станет куда более... покладистым. — Он пожал плечами и потянулся за очередным канapé.

— Я хотел спросить вас, профессор, что вы думаете о законопроекте о равных возможностях? — с тревогой в голосе спросил один бизнесмен.

— А, о законопроекте... Но, по-моему, я ясно дал понять, что одобряю его, так как являюсь сторонником экономической свободы, которая невозможна без конкуренции. Следовательно, людей нужно принудить к конкуренции, а значит, мы должны держать их под контролем, чтобы заставить быть свободными.

— Но послушайте... разве одно не противоречит другому?

— В высшем философском смысле — нет. Надо научиться смотреть дальше закостенелых догм устаревшего мышления. В мире нет ничего неизменного. Все течет, все изменяется.

— Но ведь это вполне соответствует здравому смыслу, когда...

— Здравый смысл, мой дорогой друг, — самый наивный из всех предрассудков. В наше время это уже общепризнанно.

— Но я не совсем понимаю, как можно...

— Вы разделяете самое распространенное в мире заблуждение — считаете, что все можно понять. Вы не осознаете, что мир — это сплошное противоречие.

— Противоречие в чем? — спросила жена автопромышленника.

— В самом себе.

— Как это?

— Видите ли, мадам, долг мыслителя — не объяснять, а показать, что невозможно ничего объяснить.

— Да, конечно... только...

— Цель философии — не добиваться знаний, а доказать, что человек и знание несовместимы.

— Но что же останется, когда мы докажем это? сила молодая девушка.

— Инстинкт, — почтительно ответил доктор Притчет.

В другом конце гостиной группа гостей собралась вокруг Больфа Юбенка. Он сидел, выпрямившись на краешке кресла, пытаясь таким образом придать как можно более достойный вид своему лицу и тучному телу, которые, как правило, расплывались, когда он расслаблялся.

— Вся литература прошлого, — говорил Больф Юбенк, — была дешевым надувательством. Она приукрашивала действительность в угоду денежным мешкам, которым прислуживала. Мораль, добрая воля, великие свершения, торжество добра и человек как некое героическое существо — все это сегодня не вызывает ничего, кроме смеха. Показав истинный смысл жизни, наш век впервые за всю историю придал литературе глубину.

— А что является истинным смыслом жизни, мистер Юбенк? — застенчиво спросила молодая девушка в белом вечернем платье.

— Страдание, — ответил Юбенк. — Принятие неизбежного и страдание.

— Но почему? Люди ведь счастливы... иногда... Разве не так?

— Это лишь иллюзия, возникающая у людей, которым чужда глубина чувств.

Девушка покраснела. Богатая дама, которая унаследовала нефтеперерабатывающий завод, виновато спросила:

— Мистер Юбенк, а что нужно сделать, чтобы улучшить литературный вкус людей?

— Это первостепенная социальная проблема, — ответил Юбенк. Он считался звездой первой величины в современной литературе, но за всю жизнь не написал ни одной книги, которая разошлась бы тиражом больше трех тысяч экземпляров. — Я лично считаю, что законопроект о равных возможностях, примененный в литературе, стал бы решением этой проблемы.

— А применение этого законопроекта в промышленности вы поддерживаете? Я вот даже не знаю, что о нем и думать.

— Конечно, поддерживаю. Наша культура погрязла в болоте материализма. Люди утратили духовные ценности, обманывая друг друга в погоне за материальными благами. Они слишком хорошо живут. Но они вернуться к более благородному образу жизни, если мы научим их жить в нужде. Следовательно, нужно поумерить их алчность.

— Это мне и в голову не приходило, — извиняющимся тоном сказала дама.

— Но как вы собираетесь применить законопроект о равных возможностях в литературе, Рольф? — спросил Морт Лидии. — Для меня это что-то новое.

— Меня зовут Больф, — сердито сказал Юбенк. — А для вас это ново потому, что это я сам придумал.

— Ну хорошо, хорошо. Я вовсе не хочу ссориться. Мне просто интересно, — сказал Морт Лидии, нервно улыбаясь. Он был композитором и писал традиционную музыку к фильмам и модернистские симфонии для немногочисленной публики.

— Все очень просто, — сказал Больф Юбенк. — Нужно принять закон, ограничивающий тираж книги до десяти тысяч экземпляров. Это откроет литературный рынок для новых талантов, свежих идей и некоммерческой литературы. Если людям запретят раскупать миллионами экземпляров всякую макулатуру, им просто придется покупать хорошие книги.

— Да, в этом что-то есть, — сказал Морт Лидии. — Но не ударит ли это по карману писателей?

— Тем лучше. Писать книги должен лишь тот, кто действует не из корыстных побуждений и не гонится за наживой.

— Но, мистер Юбенк, а что, если больше десяти тысяч человек хотят купить какую-то книгу? — спросила девушка в белом платье.

— Десять тысяч читателей вполне достаточно для любой книги.

— Я имела в виду не это. Что, если она ну окна им"!

— Это не имеет никакого значения.

— Но почему, если интересный сюжет...

В литературе сюжет — это всего лишь примитивная вульгарность, — презрительно произнес Больф Юбенк.

Доктор Притчет, направлявшийся через гостиную к бару, остановился и заметил:

— Вполне с вами согласен. Равно как и логика — примитивная вульгарность в философии.

— Или мелодия, которая является лишь примитивной вульгарностью в музыке, — сказал Морт Лидии.

— О чем это вы спорите? — спросила, подойдя к ним, Лилиан.

— Лилиан, дорогая, — протянул Больф Юбенк, — я не говорил, что посвятил тебе свой новый роман?

— Нет, Больф, дорогой, спасибо.

— А как называется ваш новый роман? — спросила одна небедная дама.

— «Сердце — одинокий молочник».

— А о чем он?

— О разочаровании и безысходности.

— Но, мистер Юбенк, — густо покраснев, спросила молодая девушка в белом платье, — если в мире существуют лишь разочарование и безысходность, ради чего тогда жить?

— Ради любви к ближнему, — мрачно ответил Юбенк. Бертрам Скаддер стоял, склонившись над стойкой бара.

Его длинное, худое лицо словно запало внутрь, лишь рот и глаза выдавались вперед тремя мягкими выпуклостями. Он был редактором журнала «Фьючер», в котором опубликовал свою статью о Хэнке Реардэне, которая называлась «Спрут».

Бертрам Скаддер поднял свой пустой бокал и молча протянул бармену. Он отпил глоток, заметил пустой бокал стоявшего рядом с ним Филиппа Реардэна и молча указал на него пальцем бармену. На пустой бокал Бетти Поуп, которая стояла рядом с Филиппом, он не обратил никакого внимания.

— Послушай, дружище, — сказал Бертрам Скаддер, устремив взгляд куда-то рядом с Филиппом, — нравится это тебе или нет, но законопроект о равных возможностях — большой шаг вперед.

— А что дает вам основания полагать, будто я не одобряю его? — растерянно спросил Филипп.

— Ну, ведь это будет не безболезненно, ты согласен? Длинная рука общества пошерстит кое-чью чековую книжку.

— А почему вы считаете, что я являюсь противником этого?

— А разве не так? — спросил Бертрам Скаддер без особого любопытства.

— Нет, не так, — горячо сказал Филипп. — Я всегда ставил общественное благосостояние превыше любых личных интересов. Я пожертвовал время и деньги ассоциации «Друзья всемирного прогресса» и лично участвую в их кампании в поддержку законопроекта. Я считаю вопиющей несправедливостью даже теоретическую возможность того, что один человек приберет к рукам все, ничего не оставив другим.

Бертрам Скаддер пристально, но без особого интереса посмотрел на Филиппа:

— Что ж, это необычайно мило с твоей стороны.

— Некоторые, мистер Скаддер, действительно серьезно подходят к вопросам морали, — с мягко подчеркнутой гордостью сказал Филипп.

— О чем он говорит, Филипп? — спросила Бетти Поуп. — Среди наших знакомых нет никого, кто бы владел предприятиями более чем в одной отрасли, не так ли?

— Ох, помолчи, — сказал Бертрам Скаддер скучающим тоном.



— Я не понимаю, почему вокруг этого законопроекта столько шума, — вызывающе продолжала Бетти Поуп тоном эксперта-экономиста. — Не понимаю, почему бизнесмены всячески противятся ему. Ведь это для их же пользы. Если все, кроме них, будут бедны, они лишатся рынков сбыта для своих товаров. Если они перестанут быть эгоистами и поделятся тем, что у них есть, у них появится возможность работать в полную силу и произвести еще больше.

— А я не понимаю, почему вообще надо принимать во внимание промышленников, — сказал Скаддер. — Когда массы терпят лишения при наличии товаров и средств, было бы просто идиотизмом полагать, что людей может остановить какая-то бумажка, дающая право на частную собственность. Право на собственность — это предрассудок. Собственность принадлежит кому-то лишь по милости тех, кто ее не отбирает. Народ может захватить ее в любой момент. А раз так, почему бы им не сделать это?

— Они должны сделать это, — сказал Клод Слагенхоп. — Она нужна народу. А потребности — это единственное, что нужно принимать в расчет. Когда народ нуждается, надо сначала все забрать, а потом уже рассуждать.

Клод Слагенхоп подошел к бару и втиснулся между Филиппом и Скаддером, невзначай отеснив журналиста в сторону. Слагенхоп был невысок, но крепко сложен, с переломанным носом. Он был президентом ассоциации «Друзья всемирного прогресса».

— Голод не тетка, — продолжил Слагенхоп. — Слова, идеи — все это пустое сотрясение воздуха. Пустой желудок — вот веский аргумент. Я во всех своих выступлениях говорю, что вовсе необязательно много разглагольствовать. В настоящий момент общество страдает от недостатка возможностей в области предпринимательства, поэтому мы вправе ухватиться за все существующие возможности и использовать их. Справедливо все, что полезно обществу.

— Он же не сам добывал эту руду! — вдруг хрипло выкрикнул Филипп. — Для этого ему пришлось нанять сотни рабочих. Именно они все сделали. Почему же он считает себя чуть ли не богом?

Стоявшие рядом мужчины взглянули на него. При этом Скаддер лишь повел бровью, а на лице Слагенхопа не отразилось никаких эмоций.

— О Господи! — вскрикнула Бетти Поуп, что-то вспомнив.

Хэнк Реардэн стоял у окна, уединившись в отдаленном уголке гостиной. Он надеялся, что здесь его какое-то время не заметят. Он только что отделался от дамы средних лет, рассказывавшей ему о своем отношении к медитации. Он стоял и смотрел в окно. Вдали по небу плыло зарево, полыхавшее над его сталелитейными заводами. Он смотрел на это зарево, чтобы хоть на миг почувствовать облегчение.

Он обернулся и оглядел гостиную. Ему никогда не нравился их дом. Он был обставлен во вкусе Лилиан. Но сегодня мелькание разноцветных вечерних платьев залило собой гостиную, наполнив ее атмосферой радужного веселья. Ему нравилось смотреть, как люди веселятся, хотя сам он ничего веселого в такого рода времяпровождении не находил.

Он посмотрел на цветы, на искорки света, игравшие в хрустальных бокалах, на обнаженные руки и плечи женщин. За окном, разгуливая по пустынным просторам, дул холодный ветер. Реардэн увидел, как тонкие ветви дерева согнулись под его порывом, словно молящие о помощи руки. В небе за деревом полыхало алое зарево «Реардэн стал».

Он не понимал, что с ним происходит.

В этом чувстве ощущалась радость, радость торжественная, словно он преклонял голову, но перед кем — он не знал.

Когда он вернулся к гостям, на его лице играла улыбка, но она исчезла, когда он увидел, как в гостиную вошла еще одна гостья. Это была Дэгни Таггарт.

Лилиан пошла навстречу Дэгни, с любопытством рассматривая ее. Они встречались раньше всего несколько раз, и ей было непривычно видеть Дэгни в вечернем платье. Оно было черное, с накидкой, спадавшей на одно плечо, оставляя другое обнаженным. На платье не было никаких украшений. Все привыкли видеть Дэгни Таггарт в деловом костюме, и

никто не задумывался, какая у нее фигура. Черное вечернее платье открывало глаза на Дэгни — невозможно было не изумиться, увидев, как изящны, хрупки и прекрасны очертания ее плеч, а бриллиантовый браслет на запястье обнаженной руки придавал ей необыкновенную женственность: вид закованной в цепи.

— Мисс Таггарт, какой приятный сюрприз, — сказала Лилиан, изобразив радушную улыбку. — Я не смела даже надеяться, что мое приглашение сможет оторвать вас от ваших куда более значительных дел. Прошу вас, позвольте мне чувствовать себя польщенной.

Джеймс Таггарт вошел вместе с сестрой. Лилиан поспешно улыбнулась ему, словно только сейчас заметила его:

— Здравствуйте, Джеймс. Я была так изумлена, увидев здесь вашу сестру, что вас просто не заметила. Такова цена признания в свете.

— По части признания в свете никто не сравнится с вами, Лилиан, — сказал Таггарт, мило улыбнувшись. — Более того, не заметить вас просто невозможно.

— Меня? О, я вполне удовлетворена тем, что скромно стою на заднем плане, в тени моего мужа. Я смиренно отдаю себе отчет в том, что жена выдающегося человека вынуждена довольствоваться лишь отблесками его славы, не правда ли, мисс Таггарт?

— Нет, я так не считаю, — сказала Дэгни.

— Это комплимент или упрек, мисс Таггарт? Но, прошу вас, простите меня, если я созналась в своей беспомощности. Кому вы хотите, чтобы я представила вас? Боюсь, я могу предложить вам лишь писателей и художников, но они, вероятно, вас вовсе не интересуют.

— Я хотела бы найти Хэнка и поздороваться с ним.

— Ну конечно же. Джеймс, помните, вы говорили, что хотели бы познакомиться с Больфом Юбенком? Да, он здесь. Я скажу ему, что вы восторженно отозвались о его последнем романе на ужине у миссис Виткомб.

Пересекая комнату, Дэгни спрашивала себя, почему она сказала, что хочет найти Хэнка Реардэна и что помешало ей сознаться в том, что она заметила его, как только вошла.

Реардэн стоял в другом конце большой гостиной и смотрел на нее. Он наблюдал, как она приближается к нему, но не сделал и шага навстречу.

— Привет, Хэнк.

— Добрый вечер. — Он учтиво, но холодно поклонился, движения его были под стать вычурной официальности костюма. Он не улыбнулся.

— Спасибо, что пригласил меня сегодня, — весело сказала она.

— Должен признаться, я не знал, что ты придешь.

— Вот как? В таком случае я рада, что миссис Реардэн вспомнила обо мне. Мне хотелось сделать исключение.

— Исключение?

— Я редко бываю на приемах.

— Очень рад, что в виде исключения выбран именно этот случай. — Он не добавил: «мисс Таггарт», но его слова прозвучали так, словно он сказал это.

Официальность его поведения была столь неожиданной, что Дэгни никак не могла подстроиться к ней.

— Я хотела отпраздновать, — сказала она.

— Отпраздновать годовщину моей свадьбы?

— А сегодня годовщина твоей свадьбы? Я не знала. Поздравляю, Хэнк.

— Что ты хотела отпраздновать?

— Я подумала, что могу позволить себе отдохнуть. Решила устроить свой собственный праздник в твою честь и в мою.

— По какому поводу?

Она думала о новом железнодорожном полотне на скалистых склонах Колорадских гор, которое медленно тянулось к далекой цели — нефтяным промыслам Вайета. Она видела среди засохшей травы, голых камней и убогих хибарок голодных селений зеленовато-голубые отблески рельсов на замерзшей земле.

— В честь первых ста километров железной дороги из металла Реардэна, — ответила она.

— Очень признателен, — произнес Реардэн тоном, который больше подошел бы к словам: «Впервые об этом слышу».

Она не нашлась, что сказать. Она чувствовала себя так, словно говорила с абсолютно незнакомым человеком.

— Мисс Таггарт, неужели это вы! — прервал молчание жизнерадостный голос. — Именно это я и имею в виду, когда говорю, что Хэнк Реардэн способен сотворить любое чудо.

Знакомый бизнесмен подошел к ним с улыбкой искреннего, приятного изумления на лице. Они часто собирались втроем на экстренные совещания по поводу тарифов на грузовые перевозки и проблем, связанных с доставкой стали. Он смотрел на нее во все глаза, и по его лицу было видно, что он поражен разительной переменой в ее внешности, переменой, думала она, которой Реардэн не заметил.

Она рассмеялась, отвечая на его приветствие, не давая себе и секунды, чтобы осознать охватившее ее разочарование, чтобы не поймать себя на мысли, что ей хотелось увидеть восхищение на лице Реардэна. Она перекинулась с бизнесменом парой слов, а когда повернулась, Реардэна уже не было рядом.

— Так это и есть ваша знаменитая сестра? — спросил Больф Юбенк Джеймса Таггарта, глядя на Дэгни.

— Я не знал, что моя сестра — знаменитость, — сказал Таггарт с язвительной интонацией.

— Но, дорогой мой, она ведь незаурядное явление в области экономики, нет ничего удивительного в том, что о ней так много говорят. Ваша сестра олицетворяет болезнь нашего столетия. Разлагающийся продукт века машин. Машины уничтожили человечность, оторвали людей от земли, загубили их души и превратили их в бесчувственных роботов. Ваша сестра — наглядный тому пример: женщина, которая управляет железной дорогой вместо того, чтобы познавать искусство прялки и рожать детей.

Реардэн пробирался среди гостей, стараясь ни с кем не разговаривать. Он осмотрел гостиную, но не увидел никого, к кому бы ему хотелось подойти.

— Послушай, Хэнк Реардэн, а ты вовсе не такой плохой парень, когда тебя видишь вблизи, прямо в твоём логове. Тебе следует хоть изредка устраивать пресс-конференции, и ты завоюешь наши сердца.

Реардэн обернулся и окинул говорившего скептическим взглядом. Это был неряшливо одетый молодой журналист из радикальной бульварной газетенки. Его оскорбительная фамильярность, похоже, означала лишь одно: он открыто грубил Реардэну, потому что знал, что тот никогда не опустился бы до общения с таким человеком, как он.

Реардэн не пустил бы этого человека даже на порог своего завода, но он был гостем Лилиан. Реардэн взял себя в руки и холодно спросил:

— Что вам угодно?

— Ты не такой уж плохой парень. У тебя талант. Технологический талант. Но вот насчет сплава Реардэна я с тобой, конечно же, не согласен.

— Я вас и не прошу соглашаться со мной.

— Видишь ли, Бертрам Скаддер сказал, что твои действия... — вызывающе начал было журналист, указывая в сторону бара, но вдруг замолчал, словно зашел слишком далеко.

Реардэн посмотрел на неопрятного мужчину, склонившегося над стойкой бара. Лилиан представляла их друг другу, но тогда он не обратил на него никакого внимания. Он резко повернулся и ушел с таким видом, который не позволил юному хаму последовать за ним.

Реардэн подошел к Лилиан, стоявшей в кругу гостей, и, ни слова не сказав, отвел ее в сторону, где их никто не мог слышать.

— Это кто, Скаддер из журнала «Фьючер»? — спросил он, указывая в сторону бара.

— Да, а что?

Он молча смотрел на нее, не в силах поверить этому, не в силах найти хоть какую-то нить, которая помогла бы ему что-то понять. Она внимательно следила за ним.

— Как ты могла пригласить его? — спросил он.

— О, Генри, не будь смешным. Ты же не хочешь выглядеть ограниченным человеком, не так ли? Ты должен научиться терпимо относиться к мнению других и уважать их право на свободу слова.

— В моем собственном доме?

— О, Генри, ну будет тебе!

Рearдэн молчал, его сознание было занято двумя картинками, которые настойчиво вставляли у него перед глазами. Он видел перед собой статью «Спрут», написанную Бертрамом Скадцером. Это было не выражение мыслей и идей, это было ведро помоев, публично выплеснутое на него. Статья не содержала ни единого, даже надуманного факта, лишь поток глумливых насмешек и набор эпитетов, из которых ничего не было ясно, кроме грязной злобы и ничем не подтвержденных обвинений. Еще он видел перед собой очертания профиля Лилиан, горделивую чистоту, к которой он стремился, женившись на ней.

Взглянув на нее, он сообразил, что видит этот профиль только мысленно, потому что она стояла анфас и пристально смотрела на него. Он вдруг заметил в ее взгляде такое выражение, словно все это доставляло ей удовольствие. Но в следующее мгновение Рearдэн напомнил себе, что он пока еще не сошел с ума, и следовательно, этого не может быть.

— Чтобы впредь я этого... в своем доме не видел, — сказал Рearдэн, с холодным спокойствием вставив крепкое слово.

— Да как ты смеешь со мной так...

— И не спорь, Лилиан. Еще одно слово, и я вышвырну его вон.

Он дал ей минуту, чтобы ответить, возразить, зарычать на него, если ей хотелось. Она стояла молча, не глядя на него, лишь ее гладкие щеки, казалось, слегка запали.

Слепо продираясь сквозь море света, звуков и запахов, он ощутил холодное прикосновение страха. Он понимал, что должен разобраться наконец в натуре Лилиан, — то, что он увидел сегодня, нельзя было оставить без внимания. Но он не думал о ней и чувствовал страх потому, что знал: ответ на эту загадку уже давно потерял для него какое-либо значение.

Рearдэн вновь почувствовал наплыв усталости. У него было такое ощущение, словно он видел, как волны ее растут и крепчают, но не внутри его, а снаружи, растекаясь по всей комнате. На мгновение у него возникло такое чувство, словно он затерялся в угрюмо-безжизненной пустыне, нуждается в помощи, но прекрасно понимает, что ждать ее неоткуда.

Он остановился как вкопанный. В дверях гостиной он увидел высокого, стройного мужчину, который, прежде чем войти, на мгновение остановился. Они стояли в разных концах комнаты. Рearдэн не был знаком с этим человеком, но из всех знаменитостей, чьи фотографии часто появлялись на страницах газет, этот вызывал у него наибольшее презрение. В дверях стоял Франциско Д'Анкония.

Рearдэн никогда не принимал всерьез таких людей, как Бертрам Скаддер. Но каждую минуту своей жизни, каждую секунду, когда он чувствовал гордость от того, что от напряжения у него рвутся мышцы и раскалывается голова, с каждым шагом, который он делал, чтобы подняться из глубин рудников Миннесоты и превратить свои усилия в золото, со своим глубочайшим уважением к деньгам и тому, что они значат, он презирал этого пустого мота, не имевшего никакого понятия о том, что такой великий дар, как унаследованное богатство, надо еще оправдать. Вот, думал он, самый презренный представитель этой породы.

Он видел, как Франциско Д'Анкония вошел в гостиную, поклонился Лилиан и смешался с толпой гостей, словно был хозяином этого дома, а не пришел сюда впервые в жизни.

Все головы оборачивались ему вслед, как приклеенные.

Подойдя еще раз к Лилиан, Рearдэн беззлобно, но с презрением, переходящим в

насмешку, сказал:

— Я не знал, что ты и с этим знакома.

— Мы встречались несколько раз на приемах.

— Он что, тоже один из твоих друзей?

— Конечно, нет, — ответила Лилиан с искренним негодованием в голосе.

— Тогда зачем ты его пригласила?

— Когда он в стране, невозможно устроить прием, я имею в виду достойный прием, не пригласив его. Если он приходит, это, конечно, весьма неприятно, а если нет — позор в глазах общества.

Рearдэн рассмеялся. Он явно застал Лилиан врасплох своим вопросом. Сознаться в подобных вещах было не в ее правилах.

— Послушай, — сказал он устало, — я не хочу портить тебе вечер. Но держи этого человека подальше от меня и не пытайся представить его мне. Я не хочу его знать. Не знаю, как это у тебя получится, но ты опытная хозяйка, так что уж постарайся.

Дэгни замерла, увидев подходившего к ней Франциско. Он учтиво поклонился ей. Она заметила, как он слегка улыбнулся, показав, что что-то понял, но не захотел дать ей понять, что именно.

Дэгни отвернулась. Она надеялась, что остаток вечера ей удастся избегать его.

Больф Юбенк присоединился к группе гостей, собравшихся вокруг доктора Притчета, и с недовольным видом говорил:

— ...нет никакой надежды на то, что люди смогут понять высшие идеалы философии. Культуру нужно вырвать из рук охотников за наживой. Литература должна финансироваться из госбюджета. Ведь это же просто позор: к мастерам искусства относятся как к коробейникам, а их работы продаются, как мыло.

— Похоже, вас не устраивает именно то, что они продаются не так хорошо, как мыло? — спросил Франциско Д'Анкония.

Никто не заметил, как он подошел. Разговор резко прервался. Большинство присутствующих не были знакомы с Франциско, но сразу узнали его.

— Я хотел сказать... — сердито начал Больф Юбенк и тут же замолчал. На лицах слушателей он увидел выражение живого интереса, но уже не к философии.

— О, профессор, здравствуйте, — сказал Франциско, кланяясь доктору Притчету.

Доктор Притчет без особого удовольствия ответил на приветствие и представил Франциско кое-кому из собравшихся.

— Мы как раз обсуждали с доктором Притчетом очень интересный вопрос. Он говорил, что все — это ничто, — серьезным тоном произнесла важная дама.

— Он без сомнения знает об этом больше, чем кто бы то ни было, — не менее серьезно ответил Франциско.

— Я бы никогда не подумала, что вы, сеньор Д'Анкония, так хорошо знаете доктора Притчета, — сказала она и удивилась, заметив, что профессору явно не понравилось ее замечание.

— Я выпускник знаменитого Университета Патрика Генри, где сейчас работает профессор Притчет. Но моим учителем был один из его предшественников — Хью Экстон.

— Хью Экстон, — с удивлением сказала привлекательная молодая женщина. — Но, сеньор Д'Анкония, этого не может быть. Вы же так молоды. Я думала, он один из выдающихся философов прошлого века.

— Вероятно, по духу, мадам, но не в действительности.

— Но я думала, он давно умер.

— Почему? Он жив.

— Но почему тогда о нем ничего не слышно?

— Он уволился девять лет назад.

— Как странно. Когда подает в отставку политический деятель или перестает сниматься кинозвезда, мы узнаем об этом из передовиц газет, но когда прекращает работать

философ, люди этого даже не замечают.

— Рано или поздно замечают.

— Я думал, Хью Экстон один из классиков, которых сейчас не изучают, разве что по истории философии, — с удивлением сказал один молодой человек. — Я недавно читал статью, в которой он представлен как последний из великих сторонников разума.

— А чему учил Хью Экстон? — спросила важная дама.

— Он учил, что все — это нечто, — ответил Франциско.

— Ваша преданность своему учителю достойна похвалы, сеньор Д'Анкония, — холодно сказал доктор Притчет. — Можно ли рассматривать вас как практический результат его учения?

— Несомненно.

Джеймс Таггарт подошел к собравшимся и ждал, когда его заметят.

— Привет, Франциско.

— Добрый вечер, Джеймс.

— Какое счастливое совпадение, что я встретил тебя здесь. Мне очень хотелось поговорить с тобой.

— Это что-то новое. Раньше за тобой такого не замечалось.

— Все шутишь, как в старые добрые времена. — Таггарт медленно, как бы без умысла, отодвинулся от группы гостей, надеясь увести Франциско за собой. — Ты же прекрасно знаешь, что в этом зале нет человека, который не хотел бы поговорить с тобой.

— Неужели? Я склонен подозревать обратное. Франциско послушно последовал за Таггартом, но остановился на таком расстоянии, чтобы их могли слышать.

— Я всячески пытался связаться с тобой, но... обстоятельства не позволили... — начал Таггарт.

— Ты что, пытаешься скрыть тот факт, что я отказался встретиться с тобой?

— Нет... то есть... почему ты отказался?

— Просто не мог себе представить, о чем ты хочешь со мной поговорить.

— Конечно же, о рудниках Сан-Себастьян, — сказал Таггарт, слегка повысив голос.

— Да ну? А что в них такого особенного?

— Но... Послушай, Франциско, это серьезно. Это же катастрофа, беспрецедентная катастрофа — и никто в этом не может разобраться. Я не знаю, что и думать. Ничего не могу понять. В конце концов, я имею право знать.

— Право? Джеймс, ты старомоден. И что же ты хочешь знать?

— Прежде всего эта национализация; что ты собираешься делать в связи с этим?

— Ничего.

— Ничего?!!

— Но ты, конечно, не хочешь, чтобы я что-либо предпринял? Мои рудники и твоя железная дорога национализированы по воле народа. Неужели ты хочешь, чтобы я противился воле народа?

— Франциско, это нешуточное дело.

— А я никогда и не считал его шуткой.

— Я требую объяснений. Ты должен ответить перед своими акционерами за все это бесчестное предприятие. Зачем ты купил рудники, которые и гроша ломаного не стоят?

Зачем вышвырнул на ветер миллионы долларов? Что за грязную аферу ты провернул?

Франциско стоял, глядя на него с вежливым изумлением:

— Ты что, Джеймс? Я думал, ты одобришь мои действия.

— Одобрю?

— Я думал, ты расценишь рудники Сан-Себастьян как практическое воплощение моральных идеалов высшего порядка. Помня о том, что было причиной наших разногласий в прошлом, я думал, что доставлю тебе радость, действуя в соответствии с твоими принципами.

— О чем ты говоришь?

Франциско с сожалением покачал головой:

— Я не понимаю, почему ты называешь Сан-Себастьян грязной аферой. Я думал, ты расценишь это как благородную попытку воплотить в жизнь то, чему учат сейчас весь мир.

Разве не общепризнанно, что эгоизм — порок? Что касается Сан-Себастьян, я был начисто лишен эгоизма. Разве не порочно преследовать личные интересы? Никаких личных корыстных целей я не преследовал. Разве не порочно работать ради прибыли? Я не гнался за наживой — я понес убытки. Разве не общепризнанно, что целью и оправданием любого промышленного предприятия является не производство, а благосостояние рабочих? Сан-Себастьян стал самым успешным предприятием в истории промышленности! Рудники не дали ни грамма меди, но обеспечили благосостояние тысячам людей, которые за всю свою жизнь не достигли бы того, что получили за один рабочий день, не ударив пальцем о палец. Разве не общепризнанно, что владелец — паразит и эксплуататор, что всю работу выполняют рабочие и лишь благодаря им становится возможным производство? Я никого не эксплуатировал. Я не обременял Сан-Себастьян своим бесполезным присутствием, я оставил рудники в руках более достойных людей. Я не делал никакой оценки этой собственности. Я предоставил это горному инженеру. Он не очень хороший специалист, но ему очень нужна была работа. Разве не общепринято, что когда нанимаешь человека на работу, то прежде всего нужно принимать во внимание его потребности, а не то, какой он специалист? Разве не общепринято, что для того, чтобы получить благо, достаточно нуждаться в нем? Я исполнил все моральные заповеди нашего времени. И ожидал благодарности и слов похвалы. И не понимаю, почему меня проклинаят.

Все слушали в гробовой тишине, единственной реакцией на его слова прозвучал внезапный хрипловатый смехок Бетти Поуп: она не поняла ничего из сказанного, но видела беспомощную ярость на лице Джеймса Таггарта.

Все смотрели на Таггарта, ожидая, что он ответит. Они были абсолютно равнодушны к теме разговора, их просто забавлял вид человека, попавшего в неловкое положение. Таггарт выдавил из себя снисходительную улыбку:

— Неужели ты думаешь, что я приму все это всерьез?

— Было время, когда я не верил, что кто-нибудь может принимать это всерьез. Я ошибался.

— Это возмутительно! — Таггарт повысил голос. — Это просто неслыханно — относиться к своим общественным обязанностям с такой безответственностью. — Он поспешно повернулся, собираясь уйти.

Разведя руками, Франциско пожал плечами:

— Вот видишь? Я так и думал, что ты не захочешь со мной разговаривать.

Реардэн стоял в дальнем конце гостиной. Заметив это, Филипп подошел к нему и движением руки подозвал Лилиан.

— Лилиан, по-моему, Генри скучает, — сказал он насмешливо, улыбаясь так, что невозможно было определить, кому предназначалась эта насмешка — Лилиан или Реардэну. — Неужели нельзя его как-нибудь развеселить?

— Да бросьте вы! — сказал Реардэн.

— Ах, Филипп, если бы я знала, как это сделать. Я всегда хотела, чтобы Генри научился отдыхать и расслабляться. Он всегда и во всем такой серьезный — настоящий пуританин. Мне всегда хотелось хотя бы раз увидеть его пьяным, но я давно оставила надежды на это. А что ты предлагаешь?

— Ну, не знаю. Но как-то нехорошо, что он стоит совсем один.

— Хватит вам, — сказал Реардэн. Смутно понимая, что не должен задевать их чувств, он все же не удержался и добавил: — Если бы вы знали, как непросто было остаться одному.

— Ну вот, что я говорила! — сказала Лилиан, улыбаясь Филиппу. — Наслаждаться жизнью и обществом не так просто, как выплавить тонну стали. Интеллигентности на рынке не научишься.

Филипп усмехнулся:

— Меня беспокоит отнюдь не его интеллигентность. Ты уверена, что он такой уж пуританин, Лилиан? На твоём месте я бы не позволил ему стоять здесь одному и глазеть по сторонам. Здесь сегодня слишком много красивых женщин.

— Чтобы у Генри возникла мысль о супружеской измене? Филипп, ты ему льстишь. Ты его переоцениваешь, он не настолько смел. — Она холодно улыбнулась Реардэну и ушла.

Реардэн посмотрел на брата:

— Какого черта, Филипп? Что ты несешь?

— А, кончай корчить из себя пуританина. Что, уже и пошутить нельзя?

Бесцельно пробираясь сквозь толпу гостей, Дэгни спрашивала себя, почему она приняла приглашение прийти сюда. Ответ изумил ее. Она пришла потому, что хотела увидеть Хэнка Реардэна. Наблюдая за ним в толпе гостей, она впервые осознала, как разительно он отличается от других. Их лица были словно сплошная масса, состоящая из чередующихся схожих обликов, которые выглядели так, словно таяли под лучами солнца. Лицо Реардэна выделялось резкими чертами, а в сочетании с холодно-голубыми глазами и волосами пепельного цвета казалось твердым, как лед, и отличалось необыкновенной чистотой линий. На фоне Других он выглядел так, словно шел сквозь туман, ведомый ярким лучом света.

Ее взгляд непроизвольно возвращался к нему, но она ни разу не заметила, чтобы он смотрел в ее сторону. Дэгни не могла поверить, что он намеренно избегает ее, этому не было разумного объяснения, но она была уверена, что это именно так. Ей хотелось подойти к нему и убедиться, что она ошибается. Но что-то, чего она не могла понять, останавливало ее.

Реардэн терпеливо вынес разговор с матерью и двумя ее приятельницами, развлекая их рассказами о своей молодости и тернистом пути к успеху. Об этом его попросила мать, и он подчинился, сказав себе, что она по-своему гордится им. Но он чувствовал, что она как бы давала понять, что всячески поддерживала его в самые трудные минуты и была источником его успеха. Он был рад, когда она наконец отпустила его, и опять уединился в укромном уголке у окна.

Он стоял там некоторое время, наслаждаясь уединением, словно оно было для него своего рода опорой.

— Мистер Реардэн, — прозвучал очень спокойный голос у него за спиной, — разрешите представиться. Меня зовут Франциско Д'Анкония.

Реардэн с удивлением обернулся. Манеры и голос Д'Анкония имели особенность, с которой он встречался крайне редко: в них чувствовалось искреннее, неподдельное уважение.

— Очень приятно. — Его голос прозвучал холодно и резко, но он все же ответил.

— Я заметил, что миссис Реардэн пытается избежать необходимости представить меня вам, и догадываюсь почему. Может быть, вам угодно, чтобы я оставил ваш дом?

То, что он прямо подошел к неприятной стороне вопроса, вместо того чтобы всячески избегать ее, было так не похоже на поведение всех тех, кого он знал, и принесло такое неожиданное, огромное облегчение, что Реардэн некоторое время молча пристально изучал лицо Франциско Д'Анкония. Франциско сказал все очень просто. Это не было ни упреком, ни мольбой, но каким-то необъяснимым образом подчеркивало достоинство Реардэна, не умаляя при этом и его собственного.

— Нет, — сказал Реардэн, — не знаю, о чем вы догадываетесь, но этого я не говорил.

— Спасибо. В таком случае, можно ли мне с вами поговорить?

— А почему вы хотите со мной поговорить?

— В данный момент мои мотивы вас не заинтересуют.

— Разговор со мной вам тоже будет отнюдь не интересен.

— Вы ошибаетесь насчет одного из нас, мистер Реардэн, или насчет обоих. Я пришел на этот прием лишь для того, чтобы встретиться с вами.

Поначалу в голосе Реардэна звучали едва уловимые насмешливые нотки; сейчас он посуровел и в его словах почувствовался оттенок презрения:



— Вы начали игру в открытую. Продолжайте в том же духе. Зачем вы хотели встретиться со мной? Чтобы заставить меня понести убытки?

Франциско посмотрел ему прямо в глаза:

— Возможно — при определенных условиях.

— Ну и что же на этот раз? Золотая жила? Франциско медленно и грустно покачал головой:

— Нет, я ничего не собираюсь продавать вам. По правде говоря, я и Джеймсу Таггарту ничего не пытался продать. Он сам ко мне пришел. Вы не придете.

Рearдэн усмехнулся:

— Раз уж вы так много понимаете, у нас по крайней мере есть почва для разговора. Продолжайте в том же духе. Если вы пришли не для того, чтобы сделать мне заманчивое предложение о вложении капиталов, то чего же вам нужно? Почему вы хотели встретиться со мной?

— Чтобы познакомиться.

— Это не ответ. Вы говорите то же самое, только другими словами.

— Не совсем, мистер Рearдэн.

— Если только вы не имеете в виду, что хотите завоевать мое доверие.

— Нет. Мне не нравятся люди, которые говорят или думают о том, как бы завоевать доверие другого. Если человек поступает честно, ему не нужно завоевывать доверие другого, достаточно разумного анализа его действий. Тот, кто всячески пытается заручиться доверием другого, имеет нечестные намерения, независимо от того, признается он себе в этом или нет.

Рearдэн с удивлением посмотрел на Франциско. Его взгляд был словно непроизвольно протянутая рука, отчаянно шарящая в поисках опоры. Этот взгляд выдавал, как сильно ему хотелось найти такого человека, как тот, которого он сейчас видел перед собой. Затем он медленно опустил веки, почти закрыв глаза, намеренно отсекая от себя и это желание, и образ собеседника. Его лицо стало жестким; на нем появилось выражение суровости, внутренней суровости, направленной на самого себя. Он выглядел строгим и одиноким.

— Хорошо, — сказал он без всякого выражения, — чего же вы хотите, если не моего доверия?

— Я хочу понять вас.

— Зачем?

— У меня есть на то причина. Но сейчас это не должно вас волновать.

— Что именно вы хотите понять?

Франциско молча смотрел в царившую за окном темноту. Зарево над заводами постепенно угасало. Осталась лишь слабая красная полоска у самого края земли, на фоне которой вырисовывались обрывки облаков, растерзанных бушующей в небе грозой. Смутные, расплывчатые очертания, исчезая, проносились в пространстве. Это были ветви деревьев, но казалось, что по небу металась ставшая зримой холодная ярость ветра.

— Эта ночь — сущий кошмар для любого животного, застигнутого грозой и не нашедшего убежища на равнине, — сказал Франциско Д'Анкония. — В такие минуты начинаешь понимать, что это такое — быть человеком.

Некоторое время Рearдэн молчал, затем с ноткой удивления в голосе сказал, словно отвечая самому себе:

— Забавно...

— Что?

— Вы произнесли то, о чем я думал всего несколько минут назад...

— Неужели?

— ...только я не мог до конца выразить это словами.

— Хотите, я скажу до конца?

— Давайте.

— Вы стояли и смотрели на грозу с величайшим чувством гордости, какое может испытывать человек, — потому что в эту ужасную ночь ваш дом полон летних цветов и

прекрасных полуобнаженных женщин, а это доказательство вашей победы над бушующей стихией. И если бы не вы, большинство присутствующих здесь были бы брошены беспомощными посреди голой равнины на милость бушующей стихии.

— Как вы догадались?

Одновременно с вопросом Реардэн осознал, что этот человек описал не его мысли, а его самое сокровенное, потаенное чувство; и он, который никогда и никому не сознался бы в своих чувствах, признал это своим вопросом. Он увидел, как в глазах Франциско промелькнули едва уловимые искорки.

— Что вы можете знать о такой гордости? — резко спросил Реардэн, словно презрение, прозвучавшее во втором вопросе, могло перечеркнуть доверие, которое было в первом.

— Когда-то я чувствовал то же самое. Я был тогда очень молод.

Реардэн взглянул на него. В лице Франциско не было ни насмешки, ни жалости к себе; изящные, точеные черты и чистые голубые глаза сохраняли полное спокойствие, — это было открытое лицо человека, готового принять любой Удар.

— Почему вам хочется говорить об этом? — спросил Реардэн, неохотно поддавшись мимолетному наплыву сочувствия.

— Скажем — из благодарности, мистер Реардэн.

— Из благодарности мне?

— Если вы ее примете.

— Я не просил благодарности. Я в ней не нуждаюсь, — сказал Реардэн ожесточившись.

— А я и не сказал, что вы нуждаетесь в ней. Но из всех, кого вы укрыли от сегодняшней грозы, кроме меня, вас никто не поблагодарит, если вы примете благодарность.

После минутного молчания Реардэн спросил:

— К чему вы клоните? — Его голос звучал низко, почти угрожающе.

— Я хочу привлечь ваше внимание к внутренней сути тех, ради кого вы работаете.

— И это говорит человек, который за всю свою жизнь и дня честно не проработал! — В презрительном тоне Реардэна прозвучало облегчение. Сомнения в правильности своего мнения о личности Д'Анкония несколько обезоружили его. Он вновь обрел уверенность в себе. — Вы все равно не поймете, если я скажу, что человек, работающий по-настоящему, делает это для себя и только для себя, даже если он тащит на своем горбу сотни таких трупней, как вы. Теперь я скажу вам, о чем вы думаете. Валяйте, скажите, что это порочно, что я эгоист, что я тщеславный, бессердечный, жестокий. Да, я такой. Только не надо мне заливать насчет труда во благо других. Я работаю только ради себя.

Впервые за все время он заметил, что Франциско отреагировал на его слова, — в его глазах появилась заинтересованность.

— Из всего сказанного вы не правы лишь в том, что позволяете называть это пороком. — Пока Реардэн в недоумении молчал, Франциско указал в сторону заполнившей гостиную толпы. — Почему вы готовы тащить их?

— Потому что они всего лишь кучка беспомощно барахтающихся младенцев, отчаянно цепляющихся за жизнь, в то время как я — я даже не замечаю их тяжести.

— А почему вы не скажете им это? — Что?

— Что вы работаете ради себя, не ради них.

— Они это знают.

— О да! Они знают. Каждый из них знает это. Но они думают, что вы этого не знаете. И все их усилия направлены лишь на одно — чтобы вы этого никогда не узнали.

— А какое мне дело до того, что они думают? Почему это должно меня беспокоить?

— Потому что это битва, в которой человек должен четко определить, на чьей он стороне.

— Битва? Какая битва? Я с безоружными не сражаюсь.

— Так ли они безоружны? У них есть оружие против вас. Это их единственное оружие, но оно ужасно. Подумайте как-нибудь, что это за оружие.

— Да? И в чем же, по-вашему, оно проявляется?

— Хотя бы в том, что вы так непростительно несчастны.

Рearдэн мог стерпеть любые упреки, нападки, осуждение, единственной неприемлемой для него реакцией была жалость. Приступ рвущегося наружу гнева вернул его к действительности. Он заговорил, стараясь не выдать обуревавших его чувств:

— Чего вы хотите? Чего добиваетесь?

— Скажем так, я хочу подсказать вам слова, которые в свое время вам понадобятся.

— Зачем вы говорите со мной на эту тему?

— В надежде на то, что вы запомните наш разговор.

Рearдэн понял, что источником его гнева был тот непостижимый факт, что он позволил себе получать удовольствие от этого разговора. У него возникло смутное ощущение измены, какой-то неведомой опасности.

— Неужели вы надеетесь, что я забуду, кто вы такой? — спросил он, понимая, что именно об этом и забыл.

— Я рассчитываю, что вы вообще не будете думать обо мне.

Кроме гнева Рearдэн испытывал еще одно чувство, в котором не признавался себе, о котором не думал и сущность которого не пытался определить; знал лишь, что это боль. Если бы он полностью осознал его, то понял бы, что все еще слышит голос Франциско, говорящий ему: «Кроме меня, вас никто не поблагодарит, если вы примете благодарность...» Рearдэн слышал эти слова, этот торжественный, тихий голос и свой необъяснимый ответ, словно что-то внутри него хотело закричать «да» и принять, сказать этому человеку, что он принимает, что он нуждается в этом, хотя он и сам не мог сказать, в чем нуждается, потому что это была не благодарность, и он знал, что Франциско тоже имел в виду совсем другое.

Вслух же он сказал:

— Я не искал возможности поговорить с вами. Вы сами попросили об этом, и теперь вам придется выслушать до конца. Для меня самое порочное существо — это человек без цели.

— Вы абсолютно правы.

— Я могу простить остальных, они не порочны, они просто беспомощны. Но вы — вам не было и нет прощения.

— Именно от греха всепрощения я и хотел предостеречь вас.

— У вас была блестящая возможность преуспеть в жизни. И что же вы с ней сделали? Если вы настолько умны, что понимаете все, что сказали, как у вас поворачивается язык разговаривать со мной? Как вы можете смотреть людям в глаза после ваших безответственных действий в Мексике?

— Вы вправе осуждать меня за это, если хотите.

Дэгни стояла рядом, по другую сторону окна, и слушала. Они не заметили ее. Она увидела их вдвоем и подошла, влекомая каким-то необъяснимым порывом, которому не в силах была противостоять. Ей очень важно было знать, о чем говорят эти двое.

Она услышала несколько последних фраз. Она никогда не думала, что когда-нибудь увидит, как Франциско безмолвно терпит трепку. В любой стычке он мог спокойно раздавить противника. Но он даже не пытался защищаться. Дэгни понимала, что это не было безразличием.

Она слишком хорошо знала Франциско, чтобы не заметить по его лицу, чего ему стоило спокойствие.

— Из всех живущих за чужой счет вы — самый большой паразит, — сказал Рearдэн.

— У вас есть основания для такого мнения.

— Тогда по какому праву вы рассуждаете о том, что значит быть человеком? Вы, предавший человека в себе?

— Мне очень жаль, если я оскорбил вас тем, что вы по праву можете счесть необоснованными притязаниями. — Франциско поклонился и повернулся, собираясь уйти.

— А что вы хотели понять во мне? — спросил Рearдэн. Это вырвалось у него непроизвольно, он не осознавал, что этим вопросом начисто перечеркнул свой гнев и

негодование, что это всего лишь предлог, чтобы остановить, удержать этого человека.

Франциско обернулся. Его лицо по-прежнему выражало учтивость и искреннее уважение.

— Все, что мне было нужно, я понял, — ответил он. Реардэн стоял и смотрел вслед Франциско, пока тот не смешался с толпой гостей. Дворецкий с хрустальным блюдом в руке и доктор Притчет, нагнувшийся над очередным канапе, убрали Франциско из виду. Реардэн посмотрел в окно, но ничего не увидел. В царившей за окном тьме слышалось лишь завывание ветра.

Когда он отошел от окна, к нему подошла Дэгни. Она улыбнулась, открыто вызывая его на разговор. Он остановился. Ей показалось, что он сделал это неохотно. Чтобы нарушить молчание, она поспешно заговорила:

— Хэнк, почему здесь сегодня так много интеллигентов с наклонностями бандитов? Я бы не пустила их и на порог своего дома.

Она заметила, как сузились его глаза, — так сужается просвет, когда закрывается дверь.

— Я не вижу особых оснований не приглашать их, — холодно ответил он.

— Я вовсе не собираюсь критиковать выбор гостей, но... Я не пыталась выяснить, кто из них Бертрам Скаддер. Если узнаю, влеплю ему пощечину. — Она старалась держаться непринужденно. — Не хотелось бы устраивать сцену, но боюсь, мне будет трудно держать себя в руках. Я не поверила своим ушам, когда мне сказали, что миссис Реардэн пригласила его.

— Это я пригласил его.

— Но... почему? — Голос ее дрогнул.

— Я не придаю особого значения подобного рода приемам.

— Извини, Хэнк. Я не знала, что ты настолько терпим. О себе я этого сказать не могу.

Он промолчал.

— Я знаю, что ты не любишь званые вечера. Я тоже их не люблю. Но знаешь, Хэнк, мне иногда кажется, что только мы и можем по-настоящему получать от них удовольствие.

— Боюсь, у меня нет таких способностей.

— Неужели ты думаешь, что кто-то из них действительно наслаждается всем этим? Они всего лишь пытаются быть еще более бездумными, чем обычно. Быть раскованными и несерьезными. Мне же кажется, что человек может чувствовать себя легко, раскованно и непринужденно, лишь когда осознает свою важность и значимость.

— Я не знаю.

— Просто эта мысль иногда беспокоит меня... Со времени моего первого бала... Я по-прежнему уверена, что прием должен быть праздником, торжеством, а праздники должны быть у тех, кому есть что праздновать.

— Я никогда не думал об этом.

Дэгни никак не могла свыкнуться с его холодной официальностью, никак не могла подобрать нужные слова. Она не верила своим глазам. У него в кабинете они всегда чувствовали себя непринужденно друг с другом. Сейчас же на него словно надели смирительную рубашку.

— Хэнк, только представь себе! Как прекрасно было бы здесь, если бы мы не знали никого из этих людей! Краски, наряды... А сколько понадобилось воображения, чтобы все это было так...

Дэгни разглядывала гостиную. Он смотрел вниз, на тени на ее обнаженном плече, мягкие голубые тени от света, пробивавшегося сквозь пряди ее волос.

— Зачем мы отдали все это глупцам? Это должно принадлежать нам.

— Но каким образом?

— Не знаю. Я почему-то всегда думала, что праздники должны быть чем-то возбуждающим, ослепительным, как изысканное вино. — Она рассмеялась. В ее смехе прозвучали нотки грусти. — Но я не пью. Это лишь еще один символ, не означающий того, что призван означать.

Реардэн молчал.

— Может быть, мы что-то упустили? .

— Может быть. Я не знаю.

Дэгни вдруг ощутила пустоту и обрадовалась, что он не понял ее. Она смутно осознавала, что наговорила лишнего, во многом призналась, хотя и не знала точно, в чем именно. Она нервно пожала плечами.

— Это всего лишь мое давнее наваждение, — сказала она безразличным тоном. — На меня изредка находит. Раз или два в год. Но достаточно мне взглянуть на последний преysкурant на сталь, как я начисто забываю об этом.

Когда Дэгни отошла, Реардэн смотрел ей вслед. Но она этого не знала.

Ни на кого не глядя, она медленно шла по гостиной. Она заметила небольшую группу гостей, сидевших у неразожженного камина. В комнате не было холодно, но они собрались у камина, словно греясь у несуществующего огня.

— Не знаю, что со мной происходит, но я начинаю бояться темноты. Нет, не сейчас, только когда я одна. Меня пугает ночь. Ночь как таковая, — сказала пожилая старая дева с выражением полной беспомощности.

Рядом сидели еще три женщины и двое мужчин. Они были хорошо одеты, кожа на их лицах была гладкой и ухоженной, но держались они с опаской и настороженностью, разговаривая на тон ниже, чем обычно. От этого разница в их возрасте начисто стерлась. Они все выглядели какими-то поношенными. Дэгни остановилась и прислушалась.

— Но, дорогая моя, почему вас это пугает? — спросил кто-то.

— Не знаю, — продолжала старая дева. — Я не боюсь ни воров, ни бандитов. Но я не могу уснуть всю ночь. Засыпаю лишь на рассвете. Это очень странно. Каждый вечер, когда начинает темнеть, у меня появляется чувство, что это навсегда, что солнце больше не взойдет.

— Моя кузина живет на побережье, в штате Мэн. В своих письмах она пишет то же самое, — сказала одна из женщин.

— Прошлой ночью, — сказала старая дева, — я никак не могла уснуть из-за канонады. Где-то в море всю ночь палили пушки. Я не видела никаких вспышек, лишь слышала выстрелы, которые изредка гремели в тумане где-то над Атлантикой.

— Я читал в сегодняшних утренних газетах, что это были учения корпуса береговой охраны.

— Да какие там учения, — безразлично произнесла старая дева. — Все на побережье прекрасно знают, что это было. Береговая охрана опять гонялась за Рагнармом Даннешильдом.

— Рагнар Даннешильд — в заливе Делавэр?

— Да. И не в первый раз.

— Его поймали?

— Нет.

— Никто не может его поймать, — сказал один из мужчин.

— Народная Республика Норвегия объявила вознаграждение в миллион долларов за его голову.

— Не многовато ли за голову пирата?

— Но откуда же возьмется порядок и о какой безопасности в мире или планах на будущее можно говорить, если этот пират спокойно разгуливает по морям и океанам?

— А вы знаете, что он захватил прошлой ночью? — сказала старая дева. — Огромное судно с гуманитарной помощью, которую мы посылали Народной Республике Франция.

— А как он сбывает захваченные товары?

— Этого никто не знает.

— Я как-то разговаривал с одним матросом. Их судно было захвачено пиратами. Он видел Рагнара Даннешильда. Матрос рассказывал, что у него огненно-рыжие волосы и самое ужасное лицо, какое он когда-либо видел. Абсолютно бесчувственное. Он сказал, что если и

есть на свете человек без сердца, то это Рагнар Даннешильд.

— Мой племянник однажды ночью видел пиратский корабль у берегов Шотландии. Он писал мне, что не поверил своим глазам. Корабль пиратов намного лучше, чем любой в военно-морском флоте Народной Республики Великобритания.

— Говорят, он прячется в одном из фиордов Норвегии, где ни Бог, ни человек его не отыщут. В средние века там прятались викинги.

— Народные республики Португалия и Турция тоже объявили вознаграждение за его голову.

— Говорят, что в Норвегии это настоящий национальный скандал. Даннешильд происходит из одного из самых знаменитых семейств страны. Их род давно обеднел, но у него самые что ни на есть благороднейшие корни. В Норвегии до сих пор сохранились руины их фамильных замков. Его отец епископ. Он отрекся от сына и отлучил его от церкви. Но это ничего не изменило.

— А вы знаете, что Рагнар Даннешильд учился в США? Он выпускник Университета Патрика Генри.

— Да что вы говорите! Не может быть.

— Да. Можете навести справки, если не верите.

— Знаете, что меня тревожит? Мне очень не нравится, что он появился в наших водах. Я думал, такое может твориться только в Европе. Но чтобы в наши дни этот разбойник появился в заливе Делавэр!

— Его видели и в Нантукете, и в бухте Бар. Газетам запретили писать об этом.

— Почему?

— Не хотят, чтобы люди знали, что военно-морской флот не может справиться с ним.

— Мне это не нравится. Это просто смешно. Просто средневековое какое-то.

Дэгни подняла глаза и увидела Франциско Д'Анкония, стоявшего в стороне в нескольких шагах от нее. Он насмешливо смотрел на нее с подчеркнутым вниманием.

— Мы живем в каком-то странном мире, — сказала старая дева низким голосом.

— Я читала одну статью. В ней говорилось, что трудные времена нам на пользу и хорошо, что люди беднеют, потому что терпеливо переносят лишения — добродетель, — сказала одна из женщин.

— Пожалуй, это верно, — неуверенно заметила другая.

— Нам не следует волноваться. Я слышала одну речь, оратор говорил, что нет смысла беспокоиться или кого-либо обвинять. Человек не в силах противостоять своим побуждениям, таким уж его сотворила природа. От нас ничего не зависит. Мы не в силах ничего изменить. Мы должны лишь научиться терпеть.

— Все равно что толку? Что такое судьба человека? Надежды, которым не суждено сбыться. Так было всегда. Мудрый человек — это тот, кто даже не пытается надеяться.

— Вот это правильный подход.

— Не знаю... Я больше не знаю, что правильно, а что нет... Откуда мы можем это знать?

— Да. Кто такой Джон Галт?

Дэгни резко повернулась и отошла. Одна из женщин последовала за ней.

— Но я-то знаю, — сказала она тихим и загадочным голосом, словно посвящая Дэгни в великую тайну.

— Что вы знаете?

— Я знаю, кто такой Джон Галт.

— Знаете? — резко произнесла Дэгни и остановилась.

— Я знаю человека, который был лично знаком с Джоном Галтом. Этот человек — старый друг моей двоюродной бабушки. Он был там и видел, как все произошло. Мисс Таггарт, вы знаете легенду об Атлантиде?

— О чем?

— Об Атлантиде.

— Знаю, правда, не очень хорошо. А что?

— Острова блаженных. Так тысячи лет назад называли их греки. Они полагали, что в Атлантиде в тайне от остального мира счастливо обитают души героев. Попасть туда могли лишь души храбрецов и героев, и попадали они туда не умирая, потому что уносили с собой тайну жизни. Уже тогда Атлантида была потеряна для человечества. Но греки знали, что она существует. Они пытались отыскать ее. Некоторые из них говорили, что она под землей, в самом сердце планеты. Но большинство верило, что Атлантида — остров. Сияющий остров в океане на западе. Может быть, то, что они называли Атлантидой, была Америка. Они так и не нашли ее. Столетия спустя люди решили, что это всего лишь легенда. Они не верили в Атлантиду, но все время искали ее, потому что знали, что найти ее надо непременно.

— А при чем здесь Джон Галт?

— Он нашел ее.

Дэгни утратила всякий интерес к разговору.

— Кто он был такой?

— Джон Галт был миллионером. Он был сказочно богат. Однажды ночью, пересекая на своей яхте просторы Атлантики, он попал в страшный шторм. Тогда-то он и нашел ее. В глубине океана он увидел остров, который затонул, став недостижимым для людей. Он увидел сиявшие на дне океана башни Атлантиды. Это было зрелище, однажды взглянув на которое, человеку больше не хотелось видеть остальной мир. Джон Галт затопил свой корабль и пошел ко дну вместе со всей командой. Они сделали это добровольно. Мой друг был единственным человеком, который спасся.

— Как интересно.

— Мой друг видел все это собственными глазами, — обиделась женщина. — Это случилось много лет назад, но семье Джона Галта удалось замять эту историю.

— А что случилось с его состоянием? Я никогда в жизни не слышала о состоянии Джона Галта.

— Оно затонуло вместе с ним, — вызывающе ответила женщина. — Хотите верьте, хотите нет, мисс Таггарт.

— Мисс Таггарт не верит вам, — сказал Франциско Д'Анкония. — А вот я верю.

Женщины обернулись. Он шел за ними и все слышал, а сейчас стоял и с подчеркнутой и даже несколько вызывающей серьезностью смотрел на них.

— Вы вообще когда-нибудь во что-нибудь верили, сеньор Д'Анкония? — сердито спросила женщина.

— Нет, мадам.

Женщина тотчас же отошла в сторону. Франциско рассмеялся.

— Ив чем же соль шутки? — холодно спросила Дэгни.

— В глупости этой женщины. Она даже не подозревает, что сказала тебе правду.

— И ты думаешь, я поверю этому?

— Нет.

— Тогда что же ты находишь столь забавным?

— О, я вижу здесь сегодня много забавного. А ты что, не видишь?

— Нет.

— Вот как раз это я и нахожу забавным — в числе прочего.

— Франциско, оставь меня, пожалуйста, в покое.

— А я что, навязываюсь тебе? Разве ты не заметила, что первая заговорила со мной сегодня?

— Почему ты все время следишь за мной?

— Из любопытства.

— И что же тебя интересует?

— Твоя реакция на вещи, которые ты не находишь забавными.

— Какое тебе дело, как я на них реагирую?

— Это один из моих способов хорошо проводить время. Мне весело, чего, кстати, не

скажешь о тебе, Дэгни. Или я не прав? К тому же ты здесь единственная женщина, на которую приятно посмотреть.

И он посмотрел на нее так, что ей следовало бы рассердиться и уйти. Но она стояла неподвижно, тем самым бросая ему вызов. Она стояла в своей обычной позе — выпрямившись, высоко подняв голову, в неженственной позе руководителя. Но обнаженное плечо выдавало хрупкость скрытого под черным платьем тела, и поэтому ее поза придавала ей истинную женственность. Ее гордая сила как бы бросала вызов силе еще большей, а хрупкость напоминала о возможности поражения. Она этого не осознавала. Она не знала никого, кто смог бы это увидеть.

Глядя на нее, Франциско сказал:

— Дэгни, какое бесполезное великолепие!

Ей ничего не оставалось, как повернуться и поспешно уйти. Впервые за многие годы она почувствовала, что краснеет, — краснеет потому, что вдруг поняла: Франциско выразил словами то, что она ощущала весь вечер.

Она почти бежала, стараясь ни о чем не думать. Ее остановила музыка. Это были звуки, внезапно донесшиеся из радиоприемника. Она заметила, как Морт Лидди, включивший его, замахал руками, подзывая своих друзей и выкрикивая: «Вот она! Вот она! Я хочу, чтобы вы послушали».

Величественный всплеск звуков был прелюдией из Четвертого концерта Хэйли. Звук нарастал в мучительном триумфе, выражая отрицание боли, гимн далекому видению. Потом мелодия оборвалась. В музыку словно швырнули пригоршню бульжников, смешанных с грязью, затем раздался звук перекатывающихся камней и капающей воды. Это был концерт Хэйли, переделанный в популярный мотивчик. Возвышенная радость превратилась в пошлое кабацкое веселье. И все же именно следы музыки Хэйли придавали форму этой мелодии, поддерживая ее, словно спинной хребет.

— Неплохо, да? — хвастливо сказал Морт Лидди, нервно улыбаясь. — Очень даже недурно, да? Лучшая киномузыка года. Премия на фестивале и долгосрочный контракт. Это ведь моя музыка к фильму «Рай в твоём саду».

Дэгни стояла, обводя взглядом гостиную, словно ее вид должен был стереть в сознании звуки мелодии. Она медленно озиралась в поисках убежища и вдруг увидела Франциско, который стоял, прислонившись к колонне и скрестив руки на груди. Он смотрел ей прямо в глаза и смеялся.

Не дрожи так, подумала Дэгни. Уходи отсюда. Ее захлестывал гнев, который она была не в силах сдержать. Не говори ничего. Иди спокойно. И уходи, уходи отсюда, говорила она себе.

Дэгни пошла к выходу. Она двинулась медленно и осторожно, но услышала слова Лилиан и остановилась. За вечер Лилиан повторила это уже множество раз в ответ на один и тот же вопрос, но Дэгни услышала ее слова впервые.

— Это? — говорила Лилиан, выставив руку с металлическим браслетом на обозрение двум холеным дамам. — Почему же, нет. Это не из скобяной лавки, это особо ценный подарок моего мужа. О да, я понимаю, он ужасен. Но видите ли, по идее этот браслет просто бесценен. Конечно, я охотно поменяла бы его на обыкновенный бриллиантовый, но почему-то мне никто этого не предлагает, хотя ему цены нет. Почему? Дорогая моя, это первая вещь, сделанная из металла Реардэна.

Дэгни больше не видела и не слышала ничего вокруг. Она чувствовала, как гробовая тишина давит ей на барабанные перепонки. Она утратила чувство времени. Сейчас она не осознавала никого: ни себя, ни Лилиан, ни Реардэна — и не осознавала смысла своего поступка. Это было мгновение, вырванное из времени. Она видела лишь браслет из зеленовато-голубого металла.

Дэгни сорвала со своей руки бриллиантовый браслет и услышала свой спокойно-ледяной, лишенный эмоций голос, прозвучавший в мертвой тишине:

— Если вы смелее, чем мне представляется, вы поменяетесь со мной.



Она протянула свой бриллиантовый браслет Лилиан.

— Мисс Таггарт, вы что, шутите? — сказал женский голос.

Говорила не Лилиан. Лилиан смотрела прямо в глаза Дэгни и понимала, что та говорила серьезно.

— Дайте мне этот браслет, — сказала Дэгни, подняв руку выше. Бриллиантовый браслет заискрился под лучами света.

— Это просто возмутительно! — выкрикнула какая-то женщина. Ее голос прозвучал необыкновенно резко.

Дэгни наконец осознала, что вокруг стоят люди и что все они молчат. Теперь она слышала звуки, даже музыку: откуда-то издалека доносился изувеченный концерт Хэйли.

Она заметила Реардэна. У него было такое лицо, словно в душе его тоже что-то исковеркано, как и музыка, но она не могла понять что. Он наблюдал за ними.

Лилиан изобразила на лице жалкое подобие улыбки. Она сняла браслет, положила его на ладонь Дэгни и взяла бриллианты.

— Спасибо, мисс Таггарт, — сказала она.

Дэгни сжала в ладони металлические звенья. Она чувствовала только их, больше ничего.

Лилиан обернулась — к ней подошел Реардэн. Он взял бриллиантовый браслет, надел его на запястье жены, поднес ее руку к губам и поцеловал.

На Дэгни он даже не взглянул.

Лилиан засмеялась. Засмеялась весело и непринужденно. Это разрядило обстановку и вернуло все на свое место.

— Мисс Таггарт, когда передумаете, можете его забрать, — сказала Лилиан.

Дэгни отвернулась. Она чувствовала себя спокойной и раскованной. Ее больше ничто не угнетало. Желание уйти исчезло.

Она застегнула браслет на запястье. Ей нравилось ощущать его тяжесть. Она вдруг почувствовала женское тщеславие, которого раньше никогда за собой не замечала: ей хотелось, чтобы все увидели ее с этим украшением на руке.

До нее доносились возмущенные голоса: «В жизни не видела такого оскорбительного поступка... Это просто возмутительно... Лилиан правильно сделала, что поймала ее на слове и взяла этот браслет. Так ей и надо, раз вздумалось выбросить несколько тысяч долларов».

Остаток вечера Реардэн не отходил от жены. Он участвовал в ее разговорах, смеялся вместе с ее друзьями. Он вдруг превратился во внимательного, любящего мужа, который восхищается своей женой. Дэгни подошла к нему, когда он пересекал гостиную, держа в руках поднос с бокалами, — кому-то из гостей захотелось выпить. Такого рода «неформальный» жест был для него чрезвычайно нехарактерен и очень ему не шел.

Она остановилась и посмотрела на него так, словно они были у него в кабинете. Она стояла с высоко поднятой головой, в позе руководителя. Он посмотрел на нее. Его взгляд скользнул от кончиков пальцев Дэгни до ее лица, но он видел только свой браслет на ее руке.

— Извини, Хэнк, но я вынуждена была так поступить, — сказала она.

Его взгляд ничего не выражал, но ей вдруг стало предельно ясно, что он чувствует. Она была уверена, что ему хочется дать ей пощечину.

— В этом не было необходимости, — холодно ответил он и пошел дальше.

Когда Реардэн вошел в спальню жены, было уже очень поздно. Лилиан еще не спала. На ночном столике горел свет.

Она лежала в кровати, обложенная подушками в бледно-зеленых льняных наволочках. На Лилиан была пижама из бледно-зеленого атласа, которая сидела на ней с безупречностью, которую можно увидеть лишь на манекене в витрине магазина. Свет затемненной лампы напоминал цветущую яблоню, он падал на столик, где стоял стакан с фруктовым соком, лежала книга и серебряные туалетные принадлежности, блестевшие как хирургические инструменты. Кожа рук Лилиан была фарфорово нежна. На губах блестели остатки бледно-

розовой помады. Глядя на Лилиан, никак нельзя было сказать, что вечер утомил ее, — в ней настолько отсутствовали признаки жизни, что и утомляться было нечему. Спальня напоминала композицию из модного журнала: дама отходит ко сну, и тревожить ее нельзя.

Реардэн был по-прежнему в смокинге, но он ослабил галстук, и прядь волос свисала ему на лицо. Она посмотрела на него без тени удивления, словно прекрасно знала, как отразился на нем последний час, проведенный в своей комнате.

Он молча смотрел на нее. Он уже давно не заходил к ней в спальню и сейчас сожалел, что вошел.

— Разве в таких случаях не полагается немного побеседовать, Генри?

— Если хочешь.

— Ты не мог бы прислать кого-нибудь из своих гениальных экспертов, чтобы он проверил нашу печь? Она погасла во время приема, и бедный Саймоне намаялся, пока сумел ее растопить. Миссис Вестон сказала, что лучшее, что у нас есть, — это повар, ей очень понравились закуски... Боуль Юбенк очень забавно отозвался о тебе. Он сказал, что ты крестonosец, шлем которого украшают не перья, а дым, валяющийся из заводской трубы... Я рада, что тебе не понравился Франциско Д'Анкония. Я его терпеть не могу.

Он совсем не думал о том, как объяснить свой приход, не знал, скрыть свое поражение или признать его, уйдя из спальни. Ему вдруг стало совершенно безразлично, что она могла подумать или почувствовать. Он подошел к окну и стоял, глядя на улицу.

«Почему она вышла за меня замуж?» — думал он. Восемь лет назад, в день их свадьбы, он не задавался этим вопросом. С тех пор, чувствуя мучительное одиночество, он спрашивал себя об этом множество раз, но так и не нашел ответа.

Она вышла за него не ради положения в обществе и не ради денег. Семья Лилиан имела и то и другое. Правда, их фамилия не значилась среди самых знаменитых и состояние было довольно скромным, но все же этого было вполне достаточно для того, чтобы открыть ей доступ в высшее общество Нью-Йорка, где Реардэн и встретил ее. Девять лет назад его появление в Нью-Йорке было подобно взрыву бомбы. Он появился озаренный блестящим успехом «Реардэн стал», тогда как лучшие эксперты считали этот успех невозможным. Именно его безразличие и равнодушие стали причиной столь пристального внимания к нему. Он не знал, что в высших кругах полагали, что он захочет купить себе доступ в высший свет, и предвкушали удовольствие, которое они получат, отвергнув его. У Реардэна не было времени заметить, как сильно он их разочаровал.

Он нехотя посетил несколько приемов, на которые его приглашали люди, стремившиеся заручиться его доверием и завоевать его расположение. Он не знал, но они знали, что его учтивая вежливость была просто снисходительностью к людям, которым полагалось бы смотреть на него свысока, к людям, которые твердили, что время великих свершений давно миновало.

Его привлекла строгость Лилиан, — вернее, несоответствие между строгостью ее характера и ее поведением. Ему никогда никто не нравился, и он в свою очередь не рассчитывал кому-нибудь понравиться. Его внимание привлекла женщина, которая явно преследовала его, но со столь явной неохотой, словно это происходило помимо ее воли, словно она боролась с желанием, внушавшим ей отвращение. Именно она назначала ему свидания, а затем встречала его с холодком, словно ей было безразлично, как он к этому относится. Говорила она мало и казалась загадочной; это словно подсказывало ему, что он никогда не сможет преодолеть ее горделивое отчуждение. И в то же время в ней было что-то веселое, насмехавшееся над его и ее собственной страстью.

В жизни Реардэна было мало женщин. Он шел к своей цели, отмечая все, что не имело к ней отношения, — как в окружающем мире, так и в себе самом. Преданность работе была пламенем, с которым он привык иметь дело, огнем, который сжигал все незначительное, всякую примесь, попадавшую в поток чистого расплавленного металла. Ни до чего другого ему не было дела. Но иногда его охватывало желание, желание настолько неистовое и страстное, что он не мог совладать с ним. Несколько раз за долгие годы он поддавался ему,

поддавался с женщинами, которые, как он думал, были ему небезразличны. Но потом чувствовал лишь пустоту, — ему хотелось вкусить сладость победы, хотя он и не знал, какой именно, а он получал лишь готовность разделить с ним мимолетное удовольствие и прекрасно осознавал, что победы его лишены смысла. У него не было ощущения, что он что-то приобрел, лишь чувство собственного падения. Он стал ненавидеть свое желание. Пытался подавить его. Он начал верить, что желание имеет чисто физиологическую природу, — жаждет не сознание, а плоть, — и восстал против мысли, что его плоть может свободно выбирать и этот выбор не подвластен воле его разума. Он провел жизнь на рудниках и заводах, придавая материи форму, которая ему была нужна. Он делал это с помощью силы своего разума, и для него была невыносима мысль, что он не может подчинить разуму материю собственного тела. Он выигрывал все сражения с неживой природой, но эту битву он проиграл.

Он хотел Лилиан потому, что она казалась недоступной. Она казалась женщиной, достойной пьедестала и знающей это. Именно поэтому Реардэну хотелось стащить ее вниз, к себе в постель. «Стащить ее вниз» — эти слова все время вертелись у него в голове. От этих слов он получал какое-то непонятное удовольствие, в них заключался смысл победы, которая стоила того, чтобы ее одержать.

Он не мог понять, считая это каким-то необъяснимым противоречием, признаком своей скрытой внутренней порочности, почему вместе с тем он гордился собой при мысли о том, что избранная им женщина будет называться его женой. Это было высокое и светлое чувство, словно, обладая женщиной, он хотел оказать ей великую честь. Лилиан как будто соответствовала тому образу, который он, сам того не сознавая, вообразил, но он не знал, что ищет именно это. Он видел в ней изящество, гордость, чистоту. Тогда он не знал, что видит в ней лишь собственное отражение.

Он вспомнил день, когда Лилиан приехала из Нью-Йорка в его офис, — приехала сама и попросила показать ей завод. Он слышал нотки восхищения в ее голосе, когда она, осматриваясь вокруг, расспрашивала его о работе. Он смотрел на ее грациозную фигуру, освещенную вырывающимися из печи огненными вспышками, смотрел, как она легко и быстро шагала рядом с ним на своих высоких каблуках мимо груд шлака. Когда она смотрела на текущую расплавленную массу, ее лицо словно выражало чувство, которое испытывал он сам и которое теперь мог наблюдать со стороны. Когда она взглянула на него, он увидел в ее глазах то же выражение, но еще более сильное, отчего она казалась совершенно беспомощной и покорной. В тот вечер, за ужином, он сделал ей предложение.

Вскоре после свадьбы он признался самому себе, что их брак — это пытка. Он хорошо помнил тот вечер, когда сказал себе, что заслужил эту муку и будет безропотно терпеть ее. В тот вечер он стоял у кровати и смотрел на жену. Вены на его запястьях судорожно вздулись. Лилиан не смотрела на него. Она расчесывала волосы. «Можно мне теперь уснуть?» — спросила она.

Лилиан никогда ни в чем не противилась ему, ни разу в чем не отказала. Она отдавалась ему всегда, когда он этого хотел. Она подчинялась ему, словно считала, что иногда просто обязана превратиться в неодушевленный предмет, которым пользуется ее муж.

Она не осуждала его. Она ясно дала понять, что принимает как должное тот факт, что мужчинам свойственны низменные инстинкты и желания, которые составляют скрытую, уродливую сторону брака. Была снисходительно терпима. Насмешливо и брезгливо улыбалась при виде той неистовой страсти, которая охватывала его во время близости. «Это самое недостойное занятие, которое я знаю, — сказала она однажды, — но я никогда не питала иллюзий относительно того, что мужчины чем-то отличаются от животных».

Его страсть к ней умерла в первую же неделю после свадьбы, осталась лишь потребность, против которой он был бессилен. Он никогда в жизни не был в публичном доме, но иногда ему казалось, что презрение к себе, которое он испытал бы, войдя туда, было бы под стать чувству, которое он испытывал, когда, не устояв перед желанием, входил в

спальню жены.

Часто он заставлял ее читающей. Она откладывала книгу в сторону, заложив страницу белой ленточкой. Когда он, обессилив, лежал с закрытыми глазами и судорожно дышал, она включала свет, открывала книгу и спокойно продолжала читать.

Он говорил себе, что заслужил эти мучения, потому что ему хотелось больше никогда не прикасаться к ней, но он был не в силах следовать своему решению. Он презирал себя за это. Он презирал эту потребность, в которой не осталось и тени радости или смысла, которая стала лишь потребностью в женском теле — чужом теле, принадлежавшем женщине, о которой он обязан был забыть, обнимая это тело. Он пришел к убеждению, что эта потребность глубоко порочна.

Он не осуждал Лилиан. Он испытывал к ней холодно-равнодушное уважение. Ненавидя свое желание, он уверовал в то, что чистая женщина — это женщина, неспособная получать физическое наслаждение.

Все мучительные годы своего брака Реардэн не позволял себе даже мысли о супружеской измене. Он дал себе слово и решил держать его. Это не было верностью Лилиан. Не личность Лилиан он хотел защитить от бесчестия — личность своей жены.

Сейчас, стоя у окна, он думал об этом. Он не хотел входить в ее спальню. Он сопротивлялся этому. Но еще яростнее он пытался подавить в себе осознание причины, по которой сегодня был не в силах одолеть искушение. Увидев Лилиан, он вдруг понял, что даже не прикаснется к ней, — не прикаснется по той же причине, по которой пришел в ее спальню.

Он стоял неподвижно, чувствуя себя свободным от желания, чувствуя облегчение от осознания равнодушия к собственной плоти, к этой комнате, даже к своему присутствию в ней. Он отвернулся, чтобы не видеть целомудренной чистоты Лилиан. Он думал, что должен испытывать к ней уважение, но ощутил отвращение.

— ...доктор Притчет сказал, что наша культура гибнет потому, что наши университеты вынуждены зависеть от подачек мясников, сталеваров и хлебопеков...

«Почему она вышла за меня замуж?» Этот чистый, звонкий голос звучал не случайно. Лилиан знала, почему он пришел. Знала, каково ему будет, когда он увидит, как она возьмет серебряную пилочку и, продолжая весело болтать, начнет полировать ногти. Она говорила о вечере, не упоминая Бертрама Скаддера или Дэгни Таггарт.

К чему она стремилась, выходя за него замуж? Он чувствовал, что она руководствовалась холодным расчетом, но не видел, в чем ее можно обвинить. Она никогда не пыталась использовать его. Ничего от него не требовала. Ее не интересовал престиж, основанный на индустриальной мощи, она пренебрегала им и предпочла собственный круг друзей. Деньги ее тоже не интересовали. Она тратила мало и была абсолютно равнодушна к той роскоши, которую он мог бы ей позволить.

Он был не вправе осуждать ее, и у него никогда не было никаких оснований для расторжения брака. Она была честной женщиной. От него ей не нужно было ничего материального.

Он повернулся и устало посмотрел на нее:

— В следующий раз, когда будешь устраивать прием, приглашай лишь людей своего круга. Не нужно приглашать тех, кого ты считаешь моими друзьями. Я не хочу встречаться с ними в обществе.

Довольная его словами, Лилиан удивленно рассмеялась:

— Целиком разделяю твои чувства, дорогой.

*Он вышел из спальни*, не прибавив ни слова.

Чего она от него хотела? Чего добивалась? В том мире, в котором жил Реардэн, на этот вопрос не было ответа.

## Глава 7

### Эксплуататоры и эксплуатируемые

Рельсы сквозь скалы тянулись к нефтяным вышкам, а вышки тянулись к небесам. Дэгни стояла на мосту и смотрела на вершину холма, где лучи солнца падали на самый верх вышки. Металлический отблеск походил на белый факел.

К весне, думала она, эта дорога состыкуется с линией, которую тянут от Шайенна. Она смотрела на зеленовато-голубые рельсы, которые спускались от вышек вниз через мост и уходили дальше. Она повернула голову и посмотрела вдаль, куда на многие километры вперед, извиваясь вдоль подножия гор, уходила новая железная дорога. В самом конце строящейся линии, словно рука с оголенными костями и нервами, на фоне неба возвышался кран.

Мимо Дэгни проехал груженный зеленовато-голубыми болтами тягач. Снизу мерной дрожью отдавался звук работающих отбойных молотков. Это рабочие, раскачиваясь на металлических тросах, срезали выступ скалы на стене каньона, чтобы укрепить опоры моста. Вниз по полотну рабочие укладывали шпалы. Стоя на мосту, она могла различить, как напряжены их мышцы.

— Мышцы, мисс Таггарт — вот все, что нужно, чтобы построить что угодно, — сказал Бен Нили, ее подрядчик.

Похоже, таких подрядчиков, как Макнамара, в мире больше не осталось. Дэгни наняла Бена Нили, потому что не смогла найти никого лучше. Никому из инженеров «Таггарт трансконтинентал» нельзя было доверить руководство работами. Все они относились к новому металлу весьма скептически.

— Мисс Таггарт, я буду с вами откровенен. Поскольку этот эксперимент проводится впервые, я считаю, что взваливать на меня ответственность за него просто несправедливо, — сказал главный инженер.

— Вся ответственность на мне, — ответила Дэгни. Главному инженеру было уже за сорок. Он закончил колледж и до сих пор сохранил шумные студенческие повадки. В свое время главным инженером в «Таггарт трансконтинентал» был молчаливый, седоволосый мужчина. Он был самоучкой, но равных ему не было ни на одной железной дороге. Он уволился пять лет назад.

Дэгни посмотрела вниз. Она стояла на мосту, под которым простиралась бездна глубиной в полторы тысячи футов. На дне каньона она различила смутные очертания высохшего русла реки, кучи валунов и искореженных деревьев. Она спрашивала себя, достаточно ли одних мышц, камней и стволов, чтобы перекинуть мост через этот каньон. И неожиданно для самой себя подумала о том, что давным-давно на его дне столетиями жили голые дикари.

Она посмотрела на нефтяные вышки Вайета. Железнодорожный путь расходился на множество веток, которые вели к нефтяным скважинам. Она видела маленькие кружочки железнодорожных стрелок, точками выделявшиеся на снегу. Это были металлические стрелки такого же типа, как и те, что тысячами разбросаны по всей стране, не привлекая к себе никакого внимания. Но эти стрелки сверкали на солнце зеленовато-голубыми отблесками. Для нее эти отблески означали долгие часы уговоров, терпеливые попытки переубедить мистера Моуэна, президента Объединенной компании по производству железнодорожных стрелок и сигнальных систем из штата Коннектикут.

— Но, мисс Таггарт, дорогая мисс Таггарт! Моя компания находила общий язык с несколькими поколениями вашей семьи. Ваш дед был первым клиентом моего деда, поэтому у вас нет оснований сомневаться в нашей готовности сделать для вас что угодно, но... вы сказали — стрелки из металла Реардэна?

— Да.

— Но, мисс Таггарт, только подумайте, во что обойдется нам работа с этим металлом. Вы знаете, что для выплавки нужна температура не ниже двух с половиной тысяч градусов? Как вы сказали — здорово? Может быть, это здорово для тех, кто производит двигатели, для меня же это означает новую конструкцию печи, абсолютно новую технологию, рабочих,

которых нужно обучить, срыв производственного графика, — словом, полную неразбериху, и один Господь знает, что из всего этого выйдет... Откуда вы знаете, мисс Таггарт? Откуда вы знаете, если этого до вас никто не делал?.. Я не могу сказать, что этот металл хорош, и не могу утверждать обратного... Нет, я не знаю, что это: гениальное изобретение или очередное мошенничество, как заявляют многие, мисс Таггарт, очень многие. Нет, кто что говорит, для меня ничего не решает, но я не могу рисковать, взявшись за такую работу.

Она удвоила стоимость своего заказа. Реедэн откомандировал двух специалистов-металлургов, чтобы обучить рабочих Моуэна, показать, объяснить каждый шаг всего технологического процесса. Он же платил жалование рабочим Моуэна, пока те учились.

Она посмотрела на костыли, крепившие рельсы к шпалам, и вспомнила тот день, когда узнала, что компания «Саммит кастинг» из штата Иллинойс, единственная компания, которая взялась изготовить костыли из металла Реедэна, обанкротилась, выполнив лишь половину заказа. Той же ночью она вылетела в Чикаго, подняла с постели троих адвокатов, судью и местного законодателя, подкупила двоих из них и, запугав остальных, получила документ, дававший ей чрезвычайные полномочия на законных основаниях. Она так все запутала и замела следы, что, если бы кто и захотел докопаться до истины, ничего бы не вышло. Ворота завода компании были открыты, и еще до рассвета наспех собранная, полуодетая бригада рабочих взялась за дело. Работой руководили инженер из «Таггарт трансконтинентал» и металлург Реедэна. Строительство Рио-Норт не остановилось.

Она прислушалась к реву бурильных машин. Был такой период, когда работы по возведению опор моста пришлось приостановить.

— Я ничего не мог сделать, мисс Таггарт, — обиженно сказал тогда Бен Нили. — Вы же знаете, как быстро изнашиваются коронки. Я давным-давно заказал новые, но у «Инкорпорейтэд тул» произошел сбой. Их тоже нельзя винить. «Ассошиэйтэд стал» не поставила им вовремя сталь, поэтому нам ничего не остается, кроме как ждать. Что толку расстраиваться, мисс Таггарт. Я делаю все, что в моих силах.

— Я наняла вас для того, чтобы вы делали дело, а не все, что в ваших силах, каковы бы они ни были.

— Как странно вы рассуждаете. Такие взгляды нынче не в ходу, мисс Таггарт, ой как не в ходу.

— Никакой «Инкорпорейтэд тул». Никакой стали. Закажите коронки из металла Реедэна.

— Только не я. С меня хватит неприятностей из-за этих ваших рельсов, черт бы их побрал. Я не собираюсь портить свое оборудование.

— Одна коронка из металла Реедэна прослужит дольше, чем три из стали.

— Возможно.

— Я сказала — закажите их.

— А кто за это заплатит?

— Я.

— А кто найдет того, кто захочет за это взяться?

Она позвонила Реедэну. Он нашел заброшенный, давно закрытый инструментальный завод. В течение часа он купил его у родственников последнего владельца. Через день завод заработал. Через неделю коронки из металла Реедэна были доставлены в Колорадо.

Она посмотрела на мост. Он представлял собой задачу, решенную не лучшим образом, но ей пришлось смириться с этим. Этот мост, триста шестьдесят метров стали, переброшенных через черную пропасть, был построен, когда компанией руководил сын Нэта Таггарта. Уже давным-давно он стал далеко не безопасен. Его укрепляли продольными стальными, железными, а затем и деревянными балками. Сейчас едва ли стоило реставрировать его. Дэгни уже подумывала про новый мост из сплава Реедэна. Она попросила главного инженера представить проект моста и ориентировочную смету. Представленный проект был вариантом стального моста, неумело переделанного с учетом большей прочности нового металла, а предполагаемые затраты оказались баснословными —

проект был снят с рассмотрения.

— Простите, мисс Таггарт, — обиженно сказал главный инженер, но я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что я не использовал свойств металла Реардэна. В этом проекте я учел дизайн лучших мостов. Чего же еще вы от меня хотели?

— Нового метода строительства.

— Нового метода? Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что, когда появилась достаточно прочная сталь, стальные мосты не строили по образцу деревянных, — сказала Дэгни и устало добавила: — Подготовьте план всего, что нужно сделать, чтобы старый мост протянул еще лет пять.

— Хорошо, мисс Таггарт, — бодро сказал главный инженер. — Если мы укрепим мост сталью...

— Мы укрепим мост металлом Реардэна.

Хорошо, мисс Таггарт, — холодно ответил он.

Дэгни смотрела на заснеженные горы. В Нью-Йорке ей иногда казалось, что у нее трудная работа. Иногда она останавливалась посреди своего кабинета, парализованная отчаянием от сознания, что время неумолимо. Это были дни, когда срочные деловые встречи шли одна за другой, когда ей приходилось заниматься неисправными локомотивами, гниющими товарными вагонами, выходящими из строя сигнальными системами, падающими доходами, в то время как все ее мысли были заняты критическим состоянием Рио-Норт, а перед глазами стояли две зеленовато-голубые полосы металла. Это были дни, когда она прерывала совещания, вдруг вспомнив, почему то или иное событие взволновало ее, и, схватив телефонную трубку, звонила своему подрядчику:

— Кто вам поставляет продукты для рабочих?.. Я так и думала. Эта компания вчера обанкротилась, срочно найдите другого поставщика, если не хотите голодать.

Она руководила строительством дороги из своего кабинета в Нью-Йорке. Это было трудно. Но сейчас она смотрела на дорогу и знала, что строительство будет завершено в срок.

Она услышала торопливые шаги и обернулась. По полотну шел высокий молодой человек, одетый в кожаную куртку-спецовку. Но он был не похож на обыкновенного рабочего, очень уж властной и уверенной была его походка. Она узнала его, лишь когда он подошел ближе. Это был Эллис Вайет. После единственной встречи в ее кабинете она его больше не видела.

Он подошел, остановился, посмотрел на нее и улыбнулся:

— Привет, Дэгни.

Она поняла все, что он хотел сказать этими двумя словами. Это было извинение, понимание, признание. Это было приветствие.

Она рассмеялась, как ребенок, счастливая от того, что все может быть так просто и так правильно.

— Привет, — сказала она, протягивая руку.

Он задержал ее ладонь в своей на мгновение дольше, чем требовало обычное рукопожатие. Это была своего рода подпись, скрепившая заключенное между ними соглашение. Они поняли друг друга.

— Скажи Нили, чтобы установил новые снегозащитные ограждения длиной в полторы мили в районе Гранада Пасс. Старые совсем сгнили. Следующей пурги они не выдержат. Пришли ему новый снегоочиститель. Тот, что я видел у него, — куча металлолома, который не выметет как следует даже задний двор. Сейчас можно в любой день ожидать сильных снегопадов.

Некоторое время она пристально рассматривала его:

— Как часто ты это делаешь?

— Что?

— Приходишь посмотреть, как идут дела.

— Когда есть время. А что?

— Ты был здесь в тот вечер, когда произошел оползень? — Да.

— Я, помнится, удивилась, прочитав в отчете, как быстро расчистили путь. Даже подумала, что Нили куда лучший специалист, чем я полагала.

— Специалист он никудышный.

— Это ты организовал доставку материалов к линии?

— Конечно, я. Его люди бегали полдня, чтобы достать все что нужно. Скажи ему, пусть присмотрит за цистернами с водой, а то как бы они не замерзли однажды ночью. Да посмотри, не надо ли пригнать новый экскаватор. Мне не нравится, как выглядит тот, что у него есть. И проверь систему электропроводки.

Она некоторое время смотрела на него, потом сказала:

— Спасибо, Эллис.

Он улыбнулся и пошел дальше. Дэгни смотрела, как он перешел через мост и начал подниматься к нефтяным вышкам.

— Похоже, он думает, что все это принадлежит ему. Она с удивлением обернулась. Рядом с ней, указывая пальцем в сторону Вайета, стоял Бен Нили.

— Что все?

— Железная дорога, мисс Таггарт, ваша железная дорога, а может быть, и весь мир. Во всяком случае он так считает.

Бен Нили был тучным мужчиной с одутловатым, угрюмым лицом. Взгляд его был упрям и пуст. В голубоватом отблеске снега его кожа казалась желтоватой, как сливочное масло.

— Что он все время здесь сшивается? Как будто кроме него никто ничего не умеет. Пижон сопливый. Кого он из себя корчит?

— Катись-ка ты ко всем чертям, — спокойно, не повышая голоса, сказала Дэгни.

Нили не знал, что побудило ее так сказать, но подспудно чувствовал это. Ее поразило, что эти слова вовсе не удивили его. Он промолчал.

— Пойдем к тебе в бытовку, — сказала она устало, указывая на стоявший поодаль старый вагон. — Возьми с собой кого-нибудь, чтобы делал заметки.

— Насчет этих шпал, мисс Таггарт, — торопливо начал Нили, когда они вошли, — мистер Коулман, который у вас работает, их не забраковал. Я не понимаю, почему вы считаете...

— Я же тебе сказала, их надо заменить.

Выйдя из бытовки, Дэгни почувствовала себя смертельно усталой. Целых два часа она терпеливо объясняла, разжевывала, отдавала необходимые распоряжения. Внизу, на грязной изрытой дороге, стоял новенький черный, блестящий двухместный автомобиль. В эти дни новая машина была необычным зрелищем — они попадались не так уж часто.

Она огляделась и открыла рот от удивления, увидев высокого мужчину, стоявшего возле моста. Это был Хэнк Реардэн. Дэгни не ожидала встретить его в Колорадо. Он стоял с карандашом и блокнотом в руках, погруженный в какие-то расчеты. По той же причине, что и машина, в глаза сразу бросалась его одежда. На нем были обычное пальто и шляпа с узкими полями, но такого изумительного качества и такие дорогие, что среди серой толпы казалось, будто он разделся напоказ. Это выглядело еще более заметным потому, что он носил одежду очень естественно.

Дэгни вдруг поняла, что бежит к нему. Усталость как рукой сняло. Но неожиданно она вспомнила, что не видела его с того вечера, и остановилась.

Он заметил ее, махнул рукой в знак удивленного, радостного приветствия и пошел навстречу. Он улыбался.

— Привет, — сказал он. — Первый раз здесь?

— Пятый за три месяца.

— А я не знал, что ты приехала. Мне не сказали.

— Я знала, что однажды ты не выдержишь.

— Не выдержу?



— И приедешь посмотреть на все это. Вот он — твой металл. Как тебе это нравится?

Он огляделся вокруг:

— Если когда-нибудь решишь уволиться с железной дороги, дай мне знать.

— Ты возьмешь меня на работу?

— В любой момент.

Некоторое время она смотрела на него, затем сказала:

— Ты говоришь наполовину в шутку, наполовину всерьез, Хэнк. Приди я просить у тебя работу, тебе бы это понравилось. Тебе бы понравилось видеть меня своим подчиненным, а не клиентом, командовать мною, давать мне указания.

— Да, понравилось бы.

— Не уходи из сталелитейного бизнеса, Хэнк. Я тебе на железной дороге работы не предложу, — сказала она.

Он рассмеялся:

— Дэгни, даже не пытайся.

— Что?

— Выиграть сражение, когда условия ставлю я.

Дэгни ничего не ответила. Она была поражена тем, как действовали на нее эти слова. Это было не чувство, а физическое удовольствие, которое она не могла понять или как-то определить.

— Между прочим, я здесь не впервые. Я был здесь и вчера.

— Правда? Почему?

— Я приехал в Колорадо по одному делу и решил заглянуть сюда.

— И чего же ты хочешь?

— А с чего ты взяла, что я чего-то хочу?

— Ты бы не стал попусту терять время и не приехал бы лишь для того, чтобы посмотреть. Во всяком случае не дважды.

Он рассмеялся:

— Ты права. Меня интересует вот это. — Реардэн указал на мост.

— А что в нем такого особенного?

— Ему пора на свалку.

— Ты думаешь, я этого не знаю?

— Я видел перечень деталей из металла Реардэна, которые ты заказала для укрепления моста. Ты зря выбрасываешь деньги. Разница между стоимостью деталей, с помощью которых мост протянет еще пару лет, и новым мостом из моего металла так мала, что я не понимаю, зачем ты хочешь сохранить этот музейный экспонат.

— Я думала про новый мост из твоего металла и попросила своих инженеров произвести расчеты предполагаемых затрат.

— И что они тебе сказали?

— Два миллиона долларов.

— Сколько?

— А что скажешь мне ты?

— Восемьсот тысяч.

Дэгни посмотрела на него. Она знала, что Реардэн ничего не говорит зря.

— Каким образом? — спросила она, пытаясь говорить спокойно.

— А вот так.

Он показал ей свой блокнот.

Она увидела множество пометок, цифр и несколько сделанных наспех набросков. Дэгни разобралась во всем раньше, чем он закончил объяснения. Она не заметила, что они присели на кучу промерзших стройматериалов, что ее ноги прижаты к грубым доскам и ощущают их холод сквозь тонкие чулки. Они сидели, склонившись над двумя листками бумаги, благодаря которым тысячи тонн грузов смогут пересечь зиявшую неподалеку пропасть. Его голос звучал резко и отчетливо. Он говорил о системе опор, силе тяги,

нагрузке, направлении ветра. По замыслу Реардэна, мост представлял собой пролетное строение длиной почти в тысячу двести футов. Он придумал принципиально новый способ соединения пролетов, который можно было осуществить на практике лишь при помощи конструкций, обладавших легкостью и прочностью металла Реардэна.

— Хэнк, ты что, придумал все это за два дня? — спросила она.

— Черт побери, нет. Я изобрел все это задолго до того, как у меня появился металл. Я все рассчитал, еще когда производил сталь для мостов. Чтобы осуществить этот проект и многие другие, не хватало только металла. Я приехал посмотреть, какой интерес могут представлять для меня твои проблемы, связанные с этим мостом.

Он усмехнулся, заметив, как она медленно провела ладонью по векам, и увидел на ее лице след горечи, словно она старалась стереть все то, против чего вела изнурительную борьбу.

— Это только набросок, но думаю, ты понимаешь, что можно сделать.

— Я не могу тебе сказать все, что понимаю, Хэнк.

— И не надо. Я и сам это знаю.

— Ты уже во второй раз спасаешь «Таггарт трансконтинентал».

— Дэгни, когда-то ты лучше разбиралась в психологии.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Да какое мне дело до «Таггарт трансконтинентал»? Чего ради я должен ее спасать? Разве ты не понимаешь, что мне нужен мост из моего металла, о котором узнали бы все?

— Я понимаю, Хэнк.

— Сейчас на всех углах вопят, что металл Реардэна небезопасен. Я подумал, что неплохо бы подбросить им что-нибудь действительно стоящее, пусть покричат. Я покажу им мост из металла Реардэна.

Она посмотрела на него и рассмеялась с искренним удовольствием.

Чего ты смеешься? — спросил он.

— Знаешь, Хэнк, я не знаю ни одного человека, кроме тебя, который при подобных обстоятельствах мог бы додуматься до такого ответа всем этим людям.

А ты? Ты хотела бы ответить им вместе со мной и услышать, как они завопят?

— Конечно, Хэнк. И ты это прекрасно знаешь.

— Да, знаю.

Он посмотрел на нее прищурившись. Он не рассмеялся, как она, но его глаза смеялись.

Она вдруг вспомнила их последнюю встречу на приеме. Это воспоминание казалось просто невероятным. Как легко им было тогда друг с другом — легко до головокружения; и каждый из них сознавал, что нигде больше не обретет такой легкости. После этого сама мысль о какой-то взаимной недоброжелательности была невозможной. И все же она помнила об этом вечере, он же вел себя так, словно его никогда не было.

Они подошли к краю каньона и заглянули в темную пропасть, посмотрели на возвышавшуюся над ней скалу и солнце над нефтяными вышками Вайета. Дэгни стояла на холодных камнях, широко расставив ноги, чтобы выдержать порыв ветра. Не касаясь груди Реардэна, она чувствовала ее у себя за плечами, а ветер хлестал по его ногам полами ее пальто.

— Хэнк, мы построим мост к сроку? Осталось ведь всего полгода.

— Конечно. На это уйдет значительно меньше времени и сил, чем на строительство любого другого моста. Мои инженеры разработают проект в общих чертах, и я пришлю его тебе. От тебя я не требую никаких обязательств. Посмотришь проект и решишь, осилишь ли это строительство по деньгам. Я знаю, что осилишь. А детали пусть доработают твои умники с дипломами.

— А как насчет металла?

— Я обеспечу тебя металлом в необходимом количестве, даже если для этого мне придется отказаться от всех других заказов.

— Ты выплавишь его в такие сжатые сроки?

— Я хоть раз затягивал выполнение твоих заказов?

— Нет. Но ты же знаешь, как сейчас обстоят дела. Может случиться так, что ты будешь не в силах что-то сделать.

— С кем, черт возьми, ты разговариваешь — с Ореном Бойлом?

Она рассмеялась:

— Ну хорошо. Постарайся как можно скорее прислать мне чертежи. Я просмотрю их и в течение сорока восьми часов сообщу о своем решении. А что до моих умников с дипломами... — Она замолчала и нахмурилась. — Хэнк, почему сейчас так трудно найти толковых людей для любой работы?

— Не знаю...

Он окинул взглядом горы, которые словно врезались в небо. Тоненькая струйка дыма тянулась ввысь с отдаленной равнины.

— Ты видела новые города и фабрики Колорадо? — спросил он.

— Да.

— Это просто чудо. Сколько крутого народу собралось здесь со всех концов страны. Все они молоды, все начинали с нуля, а сейчас сворачивают горы.

— А какую гору решил свернуть ты?

— То есть?

— Что ты делаешь в Колорадо? Он улыбнулся:

— Подыскиваю себе рудничок.

— Какой?

— Медный.

— Боже мой, у тебя что, мало работы?

— Я знаю, что это дело непростое. Но поставки меди становятся все более непредсказуемыми и ненадежными. В этой стране, похоже, не осталось ни одной стоящей компании, занимающейся этим, а с «Д'Анкония коппер» я не хочу иметь дела. Я не доверяю этому плеейбою.

— Я тебя за это не осуждаю, — сказала она, глядя в сторону.

— Раз уж не осталось ни одного компетентного человека, который бы мог все это делать, придется самому добывать медь, как я добываю железную руду. Я не могу рисковать и не могу допустить, чтобы из-за каких-то сбоев и проволочек простаивали мои заводы. Для металла Реардэна нужно много меди.

— Ты уже купил рудник?

— Пока нет. Сначала надо решить ряд проблем: нанять рабочих, закупить оборудование, решить вопросы транспортировки.

— Ага... — Дэгни усмехнулась. — Хочешь поговорить со мной о строительстве дополнительной ветки.

— Может быть. Возможности этого штата неисчерпаемы. Ты знаешь, что здесь есть все виды полезных ископаемых? Месторождения не тронуты и ждут своего часа. А как стремительно здесь разрастаются заводы! Я чувствую себя на десять лет моложе, когда приезжаю сюда.

— А я нет. — Она смотрела за горы, на восток. — Я думаю о разнице между Колорадо и другими местами, где проходят пути «Таггарт трансконтинентал». Грузооборот неуклонно падает, с каждым годом продукции производится все меньше и меньше. Словно... Хэнк, что происходит со страной?

— Не знаю.

— Помнится, в школе нам рассказывали, что солнце с каждым годом теряет свою энергию и постепенно остывает. Я тогда пыталась представить себе, каким будет конец света. Думаю, это было бы похоже на то... что происходит сейчас. Становится все холоднее и холоднее, все замирает.

— А я никогда не верил в конец света. Я всегда верил, что к тому времени, как солнце угаснет, люди найдут ему замену.

— Правда? Забавно. Я тоже так думала. Он указал на струйку дыма:

— Вот, это восходит новое солнце. Все остальное будет черпать энергию из него.

— Если его не остановят.

— А ты что, считаешь, что все это можно остановить? Она взглянула на рельсы под ногами:

— Нет.

Реардэн улыбнулся. Он посмотрел вниз, на рельсы, затем поднял глаза на поднимавшееся по склонам гор в направлении далекого крана железнодорожное полотно. Какое-то мгновение она видела лишь его профиль и петляющую зеленовато-голубую ленту.

— Мы это сделали, правда?

Это мгновение было наградой за все. Это была плата за напряжение, за каждую бессонную ночь, за безмолвную борьбу с отчаянием.

— Да, — повторила она, — мы это сделали.

Она посмотрела в сторону, заметила старый кран, стоявший на запасном пути, и подумала, что нужно заменить его износившиеся тросы. Ею овладела необыкновенная ясность, которая наступает лишь по ту сторону чувств — когда испытаны все чувства, какие только возможно испытать. Все, чего они достигли, и одно короткое мгновение, вместившее в себя их заслуги, понимание того, что все это принадлежит им двоим, — что могло быть выше такой формы близости между двумя людьми? И теперь она вольна была обратиться к самым будничным, сиюминутным заботам, ибо все, что находилось в ее поле зрения, было исполнено глубокого смысла.

Дэгни спрашивала себя, откуда у нее такая полная уверенность в том, что он чувствует то же самое. Реардэн резко повернулся и пошел к машине. Она последовала за ним. Они шли, не глядя друг на друга.

— Через час я уезжаю на восток, — сказал Реардэн.

— Где ты ее купил? — спросила Дэгни, указывая на машину.

— Здесь. Это «хэммонд». Их выпускают здесь, в Колорадо. Это единственная компания, где еще умеют делать классные машины.

— Сработано на совесть.

— Это точно.

— В Нью-Йорк поедешь на ней?

— Нет. Мне ее туда доставят. Я прилетел на своем самолете.

— Правда? Я приехала из Шайенна, нужно было осмотреть линию, но теперь я должна как можно быстрее вернуться домой. Можно мне полететь с тобой?

Он ответил не сразу. Возникла короткая пауза.

— Мне очень жаль, — его голос прозвучал резковато, а может, ей это лишь показалось, — но я лечу не в Нью-Йорк. Через час я отправляюсь в Миннесоту.

— Что ж, значит, полечу на лайнере, если, конечно, сегодня есть рейс.

Она смотрела, как его машина, петляя по извилистой дороге, скрылась за поворотом. Часом позже она приехала в аэропорт. Небольшое летное поле находилось в долине между цепочками гор.

Местами промерзшая неровная поверхность поля была покрыта снегом. С краю возвышался радиомаяк. С него на землю свисали провода. Остальные маяки свалило бурей.

Ее встретил скучающий дежурный.

— Нет, мисс Таггарт, — сказал он с сожалением, — самолет будет лишь послезавтра. Здесь каждые два дня совершает посадку трансконтинентальный лайнер. Тот, который должен был прилететь сегодня, совершил вынужденную посадку в Аризоне. Все та же история — отказал двигатель. Жаль, что вы не приехали чуть раньше, — добавил он. — Совсем недавно мистер Реардэн улетел в Нью-Йорк на своем личном самолете.

— А разве он полетел в Нью-Йорк?

— Да, а что? Во всяком случае он так сказал.

— Вы в этом уверены?

— Он сказал, что у него на сегодняшний вечер назначена важная встреча в Нью-Йорке. Дэгни пустым взглядом смотрела на небо, в сторону востока. Ничто не могло объяснить ей, почему он так поступил.

— Черт бы побрал эти улицы, — сказал Джеймс Таггарт. — Мы опаздываем.

Дэгни посмотрела вперед, выглядывая из-за спины шофера. Шел мокрый снег. Сквозь прочищаемое дворниками лобовое стекло она видела черные крыши потрепанных, неказистых машин, которые выстроились в длинную неподвижную линию. Далеко впереди над тротуаром висел красный фонарь, указывающий, что идут ремонтные работы.

— Какую улицу ни возьми, везде какие-то неполадки. Почему никто не наведет порядок? — нервно пробурчал Таггарт.

Дэгни откинулась на спинку сиденья, кутаясь в воротник своей накидки. К концу дня она чувствовала себя смертельно усталой. Она пришла в офис в семь утра, но ей пришлось прервать рабочий день, не завершив дела, и поспешить домой, чтобы переодеться. Она пообещала Джиму выступить сегодня на приеме конгресса предпринимателей Нью-Йорка. «Они хотят послушать, что мы думаем о металле Реардэна. Ты сделаешь это намного лучше, чем я. Для нас очень важно произвести нужное впечатление. Сейчас по поводу этого сплава ведутся ожесточенные споры».

Сидя рядом с ним в машине, Дэгни жалела, что согласилась выступить на этом приеме. Она смотрела на улицы Нью-Йорка и думала о гонке между металлом и временем, между строящейся линией Рио-Норт и уходящими днями. Ее нервы были напряжены до предела — машина застыла на месте, и целый вечер проходит впустую, когда каждый час на вес золота.

— Учитывая, что сейчас Реардэн со всех сторон подвергается всяческим нападкам, ему может понадобиться помощь друзей, — сказал Джим.

Дэгни с удивлением посмотрела на него:

— Уж не хочешь ли ты сказать, что собираешься поддержать его?

Он ответил не сразу:

— Что ты думаешь об отчете, представленном спецкомитетом Национального совета по вопросам металлургической промышленности?

— Ты прекрасно знаешь, что я о нем думаю.

— В нем сказано, что металл Реардэна представляет угрозу общественной безопасности, потому что его химическая формула нестабильна, он хрупок, распадается на молекулярном уровне и может дать трещину в любой момент.

Он замолчал, словно умоляя ее что-нибудь ответить. Она молчала.

— Ты ведь не изменила своего мнения о нем? — спросил он озабоченно.

— О чем?

— О сплаве.

— Нет, Джим, не изменила.

— Хотя они ведь эксперты, представители этого комитета... Лучшие эксперты. Главные инженеры-технологи, работающие в крупнейших корпорациях и имеющие множество ученых степеней разных университетов, — сказал он удрученно, словно умоляя ее заставить его усомниться в этих людях и их мнении.

Дэгни удивленно смотрела на него — это было на него не похоже.

Машина тронулась с места. Она медленно двигалась по проезду мимо траншей, вырытых на участке, где прорвало водопровод. Она увидела недавно проложенные новые трубы. На трубах стояла фабричная марка изготовителя: «„Стоктон фаундри“, Колорадо". Она отвернулась. Сейчас ей не хотелось думать о Колорадо.

— Я не могу этого понять... — жалко проговорил Таггарт. — Лучшие эксперты Национального совета по вопросам металлургической промышленности...

— Кто президент этого совета, Джим? Орен Бойл, если не ошибаюсь?

Таггарт не повернулся к ней, но она увидела, как у него отвисла челюсть.

— Если этот жирный болван думает, что может... — начал он, но замолчал на полуслове.

Она подняла глаза и увидела висящий на углу фонарь. Это был светящийся стеклянный шар. Он освещал заколоченные досками окна и потрескавшиеся тротуары. Остальные фонари не горели. На другом берегу реки на фоне зарева над каким-то заводом она различила едва заметные очертания теплоэлектростанции. Закрывая обзор, мимо, блистая яркой новой краской, неподвластной слякоти, проехала машина — из тех, что развозят мазут для теплоэлектростанций. Грузовик был зеленого цвета, на нем белыми буквами выделялась надпись: «„Вайет ойл“, Колорадо».

— Дэгни, ты слышала о встрече представителей профсоюза литейщиков в Детройте?

— Нет, а что?

— Это было во всех газетах. Они обсуждали один-единственный вопрос: разрешать или нет членам профсоюза работать с металлом Реардэна. Они не пришли к единому мнению, но и этого оказалось достаточно, чтобы один подрядчик, который собирался рискнуть с этим сплавом, тут же аннулировал заказ. А что, если... что, если все выскажутся против металла Реардэна?

— Ну и пусть.

По ровной линии к вершине невидимого в темноте небоскреба поднималась светящаяся точка. Это был лифт большого отеля. Из стоявшего у подъездной дорожки грузовика рабочие переносили в подвал запакованное тяжелое оборудование. На одном из ящиков Дэгни увидела фабричную марку: «„Нильсен моторе“, Колорадо».

— Мне не нравится резолюция, которую принял съезд школьных учителей Нью-Мексико, — сказал Таггарт.

— Какая резолюция?

— Они запретили учащимся ездить по линии Рио-Норт «Таггарт трансконтинентал», когда ее строительство будет завершено. Запретили потому, что это опасно. Они выразились предельно ясно — новая железнодорожная линия «Таггарт трансконтинентал-». Об этом писали во всех газетах. Нам такой рекламы не нужно... Дэгни, как, по-твоему, мы должны им ответить?

— Пустить первый поезд по Рио-Норт.

Таггарт долго молчал. Он выглядел необыкновенно подавленным. Она не могла этого понять: он не злорадствовал, не спорил с ней, ссылаясь на мнение высокопоставленных лиц. Он словно умолял, чтобы его утешили.

Мимо промчалась машина; за короткое мгновение Дэгни успела оценить ее мощь, плавность и уверенность хода, великолепный дизайн. Она узнала марку машины — «хэммонд», Колорадо.

— Дэгни, мы... мы успеем в срок завершить строительство линии?

Обычно Таггарт старался тщательно скрывать свои эмоции, но сейчас в его вопросе явно сквозило одно-единственное чувство — животный страх.

— Успеем. А если нет, то Боже спаси и помилуй этот город, — ответила она.

Машина завернула за угол. Над черными крышами домов показалось табло календаря, которое высвечивало дату: двадцать девятое января.

— Дэн Конвэй — ублюдок, — внезапно со злостью выпалил Таггарт, словно был больше не в силах сдерживаться.

Дэгни удивленно посмотрела на него:

— Почему?

— Он отказался продать нам свою линию в Колорадо.

— Ты что... — начала было она и замолчала. — Ты что, предложил ему продать ее нам? — спросила она, сиюсь говорить спокойно, не крича.

— Конечно.

— Но ты же не надеялся... что он ее продаст... продаст тебе!

— А почему бы и нет? — К Таггарту вернулась его обычная истерическая воинственность. — Я предложил ему больше, чем другие. Нам даже не пришлось бы снимать и перевозить рельсы. Мы могли использовать его дорогу прямо на месте, и это была бы для

нас прекрасная реклама — мы отказываемся от железной дороги из металла Реардэна, учитывая мнение широкой общественности. Но этот сукин сын отказал мне. Он заявил, что не продаст нашей компании и фута своей дороги. Он продает рельсы по частям первому встречному, каким-то захудалым железным дорогам в Арканзасе или Северной Дакоте. Продает себе в убыток, ублюдок. Его не интересует даже прибыль. Если бы ты только знала, сколько стервятников к нему слетелось. Еще бы, они ведь прекрасно понимают, что рельсы больше нигде не достать.

Она сидела, опустив глаза. Ей было противно даже смотреть на него.

— Я думаю, что это противоречит положениям резолюции «Против хищнической конкуренции», — сердито сказал он. — Я считаю, что задачей и целью Национального железнодорожного союза является сохранение и защита интересов крупнейших железных дорог, а не вшивых узкоколеек Северной Дакоты. Но сейчас я не могу собрать союз, чтобы проголосовать за это. Все сбежали в Колорадо и грызутся из-за этих рельсов.

— Теперь я понимаю, почему ты хочешь, чтобы я защитила металл Реардэна, — медленно проговорила Дэгни, словно сожалея, что на ней нет перчаток и она может замарать руки этими словами.

— Не понимаю, к чему ты клонишь...

— Заткнись, Джим, — тихо сказала она.

Некоторое время Таггарт сидел молча. Затем он откинул назад голову и вызывающе сказал:

— Ты уж постарайся отстоять металл Реардэна, потому что кто-кто, а Бертрам Скаддер умеет съязвить и ужалить.

— Бертрам Скаддер?

— Сегодня он будет одним из докладчиков.

— Одним из... Ты не говорил, что кроме меня будет выступать еще кто-то.

— Я... А впрочем, что это меняет? Ты же не боишься его?

— Конгресс предпринимателей Нью-Йорка... и вы пригласили Бертрама Скаддера?

— А почему бы и нет? Разве это не разумный шаг? Ведь на самом деле он не имеет ничего против бизнесменов и принял приглашение. Мы хотим показать, что терпимо относимся к самым разным мнениям, и, кроме того, попробуем переманить его на свою сторону... Что ты на меня так смотришь? Ты же сможешь переспорить его?

— Переспорить? .

— По радио. Будет радиотрансляция. Ты выступишь против Скаддера в дискуссии «Металл Реардэна — смертоносное детище в погоне за наживой».

Дэгни наклонилась вперед и опустила окошко, отделявшее их от водителя.

— Остановите машину, — сказала она. Она не слышала, что говорил Таггарт, лишь смутно осознавала, что его голос перешел в крик:

— Они же ждут... приглашено пятьсот человек, трансляция будет идти на всю страну. Ты не можешь со мной так поступить! — Он схватил ее за руку и закричал: — Но почему?

— Идиот несчастный, неужели ты думаешь, что я считаю этот вопрос спорным?

Машина остановилась, Дэгни выскочила и побежала.

Первое, что она вскоре заметила, были ее вечерние туфли. Она неторопливо шла по улице, и ей было непривычно ощущать холодный тротуар под тонкими подошвами.

Она откинула волосы со лба и почувствовала тающие на ладони снежинки. Сейчас она была спокойна; слепящая ярость улеглась. Она не чувствовала ничего, кроме гнетущей усталости. У нее побаливала голова, она вспомнила, что ничего не ела и собиралась поужинать на конгрессе предпринимателей. Она шла по улице. Есть она уже не хотела; ей хотелось лишь выпить где-нибудь чашку кофе, потом взять такси и поехать домой.

Дэгни осмотрелась — такси нигде не было. Этот район она не знала и он ей не нравился. Она увидела заброшенный парк, прорехой зияющий между далекими небоскребами и невысокими фабричными трубами. Она увидела свет в окнах обветшалых домов, несколько невзрачных лавочек, закрытых на ночь, и туман, поднимавшийся над Ист-

Ривер в двух кварталах впереди.

Дэгни повернулась и пошла назад, к центру. Перед ней вырос темный силуэт разрушенного здания. Когда-то давным-давно здесь размещался офисный центр. Сквозь голый стальной каркас и обломки кирпичной кладки просматривалось небо. В тени руин, словно травинка, выросшая у корней мертвого дерева-исполина, ютилась небольшая закусочная. В ее окнах горел яркий свет. Дэгни открыла дверь и вошла.

Она увидела чистый хромированный прилавок и блестящий металлический бойлер. В помещении, где находилось несколько человек, стоял густой запах кофе. За стойкой хозяйничал крепкий пожилой мужчина в белой, с закатанными по локоть рукавами рубашке. В закусочной было тепло, и Дэгни вдруг почувствовала, что замерзла. Она поплотнее закуталась в черную бархатную накидку, села у стойки и заказала чашку кофе. Люди за столиками безразлично скользили по ней глазами. Никто не удивился, увидев в захудалой закусочной женщину в вечернем платье. Нынче ничто никого не удивляло. Хозяин, безразлично отвернувшись, готовил кофе. В его бесстрастном равнодушии проявлялась своего рода деликатность, не позволявшая ему задавать вопросы.

Дэгни никак не могла определить, кем были четверо сидевших в кафе: безработными бродягами или людьми, которые зарабатывали себе на хлеб трудом. Нынче ничего нельзя было установить ни по одежде, ни по манерам. Ей подали кофе. Она охватила чашку ладонями и сидела, пропитываясь исходящим от ее стенок теплом.

Дэгни огляделась вокруг и подумала, подсчитывая в силу профессиональной привычки: «Как хорошо, что человек может купить так много всего за десять центов». Она перевела взгляд с блестящей поверхности бойлера на сковородку, полки для бокалов, эмалированную раковину и хромированные лопасти миксера. Хозяин готовил тосты. Дэгни с удовольствием наблюдала, как кусочки хлеба медленно проплывают по миниконвейеру мимо раскаленной спирали. На тостере стояла марка производителя: «„Марш“, Колорадо».

Дэгни уронила голову на руки.

— Что толку, леди, — сказал старый бродяга, сидевший рядом.

Она подняла голову и насмешливо улыбнулась — ему и самой себе:

— Неужели?

— Точно. Плюньте на все. Не стоит себя обманывать.

— В чем?

— В том, что в этом мире что-то имеет значение. Все это грязь, леди, грязь и кровь. Не верьте сказкам, которыми вас пичкают, и вам не будет больно.

— Каким сказкам?

— Тем, которые рассказывают в детстве — о душе. У человека нет души. Человек — всего лишь жалкое животное, бездушное, безмозглое, лишенное добродетели и совести. Животное, которое способно только есть и размножаться.

Его исхудалое, вытянутое лицо с широко раскрытыми глазами и некогда приятными, а теперь отталкивающими чертами еще сохранило остатки индивидуальности. Он походил на евангелиста или профессора эстетики, который провел долгие годы в забытых Богом и людьми музеях. Дэгни спросила себя, что погубило его, довело до такой жизни.

— Вы идете по жизни в поисках красоты, величия, благородных свершений. И что находите в итоге? Вы видите повсюду лишь всякую хитрую механику, чтобы делать шикарные авто да пружинные матрасы.

— А что плохого в этих матрасах? — спросил мужчина, похожий на водителя грузовика. — Не обращайтесь на него внимания, леди. Он любит разговаривать сам с собой. Он вовсе не хочет вас обидеть.

— Единственный человеческий талант заключается в подлом коварстве и хитрости, направленных на удовлетворение потребностей плоти, — сказал старый бродяга. — Для этого особого ума не надо. Не верьте рассказам о разуме, душе, идеалах и неограниченных возможностях человека.

— А я в них и не верю, — сказал молодой парень в драном пальто, сидевший в конце



стойки. У него было такое выражение лица, словно он испытал на своем веку все горести и тяготы жизни.

— Душа... — продолжал между тем бродяга. — В производстве и в сексе нет никакой души. А что еще волнует человека? Материя — вот все, что он знает и о чем печется. Свидетельство тому — всемогущая промышленность, являющаяся единственным достижением нашей мнимой цивилизации и созданная вульгарными материалистами с интересами и моралью свиней. Чтобы собрать на конвейере десятитонный грузовик, мораль не нужна.

— А что такое мораль? — спросила Дэгни.

— Критерий, по которому отличают истинное от ложного, способность видеть правду, преданность идеалам добра, честность и готовность во что бы то ни стало, любой ценой отстоять их. Но где сейчас такое найдешь?

— Кто такой Джон Галт? — усмехнулся молодой парень. Дэгни пила кофе, с удовольствием ощущая, как горячая жидкость растекается по жилам, вливая в них жизнь.

— Могу рассказать, кто он такой, — проронил щуплый бродяга в надвинутой на глаза шляпе. — Я знаю.

Его никто не услышал и не обратил на него ни малейшего внимания. Молодой парень сидел, уставившись на Дэгни напряженным, бессмысленным взглядом.

— Вы не боитесь, — вдруг произнес он категорично и отрывисто, но с ноткой удивления.

Дэгни посмотрела на него.

— Нет, — сказала она, — не боюсь.

— Я знаю, кто такой Джон Галт, — повторил бродяга. — Это тайна, но я ее знаю.

— Кто же он? — спросила Дэгни без особого интереса.

— Путешественник и первооткрыватель. Величайший в мире. Человек, который нашел источник вечной молодости.

— Еще один черный кофе, — сказал старый бродяга, протягивая чашку.

— Джон Галт искал его долгие годы. Он переплыл моря, пересек пустыни, спускался на много миль под землю, в заброшенные шахты и рудники. Он нашел источник на вершине горы. Ему понадобилось десять лет, чтобы взобраться на нее. Он переломал все кости, содрал всю кожу с рук, лишился всего — дома, имени, любви. Но он все-таки взобрался на эту гору. Джон Галт нашел источник вечной молодости, который хотел подарить людям. Но он так и не вернулся к ним.

— Почему? — спросила она.

— Потому что обнаружил, что этот источник нельзя перенести к людям.

У человека, сидевшего за столом напротив Реардэна, было невыразительное лицо и манеры, начисто лишенные какой-то доминирующей линии, так что нельзя было составить четкого представления о его внешности или определить, что им движет. Казалось, его единственной индивидуальной чертой был слишком большой, выдающийся вперед нос. Человек вел себя сдержанно, даже кротко, но в этой кротости, как ни странно, ощущалась угроза, угроза, которую он намеренно пытался скрыть, но делал это так, чтобы Реардэн все же мог ее почувствовать. Хэнк никак не мог понять цели его визита. Этим человеком был доктор Поттер, занимавший какую-то неопределенную должность в Государственном институте естественных наук.

— Чего вы хотите? — в третий раз спросил Реардэн.

— Я прошу вас принять во внимание социальную сторону вопроса, мистер Реардэн, — мягко произнес доктор Поттер. — Я призываю вас подумать о том, в какое время мы живем. Наша экономика не готова к этому.

— К чему?

— Экономическое положение в настоящий момент весьма шатко и ненадежно. Мы все должны объединить усилия, чтобы не допустить краха.

— Чего вы хотите от меня?

— Меня просили обратить ваше внимание именно на эти аспекты, мистер Реардэн. Я представляю Государственный институт естественных наук.

— Это я уже слышал. Зачем вы хотели встретиться со мной?

— Институт придерживается весьма неблагоприятного мнения о вашем сплав.

— Это вы тоже уже говорили.

— Разве вам не следует принять во внимание этот момент?

— Нет.

Дни стали короче, и за окном начинало темнеть. Реардэн увидел, как на щеке доктора Поттера появилась неправильных очертаний тень, падавшая от его выдающегося вперед носа, и заметил устремленные на него тусклые глаза; взгляд был миролюбиво-рассеянным и вместе с тем целенаправленным.

— Мистер Реардэн, в нашем институте собраны лучшие умы страны.

— Я об этом наслышан.

— Вы же не станете противопоставлять свое мнение их мнению.

— Стану.

Доктор Поттер посмотрел на Реардэна так, словно молил о помощи, как будто Реардэн нарушил неписаный закон, требовавший, чтобы он давно все понял. Реардэн остался безучастным к его беззвучной мольбе.

— Это все, что вы хотели знать? — спросил он.

— Это лишь вопрос времени, мистер Реардэн, — умиротворяюще сказал Поттер. — Лишь небольшая отсрочка. Просто нужно дать экономике шанс вновь стабилизироваться. Если бы вы подождали каких-нибудь два года...

Реардэн презрительно усмехнулся:

— Так вот чего вы добиваетесь. Хотите, чтобы я убрал свой металл с рынка? Почему?

— Лишь на несколько лет, мистер Реардэн. Лишь до тех пор, пока...

— Послушайте, — сказал Реардэн, — теперь я задам вам вопрос. Ваши ученые пришли к выводу, что металл Реардэна совсем не то, за что я его выдаю?

— Мы не делали подобных заявлений.

— Они пришли к выводу, что металл Реардэна плох?

— Прежде всего нужно принимать во внимание социальные последствия внедрения вашего продукта. Мы думаем о стране в целом. Нас волнует благосостояние всего общества и тот ужасный кризис, который мы переживаем в настоящий момент.

— Металл Реардэна хорош или плох?

— Если рассматривать проблему с точки зрения роста безработицы, которая принимает угрожающие размеры, то...

— Хорош или плох?

— В период катастрофической нехватки стали мы не можем допустить расширения и роста одной компании, производящей слишком много, потому что в результате могут оказаться за бортом компании, которые производят слишком мало. Это может привести к дисбалансу в экономике, и тогда...

— Вы собираетесь отвечать на мой вопрос или нет? Поттер пожал плечами:

— Ценности всегда относительны. Если металл Реардэна плох, то он представляет собой физическую угрозу обществу, если хорош — социальную.

— Если у вас есть что сказать о физической опасности металла, говорите. Остальное меня не интересует. И давайте побыстрее, я не умею разговаривать на вашем языке.

— Но вопросы общественного благосостояния...

— Я сказал — меня это не интересует.

Поттер, казалось, был совершенно сбит с толку, словно у него выбили почву из-под ног.

— Что же тогда представляет для вас главный интерес?

— Рынок.

— То есть?

— У металла Реардэна есть рынок сбыта, и я намерен сполна воспользоваться этим.

— Разве рынок не является понятием гипотетическим в своем роде? Реакция общественности на ваш сплав, мягко говоря, оставляет желать лучшего. За исключением «Таггарт трансконтинентал», у вас нет ни одного...

— Если вы считаете, что металл Реардэна не будет пользоваться спросом и клиенты не пойдут ко мне, чего же вы тогда переживаете?

— Мистер Реардэн, потеряв клиентов, вы понесете колоссальные убытки.

— Это уже мои проблемы.

— В то время как, заняв конструктивную позицию и согласившись подождать несколько лет...

— С какой стати я должен ждать?

— Но по-моему, я ясно дал понять, что в настоящий момент Государственный институт естественных наук не одобряет применения вашего сплава в металлургии.

— А мне на это наплевать.

— Мистер Реардэн, вы очень тяжелый человек, — вздохнул доктор Поттер. Предвечернее небо темнело, как бы сгущаясь за окнами. Казалось, что на фоне четких прямых линий мебели очертания собеседника слились в серое пятно.

— Я согласился встретиться с вами, — сказал Реардэн, — так как вы сказали, что хотите обсудить со мной вопрос чрезвычайной важности. Если это все, что вы хотели мне сказать, прошу меня извинить. У меня очень много дел.

Поттер откинулся на спинку кресла:

— Если я не ошибаюсь, на создание сплава у вас ушло десять лет. Во сколько вам это обошлось?

Реардэн поднял глаза. Он не мог понять столь внезапной смены темы, и тем не менее в голосе Поттера слышалась явная настойчивость. Его голос стал намного жестче.

— Полтора миллиона долларов, — сказал Реардэн.

— Сколько вы хотите за него?

Реардэн ответил не сразу. Он просто не мог в это поверить.

— За что? — спросил он глухо.

— За все права на металл Реардэна.

— Я думаю, вам лучше уйти.

— Я не вижу причин для подобного отношения. Вы бизнесмен. Я делаю вам деловое предложение, предлагаю сделку. Назовите вашу цену.

— Права на металл Реардэна не продаются.

— Я уполномочен говорить об огромных суммах денег. Правительственных денег.

Реардэн сидел не двигаясь, стиснув зубы. Но в его взгляде было безразличие и лишь слабая искорка нездорового любопытства.

— Вы бизнесмен, мистер Реардэн. Я делаю вам предложение, от которого вы не можете отказаться. С одной стороны, вы сталкиваетесь с огромными трудностями: общественное мнение далеко не в вашу пользу. Вы рискуете потерять все, что вложили в свой сплав. С другой стороны, вы могли бы свести риск к нулю и сбросить с себя бремя ответственности. При этом вы получите огромную прибыль, значительно больше того, что можете получить за двадцать лет от внедрения своего сплава.

— Институт естественных наук научное заведение, а не коммерческая организация, — сказал Реардэн. — Чего они так боятся?

— Вы говорите гадкие, ненужные слова, мистер Реардэн. Предлагаю держать разговор в дружеском русле. Вопрос очень серьезен.

— Я начинаю понимать это.

— Мы предлагаем вам практически неограниченную сумму. Чего вы еще хотите? Назовите вашу цену.

— О продаже прав на металл Реардэна не может быть и речи. Если у вас есть еще что

сказать, пожалуйста, говорите и уходите.

Поттер подался вперед, окинул Реардэна скептическим взглядом и спросил:

— Чего вы добиваетесь?

— Я? Что вы имеете в виду?

— Вы занимаетесь бизнесом, чтобы делать деньги, так?

— Так.

— И хотите получить максимальную прибыль?

— Совершенно верно.

— Тогда почему вы предпочитаете ценой невероятных усилий долгие годы выдавливать свою прибыль по центу, а не получить за свой сплав сразу целое состояние? Почему?

— Потому что он — мой. Вы понимаете смысл этого слова?

Поттер вздохнул и поднялся.

— Надеюсь, мистер Реардэн, вам не придется сожалеть о своем решении, — сказал он тоном, подразумевающим обратное.

— Всего доброго, — сказал Реардэн.

— Мне кажется, я должен предупредить вас, что Институт естественных наук может сделать официальное заявление, осуждающее металл Реардэна.

— Это его право.

— Это заявление сильно усложнит вам жизнь.

— Я в этом не сомневаюсь.

— Что же касается дальнейших последствий... — Поттер пожал плечами. — Те, кто сегодня отказывается от сотрудничества, просто обречены. У них нет будущего. В наши дни человеку нужны друзья. Ведь вы, мистер Реардэн, не пользуетесь особой популярностью.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ну вы, конечно же, понимаете меня.

— Ничуть.

— Общество, мистер Реардэн, — это очень сложный социальный механизм. Сейчас накопилось множество нерешенных вопросов. Все висит на волоске. Когда будет решен тот или иной вопрос и что станет решающим фактором, который склонит чашу весов в ту или иную сторону, предсказать просто невозможно. Я понятно изъясняюсь?

— Нет. — Красный отблеск плавки прорезал сумерки. Стена за столом Реардэна окрасилась оранжево-золотым сиянием, которое осветило его лоб. Лицо Реардэна было неподвижным и серьезным.

— Государственный институт естественных наук — правительственная организация, мистер Реардэн. Сейчас в законодательных кругах рассматривается ряд законопроектов, которые могут быть приняты в любую минуту. В настоящий момент бизнесмены очень уязвимы. Уверен, вы понимаете, что я хочу сказать.

Улыбаясь, Реардэн встал из-за стола. Он выглядел так, словно от его внутреннего напряжения не осталось и следа.

— Нет, доктор Поттер, не понимаю, — сказал он. — Если бы я понял, мне пришлось бы вас убить.

Поттер направился к двери, остановился, обернулся и посмотрел на Реардэна. Впервые в его взгляде появилось простое человеческое любопытство. Реардэн непринужденно стоял за столом, сунув руки в карманы.

— Скажите, чисто между нами, я спрашиваю исключительно из любопытства: зачем вы это делаете?

— Я отвечу, но вы не поймете, — тихо сказал Реардэн. — Потому что металл Реардэна хорош.

Дэгни не могла понять мистера Моуэна. Руководство его компании внезапно известило ее, что компания отказывается от ее заказа. Ничего не случилось, Дэгни не видела никаких

причин для отказа, а компания не сочла нужным предоставить ей какие-либо разъяснения.

Она срочно выехала в Коннектикут, чтобы лично переговорить с мистером Моуэном, но единственным результатом их встречи стало тяжелое, гнетущее недоумение. Моуэн заявил, что сворачивает производство стрелок из металла Реардэна. В качестве единственного объяснения он сказал, стараясь не смотреть ей в глаза:

— Слишком многим это не нравится.

— Что — металл или то, что вы делаете из него стрелки?

— И то и другое... Людям это не нравится... Я не хочу неприятностей.

— Каких неприятностей?

— Любых.

— Вы слышали, чтобы хоть что-то из всего, что говорят о металле Реардэна, оказалось правдой?

— Кто знает, что правда, а что нет? В резолюции Национального совета по вопросам металлургической промышленности сказано...

— Послушайте, вы проработали с металлом всю жизнь. Последние месяцы вы работали с металлом Реардэна. Неужели вы не поняли, что лучше этого металла в мире ничего нет?

Моуэн не ответил.

— Неужели вы этого не поняли?

— Черт возьми, мисс Таггарт, я бизнесмен. Я человек маленький! Я просто хочу делать деньги.

— А как же, по-вашему, их делают?

Дэгни понимала, что все ее усилия тщетны. Глядя на лицо Моуэна, на его глаза, взгляд которых она никак не могла поймать, она испытала то же чувство, что однажды на одном из отдаленных участков железной дороги, когда буря оборвала телефонные провода; связь прервалась, и слова превратились в ничего не значащий набор звуков.

Дэгни подумала, что бесполезно спорить и удивляться людям, которые не в состоянии ни опровергнуть факты, ни согласиться с ними. Возвращаясь в Нью-Йорк, она не могла уснуть. Сидя в поезде, она внушала себе, что теперь ни Моуэн, ни все остальные не имеют никакого значения, важно одно: найти человека, который согласится изготовить стрелки из сплава Реардэна. Она мысленно перебирала имена, размышляя, кого будет легче убедить, уговорить или подкупить.

Едва переступив порог приемной своего кабинета, Дэгни поняла, что что-то случилось. Ее поразила неестественная тишина и устремленные на нее взгляды сотрудников, словно все они с надеждой и страхом ждали ее прихода.

Эдди Виллерс встал и направился к двери ее кабинета, словно знал, что она все поймет и последует за ним. Она увидела выражение его лица. Что бы ни случилось, ей не хотелось, чтобы Эдди так переживал.

Когда за ними закрылась дверь, Эдди тихо, подавленно сказал:

— Институт естественных наук сделал официальное заявление, предостерегающее от использования металла Реардэна. Оно передавалось по радио и опубликовано в газетах.

— Что они сказали?

— Дэгни, они ничего не сказали... Фактически ничего. Они не сказали ни да, ни нет. Они не высказались прямо против металла Реардэна, но преподнесли все именно таким образом, вот что ужасно.

Он изо всех сил старался говорить спокойно, но не мог. Слова вырывались, словно выталкиваемые расправившим его невероятным негодованием, похожим на возмущение ребенка, который кричит в знак протеста, впервые в жизни столкнувшись с несправедливостью и злом.

— Что они сказали, Эдди?

— Они... Тебе лучше самой прочесть. — Он указал на газету, которую оставил на ее столе. — Они не заявили, что металл Реардэна плох или опасен. То, что они сделали, это... — Он беспомощно всплеснул руками.

Дэгни поняла все с первого взгляда. Перед ее глазами замелькали предложения. «После длительной эксплуатации возможно появление трещин, хотя предсказать, когда это может произойти, в данный момент не представляется возможным... Нельзя сбрасывать со счетов и возможность неожиданного молекулярного распада... Несмотря на очевидный высокий запас прочности металла на растяжение, ряд вопросов относительно его поведения при необычных нагрузках все же вызывает определенные сомнения... Хотя нет никаких доводов в поддержку мнения о запрещении использования данного сплава, дальнейшее изучение его свойств представляется весьма целесообразным...»

— Мы не можем с этим бороться. Мы не можем ничего ответить, — медленно говорил Эдди. — Мы не можем потребовать официального опровержения. Не можем показать им результаты наших испытаний или что-нибудь доказать. Они не сказали ничего, что можно было бы опровергнуть, поставив тем самым под сомнение их компетентность как специалистов. Они поступили как последние трусы. Подобного можно было бы ожидать от какого-нибудь мошенника или шантажиста. Но, Дэгни! Это же Институт естественных наук!

Дэгни молча кивнула. Она стояла, пристально вглядываясь в какую-то точку за окном. В конце темной улицы, словно злобно подмигивая, то гасли, то вспыхивали огни вывески.

Эдди собрался с духом и по-военному доложил:

— Цены на наши акции резко упали. Бен Нили уволился. Национальный союз рабочих железных дорог и автострэд запретил своим членам работать на Рио-Норт. Джим уехал из города.

Дэгни разделась, медленно пересекла кабинет и села за стол. Перед ней лежал большой коричневый конверт с адресом отправителя: «Рearдэн стал».

— Мы получили это с посыльным сразу после твоего отъезда, — сказал Эдди.

Дэгни положила руку на конверт, но не стала вскрывать его. Она знала, что внутри чертежи моста. Через некоторое время она спросила:

— Кто автор этого заявления?

Эдди посмотрел на нее и горько улыбнулся, отрицательно покачав головой.

— Нет, — сказал он, — я тоже сразу об этом подумал. Я разговаривал с институтом по междугородной и навел справки. Нет, заявление сделано от имени доктора Флойда Ферриса, главного администратора.

Дэгни промолчала.

— Все равно институт возглавляет доктор Стадлер. Институт — это он. Он не мог не знать об этом. Это заявление сделано с его ведома и, стало быть... от его имени. Доктор Роберт Стадлер... Помнишь, в колледже... когда мы говорили о выдающихся людях... людях чистейшего интеллекта... мы всегда называли его одним из них и... — Он замолчал. — Извини, Дэгни. Я понимаю, что ни говори — все без толку... Только...

Она сидела, положив руку на коричневый конверт.

— Дэгни, что происходит с людьми? Почему это заявление имеет такую силу? Это же грязная клевета, неприкрытая и гнусная. Прочитав это заявление, порядочный человек выбросил бы его к чертовой матери в мусорный ящик. Как он мог... — В голосе Эдди нарастали отчаяние и гнев. — Как они могли поверить? Неужели они ничего не понимают? Неужели люди разучились трезво мыслить? Дэгни, что позволяет людям так поступать, и как можно с этим жить?

— Спокойно, Эдди, — сказала она. — Спокойно. Не бойся.

Государственный институт естественных наук находился в штате Нью-Гэмпшир. Здание стояло на склоне одинокого холма, на полпути между рекой и небом. Издали оно походило на одинокий монумент, поставленный в девственном лесу. Его окружали аккуратно высаженные, ухоженные деревья. Дорожки были выложены, как в парке. Отсюда открывался вид на крыши небольшого городка, расположенного в долине в нескольких милях от института. Но в непосредственной близости от здания не было ничего, что могло бы сгладить его величественную строгость.

Белые мраморные стены придавали зданию классическое величие, а прямоугольная композиция корпусов — рационализм и красоту современной промышленной постройки. Это было одухотворенное строение.

Люди смотрели на это здание через реку с глубоким уважением и думали о нем, как о памятнике живому человеку души столь же благородной, как облик здания. Над входом в институт была высечена надпись: «Неустрасимому Разуму. Неоскверненной Истине». В тихом крыле, в одном из безлюдных коридоров небольшая медная табличка, ничем не отличавшаяся от множества других табличек на дверях кабинетов, гласила: «Доктор Роберт Стадлер».

В возрасте двадцати семи лет доктор Стадлер написал трактат о космическом излучении, который опроверг большую часть теорий, выдвинутых до него. Все научные труды, написанные после выхода этой работы в свет, любые исследования в той или иной степени основывались на его теории. В тридцать лет он был признан величайшим физиком своего времени. В тридцать два года он возглавил кафедру физики в Университете Патрика Генри, в те дни, когда этот университет еще был достоин своей славы. Именно о нем один писатель сказал: «Пожалуй, среди всех явлений вселенной, которые изучает доктор Стадлер, самым чудесным является его мозг». Именно доктор Стадлер однажды поправил студента: «Независимое научное исследование? Первое прилагательное излишне».

В сорок лет, подписывая петицию об учреждении Государственного института естественных наук, доктор Стадлер обратился с воззванием к нации: «Избавьте науку от диктата доллара». Какое-то время этот вопрос оставался нерешенным. Но группе неизвестных ученых удалось без лишнего шума протащить законопроект об учреждении института через длинные коридоры законодательной власти. Принятие этого законопроекта сопровождалось определенной нерешительностью, чувствовались сомнения и обеспокоенность, источник и причину которых никто не мог определить. Но имя доктора Стадлера действовало, как космическое излучение, — оно преодолело преграды. Страна построила величественное здание из белого мрамора в качестве личного подарка одному из величайших ее представителей.

Кабинет доктора Стадлера был невелик и походил больше на кабинет бухгалтера какой-нибудь второразрядной фирмы. Обстановка состояла из неказистого дешевого стола желтого дуба, шкафа для хранения документов, двух стульев и исписанной математическими формулами доски. Сидя на одном из стульев напротив голой стены, Дэгни думала, что в атмосфере кабинета есть что-то вычурное и вместе с тем изящное: вычурное, потому что непритязательность обстановки подразумевала величие хозяина, который мог позволить себе подобный интерьер, не опасаясь, что это отразится на его репутации. Изящество же заключалось в том, что этому человеку действительно ничего не было нужно, кроме той мебели, что находилась в кабинете.

Дэгни несколько раз встречалась с доктором Стадлером на банкетах, которые устраивали видные бизнесмены или ведущие промышленные компании страны по случаю того или иного торжественного события. Она участвовала в этих банкетах очень неохотно и обнаружила, что доктору Стадлеру нравилось беседовать с ней. «Мисс Таггарт, я никогда не надеюсь на встречу с умным человеком. Но встретить здесь вас — это неслыханное облегчение!» — сказал он ей однажды. Дэгни пришла к нему, помня об этих словах. Она сидела и смотрела на него с видом исследователя: не делая никаких предположений и отбросив эмоции. Она хотела одного: увидеть и понять.

— Мисс Таггарт, — сказал он, — вы мне очень интересны. Меня вообще интересует все, что представляет собой исключение из правила. Как правило, я не очень люблю посетителей. Не скрою, я удивлен тем, что очень рад видеть вас. Знаете ли вы, что это такое — почувствовать вдруг, что можно говорить с собеседником свободно, не напрягаясь и не пытаясь выдать что-то вроде понимания из вакуума?

Доктор Стадлер сидел на краю стола с веселым, непринужденным видом. Он был невысокого роста, но благодаря своей стройности казался молодым, почти по-мальчишески

энергичным. По лицу трудно было определить, сколько ему лет, оно было простоватым, но в больших серых глазах светился такой ум, что все остальное не привлекало к себе внимания. Когда он смеялся, в уголках его глаз появлялись морщинки, а в складке губ чувствовалась едва уловимая горечь. Он вовсе не походил на человека, которому уже за пятьдесят. Единственным признаком возраста были седеющие волосы.

— Расскажите мне побольше о себе, — сказал доктор Стадлер. — Мне всегда хотелось спросить, почему вы избрали карьеру именно в промышленной сфере, ведь это весьма необычно для женщины.

— Я не могу отнимать у вас много времени, доктор Стадлер, — вежливо и деловито сказала она. — Я пришла обсудить с вами вопрос чрезвычайной важности.

Он рассмеялся:

— Вот она, отличительная черта бизнесмена — стремление сразу перейти к делу. Что ж, давайте, давайте. Но не беспокойтесь о моем времени — оно в вашем распоряжении. Так что, вы сказали, вы хотите обсудить со мной? Ах да, металл Реардэна. Я не сказал бы, что информирован о нем наилучшим образом, но если я чем-нибудь могу быть вам полезен... — Он ободряюще махнул рукой.

— Вам известно о заявлении, которое сделал ваш институт относительно металла Реардэна?

Стадлер слегка нахмурился:

— Да, я что-то об этом слышал.

— Вы читали его?

— Нет.

— Это заявление преследует цель не допустить практического применения металла Реардэна.

— Да-да. Это я понял.

— Вы можете сказать мне почему?

Стадлер развел руками. У него были красивые руки — длинные, тонкие, исполненные энергии и силы.

— Я, по правде сказать, не знаю. Это епархия доктора Ферриса. Уверен, у него были на то причины. Вы хотели бы поговорить с ним?

— Нет. Доктор Стадлер, вы знакомы с физическими свойствами металла Реардэна?

— Да, немного. Но скажите, почему это вас так волнует? Искорка интереса вспыхнула и погасла в ее глазах. Все тем же бесстрастным тоном она сказала:

— Я строю новую линию из металла Реардэна, которая...

— Ну конечно же! Я действительно кое-что об этом слышал. Извините, мисс Таггарт, я читаю газеты не так часто, как следовало бы. Так значит, ваша компания строит эту дорогу?

— Существование моей компании зависит от того, будет ли закончено строительство этой новой линии, и у меня есть основания полагать, что от этого зависит и существование всей страны.

Стадлер улыбнулся, и в уголках его глаз появились морщинки.

— Вы можете делать подобные заявления с полной уверенностью, мисс Таггарт? Я вот не могу.

— В данном случае?

— В любом случае. Никто не в силах предсказать, как сложится будущее страны. Этот процесс не поддается расчету, он хаотичен, и в любой данный момент развитие может пойти в любом направлении.

— Доктор Стадлер, как вы считаете, является ли производство необходимым условием существования страны?

— Да. Несомненно.

— Строительство моей новой линии приостановлено в результате заявления, сделанного вашим институтом.

Стадлер не улыбнулся и не ответил.



— Это заявление можно рассматривать как ваше заключение о свойствах металла Реардэна?

— Я же сказал, что даже не читал его, — произнес Стадлер с едва уловимой резкостью в голосе.

Дэгни открыла свою сумочку, достала газетную вырезку и протянула ее Стадлеру:

— Прочитайте и скажите, прилично ли науке говорить таким языком?

Стадлер просмотрел текст, презрительно улыбнулся и с отвращением отшвырнул статью в сторону.

— Просто отвратительно, — сказал он. — Подумать только, какая низость, но что поделать, когда имеешь дело с людьми.

— Стало быть, вы не одобряете этого заявления? — спросила Дэгни, не поняв смысла его высказывания.

Стадлер пожал плечами:

— Мое одобрение или неодобрение не имеет никакого значения.

— У вас есть собственное суждение о металле Реардэна?

— Сопромат не совсем моя специальность.

— Вы просмотрели какие-нибудь данные о металле Реардэна?

— Мисс Таггарт, я не понимаю, в чем смысл ваших вопросов. — В его голосе прозвучало легкое раздражение.

— Мне бы хотелось знать ваше личное мнение о металле Реардэна.

— Для чего?

— Чтобы я могла передать его прессе. Стадлер встал:

— Это невозможно.

— Я предоставлю вам всю необходимую информацию, — сказала она напряженным голосом, изо всех сил стараясь добиться понимания.

— Я не могу делать никаких официальных заявлений на эту тему.

— Почему?

— Я не могу объяснить вам в обычном разговоре всю сложность сложившейся ситуации.

— Но если вы поймете, что металл Реардэна действительно очень ценен, что...

— Это не имеет никакого значения.

— Металл Реардэна не имеет никакого значения?

— Мисс Таггарт, это очень сложный вопрос, где играют важную роль не только факты.

— Что же, если не факты, представляет важность для науки? — сказала Дэгни, не веря собственным ушам.

Горькие морщинки в уголках его губ сложились в подобие улыбки.

— Мисс Таггарт, вы не понимаете научных проблем.

— Мне кажется, вы знаете, что на самом деле представляет собой металл Реардэна, — медленно произнесла Дэгни, словно сама поняла это в тот момент, когда выговаривала эти слова.

Стадлер пожал плечами:

— Да, я знаю. Судя по тому, что мне известно, — это необыкновенная вещь, блестящее достижение — с технической точки зрения. — Он раздраженно ходил взад-вперед по кабинету. — Честно говоря, я и сам был бы не прочь заказать специальную лабораторную установку из металла Реардэна, которая выдерживала бы сверхвысокие температуры. Эта установка представляла бы огромную ценность в связи с рядом явлений, за которыми мне хотелось бы понаблюдать. Я обнаружил, что, если разогнать элементарные частицы до скорости, близкой к скорости света, они...

— Доктор Стадлер, — медленно проговорила Дэгни, — вы знаете правду и, тем не менее, не хотите заявить об этом публично.

— Мисс Таггарт, вы оперируете отвлеченными понятиями, в то время как речь идет о вопросах практических.

— Речь идет о вопросах науки.

— Науки... А вы не путаетесь в терминологии? Лишь в области чистой, фундаментальной науки истина — абсолютный критерий. Сталкиваясь с прикладной наукой, мы имеем дело с людьми. А имея дело с людьми, нужно принимать во внимание еще ряд соображений помимо истины.

— Каких соображений?

— Я не технолог, мисс Таггарт. И у меня нет ни способностей, ни желания иметь дело с людьми. Я не могу заниматься так называемыми практическими вопросами.

— Это заявление было сделано от вашего имени.

— Я не имею к нему никакого отношения.

— Но репутация института, его имя — ответственность за это несете вы.

— Это абсолютно необоснованное предположение.

— Люди думают, что честь вашего имени — своего рода гарант действий института.

— Я ничего не могу поделать с тем, что люди так думают, если они вообще думают.

— Они поверили вашему заявлению. А это была ложь.

— АО какой истине можно говорить, имея дело с людьми?

— Я не понимаю вас.

— Вопросы истины не входят в круг общественных проблем. Принципы никогда не оказывали никакого влияния на общество.

— Чем же тогда человек руководствуется в своих поступках?

Стадлер пожал плечами:

— Практической целесообразностью данного момента.

— Доктор Стадлер, — сказала Дэгни, — мне кажется, я должна объяснить вам, что означает приостановка строительства моей новой линии и к каким последствиям это может привести. Мне не дают работать во имя общественной безопасности, потому что я использую при строительстве самые лучшие рельсы из всех, которые когда-либо производились. Через шесть месяцев, если я не закончу строительство, самый развитый промышленный район страны останется без транспортного сообщения. Он будет уничтожен потому, что это самый богатый район и кое-кто счел целесообразным прибрать к рукам часть его богатств.

— Что ж, может быть, это несправедливо, бесстыдно, но такова уж жизнь в обществе. Кого-то всегда приносят в жертву — и, как правило, несправедливо. Другого способа жить среди людей просто не существует. Что может сделать один человек?

— Вы можете сказать правду о металле Реардэна. Стадлер промолчал.

— Я могла бы умолять вас сделать это, чтобы спасти меня или предотвратить национальную катастрофу. Но я не стану этого делать. Возможно, это не самые веские причины. Причина одна — вы должны опровергнуть заявление вашего института потому, что это ложь.

— Со мной никто не консультировался по поводу обнародования этого заявления! — непроизвольно выкрикнул Стадлер. — Я бы не допустил этого. Но я не могу выступить с публичным опровержением.

— С вами никто не советовался? Так неужели вам не хочется выяснить причины, которые кроются за этим заявлением?

— Я не могу сейчас уничтожить институт.

— Неужели вам не хочется выяснить причины?

— А что мне выяснять, я и так все знаю. Мне ничего не говорят, но я все знаю и не могу сказать, что осуждаю их за это.

— Тогда назовите эти причины мне, доктор Стадлер.

— Назову, если хотите. Ведь вы хотите знать истину, не так ли? Доктор Феррис не виноват, что эти идиоты, от которых зависит финансирование нашего института, настаивают на, как они выражаются, практических результатах. Такого понятия, как чистая, фундаментальная наука для них просто не существует. Они могут судить о науке лишь по

количеству полученных благодаря ей технологических новинок. Не знаю, как доктор Феррис умудряется удерживать институт на плаву. Я могу лишь восхищаться его практическими способностями. Феррис никогда не был первоклассным ученым, но он — слуга науки, причем слуга, которому нет цены. Я знаю, что в последнее время ему приходится несладко, он меня ни во что не вмешивал и полностью оградил от всех проблем, но слухи дошли и до меня. Наш институт подвергается резкой критике за то, что недостаточно производит. Общественность требует экономии. В такие времена, какие мы переживаем, когда поставлено под угрозу удовлетворение элементарных человеческих потребностей, можно не сомневаться в том, что первой в жертву принесут именно науку. Этот институт — последнее научное учреждение. Частных научных фондов практически не осталось. Только посмотрите на алчных негодяев, которые заправляют промышленностью страны! Науке от них ждать нечего.

— А кто финансирует вас сейчас? — глухо спросила Дэгни.

Стадлер пожал плечами:

— Общество.

— Вы собирались назвать мне причины, которые кроются за этим заявлением.

— Я думаю, вы сами легко могли бы их установить. Учитывая, что в институте уже тринадцать лет существует отдел металловедения, который проглотил более чем двадцать миллионов долларов, а произвел только политуру-серебрянку да антикоррозийный препарат, который, по-моему, хуже старого, можете себе представить реакцию общественности, если частное лицо предложит продукт, который произведет революцию в металлургии и будет иметь сенсационный успех.

Дэгни опустила голову и промолчала.

— Я ни в чем не обвиняю наш металловедческий отдел, — сердито сказал Стадлер, — я понимаю, невозможно предсказать, сколько времени потребует получение подобных результатов, но общественность-то этого не поймет. Чем же мы должны пожертвовать: куском железа, пусть необыкновенно ценным, или последним в мире научным центром и всем будущим человеческого знания? Вот выбор, перед которым мы стоим.

Дэгни сидела, склонив голову. Через некоторое время она сказала:

— Хорошо, доктор Стадлер, я не буду спорить.

Он увидел, как она потянулась за сумочкой, собираясь встать и выйти, движения ее были чисто автоматическими, словно она не осознавала, что делает.

— Мисс Таггарт, — тихо, умоляюще сказал он.

Дэгни подняла глаза. Ее лицо оставалось спокойным и бесстрастным. Он подошел ближе и оперся рукой о стену над головой Дэгни, словно пытаясь удержать ее.

— Мисс Таггарт, — мягко, с горечью сказал он, пытаясь убедить ее. — Я старше вас. Поверьте мне, другого способа жить в этом мире просто не существует. Людям недоступны истина и разум. Они глухи к ним. Разум против них бессилен, и, тем не менее, мы вынуждены жить в этом мире. Если мы хотим чего-нибудь достичь, мы должны обманом вынудить людей позволить нам этого достичь. Или силой. Иначе с ними нельзя. Другого языка они не понимают. Мы не можем рассчитывать на поддержку разумных начинаний или высоких духовных устремлений. Люди — это порочные животные, алчные хищники, гонящиеся за наживой и потакающие своим прихотям.

— Я одна из тех, кто гонится за наживой, доктор Стадлер, — глухо сказала Дэгни.

— Вы — необыкновенный одаренный ребенок, который видел в жизни не так уж много, чтобы постичь масштабы человеческой глупости. Я боролся против нее всю свою жизнь. Я очень устал. — В голосе Стадлера прозвучала неподдельная искренность. Он медленно отошел от стены. — Было время, когда, видя этот сумасшедший дом, в который превратили мир, я хотел кричать, умолять выслушать меня — я мог научить людей жить намного лучше. Но слушать меня было некому, да и они все равно не слышали бы меня, потому что были глухи... Интеллект? Это случайная искорка, которая изредка на миг сверкнет среди людей и тут же гаснет. Никто не знает ее природы... ее будущего... или

гибели...

Дэгни привсталась со стула. '

— Не уходите, мисс Таггарт. Я хотел бы, чтобы вы меня поняли.

Она посмотрела на него с покорным безразличием и осталась сидеть. Нельзя было сказать, что она побледнела, но черты ее лица проступили необычайно отчетливо, словно кожа утратила все оттенки.

— Вы молоды, — сказал Стадлер, — в ваши годы я тоже верил в безграничную силу разума. Тогда человек представлялся мне воистину существом разумным. С тех пор я так много повидал на своем веку и так часто испытывал глубочайшее разочарование... Расскажу вам в качестве примера одну историю.

Он стоял у окна своего кабинета. На улице уже стемнело. Казалось, темнота подступает снизу, с черной поверхности реки, где в воде дрожало отражение нескольких огоньков, долетавших с равнины между холмами на другом берегу. В неподвижном темно-голубом вечернем небе низко над землей горела одинокая звезда. Она казалась необыкновенно большой, и от этого небо выглядело еще более темным.

— Когда я работал в Университете Патрика Генри, у меня было трое учеников. Я знал многих одаренных студентов, но эти трое были той наградой, о которой учитель может только мечтать. Они были воплощением человеческого разума в его величайшем проявлении. Это был тот тип интеллекта, от которого ждешь, что когда-нибудь он изменит судьбу человечества. Они вышли из разных социальных слоев, но были неразлучными друзьями. Все трое сделали необычный выбор предметов. Они заканчивали одновременно по двум специальностям — моей и Хью Экстона. Философия и физика. В наши дни подобного сочетания уже не встретишь. Хью Экстон был выдающимся философом, человеком необычайного ума... не то что этот недоумок, который сейчас занимает его место. Экстон и я ревновали друг к другу этих студентов. Это было своего рода состязанием между нами, дружеским состязанием, потому что мы понимали друг друга. Однажды Экстон сказал мне, что относится к ним как к своим сыновьям. Меня это задело... потому что я сам относился к ним точно так же. — Стадлер обернулся и посмотрел на Дэгни. На его лице резко проступили морщины. — Когда я выступил за учреждение этого института, один из троих проклял меня. С тех пор я его не видел. Первые несколько лет это меня беспокоило. Я спрашивал себя, не был ли он прав. Теперь это меня уже не тревожит. — Он улыбнулся. Его лицо не выражало ничего, кроме горечи. — Эти трое, перед которыми были открыты все возможности, благодаря их дару, их величайшему разуму, эти трое, которым прочили такое блестящее будущее... Одним из них был Франциско Д'Анкония, который превратился в никчемного плейбоя. Вторым — Рагнар Даннешильд, который стал обыкновенным пиратом. Ничего не скажешь, достойное воплощение тех надежд, что подавал великий человеческий разум.

— А кто был третьим? — спросила Дэгни. Стадлер пожал плечами:

— Третий не добился даже такой неблагоприятной известности. Он бесследно исчез — утонул в трясине посредственности. Возможно, работает где-то младшим помощником бухгалтера.

— Это ложь. Я не сбежал, — кричал Джеймс Таггарт. — Я приехал сюда, потому что заболел. Спроси доктора Вильсона, если не веришь. Он тебе подтвердит. Это разновидность гриппа. И как ты узнала, что я здесь?

Дэгни стояла посреди комнаты. На воротнике ее пальто и полях шляпы таяли, превращаясь в капельки воды, снежинки. Она огляделась вокруг, ощущая неосознанную грусть.

Они находились в доме старого поместья Таггартов на берегу Гудзона. Поместье досталось Джиму по наследству, но он редко приезжал сюда. В дни их детства это был кабинет отца. Сейчас он выглядел заброшенной комнатой, которой время от времени пользуются, но в которой не живут. Все стулья, за исключением двух, были зачехлены.

Камин не горел, жалкую дозу тепла давал лишь электрический обогреватель, шнур которого тянулся по полу через всю комнату. Письменный стол блистал пустой стеклянной столешницей.

Джим лежал на кушетке, обмотав горло полотенцем. На стоявшем рядом стуле Дэгни увидела полную окурков пепельницу, бутылку виски и смятый бумажный стакан. На полу валялись беспорядочно разбросанные газеты двухдневной давности. Над камином висел портрет их деда в полный рост, на заднем плане смутно вырисовывались очертания железнодорожного моста.

— У меня нет времени препираться, Джим.

— Это была твоя идея. Надеюсь, ты признаешь это на совете директоров. Вот до чего довел нас твой проклятый металл Реардэна, черт бы его побрал. Если бы мы подождали, пока Орен Бойл...

На его перекошенном небритом лице отразился панический страх, смешанный со злорадством, ненавистью и облегчением от того, что он нашел виноватого и может на нем отыграться. И в то же время в его взгляде сквозила осторожная, едва уловимая мольба — это были глаза человека, у которого появилась надежда.

Таггарт выжидающе замолчал, но Дэгни ничего не ответила. Она стояла молча, сунув руки в карманы, и смотрела на него.

— Теперь мы не в силах что-либо сделать, — простонал он. — Я пытался связаться с Вашингтоном, чтобы заставить их прибрать к рукам «Финикс — Дуранго» и ввиду чрезвычайных обстоятельств передать эту дорогу нам. Но они даже слышать об этом не захотели. Сказали, что очень многим это не понравится. Боятся создать прецедент... Я добился в Национальном железнодорожном союзе разрешения, позволяющего Дэну Конвэю остаться в Колорадо еще на год, это дало бы нам время и шанс выкарабкаться, но он отказался. Я пытался договориться с Эллисом Вайетом и его друзьями в Колорадо. Я хотел, чтобы они заставили Вашингтон потребовать, чтобы Конвэй остановил сворачивание своей линии, но Вайет и остальные ублюдки из Колорадо отказали мне. Речь идет об их шкуре, они в еще худшем положении, чем мы, и наверняка прогорят — и они отказались.

Дэгни слегка улыбнулась, но ничего не сказала.

— Теперь у нас нет выхода. Мы в ловушке. Мы не можем бросить эту линию и не можем завершить строительство. Не можем ни остановиться, ни идти вперед. У нас нет денег. От нас все бегут, как от прокаженных. Что мы можем без Рио-Норт? Но у нас нет никакой возможности завершить ее. Нам объявят бойкот и занесут в черный список. Профсоюз железнодорожников подаст на нас в суд. Вот увидишь, непременно подаст, есть такой закон. Мы не можем завершить строительство этой линии. Господи! Что же нам делать?

Дэгни ждала.

— Ты все сказал, Джим? Если все, то я скажу, что мы будем делать.

Таггарт молчал, глядя на нее исподлобья.

— Это не предложение, Джим. Это ультиматум. Выслушай и соглашайся. Я завершу строительство Рио-Норт. Я лично — не «Таггарт трансконтинентал». Я временно уйду с поста вице-президента и создам собственную частную компанию. Твой совет передаст Рио-Норт мне. Я буду сама себе подрядчиком. Сама изыщу средства. Вся ответственность я тоже возьму на себя. Я завершу строительство в срок. После того как ты увидишь линию в деле, я верну ее «Таггарт трансконтинентал» и займу прежнее место. Это все.

Таггарт молча смотрел на нее, кончиками пальцев покачивая домашнюю туфлю. Она никогда не думала, что выражение надежды на лице человека может вызывать отвращение. Но это было именно так. На лице Таггарта смешались надежда, хитрость и коварство. Она отвернулась от него, спрашивая себя, как он мог в такую минуту думать о том, как бы ее повыгоднее использовать.

— А кто будет все это время управлять «Таггарт трансконтинентал»? — озабоченно спросил Таггарт.

Вопрос показался Дэгни совершенно абсурдным и бессмысленным. Она рассмеялась. Звук собственного смеха удивил ее. Это был горький смех старухи, все изведавшей и во всем разуверившейся.

— Эдди Виллерс, — сказала она.

— О нет! Он не справится.

Дэгни опять так же невесело рассмеялась:

— А я думала, что в подобных вопросах ты разбираешься лучше меня. Эдди просто займет пост вице-президента. Он будет сидеть в моем кабинете, за моим столом. Как ты думаешь, кто в действительности будет управлять «Таггарт трансконтинентал»?

— Но я не понимаю, каким образом...

— Я буду прилетать из Колорадо. К тому же существует междугородная связь. Я буду делать то же, что и раньше. Ничего не изменится, не считая спектакля, который ты устроишь для своих друзей, и некоторых дополнительных трудностей для меня.

— Какого еще спектакля?

— Джим, ты прекрасно меня понимаешь. Я не имею ни малейшего понятия, в чем ты там замешан и в какие игры играешь, ты и твой совет директоров. Я этого не знаю, и мне на это глубоко наплевать. Вы все можете спрятаться за моей спиной. Раз уж вы все так боитесь, потому что повязаны с дружками, для которых металл Реардэна представляет страшную угрозу, вот вам возможность убедить их, что вы ни при чем, что все это затеяла я, а не вы. Можете всячески поносить меня вместе с ними. Можете сидеть дома, ничем не рисковать и не наживать себе врагов. Просто не мешайте мне.

— Что ж, — медленно произнес Таггарт, — проблемы, которые неизбежно возникают в процессе функционирования огромной железнодорожной системы, достаточно сложны... в то время как небольшая независимая компания может позволить себе...

— Да, Джим, да. Я все это знаю. Как только ты объявишь, что передаешь Рио-Норт мне, акции «Таггарт трансконтинентал» пойдут вверх. Все эти клопы перестанут лезть из всех щелей, потому что у них уже не будет перспективы сосать кровь из большой компании. А пока они решат, что делать со мной, я завершу строительство. Что до меня, то я не хочу видеть ни тебя, ни твой совет директоров, перед которым нужно отчитываться и с которым нужно спорить, чтобы вымолить для себя необходимые полномочия. На это нет времени, если я хочу сделать то, что необходимо сделать. Поэтому я сделаю это одна, без вас.

— А... если у тебя ничего не выйдет?

— Если у меня ничего не выйдет, пойду ко дну я одна.

— Ты понимаешь, что в таком случае «Таггарт трансконтинентал» никак не сможет помочь тебе?

— Понимаю.

— Ты не будешь рассчитывать на нас? — Нет.

— Ты прервешь все официальные связи с нами, чтобы твои действия не отразились на нашей репутации?

— Да.

— Я думаю, нам нужно договориться, что в случае неудачи или публичного скандала твой временный уход станет постоянным... то есть ты не вернешься на должность вице-президента компании.

На мгновение она закрыла глаза:

— Хорошо, Джим. В таком случае я не вернусь.

— Прежде чем мы передадим тебе Рио-Норт, нужно подписать соглашение, что в случае, если линия окажется рентабельной, ты вернешь нам ее вместе с контрольным пакетом акций. Иначе, воспользовавшись тем, что линия нам крайне нужна, ты можешь попытаться выжать из нас все соки.

Лишь на мгновение в ее глазах промелькнуло возмущенное удивление.

Затем она безразлично произнесла:

— Конечно, Джим. Пусть к завтрашнему дню подготовят все бумаги.

Ее слова прозвучали так, словно она швырнула ему милостыню.

— Теперь насчет твоего временного заместителя.

— Что?

— Неужели ты действительно хочешь, чтобы это был Эдди Виллерс?

— Да, хочу.

— Но ведь он не сможет даже сыграть роль вице-президента. У него не тот имидж — не та внешность, не те манеры...

— Он знает свое дело и в курсе моих дел. Он знает, чего я хочу. Я ему доверяю и могу работать с ним.

— Может быть, лучше выбрать кого-нибудь из более известных молодых сотрудников, выходца из богатой семьи, человека с именем?

— Джим, вице-президентом будет Эдди Виллерс.

— Ну хорошо, — вздохнул Таггарт, — только нужно быть очень осторожными. Нам ведь ни к чему, чтобы люди заподозрили, что ты по-прежнему управляешь компанией. Об этом никто не должен знать.

— Об этом будут знать все. Но поскольку никто не заявит об этом в открытую, все будут довольны.

— Но мы должны сохранять видимость.

— Ну конечно. Тебе не обязательно узнавать меня на улице, если ты этого не хочешь. Можешь сказать, что никогда в жизни меня не видел, а я скажу, что никогда в жизни не слышала о «Таггарт трансконтинентал».

Таггарт молча размышлял о чем-то, уставившись в пол. Дэгни отвернулась и посмотрела в окно. Небо было ровного серовато-белого зимнего цвета.

Далеко внизу, на берегу Гудзона, она видела дорогу, за которой наблюдала в детстве в ожидании, когда подъедет машина Франциско, видела возвышавшуюся над рекой скалу, на которую они взбирались в надежде увидеть небоскребы Нью-Йорка, а где-то за лесом проходили рельсы, ведущие к станции Рокдэйл, где она когда-то давным-давно работала. Сейчас земля была покрыта снегом, и то, что осталось от той местности, напоминало чертеж — блеклый рисунок, на котором из снега тянулись к небу голые ветви. Рисунок был черно-белым, как старая фотография, которую хранят на память, но которая ничего не может вернуть.

— Как ты собираешься назвать ее? Она вздрогнула и обернулась:

— Что?

— Свою компанию.

— А, вот ты о чем. Наверное, «Линия Дэгни Таггарт», а что?

— Но... разумно ли это? Это могут неверно истолковать. Таггарт может быть понято как...

— Как же ты хочешь, чтобы я ее назвала? — вспыхнула Дэгни, вконец теряя терпение. — «Мисс Никто»? «Мадам Х»? «Линия Джона Галта»? — Она вдруг замолчала и улыбнулась. Это была холодная, угрожающая улыбка. — Вот именно так я ее и назову: «Линия Джона Галта».

— О Господи, нет!

— Да, Джим, да.

— Но ведь это... это же бессмысленное выражение.

— Вот именно.

— Но нельзя же сделать посмешищем такой серьезный проект. Нельзя быть такой вульгарной и неблагородной!

— Неужели?

— Но, Господи, почему?

— Потому что это шокирует их всех, так же как тебя.

— Я что-то не припомню, чтобы ты старалась бить на эффект.

— Что ж, на этот раз постараюсь.

— Но... Послушай, Дэгни, это плохой знак... То, что означают эти слова...

— А что они означают?

— Не знаю... но когда люди их произносят, кажется, что ими движет...

— Страх? Отчаяние? Бездна?

— Да... да, именно так.

— Вот я и докажу обратное.

Таггарт заметил сверкнувшие в ее глазах искорки гнева и понял, что лучше помолчать.

— Подготовь все документы для линии Джона Галта, — сказала Дэгни.

— Что ж, как знаешь. Это" твоя линия, — вздохнул Таггарт.

— Еще бы.

Он удивленно посмотрел на нее. Сейчас своим поведением она несколько не напоминала вице-президента огромной компании. Казалось, она с радостью и облегчением перешла на уровень рабочего депо или строителя.

— Что касается бумаг и юридической стороны вопроса, — сказал Таггарт, — то здесь могут возникнуть определенные трудности. Нам придется запросить разрешения...

Дэгни резко повернулась к нему. На ее лице сохранялось оживленное выражение, но веселость уже ушла. Дэгни больше не улыбалась. В ее глазах появилось что-то первобытное. Посмотрев на нее, Таггарт про себя взмолился, чтобы ему больше никогда не довелось видеть ее такой.

— Послушай, Джим, — сказала она; ему никогда раньше не приходилось слышать подобного тона. — В этой сделке ты можешь быть полезен лишь в одном, и лучше тебе хорошенько постараться: держи своих парней из Вашингтона подальше от меня. Позаботься о том, чтобы они предоставили мне все разрешения, санкции, права и прочую макулатуру, положенную по их законам. Пусть даже и не пытаются остановить меня. Если они попробуют... Джим, говорят, что наш предок, Нэт Таггарт, убил чиновника, попытавшегося отказать ему в разрешении, которого не следовало и просить. Не знаю, действительно он его убил или нет, скажу тебе одно: я знаю, каково ему было, если он все же его прикончил. Если он этого не делал — я могу сделать это, чтобы поддержать семейную легенду. Я не шучу, Джим, учти это.

Франциско Д'Анкония сидел за столом напротив нее. Его лицо было совершенно бесстрастным. Оно оставалось бесстрастным, пока Дэгни четко, по-деловому объясняла цель создания своей железнодорожной компании. Он слушал молча.

Она впервые видела на его лице полную апатию. В нем не проскальзывало ни насмешки, ни веселья, ни протеста. Он словно отключился от жизни, и его было ничем не прорвать. Тем не менее он внимательно смотрел на нее и, казалось, видел больше, чем она подозревала. Его глаза напоминали затемненное стекло, которое поглощает лучи света, не отражая их.

— Франциско, я попросила тебя прийти именно сюда, потому что хотела, чтобы ты увидел меня в моем кабинете. Ты ведь никогда его не видел. Раньше это что-то значило бы для тебя.

Он медленно осмотрелся. Стены кабинета украшали лишь карты «Таггарт трансконтинентал», изображение Нэта Таггарта в карандаше — именно с него делали скульптуру — и большой железнодорожный календарь, пестревший яркими красками. Такие календари, всякий раз с новой картинкой, ежегодно рассылались по всем станциям компании. Календарь вроде этого висел и на станции Рокдэйл, когда Дэгни работала там.

Франциско встал и едва слышно сказал:

— Дэгни, ради себя самой и, — какое-то едва уловимое мгновение он колебался, — из жалости ко мне, если у тебя еще осталась хоть капля ее, не проси у меня того, что хочешь попросить. Не надо. Позволь мне уйти.

Это было вовсе не похоже на него. Она никогда не думала, что может услышать от него нечто подобное. Прошло некоторое время, прежде чем она смогла спросить:



— Почему?

— Я не могу тебе сказать. Не могу ответить ни на один вопрос. Это одна из причин, почему нам лучше не говорить об этом.

— Ты знаешь, о чем я хочу тебя попросить?

— Да. — Увидев в ее полном отчаяния взгляде красноречивый вопрос, он вынужден был добавить: — Я знаю, что собираюсь тебе отказать.

— Почему?

Он горько улыбнулся и развел руками, словно давая ей понять, что именно это он предвидел и этого хотел избежать. Ее голос прозвучал очень тихо:

— Я должна попытаться, Франциско. Со своей стороны, я вынуждена обратиться к тебе с этой просьбой. Как поступать тебе — это уже твое дело. Но я буду знать, что испробовала все.

Он остался стоять, но слегка склонил голову в знак согласия и сказал:

— Я выслушаю, если тебе от этого будет легче.

— Мне нужно пятнадцать миллионов долларов, чтобы завершить строительство Рио-Норт. Я получила семь миллионов, заложив свой пакет акций «Таггарт трансконтинентал». Больше мне денег взять негде. Я выпущу облигации своей новой компании на сумму восемь миллионов долларов. Я пригласила тебя, чтобы попросить купить эти облигации.

Франциско молчал.

— Франциско, я просто нищенка, которая просит у тебя денег. Я всегда думала, что в бизнесе не просят милостыню. Я всегда была твердо убеждена, что в бизнесе человек исходит из того, что может предложить, и рассчитывает на взаимовыгодный обмен ценностями. Сейчас это уже не так, хотя я и не понимаю, как мы можем продолжать существовать, поступая иначе. Исходя из объективных фактов Рио-Норт будет лучшей железнодорожной линией в стране. По всем критериям это наиболее выгодное капиталовложение. Но именно из-за этого у меня ничего не выходит. Я не могу получить нужную сумму, предлагая людям выгодное деловое предприятие. Тот неоспоримый факт, что оно выгодно, заставляет людей отказываться от него. Ни один банк не купит облигации, выпущенные моей компанией. Поэтому я не могу просить денег, основываясь на достоинствах моего предприятия. Я могу лишь просить милостыню. — Дэгни говорила с бесстрастной четкостью. Она замолчала и ждала ответа.

Франциско молчал.

— Я знаю, что мне нечего тебе предложить, — сказала она. — Я не могу говорить с тобой о капиталовложениях. Деньги тебя не интересуют. Индустриальные проекты уже давно ничего не значат для тебя. Поэтому я не стану притворяться, что это честная взаимовыгодная сделка. Я просто прошу подаяния. — Она перевела дух и добавила: — Дай мне эти деньги как милостыню, как подачку, потому что для тебя они ничего не значат.

— Не надо, Дэгни, — глухо произнес Франциско; она не поняла, что звучало в его голосе: боль или гнев. Он стоял, опустив глаза.

— Ты дашь мне денег, Франциско?

— Нет.

Помолчав немного, она сказала:

— Я пригласила тебя не потому, что рассчитывала на твое согласие, а потому, что ты единственный человек, который может меня понять. Поэтому я должна была попытаться. — Она говорила все тише и тише, словно надеялась, что это помешает ему понять ее чувства. — Понимаешь, я до сих пор не могу поверить, что ты конченный человек... потому что ты... я знаю, ты все еще можешь услышать меня. Ты ведешь распутную жизнь, но твои поступки, даже то, как ты говоришь о них, свидетельствуют об обратном... Я должна была попытаться... Я больше не могу терзаться сомнениями и теряться в догадках, пытаюсь понять тебя.

— Я подскажу тебе. Противоречий не существует. Всякий раз, когда ты считаешь, что сталкиваешься с противоречием, проверь исходные положения. Ты обнаружишь, что одно из

них ошибочно.

— Франциско, — прошептала она, — почему ты не хочешь сказать мне, что с тобой произошло?

— Потому что в данный момент ответ причинит тебе неизмеримо большую боль, чем сомнения.

— Неужели он так ужасен?

— До этого ответа ты должна дойти сама. Дэгни покачала головой:

— Не знаю, что тебе предложить. Я больше не знаю, что представляет для тебя ценность. Ведь даже нищий должен что-то давать взамен, должен придумать какую-то причину, по которой ты можешь захотеть помочь ему. Я думала... успех — когда-то для тебя это значило очень много. Успех в промышленном предприятии. Помнишь, как мы с тобой когда-то говорили об этом? Ты был очень строг. Ты от меня многого ожидал. Ты сказал мне, что я должна оправдать твои ожидания. Я так и сделала. Тебе было интересно, каких высот я достигну в «Таггарт трансконтинентал». — Она обвела рукой кабинет. — Вот как высоко я поднялась... И я подумала... если воспоминание о том, что когда-то представляло для тебя ценность, еще что-то значит, — пусть это насмешка, или мимолетная грусть, или просто чувство-подобное тому, что человек испытывает, возлагая цветы на могилу... может быть, во имя этого... ты дашь мне денег.

— Нет.

— Эти деньги ничего для тебя не значат — ты потратил куда больше на бессмысленные увеселения, ты вышвырнул куда больше на бесполезную затею с рудником Сан-Себастьян...

Он поднял глаза и посмотрел ей прямо в лицо. Впервые за все время она увидела, как в его глазах блеснула искорка живого отклика, ясный, безжалостный и необыкновенно гордый взгляд, словно то, в чем она его обвиняла, придавало ему сил.

— О да, — медленно протянула Дэгни, словно отвечая на его мысль. — Я понимаю, все понимаю. Я всячески поносила и осуждала тебя из-за этих рудников, я всеми возможными способами выразила тебе свое презрение, а теперь вернулась к тебе за деньгами. Как Джим, как все те попрошайки, с которыми тебе приходилось сталкиваться. Я знаю, что ты торжествуешь, что можешь рассмеяться мне в лицо и имеешь полное право презирать меня. Что ж, может, такое удовольствие я могу тебе доставить. Если ты хочешь развлечься, если тебе было приятно смотреть, как Джим и эти мексиканские прожектеры пресмыкаются перед тобой, — может быть, тебе доставит удовольствие сломить и меня? Разве это не будет тебе приятно? Неужели ты не хочешь услышать из моих уст, что ты побил меня по всем статьям?

Неужели ты не хочешь увидеть, как я ползаю перед тобой на коленях? Скажи, что тебе больше по нраву, и я покорюсь.

Его движения были так стремительны, что она ничего не успела понять; ей лишь показалось, что сначала он вздрогнул. Франциско обошел вокруг стола, взял ее руку, поднес к своим губам и поцеловал. Это был знак глубочайшего уважения, словно он хотел придать ей сил. Но пока он стоял, прижимая к губам, а потом к лицу ее руку, она поняла, что он сам хочет почерпнуть сил у нее.

Франциско отпустил ее руку и посмотрел ей в глаза. Он улыбнулся, даже не пытаясь скрыть страдание, гнев и нежность.

— Дэгни, ты хочешь пресмыкаться передо мной? Ты не знаешь, что это значит, и никогда не узнаешь. Человек не пресмыкается, когда заявляет об этом так честно, как это сделала ты. Неужели ты думаешь, я не понимаю, что попросить у меня денег было с твоей стороны самым смелым поступком. Но... не проси меня, Дэгни.

— Во имя всего, что я когда-нибудь для тебя значила, — прошептала она, — всего, что еще осталось в тебе...

В то же мгновение, когда она подумала, что видела это выражение на его лице раньше, в их последнюю ночь, она услышала его крик — крик, который прежде никогда не вырывался у него в ее присутствии:

— Любимая, я не могу!

Они посмотрели друг на друга, замолчав от удивления, и она увидела, как изменилось его лицо. Оно вдруг резко огрубело. Он рассмеялся, отошел от нее и сказал оскорбительно безразличным тоном:

— Прошу простить мне манеру выражаться. Мне приходилось говорить это многим женщинам, но по несколько иному поводу.

Она уронила голову и сидела, съежившись и не беспокоясь о том, что он это видит. Когда она подняла глаза, на ее лице застыло полное безразличие.

— Хорошо, Франциско. Неплохо сыграно! Я действительно поверила. Если ты решил таким образом воспользоваться моим предложением и доставить себе удовольствие, тебе это удалось. Я ничего не буду у тебя просить.

— Я тебя предупреждал.

— Не понимаю, на чьей ты стороне. Это кажется невероятным, но ты на стороне Орена "Бойла, Бертрама Скаддера и твоего бывшего учителя.

— Моего бывшего учителя? — резко спросил Франциско.

— Доктора Роберта Стадлера. Он облегченно усмехнулся:

— А, этого. Он — бандит, который считает, что его цель оправдывает захват моих средств. — И добавил: — Дэгни, я хочу, чтобы ты хорошенько запомнила свои слова — на чьей стороне, как ты говоришь, я нахожусь. Однажды я напомню тебе об этом, и тогда посмотрим, захочешь ли ты повторить их.

— Тебе не понадобится напоминать мне об этом. Франциско повернулся, собираясь уйти, и, непринужденно кивнув на прощанье, сказал:

— Если бы линию Рио-Норт можно было построить, я бы пожелал тебе удачи.

— Ее построят. И она будет называться линией Джона Галта.

— Что? — вскрикнул Франциско. Дэгни насмешливо усмехнулась:

— Линия Джона Галта.

— Боже мой, Дэгни, почему?

— Разве это название тебе не нравится?

— Как тебе пришло в голову выбрать его?

— Во всяком случае звучит куда лучше, чем мистер Никто или мистер Некто, правда?

— Дэгни, но почему именно это?

— Потому что оно тебя пугает.

— Что, по-твоему, оно значит?

— Невозможное. Недостижимое. И то, что вы все боитесь моей линии, как боитесь этого имени.

Франциско рассмеялся. Он смеялся, не глядя на нее, и каким-то необъяснимым образом она чувствовала уверенность, что он забыл о ней, что сейчас он где-то далеко, он смеялся в неудержимом приступе веселья и горечи над чем-то, к чему она не имела никакого отношения.

Потом он повернулся к ней и сказал совершенно серьезно:

— Дэгни, на твоём месте я бы этого не делал. Она пожала плечами:

— Джиму это название тоже не понравилось.

— А что тебе в нем нравится?

— Я ненавижу это имя. Ненавижу всеобщее ожидание конца света, ненавижу обреченность и этот бессмысленный вопрос, который всегда звучит как крик о помощи. Я по горло сыта ссылками на Джона Галта. Я собираюсь объявить ему войну.

— Ты ее уже объявила, — ровным голосом сказал Франциско.

— Я построю для него железную дорогу. Пусть придет и заявит свои права на нее.

Франциско грустно улыбнулся и, кивнув, сказал:

— Можешь не сомневаться. Он придет.

Отблески алого зарева, исходившего от расплавленной стали, прокатились по потолку

и рассыпались по стене. Реардэн сидел за столом в своем кабинете, освещенном лишь настольной лампой. За кругом ее света темнота кабинета сливалась с мраком за окном. Напротив него сидела Дэгни.

Сбросив пальто, она сидела в сером, облегавшем ее стройную фигуру костюме, склонившись к столу. Лишь ее рука лежала в круге света на краю стола, за ним Реардэн смутно различал ее лицо, белую ткань блузки и треугольник расстегнутого воротника.

— Хорошо, Хэнк, — сказала она, — начинаем строительство нового моста из металла Реардэна. Вот тебе официальный заказ от владельца линии Джона Галта.

Он усмехнулся, глядя на чертежи моста, разложенные в свете лампы на столе.

— У тебя было время ознакомиться с представленным проектом?

— Да. Ты не нуждаешься ни в моих комментариях, ни в комплиментах. Все сказано заказом.

— Очень хорошо. Спасибо. Я начну выпуск металла.

— А ты не хочешь спросить меня, имеет ли линия Джона Галта законное право размещать заказы и законна ли вообще эта компания?

— Это лишнее. Раз ты пришла, значит, все в порядке. Она улыбнулась:

— Ты прав. Все улажено, Хэнк. Я пришла сказать тебе об этом и обсудить ряд деталей относительно моста.

— Послушай, мне очень интересно, кто является держателем облигаций линии Джона Галта.

— Я не думаю, что у кого-то из них есть лишние капиталы. Всем нужны деньги на расширение собственных заводов и фабрик. Но им нужна эта линия, и они наскребли, кто что мог. — Она достала из сумки лист бумаги и протянула Реардэну: — Вот — «Джон Галт инкорпорейтэд».

Большинство имен в списке были ему хорошо знакомы. Эллис Вайет, «Вайет ойл», Колорадо. Тед Нильсен, «Нильсен моторе», Колорадо. Лоуренс Хэммонд, «Хэммонд каре», Колорадо. Эндрю Стоктон, «Стоктон фаундри», Колорадо. В списке было несколько человек из других штатов, среди них: Кеннет Денеггер, «Денеггер коул», Пенсильвания. Размеры вкладов варьировались от пятизначных до шестизначных чисел.

Он взял ручку, дописал в конце: «Генри Реардэн, „Реардэн стал“, Пенсильвания, — 1 000 000» — и протянул список Дэгни.

— Хэнк, — сказала она тихо, — я не хочу, чтобы ты был в этом списке. Ты так много вложил в металл, тебе намного тяжелее, чем другим. Ты не можешь позволить себе еще раз рисковать.

— Я никогда не принимал никаких одолжений, — холодно произнес Реардэн.

— Что ты хочешь сказать?

— В своих предприятиях я никогда никого не прошу рисковать больше, чем я сам. Если уж играть, то наравне со всеми. И потом, разве ты не говорила, что эта железная дорога станет лучшей рекламой моей продукции, покажет, чего стоит мой металл?

Дэгни склонила голову и с уважением сказала:

— Хорошо, Хэнк. Спасибо.

— Между прочим, я вовсе не намерен терять эти деньги. Мне прекрасно известны условия, при которых по моему выбору эти облигации могут быть конвертированы в акции. Поэтому я рассчитываю получить непристойную прибыль — а ты мне ее заработаешь.

Дэгни рассмеялась:

— Боже мой, Хэнк, за это время я переговорила с таким количеством трусливых придурков, что они почти заразили меня мыслью о том, что линия Джона Галта — безнадежное предприятие. Спасибо, что напомнил мне. Да, думаю, я смогу принести тебе непристойную прибыль.

— Если бы не эти трусливые придурки, то никакого риска не было бы вообще. Но ничего, мы им покажем. Слава Богу, толковые люди пока еще не перевелись. — Он отобрал среди бумаг на столе две телеграммы и протянул их Дэгни: — Взгляни, думаю, тебе это

будет интересно.

Одна из телеграмм гласила: «Я рассчитывал приступить к работе лишь через два года, но заявление ГИЕНА вынуждает меня действовать незамедлительно. Можете рассматривать эту телеграмму как официальный заказ на строительство трубопровода из металла Реардэна от Колорадо до Канзас-Сити длиной в шестьсот миль, диаметр трубы двенадцать дюймов. О деталях позже. Эллис Вайет».

В другой телеграмме говорилось: «Относительно наших переговоров о моем заказе. Приступайте. Кен Денеггер».

— Он тоже не собирался размещать этот заказ прямо сейчас. Это восемь тысяч тонн металла. Прокат. Для угольных шахт, — объяснил Реардэн.

Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Комментарии были излишни.

Когда Дэгни протянула ему телеграммы, Реардэн посмотрел на ее руку, кожа которой словно просвечивала в свете лампы. У нее были руки молоденькой девушки, с длинными, тонкими пальцами, которые она на мгновение расслабила.

— Компания «Стоктон фаундри» из Колорадо закончит для меня заказ, от которого отказалась компания Моуэна. Они свяжутся с тобой насчет металла, — сказала она.

— Этот вопрос уже улажен. Как у тебя со строительными бригадами?

— Лучшие инженеры Нили, как раз те, что мне нужны, остаются, и большинство прорабов тоже. А от Нили все равно толку было мало.

— А рабочие?

— Желающих даже больше, чем нужно. Не думаю, что профсоюз вмешается. Большинство рабочих, те, что состоят в профсоюзе, записаны под вымышленными именами. Им очень нужна работа. У меня будет несколько охранников на линии, но не думаю, что возникнут какие-нибудь осложнения.

— А как с Джимом и его советом директоров?

— Они сейчас заняты тем, что дают интервью газетчикам, клянясь в своей непричастности к линии Джона Галта и всячески осуждая это предприятие. Они приняли все мои условия.

Ее плечи были напряжены и расправлены, словно она изготавилась к полету. Казалось, напряжение вполне естественно для нее, оно свидетельствовало не о беспокойстве, а о радости и истинном удовольствии.

— Должность вице-президента компании занял Эдди Виллерс. Если тебе что-нибудь понадобится, все решай через него. Сегодня вечером я улетаю в Колорадо.

— Сегодня?

— Да. Нужно наверстать упущенное время. Мы потеряли целую неделю.

— Полетишь на своем самолете?

— Да. Дней через десять я вернусь. Мне нужно бывать в Нью-Йорке хотя бы пару раз в месяц.

— А где ты будешь жить в Колорадо?

— Прямо на месте. В своем вагоне, то есть в вагоне Эдди, который я у него на время одолжу.

— А это не опасно?

— Опасно? — Дэгни удивленно рассмеялась. — Послушай, Хэнк, ты впервые за все время, что я тебя знаю, вспомнил о том, что я не мужчина. Не беспокойся, я буду в полной безопасности.

Он не смотрел на нее. Его взгляд был устремлен на испещренный цифрами лист бумаги, лежавший на столе.

— Мои инженеры подготовили смету и приблизительный график строительства. Именно это я и хотел обсудить с тобой, — сказал Реардэн, протягивая ей бумаги. Дэгни откинулась на спинку кресла и принялась читать.

Полоска света упала на ее лицо, и он увидел строгую и в то же время чувственную линию губ. Она откинулась назад, и он мог различить лишь смутные очертания губ и тени ее

опущенных ресниц.

Разве я не думал об этом с первого дня, когда увидел ее? Разве не об этом я только и думал все эти два года?.. Он сидел неподвижно и смотрел на Дэгни. Он слышал слова, которых никогда не смел выговорить, слова, которые знал, чувствовал, но в которых не мог сознаться, не позволял себе произнести их даже мысленно. Сейчас он словно говорил эти слова ей... С первого дня, когда я увидел тебя... Лишь твоё тело, твои губы и то, как ты смотришь на меня, словно... Ты ведь верила мне? Признать твоё величие? Относиться к тебе так, как ты заслуживаешь, — словно ты мужчина? Неужели ты думаешь, что я не понимаю, какое предательство я совершил? Единственная яркая личность, которую я встретил в жизни, единственный человек, которого я глубоко уважаю, лучший бизнесмен, которого я знаю, мой союзник, мой напарник в отчаянном сражении... И на самое возвышенное, что я видел в жизни, я отвечаю самым низменным из желаний... Да знаешь ли ты, кто я такой? Я думал об этом потому, что мысль об этом недопустима. Из-за этой низменной потребности, которая ни в коем случае не должна запятнать тебя... Я никогда не желал никого, кроме тебя... Не знал, что это такое — желать, пока не увидел тебя. Думал: только не я... это не должно меня сломить... с тех пор... целых два года... неустанно... Ты знаешь, что это такое — желать? Хочешь, я скажу, о чем я думаю, когда смотрю на тебя... лежу в постели, не в силах уснуть... слышу твой голос по телефону... работаю, но не могу избавиться от наваждения? Унизить тебя самым немыслимым образом — и знать, что это сделал я. Унизить тебя до крика плоти, поведать тебе о низменном сладострастии, знать, как ты хочешь, нуждаешься в этом, слышать, как ты просишь меня об этом, и видеть, как твой замечательный дух зависит от этой постыдной, первобытной страсти. Знать тебя такой, какая ты есть, какой предстаешь перед миром: чистой, горделивой, уверенной в себе... а потом увидеть у себя в постели, покоряющейся любому моему желанию, делающей все, что я захочу. И все это с единственной целью: увидеть бесчестие, которому ты добровольно предаешься ради неповторимых ощущений... Я хочу тебя — и будь я проклят за это!..

Дэгни читала, а он смотрел на отблески света, игравшие в ее волосах и опускавшиеся к плечам и дальше вниз по руке к оголенному запястью.

...знаешь, о чем я сейчас думаю? Твой серый костюм и расстегнутый воротник... ты выглядишь такой молодой, такой строгой и уверенной в себе... А как бы ты выглядела, если бы я запрокинул тебе голову, положил тебя в этом строгом сером костюме, сорвал юбку...

Дэгни подняла глаза. Реардэн смотрел на бумаги, лежавшие на столе. Немного помолчав, он сказал:

— Реальная стоимость моста будет меньше суммы, указанной в предварительной смете. Кроме того, его прочность позволяет провести еще второй путь. Думаю, затраты окупятся сторицей за несколько лет. Если тебе удастся растянуть затраты на строительство на период в...

Он говорил, а она смотрела на его лицо, отчетливо проступившее в свете лампы на фоне царившей в кабинете темноты. У нее было такое ощущение, словно это его лицо освещает лежавшие на столе бумаги. Его лицо, его четкий, чистый голос, его ясный разум и неудержимое стремление к цели. Его лицо походило на его слова, как будто все: и прямой взгляд, и мышцы худых щек, и чуть презрительно опущенные уголки рта — свидетельствовало только об одном — бескомпромиссном аскетизме.

День начался с известия о страшной катастрофе: в горах Нью-Мексико товарный состав компании «Атлантик саузерн» столкнулся на крутом повороте с пассажирским поездом. Склоны гор были усеяны товарными вагонами, груженными пятью тысячами тонн медной руды, добытой в Аризоне и предназначенной для заводов Реардэна.

Реардэн немедленно созвонился с главным управляющим «Атлантик саузерн», но тот твердил одно: «Господи, мистер Реардэн, откуда я знаю? Никто не может сказать, сколько времени потребуется, чтобы расчистить путь и ликвидировать последствия аварии. Я не помню крушений ужасней... Не знаю, мистер Реардэн. Нет, в этой части страны других

железных дорог нет. На участке примерно в четыреста метров путь полностью разрушен. К тому же произошел оползень. Наш аварийно-спасательный поезд не может пробиться в район крушения. Я не представляю себе, как и когда мы сможем вновь поставить эти вагоны на рельсы... По всей видимости, не раньше чем через две недели... Через три дня! Но, мистер Реедэн, это же невозможно!.. Мы ничего не можем поделать... Вы можете сказать своим клиентам, что это форс-мажор, стихийное бедствие... Неужели это так страшно, если вы немного опоздаете с выполнением заказа? В этом нет вашей вины, и в данном случае никто не сможет вас ни в чем обвинить».

В следующие два часа с помощью своего секретаря, двух молодых инженеров из транспортного отдела, карты автомобильных дорог и телефона Реедэн все спланировал и договорился о снаряжении целой армии грузовиков к месту крушения. Товарные вагоны должны были ждать их на ближайшей к месту аварии станции «Атлантик саузерн».

Вагоны Реедэн получил от «Таггарт трансконтинентал», а грузовики съезжались со всех уголков Нью-Мексико, Аризоны и Колорадо. Люди Реедэна обзванивали всех частных владельцев и предлагали такую оплату, которая сразу снимала все вопросы.

Это была последняя из трех партий медной руды, поставки которой ожидал Реедэн. Первые два заказа так и не были выполнены: одна компания' просто разорилась, а вторая постоянно оттягивала сроки поставки, ссылаясь на объективные, не зависящие от нее причины.

Он решил проблему, не отложив ни одной деловой встречи, ни разу не повысив голос, не проявив никаких признаков напряжения, неуверенности или опасения; он действовал с быстротой и точностью боевого командира, чье подразделение накрыло внезапным огнем противника, а Гвен Айвз, его секретарь, проявила себя как хладнокровный адъютант. Ей было под тридцать, и ее спокойно-непроницаемое лицо удивительно гармонировало с первоклассным офисным оборудованием. Она была одним из самых компетентных его работников. Гвен относилась к своим обязанностям с необыкновенным здравомыслием и считала любое проявление чувств на рабочем месте непростительной безнравственностью.

Когда все экстренные меры были приняты, она лишь заметила:

— Мистер Реедэн, мне кажется, надо попросить всех наших поставщиков отправлять грузы исключительно по линиям «Таггарт трансконтинентал».

— Я тоже об этом подумал, — сказал Реедэн и добавил: — Отправь телеграмму Флемингу в Колорадо. Пусть покупает медный рудник, который я выбрал.

Он вернулся к столу и заговорил по двум телефонам одновременно — с управляющим и с начальником отдела поставок, проверяя даты поступления каждой тонны сырья, — он не мог переложить на кого-нибудь ответственность за хотя бы часовой перерыв в работе печей. Когда шла последняя плавка для линии Джона Галта, раздался звонок и Гвен объявила, что его мать требует, чтобы он принял ее.

Реедэн просил членов своей семьи никогда не приходить на завод, не договорившись с ним заранее. Он был очень рад, что они ненавидят это место и крайне редко появляются в его кабинете. Им овладело неудержимое желание выставить мать за ворота. Но, сделав над собой усилие куда большее, чем для решения проблемы с аварией, он спокойно сказал:

— Хорошо. Пусть войдет.

Мать вошла с воинственным видом. Она осмотрелась вокруг, словно знала, что для него значит его кабинет, и выражала свое глубочайшее возмущение всем, что представляло для него большую важность, чем ее персоне. Она долго устраивалась в кресле, укладывала и перекладывала свою сумочку, перчатки, расправляла складки платья, недовольно ворча между делом:

— Ничего не скажешь, просто превосходно — мать вынуждена ждать в приемной и спрашивать разрешения у какой-то машинистки, прежде чем ей позволят увидеть собственного сына, который...

— Мама, у тебя действительно что-то важное? Я очень занят сегодня.

— Ты не единственный, у кого есть проблемы. Конечно, это важно. Стала бы я из-за

пустяка сюда приезжать!

— Так в чем же дело?

— Это касается Филиппа.

— Я слушаю.

— Он очень несчастлив.

— Неужели?

— Он вынужден зависеть от твоей благотворительности, получать подачки, не имея возможности рассчитывать на собственные средства.

Рearдэн удивленно улыбнулся:

— Я ждал, когда же он наконец это поймет.

— Несправедливо, что такой чувствительный человек, как он, находится в таком положении.

— Конечно, несправедливо.

— Я рада, что ты со мной согласен. Ты должен дать ему работу.

— Дать... что?

— Ты должен дать ему работу, здесь, на заводе, но хорошую, чистую работу, с отдельным кабинетом и хорошим окладом, чтобы он был подальше от твоих работяг и дымных печей.

Он слышал ее слова, но не мог заставить себя поверить в это.

— Мама, ты что, шутишь?

— Вовсе нет. Я случайно узнала, что он хочет именно этого, но он слишком горд, чтобы просить тебя. А если ты сам предложишь ему работу и преподнесешь это так, словно просишь его об одолжении, уверена, он охотно согласится. Вот почему мне пришлось приехать сюда, чтобы он не догадался, что это я тебя надоумила.

То, что он услышал, было для него непостижимо. Одна-единственная мысль молнией пронеслась у него в голове, и он не мог понять, как над этим можно было не задуматься. Эта мысль вылилась в недоуменный возглас:

— Но он же ровным счетом ничего не смыслит в металлургии!

— А какое это имеет значение? Ему нужна работа.

— Но он же с ней не справится!

— Ему необходимо приобрести уверенность в себе и почувствовать, что он тоже чего-то стоит.

— Но какой мне от него будет прок?

— Он должен почувствовать, что он нужен.

— Где, здесь? Зачем он мне здесь нужен?

— Ты принимаешь на работу множество людей, которых совсем не знаешь.

— Я беру на работу тех, кто умеет делать дело. А что мне может предложить он?

— Но ведь он же твой брат.

— Ну и что? При чем тут это?

Она замолчала, потрясенная его словами. Некоторое время они сидели, глядя друг на друга так, словно их разделяла космическая даль.

— Он твой брат, — сказала она; ее слова прозвучали как заезженная пластинка, неустанно воспроизводящая магическое заклинание, усомниться в котором непозволительно. — Ему нужно найти свое место в этом мире. Ему нужен хороший заработок, чтобы он чувствовал, что получает деньги по праву, а не как милостыню.

— По праву? Но мне от него и на цент пользы не будет.

— Так ты об этом думаешь в первую очередь? О собственной выгоде, о прибыли? Я прошу тебя помочь брату, а ты прикидываешь, сможешь ли обогатиться за счет его труда, и не поможешь ему, если не увидишь в этом выгоды для себя. Я правильно поняла? — Она увидела выражение его глаз, отвернулась и поспешно продолжила, повысив голос: — Да, конечно, ты помогаешь ему, как помог бы первому встречному нищему. Материальная помощь — ты не признаешь и не понимаешь ничего другого. Ты задумывался хоть раз о его



духовных потребностях, о том, что такое положение делает с его чувством собственного достоинства? Он не желает жить как нищий. Он хочет быть независимым от тебя.

— Получая от меня деньги, которые не способен заработать, за работу, которую не умеет делать?

— Ты бы от этого не очень пострадал. Здесь предостаточно людей, которые работают и делают для тебя деньги.

— Ты просишь, чтобы я помог ему обманывать?

— Вовсе необязательно называть это так.

— Это обман или нет?

— С тобой просто невозможно разговаривать. Ты начисто лишен человечности. У тебя нет ни капли жалости к брату, ни капли сострадания к его чувствам.

— Это обман или нет?

— Тебе никого не жалко.

— Ты считаешь, что было бы правильно пойти на обман?

— Ты самый аморальный человек на свете. Все твои мысли заняты лишь заботой о правильности. Ты никого не любишь.

Реардэн резко поднялся, давая понять, что разговор окончен и посетителю следует убраться восвояси.

— Мама, я хозяин сталелитейного завода, а не публичного дома.

— Генри! — с негодованием выдавила из себя мать, пораженная тем, что он посмел так разговаривать с ней.

— Никогда больше даже не заикайся мне о работе для Филиппа. Я не подпущу его и к воротам моего завода и не доверю даже метлу — заметать пепел у печей. Я хочу, чтобы ты поняла это раз и навсегда. Помогай ему любыми другими способами, но о моем заводе забудь и думать.

— Да что ты возомнил о своем заводе? Это что, святой храм? — сказала она с презрительной издевкой в голосе.

— Гм... Несомненно, — негромко ответил Реардэн, сам удивленный этой мыслью.

— Неужели ты никогда не думаешь о других людях и своих моральных обязательствах перед ними? .

— Мне чуждо то, что ты называешь моралью. Нет, я не думаю о других людях, но знаю одно: если бы я дал работу Филиппу, то не смог бы смотреть в глаза компетентному человеку, которому эта работа нужна и который ее достоин.

Она встала и, втянув голову в плечи, принялась снизу вверх бросать в него слова, полные благородного негодования:

— Это и есть твоя жестокость. Именно в ней корень твоей низости и эгоизма. Если бы ты любил брата, то дал бы ему работу, которой он недостоин, и именно потому, что он не заслуживает ее, — это было бы проявлением истинной доброты и братской любви. Зачем тогда любовь, если не для этого? Дать работу тому, кто ее достоин, — не добродетель. Истинная добродетель — вознаградить недостойного.

Реардэн смотрел на нее как ребенок, который не приходит в ужас при виде кошмара лишь потому, что не может в него поверить.

— Мама, — сказал он, — ты сама не знаешь, что говоришь. Я никогда не смогу презирать тебя настолько, чтобы поверить, что ты действительно так думаешь.

Больше всего его удивило ее лицо: это было лицо человека, потерпевшего поражение, но в нем проглядывало лукавство и циничное коварство, — словно на мгновение она стала воплощением житейской мудрости, насмехавшейся над его наивностью и простодушием.

Ее лицо постоянно всплывало в его сознании, стояло перед глазами, словно сигнал, предупреждающий об опасности и говорящий о чем-то, что необходимо понять, в чем нужно разобраться. Но он не мог заставить себя задуматься над этим как над чем-то серьезным, он не ощущал ничего, кроме смутного чувства беспокойства и отвращения, сейчас не было времени размышлять над этим — за столом напротив него уже сидел следующий посетитель.

Реардэн слушал человека, который умолял спасти его от гибели.

Посетитель не сказал этого прямо, но Реардэн знал, что пятьсот тонн стали, о которых просил этот человек, были для него вопросом жизни или смерти.

Его посетителем был мистер Уорд из Миннесоты — президент компании по производству комбайнов. Эта неприметная компания с незапятнанной репутацией принадлежала к тому типу предприятий, которые крайне редко разрастаются, но никогда не разоряются. Мистер Уорд представлял четвертое поколение владельцев компании и, как все его предшественники, делал для ее процветания все, что было в его силах.

Ему было уже за пятьдесят, и, глядя на его бесстрастно-непроницаемое лицо, можно было с уверенностью сказать, что он счел бы проявление душевных терзаний крайне неприличным, все равно что прилюдно раздеться догола. Изъясняясь четко и по-деловому, он сообщил, что, как и его отец, всю жизнь получал сталь от небольшой сталелитейной компании, которую поглотила «Ассошиэйтэд стал» Орена Бойла. Он прождал целый год, надеясь получить наконец свой последний заказ; весь последний месяц он потратил на то, чтобы добиться личной встречи с Реардэном.

— Мистер Реардэн, я знаю, что ваши заводы работают на полную мощность и вам сейчас не до новых заказов, раз уж даже самым крупным старейшим клиентам приходится терпеливо ждать своей очереди, поскольку вы единственный порядочный, я имею в виду — надежный, производитель стали в стране. Я не знаю, чем аргументировать свою просьбу, чтобы вы сделали для меня исключение, да и с какой стати вы должны его делать. Но мне больше ничего не остается, разве что навсегда закрыть ворота завода, а я... — его голос слегка дрогнул, — мне трудно даже представить это... во всяком случае пока... поэтому я решил поговорить с вами, даже если у меня очень мало шансов... все равно я должен сделать все, что в моих силах. Такой язык был понятен Реардэну.

— Мне очень хотелось бы вам помочь, — сказал Реардэн, — но боюсь, что ничего не смогу для вас сделать, поскольку сейчас я занят очень крупным спецзаказом, который должен выполнить в первую очередь.

— Я знаю. Но, мистер Реардэн, вы могли бы просто выслушать меня?

— Конечно.

— Если дело в деньгах, я заплачу, сколько вы скажете. Если вы сочтете это выгодным, пожалуйста, я готов заплатить вдвое больше обычной цены, только дайте мне сталь. Пусть даже мне придется продавать в этом году комбайны себе в убыток, лишь бы не закрывать завод. Моих личных сбережений достаточно, чтобы протянуть так пару лет, если нужно. Надо удержаться на плаву, потому что, мне кажется, долго так продолжаться не может. Жизнь обязательно улучшится, непременно, иначе мы... — Он замолчал, но через мгновение уверенно произнес: — Непременно улучшится.

— Непременно, — согласился Реардэн. Уверенность собственных слов напомнила ему о линии

Джона Галта, мысль о которой вихрем пронеслась у него в голове. Строительство линии шло полным ходом. Нападки на металл Реардэна прекратились. У него возникло такое чувство, словно он и Дэгни Таггарт, разделенные сотнями миль, стояли свободными посреди пустого пространства и ничто не мешало им закончить начатое дело. «Они оставят нас в покое, и мы завершим строительство», — подумал он. «Они оставят нас в покое», — он повторял это про себя, словно слова боевого гимна.

— Мощность моего завода — тысяча комбайнов в год, — сказал мистер Уорд. — В прошлом году мы выпустили лишь триста, но даже для этого я еле-еле умудрился наскрести сталь. Скупал на распродажах, когда разорялась какая-нибудь сталелитейная компания, выпрашивал тонну-другую то у одного, то у другого крупного концерна, как мусорщик, шатался по всяким свалкам... Не буду надоедать вам рассказами, просто я никогда не думал, что доживу до таких дней, когда придется вести дело подобным образом. И все это время мистер Орен Бойл клялся мне, что поставит сталь на следующей неделе. Но все, что ему удавалось выплавить, отправлялось его новым клиентам — о причинах предпочитают

помалкивать, но поговаривают, что это люди с определенными политическими связями. А сейчас я не могу даже встретиться с Ореном Бойлом. Он уже больше месяца в Вашингтоне, а его управляющие только и твердят, что ничего не могут поделать, потому что невозможно достать руду.

— Вы зря тратите время, — сказал Реедэн. — От них вы ничего не получите.

— Знаете, мистер Реедэн, — сказал Уорд таким тоном, словно сделал открытие, в которое сам не мог поверить, — мне кажется, мистер Бойл не совсем чисто ведет дела. Я никак не пойму, чего он добивается. Половина его печей простаивает, но в прошлом месяце все газеты пестрели огромными статьями об «Ассошиэйтэд стил». О том, сколько они производят стали? Да что вы, нет. О том, как прекрасно мистер Бойл решил жилищную проблему для своих рабочих. На прошлой неделе он разослал по всем школам цветной фильм о том, как выплавляется сталь и какое значение она имеет для общества. Сейчас мистер Бойл участвует в радиопередачах — разглагольствует о важности сталелитейной промышленности для судеб страны и постоянно повторяет, что надо заботиться о сохранении этой отрасли промышленности в целом. Не понимаю, что он имеет в виду под словами «вся отрасль в целом».

— А я понимаю. Но забудьте об этом. У него ничего не выйдет.

— Мистер Реедэн, мне не нравятся люди, которые на всех углах кричат о том, что трудятся исключительно на благо общества. Это неправда, а если бы даже и было правдой, то все равно, по-моему, это неправильно. Поэтому я скажу, что сталь мне нужна лишь для того, чтобы спасти мой бизнес. Потому что он мой. Потому что, если мне придется закрыть завод... Только все равно в наши дни никто этого не понимает.

— Я понимаю.

— Да, я думаю, вы действительно понимаете. Сохранить свое дело — вот что для меня главное. И потом, у меня ведь есть клиенты. Они долгие годы покупали комбайны только у меня. Они на меня рассчитывают. Сейчас ведь практически невозможно достать сельскохозяйственную технику. Только представьте себе, что случится у нас в Миннесоте, если у фермеров не будет техники, если в разгар жатвы машины начнут выходить из строя и не будет запчастей, ничего... кроме цветного кино мистера Бойла... А, да что тут говорить... Потом, у меня ведь рабочие, некоторые работали на заводе еще при моем отце. Им некуда идти. Во всяком случае сейчас.

Реедэн думал о том, что у него нет никакой возможности выдать из заводов еще пятьсот тонн стали, когда каждая печь, каждый час и каждая тонна на строгом учете и распределены по срочным заказам на полгода вперед. Но... линия Джона Галта, подумал он. Если он смог сделать это, то сможет что угодно. У него появилось желание взяться сразу за целую дюжину новых задач. Он неожиданно почувствовал себя так, словно в этом мире для него не было ничего невозможного.

— Послушайте, — сказал он, потянувшись к телефону, — сейчас я свяжусь с управляющим и проверю, что там у нас на ближайшие несколько недель. Может быть, я найду способ перехватить кое-что из других заказов, и тогда вы получите сталь.

Мистер Уорд быстро отвел взгляд в сторону, но Реедэн все же успел заметить выражение, появившееся на его лице.

Для него это значит так много, а мне ничего не стоит, подумал Реедэн.

Он поднял телефонную трубку, но тут же бросил, потому что дверь внезапно распахнулась и в кабинет вбежала его секретарь.

Трудно было поверить, что Гвен Айвз может позволить себе подобным образом ворваться к нему в кабинет; ее спокойно-непроницаемое лицо исказилось до неузнаваемости, глаза застлала неукротимая ярость.

— Прошу простить, что прерываю вас, мистер Реедэн, — сказала она; он знал, что, кроме него, она ничего не видела: ни кабинета, ни мистера Уорда. — Я должна вам сообщить, что Законодательное собрание только что утвердило Закон о равных возможностях.

— О Боже, нет. Нет! — вскричал мистер Уорд, глядя на Реардэна широко раскрытыми глазами.

Реардэн вскочил с места и в неестественной позе застыл над столом, выставив одно плечо вперед. Это длилось лишь мгновение. Затем он огляделся, словно вновь обретя способность видеть, сказал «прошу прощения», обращаясь к секретарю и У орду, и сел на место.

— Нас информировали о том, что законопроект передан на рассмотрение? — сдержанно спросил он, полностью овладев собой.

— Нет, мистер Реардэн. Скорее всего это был внезапный маневр. На ратификацию ушло всего сорок пять минут.

— От Мауча есть какие-нибудь известия?

— Нет, мистер Реардэн, — сказала Гвен, сделав особое ударение на первом слове. — Ко мне прибежал посыльный с пятого этажа и сказал, что только что услышал об этом по радио. Я обзвонила редакции нескольких газет и проверила информацию. Они его действительно утвердили. Я пыталась дозвониться до Мауча в Вашингтон, но в его кабинете никто не отвечает.

— Когда от него были последние известия?

— Десять дней назад, мистер Реардэн.

— Хорошо. Спасибо, Гвен. Продолжай набирать Вашингтон и постарайся связаться с Маучем.

— Хорошо, мистер Реардэн.

Гвен вышла из кабинета. Мистер Уорд стоял у стола, нервно теребя в руках свою шляпу.

— Наверное, мне лучше... — начал он упавшим голосом.

— Сядьте, — резко бросил ему Реардэн.

Уорд послушно опустился на стул, глядя на Реардэна широко раскрытыми глазами.

— Мы с вами еще не закончили. Мы ведь договаривались о сделке, правда? — сказал Реардэн. — Мистер Уорд, за что эти вшивые ублюдки помимо всего прочего нас больше всего осуждают? Да, за наш девиз: «Дело прежде всего». Так вот, мистер Уорд, вернемся к делу. Дело прежде всего. — Он поднял телефонную трубку и попросил соединить его с управляющим. — Послушай, Пит... Что?.. Да, я уже знаю... Поговорим об этом позже. Я хочу знать, сможешь ли ты в ближайшие несколько недель выкроить вне графика пятьсот тонн стали?.. Да, я знаю... Знаю, что это невозможно... Назови мне даты и цифры.

Он слушал, быстро делая пометки на листке бумаги, затем сказал: «Хорошо. Спасибо» — и повесил трубку. Некоторое время он молча изучал цифры, что-то подсчитывая на полях. Затем поднял голову и сказал:

— Все в порядке, мистер Уорд. Вы получите сталь через десять дней.

Когда Уорд ушел, Реардэн вышел в приемную, т

— Гвен, пошли телеграмму Флемингу в Колорадо. Он поймет, почему я вынужден отменить покупку рудника, — обычным тоном сказал он секретарю.

Не глядя на него, Гвен послушно кивнула. Реардэн обернулся к очередному посетителю и сказал, жестом приглашая пройти в кабинет:

— Добрый день. Входите, пожалуйста.

Я подумаю об этом позже, говорил он себе. Человек идет вперед шаг за шагом, и ничто не может остановить его. На мгновение его сознание заполнила одна-единственная необыкновенно ясная и примитивно простая мысль: «Это не остановит меня!»

Эта мысль как будто ни с чем не была связана. Он не думал о том, что именно его не остановит, и не знал, почему эта мысль была настолько важной и не допускающей сомнений. Она полностью завладела его сознанием, и он послушно следовал ей. Он шел вперед, шаг за шагом, и, как и намечал, принял всех посетителей, не отменив ни одной встречи.

Было уже поздно, когда он наконец освободился и вышел из кабинета. Гвен Айвз

сидела за столом в пустой приемной. Все служащие давно разошлись по домам. Она неподвижно и прямо сидела на стуле, сложив руки на коленях. Голову она держала неестественно прямо. По щекам ее застывшего, окаменевшего лица катились слезы. Гвен увидела его и виновато сказала:

— Извините, мистер Репардэн. — Она даже не пыталась скрыть от него свое лицо.

Репардэн подошел к ней.

— Спасибо, — мягко сказал он. Она удивленно взглянула на него.

— Гвен, мне кажется, ты недооцениваешь меня. Не слишком ли рано ты меня оплакиваешь?

— Я вынесла бы все что угодно, — прошептала она, — но они называют этот закон торжеством «антиалчности». — Гвен указала на газеты на столе.

Репардэн рассмеялся:

— Я понимаю, что подобное искажение английского языка приводит тебя в ярость. Но подумай, стоит ли из-за этого расстраиваться?

Она посмотрела на него, слегка улыбувшись. Человек, которого выбрали жертвой этого закона и которого она была не в силах защитить, был для нее единственным утешением в мире, где все рушилось.

Репардэн медленно провел ладонью по ее лбу. Этим несвойственным ему «внеслужебным» жестом он показал, что сложившаяся ситуация отнюдь не смехотворна.

— Иди домой, Гвен. Сегодня ты мне больше не понадобишься. Нет, не нужно меня ждать.

Уже за полночь, сидя за столом, склонившись над чертежами моста, Репардэн вдруг прекратил работу — внезапный шквал эмоций, которые он больше не мог сдерживать, наконец настиг его, словно кончилось действие наркоза.

Все еще сопротивляясь, он, подался вперед и застыл, слегка наклонив голову и упершись грудью в край стола, словно у него хватало сил только на то, чтобы не уронить голову на чертежи. Так он сидел какое-то время, не чувствуя и не осознавая ничего, кроме невыразимой, безгранично-кричащей боли, которая лишала его способности мыслить, терзала тело или разум, — он сам не понимал что.

Через мгновение все прошло. Репардэн поднял голову и выпрямился, откинувшись на спинку стула. Он понимал, что был прав, пытаясь оттянуть это мгновение, а то и вовсе избежать его; он не думал об этом, потому что думать, в сущности, не о чем.

Мысль, говорил он себе, это оружие, которым человек пользуется для того, чтобы действовать. Сейчас он уже ничего не мог сделать. Мысль — это инструмент, с помощью которого человек создает выбор. Ему не оставили выбора. Посредством мысли человек определяет для себя цель и способы ее достижения. Дело всей его жизни рвали на куски, а он не имел права голоса, его лишили выбора, цели, лишили возможности защищаться. Репардэн думал об этом с удивлением. Он впервые в жизни понял, что никогда ничего не боялся, потому что у него было универсальное лекарство от любой беды — возможность действовать. Нет, думал он, не уверенность в победе — кто может быть в этом уверен? — всего лишь возможность действовать — вот что нужно человеку в подобных обстоятельствах. Сейчас впервые в жизни он отстраненно наблюдал картину, ужасней которой не бывает: его волокут к пропасти. А руки связаны за спиной.

Пусть у тебя связаны руки, думал он, все равно иди вперед. Пусть ты в оковах. Иди вперед. Не останавливайся. Иди. Это не должно остановить тебя. Но другой голос, которого он не хотел слышать, с которым боролся, пытаясь заглушить, подсказывал: «Не стоит ломать над этим голову... Все бесполезно... Ради чего?.. Выбрось из головы!»

Репардэн не мог заглушить этот голос. Он неподвижно сидел над чертежами моста для линии Джона Галта и думал лишь об одном: они решили все без него. Они не позвали его, не спросили, не дали ему и слова вымолвить... Не сочли нужным даже поставить его в известность о том, что отсекали часть его жизни и отныне ему придется жить калекой... Среди всех людей, кто бы они ни были, он был единственным, кого не посчитали нужным

принять во внимание, — неважно, по какой причине.

Вывеска из далекого прошлого гласила: «Рудники Реардэна». Она висела над темными штабелями металла... висела долгие годы, днем и ночью... Она вобрала в себя годы, дни, часы, секунды, на протяжении которых он с радостью и ликованием по капле отдавал собственную кровь за тот далекий день, когда все это будет принадлежать ему одному и он увидит над землей эти слова... Он заплатил за это своими усилиями, своим здоровьем, силой своего разума и надеждой... И все это будет уничтожено по прихоти людей, которые только и умели, что голосовать... Кто знает, своим ли умом они приходили к принимаемым решениям?.. По чьей воле им в руки дана власть?.. Чем они руководствовались?.. Что они знали?.. Кто из них смог бы самостоятельно добыть хоть один камешек руды из недр земли?.. Все это погибнет по прихоти людей, которых он никогда не видел и которые никогда не видели выплавленного металла... Все это будет уничтожено, потому что они так решили. По какому праву?

Реардэн покачал головой. Есть вещи, над которыми не стоит ломать голову, подумал он, потому что зло способно заразить того, кто о нем думает. Существует предел тому, что человек имеет право понимать, не поступаясь своей порядочностью. Есть вещи, о которых думать нельзя, нельзя даже пытаться понять их истоки, и не стоит сушить мозги, копать глубже и пытаться понять природу того, что понимать не должно и чего все равно не понять.

Спокойный и опустошенный, Реардэн подумал, что уже завтра он будет в полном порядке и простит себе сегодняшнюю слабость. Эта слабость была как слезы во время похорон, когда человек может расплакаться не стыдясь; затем пройдет время, человек привыкнет и научится жить с незаживающей раной в душе или... с искалеченным заводом.

Он встал и подошел к окну. Завод казался безмолвным и безлюдным. Он увидел едва заметные алые сполохи над вентиляционными трубами, поднимающиеся вверх клубы пара и напоминающие паутину косые сплетения кранов и мостов.

Никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким. Он подумал, что Гвен и мистер Уорд могли, опираясь на него, найти проблеск надежды, облегчение и утешение, почерпнуть мужества. А на кого опереться ему? Кто мог дать ему все это? Сейчас ему впервые в жизни нужна была поддержка. Ему вдруг захотелось иметь друга, перед которым он мог бы не стесняться своих страданий, на которого он мог бы опереться и сказать: «Я очень устал», чтобы хоть на мгновение обрести покой. Был ли среди тех, кого он знает, хоть один человек, которого он хотел бы сейчас видеть? Его разум мгновенно отреагировал на этот вопрос, и он с ужасом осознал, что подумал о Франциско Д'Анкония.

Он сердито рассмеялся, и это вернуло его к реальности. Нелепость собственного стремления заставила его мгновенно успокоиться. Вот что бывает, подумал он, когда позволяешь себе быть слабым.

Он стоял у окна, стараясь ни о чем не думать. Но в его подсознании еще звучали слова: «Рудники Реардэна... Угольные шахты Реардэна... Сталь Реардэна... Металл Реардэна...» Что толку?.. Зачем он добивался этого?.. Зачем ему еще к чему-то стремиться?..

Он вспомнил свой первый рабочий день, когда стоял у рудника на вершине холма... День, когда он стоял на вершине холма, глядя на развалины сталелитейного завода... День, когда он стоял здесь, в своем кабинете, и думал о том, что мост сможет выдержать невероятные нагрузки всего на нескольких планках металла, если соединить мостовую ферму с арочным пролетным строением, если поставить диагональные распорки, загнутые вверх к...

Реардэн замер на месте... Нет, в тот день он не думал о том, что можно соединить мостовую ферму с пролетным строением.

В следующее мгновение он уже склонился над столом, опершись коленом на сиденье стула и даже не подумав сесть. Без разбора, на первой попавшейся бумажке, на чертежах, чьих-то письмах, промокательной бумаге он чертил прямые, выводил окружности, рисовал треугольники, делал в столбик длинные расчеты.

Час спустя он заказал по междугородной Колорадо, и в стоявшем на запасном пути

вагоне зазвонил телефон.

— Дэгни! Этот наш мост — выброси к черту все чертежи, которые я направил тебе, потому что... Что? А, ты о законе? Ну и черт с ним! Плевал я на бандитов и их законы! Забудь об этом! Пусть катятся ко всем чертям! Послушай, ты помнишь штуковину, которую ты назвала мостовой фермой Реардэна и которой так восхищалась? Она ни к черту не годится. Я тут такое придумал! Твой мост выдержит одновременно четыре состава, простоит триста лет и обойдется не дороже самой дешевой водосточной трубы! Через два дня я отправлю тебе все чертежи, но я хотел рассказать тебе об этом сейчас же. Нужно всего лишь соединить мостовую ферму с пролетным строением. Если поставить диагональные распорки и... Что?.. Я тебя не слышу. Ты что, заболела?.. Да за что ты меня благодаришь? Дай я сначала тебе все объясню.

## Глава 8 Линия Джона Галта

Рабочий улыбнулся Эдди Виллерсу через стол. Они сидели в подземной столовой «Таггарт трансконтинентал».

— У меня такое чувство, будто я беглец, — сказал Эдди Виллерс. — Думаю, ты понимаешь, почему я несколько месяцев здесь не был. Считается, что теперь я вице-президент по перевозкам. Только ради Бога не принимай это всерьез. Я держался сколько было сил и все же вынужден был убежать, хоть на вечер... Когда я в первый раз после своего мнимого повышения пришел в эту столовую, все так смотрели на меня, что я просто не смел сюда вернуться. Ну и пусть смотрят. Ты же не палишься на меня во все глаза. Я рад, что для тебя это ничего не меняет... Нет, я уже две недели не видел ее. Но я каждый день разговариваю с ней по телефону, иногда даже два раза в день... Да, я знаю, что она чувствует: ей это нравится. Что мы слышим, когда разговариваем по телефону, — колебания звука? Ее голос словно преобразуется в колебания света, если, конечно, ты понимаешь, что я хочу сказать. Ей нравится вести эту ужасную борьбу в одиночку и побеждать... Да, она побеждает. Знаешь, почему газеты в последнее время ничего не пишут о линии Джона Галта? Потому что строительство продвигается просто прекрасно... только... Линия из металла Реардэна станет лучшей железной дорогой в истории человечества. Но что толку, если у нас не будет достаточно мощных локомотивов, чтобы воспользоваться ее преимуществами? Ты только взгляни на латаные-перелатаные паровозы, что у нас остались, — они же давно на ладан дышат и едва тащатся — их выдержат старые трамвайные рельсы... Но все-таки надежда есть. Компания «Юнайтэд локомотив уоркс» обанкротилась. Для нас это шанс, потому что завод перекупил Дуайт Сандерс. Он талантливый молодой инженер, и ему принадлежит последний оставшийся в стране надежный авиационный завод. Для того чтобы купить «Юнайтэд локомотив», ему пришлось оформить его на своего брата. Это все из-за Закона о равных возможностях. Конечно, он схитрил, но разве можно его винить? Как бы то ни было, «Юнайтэд локомотив уоркс» теперь заработает, и мы получим локомотивы. Дуайт Сандерс все сдвинет с места... Да, она рассчитывает на него. А почему это тебя интересует?.. Да, для нас он сейчас очень много значит. Мы недавно подписали с ним контракт на первые десять локомотивов. Когда я позвонил и сообщил ей, что контракт подписан, она засмеялась и сказала: «Вот видишь, Эдди? А ты боялся». Она сказала так, потому что знает — я никогда ей об этом не говорил, но она знает, — что я боюсь... Да, боюсь... Не знаю... Если бы знал почему, не боялся бы... Я бы что-нибудь сделал... Но это... Скажи, неужели ты не презираешь меня за то, что я вице-президент по перевозкам? Но неужели ты не понимаешь, что это просто отвратительно? Какая, к черту, честь? Я сам не знаю, кто я такой: клоун, призрак, дублер или подставное лицо, марионетка в чьих-то руках. А сидя в ее кабинете, в ее кресле, за ее столом, чувствую себя еще хуже. У меня появляется такое ощущение, словно я убийца. Конечно, я понимаю, что выступаю в роли подставного лица ради нее, и это для меня честь, но... у меня такое

ужасное ощущение, словно каким-то необъяснимым образом я делаю это ради Джима Таггарта. Почему ей пришлось устраивать весь этот цирк с подменой? Почему она вынуждена скрываться? Почему они выдворили ее из здания компании? Ты знаешь, что ей пришлось переехать в какую-то дыру в глухом переулке, напротив нашего служебного входа для почты и багажа? Сходи как-нибудь посмотри. Это контора компании «Джон Галт инкорпорейтэд». А ведь все прекрасно знают, что именно она по-прежнему управляет «Таггарт трансконтинентал». Почему она вынуждена скрывать, что прекрасно справляется со своей работой? Почему они не ценят ее, не воздают ей по заслугам? Почему ее обворовывают, а мне приписывают ее заслуги? Почему они делают все, что в их силах, лишь бы не позволить ей добиться успеха, тогда как она одна спасает их от полнейшего краха? Почему они мучают ее за это?.. Эй, что с тобой?.. Почему ты на меня так смотришь?.. Да, я вижу, ты все понимаешь. В этом есть что-то такое, в чем я никак не могу разобраться, чего никак не могу понять. Однако чувствую в этом какое-то тайное зло. Вот почему я боюсь... От этого никуда не денешься. Странно, конечно, но я думаю, они тоже знают об этом. Джим и ему подобные... да все в компании. Сейчас во всем нашем здании чувствуется что-то подлое и трусливое. Подлое, трусливое и мертвое. «Таггарт трансконтинентал» сейчас похожа на человека, который потерял свою душу... предал ее... Нет, к этому она относится спокойно. Когда она последний раз была в Нью-Йорке, то пришла ко мне без предупреждения. Я сидел в своем, то есть в ее кабинете, когда дверь вдруг открылась, она вошла и сказала: «Мистер Виллерс, я ищу работу диспетчера. Не могли бы вы мне помочь?» Мне хотелось проклясть их всех, но я только рассмеялся. Я был так рад ее видеть, и она так весело и радостно смеялась... Она приехала прямо из аэропорта. На ней были слаксы и летняя куртка. Она была так красива. Ее обветренное лицо казалось загоревшим, словно она только что вернулась с морского курорта. Она настояла, чтобы я остался в ее кресле, а сама присела на край стола и принялась рассказывать о строительстве линии Джона Галта и новом мосте... Нет, я не спрашивал, почему она выбрала это название... Не знаю, что оно для нее значит. Наверное, своего рода вызов... Только не знаю кому... Это ничего не значит, потому что нет никакого Джона Галта, но лучше бы она назвала свою компанию как-то иначе. Мне это название не нравится, а тебе?.. Нравится, говоришь? По твоему тону этого не скажешь.

Окна офиса компании «Джон Галт инкорпорейтэд» выходили в темный переулок. Сидя за столом, Дэгни не видела неба, перед ней возвышалась стена. Это была боковая стена небоскреба «Таггарт трансконтинентал».

Офис ее новой компании размещался в двух комнатах на первом этаже полуразвалившегося здания. Здание с грехом пополам еще стояло, но верхние этажи были заколочены как опасные. Здесь находились офисы полуразорившихся компаний, которые, двигаясь по инерции, умудрялись кое-как держаться на плаву.

Дэгни нравился ее новый офис: он обошелся дешево, что позволило ей здорово сэкономить. В помещении не было ничего лишнего — ни мебели, ни людей. Мебель она закупила уцененную, а немногочисленный штат набрала из лучших специалистов, которых смогла найти. Во время редких приездов в Нью-Йорк ей некогда было обращать особое внимание на свой кабинет: она заметила лишь, что он полностью соответствует назначению.

Она не знала, что заставило ее сегодня вечером остановиться и взглянуть на тонкие струйки дождя, стекавшие по оконному стеклу и на стену стоявшего напротив огромного здания.

Было уже за полночь. Ее немногочисленные служащие давно разошлись по домам. В три часа утра она должна была быть в аэропорту, чтобы лететь в Колорадо. Работы осталось мало, нужно было лишь прочитать несколько отчетов, которые подготовил Эдди. Можно было не торопиться, и, почувствовав, что напряжение спало, она остановилась, не в силах продолжать работу. Казалось, чтобы дочитать эти отчеты, требовалось невероятное усилие, которое было выше ее сил. Идти домой поспать было уже слишком поздно, а ехать в аэропорт — слишком рано. «Ты устала», — думала Дэгни и с суровым, презрительным



спокойствием наблюдала за своим состоянием, зная, что это пройдет.

Решение лететь в Нью-Йорк пришло внезапно. Через двадцать минут после короткого сообщения в сводке новостей она уже сидела в самолете. По радио сообщили, что совершенно неожиданно, без всяких причин и объяснений закрыл свое дело Дуайт Сандерс. Дэгни спешно вылетела в Нью-Йорк в надежде найти и остановить его. Но, пересекая континент, она предчувствовала, что его уже и след простыл.

За окном, нависая над городом, словно неподвижная тонкая пелена тумана, моросил весенний дождь. Дэгни сидела, глядя на въездной тоннель сортировочной терминала «Таггарт трансконтинентал». Вверху, под самым потолком, среди стальных балок и перекрытий горели лампочки, на выдавшем виды бетонном полу, сваленный грудями, лежал багаж.

Вокруг никого не было. Лишенная всяких признаков жизни сортировочная казалась заброшенной.

Дэгни посмотрела на кривую трещину, проходившую по стене ее кабинета. Вокруг не было ни звука. Она знала, что в полуразрушенном здании, кроме нее, никого не осталось. У нее возникло такое ощущение, словно во всем городе нет ни единой живой души, кроме нее. Дэгни вдруг ощутила давно забытое чувство: чувство одиночества. Это чувство возникло не сейчас, не из-за гробовой тишины, царившей в кабинете и на пустынной, поблескивающей мокрыми тротуарами улице; это чувство породила царящая вокруг угрюмая, унылая пустота, где не к чему стремиться, где нет ничего, за что стоит бороться, добиваясь своей цели. Такое одиночество она часто испытывала в детстве.

Дэгни встала и подошла к окну. Прижавшись лицом к стеклу, она могла видеть все здание «Таггарт трансконтинентал», очертания которого, вздымаясь ввысь, резко переходили в зависший высоко в небе шпиль. Она посмотрела вверх, на темные окна комнаты, которая совсем недавно была ее кабинетом. У нее возникло ощущение, что она приговорена к пожизненной ссылке, словно от здания компании ее отделяло не только оконное стекло, пелена дождя и промежуток времени в несколько месяцев.

Она стояла, прижавшись к оконному стеклу, и смотрела на недостижимые очертания того, что так страстно любила. Она не знала, в чем причина ее одиночества. Она могла выразить это только словами: «Это не тот мир, на который я надеялась».

Однажды, когда ей было шестнадцать лет, глядя на уходящие вдаль железнодорожные рельсы, которые, как и очертания небоскреба, сливались где-то за горизонтом в одну точку, она сказала Эдди Виллерсу, что ей всегда казалось, будто эти рельсы держит в руке один человек, — нет, не ее отец и не кто-то из работников их компании — и однажды она встретится с ним.

Дэгни тряхнула головой и отошла от окна.

Она села в кресло и потянулась было за подготовленными Эдди отчетами, но внезапно повалилась на стол, уронив голову на руки. Встань, приказала она себе, но даже не шелохнулась. Ей было все равно. Вокруг нет ни души. Ее никто не увидит.

Ею овладели страшная тоска и страстное желание, в котором она никогда раньше не позволяла себе признаться. Если чувство — это реакция человека на окружающий его мир, думала Дэгни, если она любила железную дорогу, свою компанию, более того, дорожила своей любовью ко всему этому, то одного, самого важного чувства так и не испытала. Ей хотелось обрести чувство, суммирующее смысл всего, что она любила, что ей было дорого в этом мире. Найти человека, подобного ей, который заключил бы в себе смысл ее мира, а она воплотила бы в себе его мир... Нет, думала она, не Франциско Д'Анкония, не Хэнк Реардэн — никто из тех, кого она знала, кем восхищалась... Этот человек существовал лишь в ее сознании — сознании того, что она способна испытывать чувство, за которое готова отдать жизнь... Ценой невероятных усилий, все еще прижимаясь грудью к столешнице, она слегка пошевелилась. Каждым нервом, каждой клеткой своего тела она чувствовала страстное желание.

Неужели это все, что тебе нужно? Неужели это так просто? — думала Дэгни, зная, что

это далеко не просто. Между ее любовью к работе и желаниями ее тела существовала неразрывная связь, словно одно давало ей право на другое, словно эти чувства дополняли друг друга, а потребности ее тела мог удовлетворить лишь человек, равный ей.

Лежа на столе с прижатой к лицу рукой, она медленно покачала головой. Этого ей никогда не найти. Она могла только мечтать о том, какой была бы жизнь в мире, который она хотела видеть, и этому миру суждено существовать лишь в ее воображении. Лишь мечты и выпавшие на ее долю редкие мгновения — отражение огоньков, долетевших из этого воображаемого мира... Лишь ее идеал, о котором нельзя забывать и которому надо следовать до конца...

Дэгни подняла голову. За окном, на тротуаре, она увидела тень человека, стоявшего у дверей ее офиса.

Дверь находилась от нее в нескольких шагах; она не видела ни человека, ни горевшего за ним фонаря — лишь тень на камнях мостовой. Он стоял совершенно неподвижно.

Он стоял совсем рядом с дверью, будто собирался войти, и Дэгни ждала, что он вот-вот постучит. Но тень вдруг резко дернулась, словно человека толкнули, он повернулся и отошел от двери. Человек остановился — на земле очертилась линия его плеч и полей шляпы. Тень на мгновение замерла и снова начала расти — человек двинулся обратно.

Дэгни не чувствовала страха. Она неподвижно сидела за столом и бесстрастно наблюдала за происходящим. Человек остановился, затем вновь развернулся и пошел прочь. Он постоял посреди переулка, сделал несколько торопливых, беспокойных шагов и опять замер на месте. Его тень, как маятник, раскачивалась по тротуару, отражая ход беззвучной борьбы: либо войти в дверь, либо уйти.

Дэгни наблюдала за происходящим с необыкновенным спокойствием. У нее не было сил реагировать, она могла лишь смотреть. Она как-то отвлеченно спрашивала себя: кто он, этот человек? Наблюдал ли он за ней из темноты? Видел ли, как она обессиленно повалилась на стол? Был ли он свидетелем ее отчаянного одиночества, как сейчас она была свидетелем его одиночества? Она ничего не чувствовала. Они были одни в молчании мертвого города, — ей казалось, что он где-то далеко, что он просто отражение страдания, некто, сумевший, как и она, уцелеть, и его проблемы далеки от нее, как и ей чужды его горести. Он то уходил, то возвращался. Она сидела и наблюдала за метавшейся по блестящему мокрому тротуару немого переулка тенью неведомых ей мучительных сомнений.

Тень вновь двинулась прочь. Дэгни ждала, но человек не возвращался. Она вскочила со стула. Ей хотелось увидеть исход этого сражения; теперь, когда он победил или проиграл, ей вдруг очень захотелось узнать, кто он, этот человек, и что ему было нужно. Она пробежала через темную приемную, открыла дверь и выглянула на улицу.

В переулке никого не было. Постепенно сужаясь, он уходил вдаль, поблескивая мокрым тротуаром, словно освещенная редкими огоньками зеркальная полоска. Дэгни увидела темный проем выбитой витрины заброшенного магазина. За ним виднелись подъезды нескольких жилых домов. Капли дождя падали на землю в свете фонаря, склонившегося над черной пустотой открытых ворот, ведущих в подземные тоннели «Таггарт трансконтинентал».

Рearдэн подписал бумаги, отодвинул их на край стола и отвел взгляд, надеясь, что ему больше не придется о них думать. Сейчас ему хотелось перенестись в будущее, чтобы это мгновение оказалось далеко позади.

Пол Ларкин нерешительно потянулся к бумагам. Вид у него был заискивающий и беспомощный.

— Хэнк, это всего лишь юридические тонкости, чистая формальность, — говорил он. — Ты же знаешь, что для меня эти рудники всегда будут твоими и только твоими.

Рearдэн медленно покачал головой. Его лицо оставалось невозмутимым и бесстрастным, словно он разговаривал с совершенно чужим человеком.

— Нет, — сказал он. — Собственность либо принадлежит мне, либо не принадлежит.

Третьего не дано.

— Но... ты же знаешь, что можешь доверять мне. Можешь не волноваться о поставках руды. Мы заключили соглашение. Ты же знаешь, что можешь положиться на меня.

— Не знаю. Надеюсь, что могу.

— Но я же дал тебе слово!

— Я никогда раньше не зависел от чужого слова.

— Зачем... ну зачем ты так говоришь? Мы же друзья. Я сделаю для тебя все что захочешь. Ты будешь получать всю добываемую руду. Эти рудники по-прежнему твои — все равно что твои. Тебе нечего бояться. Я... Хэнк, что с тобой?

— Помолчи.

— Но в чем дело, Хэнк?

— Я не люблю обещаний. Не нужно делать вид, что мое положение надежно и безопасно. Это далеко не так. Мы заключили соглашение, выполнения которого я не имею формального права требовать. Я хочу, чтобы ты знал, что я прекрасно понимаю, в каком положении нахожусь, и полностью отдаю себе в этом отчет. Если ты намерен сдержать свое слово, не нужно уверять меня в этом, просто сдержи его и все.

— Почему ты смотришь на меня так, словно я во всем виноват? Ты же прекрасно знаешь, как это мне не нравится. Я купил рудники лишь потому, что думал, что это поможет тебе выйти из затруднительного положения, что лучше уж тебе продать их своему другу, чем незнакомому человеку. Я не виноват. Мне самому очень не нравится этот гнусный закон. Я не знаю, кто за всем этим стоит, и никогда не думал, что его могут принять. Для меня было таким потрясением, когда они...

— Ладно, не будем об этом.

— Но я только хотел...

— Почему ты настаиваешь на продолжении этого разговора?

— Я предложил тебе самую высокую цену, Хэнк, — сказал Ларкин умоляющим тоном. — В законе сказано «разумная компенсация», я предложил тебе больше, чем другие.

Реардэн посмотрел на лежавшие на столе бумаги. Он думал о деньгах, которые, согласно этим бумагам, должен получить за свои рудники. Две трети этой суммы Ларкин получил в качестве государственного займа. Это предусматривалось законом, чтобы «предоставить новым владельцам равные возможности, которых они были лишены раньше». Оставшуюся треть суммы Ларкин занял у самого Реардэна. А эти государственные деньги, подумал вдруг Реардэн, деньги, которыми мне заплатили за рудники, — откуда они взялись? Кто их заработал?

— Тебе не о чем беспокоиться, Хэнк, — сказал Ларкин с настойчиво-умоляющей ноткой в голосе. — Это чистая формальность, твои рудники принадлежат мне лишь на бумаге.

Реардэн пытался понять, чего хочет от него Ларкин. Он чувствовал, что этот человек ожидает чего-то большего, каких-то слов, которые он, Реардэн, якобы должен произнести, рассчитывает на милосердие и сострадание, которые Реардэн обязан к нему проявить. Сейчас, в момент своего триумфа, Ларкин представлял собой жалкое зрелище. Он был похож на нищего, который просит милостыню.

— Почему ты сердишься, Хэнк? Это всего-навсего новая бюрократическая формальность. В связи с изменившимися историческими условиями. А раз так, то уже ничего не поделаешь и никто тут не виноват. Но выход всегда можно найти. Посмотри на других. Они не принимают все так близко к сердцу. Они...

— Они назначают управлять отобранной у них собственностью подставных лиц, которых полностью контролируют и держат в узде. Я же...

— Зачем ты так говоришь, Хэнк?

— Я хочу повторить тебе только одно, думаю, ты и сам это знаешь: я в такие игры не играю. У меня нет ни времени, ни желания состряпать что-то против тебя, связать тебя по рукам и ногам шантажом и по-прежнему, но уже через тебя владеть своими рудниками. Для

меня собственность — это то, чем я ни с кем не делюсь. Я не хочу владеть рудниками благодаря твоей трусости — все время бороться, пытаюсь перехитрить тебя, и постоянно тебе угрожать. Я не веду дела подобным образом и никогда не связываюсь с трусами. Рудники твои. Если ты намерен продавать мне всю добываемую руду — пожалуйста, ничто не мешает тебе так поступить. Захочешь обмануть меня — что ж, это тоже целиком в твоей власти.

Ларкин выглядел обиженным.

— Это несправедливо с твоей стороны, Хэнк, — сказал он с упреком. — Я никогда не давал тебе повода не доверять мне.

Он торопливо взял со стола бумаги. Реардэн увидел, как они исчезли во внутреннем кармане его пальто. Он успел заметить, что рубашка Ларкина потемнела от пота.

В его памяти вдруг ни с того ни с сего всплыло лицо проповедника, которого он видел двадцать семь лет назад, проходя по улице города, название которого уже забыл. Он помнил лишь дождливый осенний вечер, темные стены трущоб и злобное лицо человека, с чувством собственной непогрешимости вещавшего в темноту глухого, грязного закоулка: «...вот благороднейший из идеалов: чтобы во имя ближних своих жил человек, и вместо слабых работали сильные, и способные служили неспособным...»

Затем Реардэн вспомнил юношу, которым был он сам в восемнадцать лет. Он видел сосредоточенное лицо, стремительную походку, пьянящее веселье и, несмотря на бессонные ночи, бьющую фонтаном энергию. Он шел с гордо поднятой головой, у него были ясные, спокойно-безжалостные глаза человека, который, не щадя себя, идет к поставленной цели. Он увидел Пола Ларкина таким, каким тот, должно быть, был в те годы, — юнцом с лицом пожилого младенца, который безрадостно, заискивающе улыбался, прося сжалиться над ним, умоляя окружающих дать ему хоть какой-то шанс. Если бы в те годы Реардэну показали этого юнца и сказали: вот к кому приведут тебя твои устремления, вот кто примет энергию твоих натруженных мышц — он бы тогда...

Это была даже не мысль — его мозг словно содрогнулся, как от удара. Когда к нему вернулась способность мыслить, Реардэн понял, что у восемнадцатилетнего юноши, каким он был тогда, возникло бы единственное желание: наступить на эту мерзость по имени Ларкин и растоптать, как червя, чтоб не осталось и мокрого места.

Никогда раньше он не испытывал подобного чувства. Ему потребовалось время, чтобы осознать: то, что он чувствовал, называется ненавистью.

Реардэн заметил, что, уходя и бормоча что-то вроде «до свиданья», Ларкин обиженно поджал губы и посмотрел на него с укоризной, словно пострадавшей стороной, человеком, с которым обошлись несправедливо, был именно он.

Реардэн спрашивал себя, почему, когда он продал свои угольные шахты Кену Денеггеру, владельцу самой большой в Пенсильвании угольной компании, это прошло практически безболезненно. Он не испытывал ненависти. Кен Денеггер, которому минуло пятьдесят, был человеком с суровым неприветливым лицом. Свой путь он начал простым шахт ром.

Когда Реардэн протянул Денеггеру документ, подтверждающий его право на собственность, тот безразлично сказал:

— По-моему, я забыл упомянуть, что за весь полученный от меня уголь ты будешь платить по себестоимости.

Реардэн удивленно посмотрел на него:

— Но это же противозаконно.

— А кто узнает, что за деньги ты от меня получаешь в собственной гостиной?

— Иными словами, ты предлагаешь мне скидку.

— Да.

— Это противоречит куче законов. Если тебя поймают на этом, тебе придется несладко, куда хуже, чем мне.

— Конечно. Таким образом ты подстрахуешься, чтобы не зависеть от моей воли.

Реардэн улыбнулся. Это была счастливая улыбка, но он прикрыл глаза, словно получил

удар, и отрицательно покачал головой:

— Спасибо, но я не из этих и не рассчитываю, что кто-то станет работать на меня себе в убыток.

— Я тоже не из их компании, — сердито сказал Денеггер. — Послушай, Реардэн, ты думаешь, я не понимаю, что получаю то, чего не заработал? Деньгами за это не заплатишь. Тем более сейчас.

— Ты не изъявлял желания купить мои шахты. Я сам об этом попросил. Мне хочется, чтобы в горнодобывающей отрасли нашелся такой человек, как ты, которому я мог бы со спокойной совестью передать свои рудники, не опасаясь, что они попадут в плохие руки. К сожалению, такого человека нет. Если ты действительно хочешь оказать мне услугу, не предлагай скидки. Лучше запроси любую цену, лишь бы я получал уголь в первую очередь. Со своей стороны я сделаю все что надо. Только дай мне уголь.

— Ты его получишь.

Первое время Реардэн удивлялся, почему ничего не слышно от Мауча. Его звонки в Вашингтон оставались без ответа. Затем он получил письмо(, состоявшее из единственного предложения, в котором сообщалось, что мистер Мауч оставляет службу у Реардэна. Две недели спустя он узнал из газет, что Висли Мауч назначен заместителем директора Отдела экономического планирования и национальных ресурсов.

Не думай об этом, повторял себе Реардэн, пытаясь подавить приступ ранее неведомого ему чувства, испытывать которое ему вовсе не хотелось. Мир полон низости и зла, ты это знаешь, и бесполезно ломать голову над их частными проявлениями. Ты просто должен работать еще больше и еще упорней. Не позволяй сломить себя. Будь выше этого.

Детали из металла Реардэна ежедневно отправлялись с его заводов к месту строительства линии Джона Галта, где, поблескивая зеленовато-голубыми искорками в первых лучах весеннего солнца, вздымались конструкции будущего моста через каньон. У Реардэна не было времени страдать, не было сил сердиться. Через несколько недель все прошло, ослепляющие приступы ненависти прекратились и больше не возвращались.

В тот вечер, когда он позвонил Эдди Виллерсу, к нему уже полностью вернулись его обычные уверенность и самообладание.

— Эдди, я в Нью-Йорке, в отеле «Вэйн-Фолкленд». Приходи позавтракать со мной завтра утром. Мне нужно кое-что обсудить с тобой.

Эдди Виллерс шел к Реардэну с тяжелым чувством вины. Он еще не оправился от потрясения, пережитого после утверждения Закона о равных возможностях. Подобно тому, как после удара на теле остается синяк, этот закон оставил в его душе тупую, ноющую боль. Ему не нравился город — в нем словно таилась неведомая, зловещая угроза. Эдди с тяжелым сердцем шел на встречу с человеком, который стал жертвой нового закона: у него было такое чувство, будто он каким-то необъяснимым образом тоже в ответе за это.

Когда он увидел Реардэна, это чувство исчезло. Глядя на Хэнка, никак нельзя было сказать, что он жертва. Утренние лучи весеннего солнца поблескивали, отражаясь в оконных стеклах. Бледно-голубое, нежное небо дышало свежестью и чистотой. Двери офисов были еще закрыты, и город казался уже не зловещим, а готовым подобно Реардэну с надеждой и радостью окунуться в дела. Проведя спокойную ночь и хорошо выспавшись, Реардэн выглядел свежим и отдохнувшим. На нем был халат, и казалось, необходимость переодеться несколько раздражала его, как будто ему не терпелось перейти к своим захватывающе интересным делам.

— Доброе утро, Эдди. Извини, что заставил тебя встать в такую рань, но другого времени у меня нет. Сразу после завтрака я улетаю в Филадельфию. Поговорим за столом.

На нагрудном кармане его темно-голубого фланелевого халата белыми нитками были вышиты инициалы «ГР».

Он выглядел молодым и чувствовал себя в шикарном номере отеля легко и непринужденно, как дома.

Эдди наблюдал, как официант с профессиональной сноровкой вкатил в номер

сервировочный столик на колесиках. Он ощутил необычайное удовольствие при виде свеженакрахмаленной скатерти, поблескивающих в лучах солнца серебряных столовых приборов и двух ведерок с колотым льдом, в которых охлаждались графины с апельсиновым соком. Он даже не подозревал, что подобные вещи могут так воодушевить его.

— Мне не хотелось беспокоить по этому поводу Дэгни, у нее и без того хватает забот. Мы с тобой сами можем за пару минут решить этот вопрос, — сказал Реедэн.

— Если я вправе его решать. Реедэн улыбнулся.

— Вправе, Эдди, не переживай. — Он наклонился к Виллерсу через стол и спросил: — Каково в данный момент финансовое положение «Таггарт трансконтинентал»? Безнадежное?

— Хуже, мистер Реедэн.

— Вы в состоянии платить по счетам?

— Не совсем. Мы держим это в тайне, но я думаю, все и так знают. Мы кругом в долгах, и Джим уже не знает, как оправдываться.

— Ты знаешь, что со следующей недели вы должны начать платежи за рельсы из моего металла?

— Да, знаю.

— Давай заключим мораторий. Я отсрочу выплаты, вы внесете первый взнос лишь спустя полгода после открытия линии Джона Галта.

Не зная, что сказать, Эдди со стуком поставил на стол чашку кофе.

Реедэн усмехнулся:

— Что с тобой, Эдди? У тебя же достаточно полномочий, чтобы принять такое предложение?

— Мистер Реедэн... я даже не знаю... что вам сказать.

— Просто скажи, что согласен. Этого вполне достаточно.

— Я согласен, мистер Реедэн, — еле слышно вымолвил Эдди.

— Я подготовлю и перешлю тебе все бумаги. Можешь сказать Джиму, пусть подпишет.

— Хорошо, мистер Реедэн.

— Я не хотел решать этот вопрос с Джимом. Он потратил бы битых два часа, пытаюсь убедить себя, что убедил меня, что, принимая это предложение, оказывает мне неоценимую услугу.

Эдди неподвижно сидел за столом, уставившись в тарелку. • — В чем дело, Эдди?

— Мистер Реедэн... Я хотел бы поблагодарить вас, но у меня просто нет слов, чтобы выразить...

— Послушай Эдди, у тебя есть все задатки для того, чтобы стать хорошим бизнесменом, поэтому ты должен раз и навсегда кое-что уяснить для себя. В подобных ситуациях нет и не может быть никаких слов благодарности. Я делаю это не для «Таггарт трансконтинентал». С моей стороны это себялюбивый, чисто деловой ход. Зачем мне сейчас требовать с вас деньги, если это нанесет смертельный удар вашей компании? Если бы я видел, что «Таггарт трансконтинентал» — предприятие никудышное, я бы без колебаний содрал с вас эти деньги. Я не играю в благотворительность и не связываюсь с некомпетентными партнерами. Но вы по-прежнему лучшая железная дорога в стране. После завершения строительства линии Джона Галта ваша компания станет самой надежной и платежеспособной. Поэтому у меня есть веские основания подождать. Кроме того, проблемы у вас возникли именно из-за моих рельсов. Мне хочется стать свидетелем вашей победы.

— Я все равно должен поблагодарить вас, мистер Реедэн... за что-то куда большее, чем благотворительность.

— Да нет же, Эдди. Ну как ты не понимаешь? Я только что получил крупную сумму денег, которые мне сейчас ни к чему. Мне не во что их вложить. Для меня они сейчас мертвый груз. Я даже получу удовольствие, использовав эти деньги в борьбе против тех, благодаря кому их получил. Они предоставили мне возможность дать вам эту отсрочку и помочь в борьбе против них же.

Реедэн заметил, как Эдди вздрогнул, словно задел его больное место.

— Это-то и ужасно.

— Что?

— То, что они сделали с вами, и то, как вы поступаете в ответ. Я хочу сказать... — Он замолчал. — Простите меня, мистер Репардэн. Я знаю, что так о делах не говорят.

Репардэн улыбнулся:

— Спасибо, Эдди. Я знаю, что ты хотел сказать. К черту их всех. Забудь об этом.

— Хорошо. Только... мистер Репардэн, могу я вам кое-что сказать? Я понимаю, что это не имеет никакого отношения к делу, и говорю не как вице-президент компании.

— Я тебя слушаю.

— Мне не нужно говорить вам, что значит ваше предложение для Дэгни и каждого порядочного человека в нашей компании. Вы и сами знаете. Вы также знаете, что можете положиться на нас. Но... по-моему, ужасно несправедливо, что Джим Таггарт тоже извлечет из этого выгоду, что вы, именно вы спасаете его и ему подобных после того, что они сделали...

Репардэн рассмеялся:

— Эдди, да начхать нам на Таггарта и таких, как он. Мы ведем экспресс, а они едут на крыше и надрывно кричат о том, что они всем руководят и все зависит только от них. Пусть кричат. Мы ведь не надорвемся, везя их?

. «Ничего у них не выйдет».

Лучи летнего солнца полыхали в городских окнах и искрились, поблескивая в уличной пыли. Похожие на легкую дымку потоки горячего воздуха поднимались с раскаленных крыш к белому табло календаря, который висел над городом, отсчитывая последние дни июня. «Ничего у них не выйдет, — твердили все в один голос. — Когда пустят первый поезд по линии Джона Галта, рельсы треснут. Им не доехать до моста. А если и доедут, мост рухнет под тяжестью состава».

Со склонов Колорадских гор грузовые составы спускались по железной дороге «Финикс — Дуранго» к северу — до Вайоминга и дальше, к главной линии «Таггарт трансконтинентал» и к югу — до Нью-Мексико и магистрали «Атлантик саузерн». Длинные составы сверкающих на солнце цистерн расходились во всех направлениях от нефтяных вышек Вайета к предприятиям отдаленных штатов. Но эти составы не были темой для разговоров. Для общества они скользили так же бесшумно, как солнечные лучи, их замечали, лишь когда нефть превращалась в свет электрических лампочек, жар печей, работу моторов. Но самих составов никто не замечал. Они воспринимались как нечто само собой разумеющееся.

Заккрытие железной дороги «Финикс — Дуранго» было назначено на двадцать пятое июля. «Хэнк Репардэн — одержимое алчностью чудовище, — говорили люди. — Посмотрите, какое он сколотил состояние. Он хоть когда-нибудь дал что-то взамен? Хоть раз проявил чувство гражданского долга? Его интересуют только деньги. Ради них он готов на все. Ему плевать, что, если рухнет мост из его сплава, погибнут люди».

«Таггарты из поколения в поколение были стаей стервятников, — говорили люди, — это у них в крови. Вспомните их родоначальника Нэта Таггарта, самого отъявленного негодяя на земле, который по капле высосал из страны всю кровь, чтобы нажить свое богатство. Можно не сомневаться, что эта семейка без колебаний поставит на карту человеческие жизни, лишь бы заграбастать побольше прибыли. Таггарты купили никудышные репардэновские рельсы потому, что они дешевле стальных, им плевать на катастрофы и искалеченных людей, ведь денежки за провоз они уже получили».

Люди говорили так, потому что слышали это от других. Они не знали, почему вокруг этого поднят такой шум. Они ни от кого не требовали разумных объяснений. «Разум, — сказал им доктор Притчет, — это самый наивный из предрассудков!»

«Источник общественного мнения? — сказал Клод Слагенхоп в своем выступлении по радио. — Да нет никакого источника. Общественное мнение стихийно, самопроизвольно и

единодушно. Это рефлекс, явление сугубо инстинктивное, исходящее от коллективного сознания».

Орен Бойл, в свою очередь, дал интервью журналу «Глоб» — самому массовому изданию. Интервью было посвящено проблеме социальной ответственности металлургов перед обществом. Основное внимание в нем уделялось тому факту, что металл имеет огромное значение и зачастую жизни людей зависят от его качества. «По-моему, недопустимо, чтобы при внедрении в жизнь нового, ранее не опробованного продукта людей использовали в качестве подопытных кроликов», — сказал Бойл, не назвав никаких имен.

«Нет, я не заявляю, что мост рухнет, — сказал главный инженер „Ассошиэйтэд стил“ в выступлении по телевидению. — Я этого не говорю. Я лишь хочу сказать, что, если бы у меня были дети, я не позволил бы им ехать на первом поезде, который пересечет этот мост. Но это мое личное мнение, не более. Просто я очень, люблю детей».

"Я не утверждаю, что железное детище Хэнка Реардэна и Дэгги Таггарт рухнет, — писал Бертрам Скаддер в журнале «Фьючер». — Может быть, рухнет, а может быть, и нет. Это не столь важно. Важно другое: как обществу оградить себя от самонадеянности, эгоизма и алчности двоих необузданных индивидуалистов, которые за всю свою жизнь не совершили ни одного общественно полезного поступка? Судя по всему, эти двое готовы поставить на карту жизни людей, основываясь лишь на тщеславной уверенности в правильности своих суждений и оценок, тогда как подавляющее большинство признанных специалистов придерживается обратного мнения. Должно ли общество допустить это? Если мост действительно рухнет, не поздно ли будет принимать меры предосторожности? Стоит ли махать кулаками после драки? Автор этих строк хранит верность своему убеждению, что ради блага общества кое-кому следует дать по рукам, не дожидаясь драки.

Группа, именовавшая себя Комитетом незаинтересованных граждан, собрала подписи под петицией, требовавшей в течение года провести детальное обследование линии Джона Галта комиссией государственных экспертов, прежде чем линия будет введена в эксплуатацию. В петиции подчеркивалось, что подписавшиеся под ней руководствуются лишь «чувством гражданского долга». Первыми подписались Боуль Юбенк и Морт Лидди. Газеты уделили этой петиции много места, сопровождая ее подробными комментариями. К ней отнеслись с большим вниманием и уважением, так как она исходила от незаинтересованных лиц.

Газеты не написали ни строчки об успехах строительства линии Джона Галта. Ни один репортер не приехал осмотреть все на месте. Позиция прессы была сформулирована одним видным журналистом еще пять лет назад. «Фактов нет, — сказал он. — Есть только их интерпретация. Поэтому писать о фактах нет смысла».

Несколько бизнесменов решили, что стоит подумать о возможной коммерческой ценности металла Реардэна. Они занялись изучением этого вопроса, но не наняли ни специалистов в области металлургии, чтобы сделать анализ образцов металла, ни инженеров, чтобы те посетили место строительства. Они провели опрос общественного мнения. Среди десяти тысяч опрошенных были люди самого разного уровня интеллектуального развития. На вопрос: «Вы воспользовались бы линией Джона Галта?» подавляющее большинство ответили: «Ни за какие коврижки!»

Ни один человек не высказался в защиту металла Реардэна, и никто не придавал значения тому, что акции «Таггарт трансконтинентал» медленно, почти незаметно пошли вверх. Но некоторые пристально наблюдали за ситуацией и тайно, втихую играли на бирже. Мистер Моуэн купил акции «Таггарт трансконтинентал» на имя своей сестры, Бен Нили — на имя двоюродной сестры, а Пол Ларкин — под вымышленным именем. «Здесь надо все делать тихо — вопрос-то неоднозначный», — сказал один из них.

«Да, работы идут строго по графику, — пожимая плечами, сказал Джим Таггарт на совете директоров. — Можете не сомневаться. Моя дражайшая сестрица не человек, а двигатель внутреннего сгорания, так что ее успехи отнюдь не удивительны».

Когда прошел слух, что несколько мостовых опор треснули и, рухнув, убили троих



рабочих, Таггарт вскочил с места и, вбежав в приемную, приказал секретарю немедленно соединить его с Колорадо. Он ждал, прислонившись к столу, словно ища защиты; в его глазах застыл панический страх. Тем не менее его губы дрогнули и расплылись в жалком подобии злорадной улыбки, когда он сказал: «Я отдал бы все на свете, чтобы посмотреть сейчас на лицо Реардэна». Узнав, что слух ложный, он проронил: «Слава тебе Господи», — но его голос прозвучал разочарованно.

— Не знаю, — сказал своим друзьям Филипп Реардэн по поводу того же слуха, — возможно, он тоже хоть изредка совершает ошибки. Может быть, мой великий братец не так велик, как мнит.

— Дорогой, — сказала мужу Лилиан Реардэн, — вчера за чаем я поссорилась с подругами, которые утверждали, что Дэгни Таггарт — твоя любовница... Господи, да не смотри ты на меня так! Я знаю, что это полнейшая нелепость, и задала им такого жару! Эти безмозглые идиотки просто не могут себе представить, почему женщина идет наперекор обществу исключительно ради твоего сплава. Ну конечно, я-то все понимаю. Я знаю, что для такой женщины, как Дэгни Таггарт, секс равным счетом ничего не значит, и на тебя как на мужчину ей плевать. И еще, дорогой, я знаю, что, если бы у тебя хватило смелости на что-то подобное, в чем я сильно сомневаюсь, ты не стал бы увиваться за вычислительной машиной в юбке, а нашел бы себе белокурую, женственную девочку из варьете, которая... Генри, не смотри так: я просто пошутила!

— Дэгни, — жалким тоном сказал Таггарт, — что с нами будет? Наша компания стала такой непопулярной!

Дэгни весело рассмеялась — так, будто веселье постоянно таилось где-то внутри ее и нужна была самая малость, чтобы оно выплеснулось наружу. Она непринужденно смеялась, раскрыв рот и обнажив зубы, казавшиеся необыкновенно белыми на загорелом лице. Она словно всматривалась вдаль. Это выражение появилось в ее глазах с тех пор, как она переехала в Колорадо. Во время своих последних наездов в Нью-Йорк она заметила, что смотрит на Джима, словно не видя его.

— Общественное мнение к нам крайне недоброжелательно. Что нам делать?

— Джим, ты помнишь, что рассказывали о Нэте Таггарте? Он сказал, что завидует лишь одному из своих конкурентов, человеку, который сказал: «К черту общественное мнение». Он жалел, что сам не сказал этого.

Летними днями и вечерами, когда на город опускалась гнетущая тишина, какой-нибудь одинокий человек, сидя на скамейке в парке или у открытого окна, прочитав в газете коротенькое сообщение об успехах в строительстве линии

Джона Галта, смотрел на город с внезапным приливом надежды. Это были либо очень молодые люди, которые страстно желали увидеть, как происходят подобные события, либо очень старые, которые еще застали мир, где такие события действительно случались. Их мало волновали железные дороги, они ничего не смыслили в бизнесе, они знали одно: кто-то борется с огромными трудностями и побеждает. Они не восхищались целью, которую преследовал этот человек, они верили гласу общественного мнения. И все же, когда они читали, что строительство продвигается, у них на мгновение становилось теплее на душе и они с удивлением спрашивали себя, почему теперь их собственные проблемы уже не кажутся такими неразрешимыми.

В атмосфере полного умалчивания, в неведении для всех и вся, за исключением грузового склада «Таггарт трансконтинентал» в Шайенне и офиса «Джон Галт инкорпорейтэд» в темном переулке, росла стопка заказов на вагоны и непрерывно поступали грузы для первого состава, который пройдет по новой линии. Дэгни Таггарт объявила, что вопреки традиции это будет не пассажирский экспресс, набитый знаменитостями и политиками, а специальный товарный состав.

Грузы поступали со всех концов страны — с ферм, лесных складов, рудников, из отдаленных мест, для которых последней надеждой на выживание были новые заводы и фабрики Колорадо. Ни одна газета не писала об этих грузоотправителях, потому что они не

принадлежали к числу незаинтересованных граждан.

Железная дорога «Финикс — Дуранго» закрывалась двадцать пятого июля, двадцать второго июля по линии Джона Галта должен был пройти первый состав.

— Видите ли, какое дело, мисс Таггарт, — заявил представитель профсоюза машинистов, — не думаю, что мы позволим вам пустить этот поезд.

Дэгни сидела в своем кабинете за выдавшим виды столом напротив покрытой пятнами стены.

— Вон отсюда, — сказала она не шелохнувшись.

Этот человек в жизни не слышал ничего подобного в безукоризненно обставленных кабинетах руководящих работников железных дорог. Он растерянно произнес:

— Я пришел сказать вам... ,

— Если у вас есть что сказать, то начните с начала.

— Что?

— Не говорите о том, что вы намерены мне не позволить.

— Я хочу сказать, что мы не позволим вести ваш поезд членам нашего профсоюза.

— Это другое дело.

— Мы так решили.

— Кто мы?

— Наш комитет. То, что вы делаете, — нарушение прав человека. Вы не имеете права обрекать людей на смерть, когда рухнет этот мост, только ради того, чтобы обогатиться.

Дэгни взяла со стола чистый лист бумаги и протянула его собеседнику:

— Изложите все в письменном виде, и мы с вами заключим контракт.

— Какой контракт?

— Что никто из членов вашего профсоюза никогда не получит работу на линии Джона Галта.

— Почему... одну минутку... Я не говорил, что...

— Вы не хотите подписывать такой контракт?

— Нет. Я...

— Почему, если вы уверены, что мост рухнет?

— Я всего лишь хочу...

— Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите держать за горло своих людей, манипулируя рабочими местами, которые даю им я, и меня — манипулируя своими людьми. Вы хотите, чтобы я создала рабочие места, и в то же время пытаетесь помешать мне предоставить людям работу. Выбирайте. Двадцать второго июля этот поезд выйдет на линию. Здесь у вас нет выбора, но вы можете выбирать, позволить или не позволить вашим людям вести этот состав. Если вы остановитесь на втором варианте, поезд все равно пойдет, даже если мне самой придется сесть на место машиниста. Если мост рухнет, в стране не останется ни одной железной дороги. Но если он устоит, ни один из членов вашего профсоюза никогда не получит работу на линии Джона Галта. Если вы думаете, что ваши люди нужны мне больше, чем я им, — выбирайте соответствующим образом. Вы знаете, что я могу повести поезд, а они не могут построить железную дорогу, — делайте свой выбор исходя из этого. Ну так как, вы запретите своим людям вести мой поезд?

— Я не говорил, что мы запретим это. Я ничего не говорил о запрете. Но... вы не имеете права заставлять людей рисковать жизнью, отправляя их на эту линию.

— Я не собираюсь никого принуждать вести этот поезд.

— Как же вы поступите?

— Найду добровольцев.

— А если таковых не окажется?

— Это уже моя проблема, не ваша.

— Что ж, в таком случае позвольте мне сказать, что я буду настоятельно рекомендовать им отказаться.

— Пожалуйста. Говорите, советуйте им все что угодно. Но оставьте право выбора за

ними. Не пытайтесь запретить им это.

На объявлении, которое появилось в каждом депо «Таггарт трансконтинентал», стояла подпись: «Эдвин Виллерс, вице-президент по грузовым и пассажирским перевозкам». В нем говорилось, что машинисты, желающие повести первый поезд по линии Джона Галта, должны сообщить об этом мистеру Виллерсу не позже чем к одиннадцати часам утра пятнадцатого июля.

Пятнадцатого июля в 10.15 в кабинете Дэгни зазвонил телефон. Это был Эдди.

— Дэгни, я думаю, тебе стоит прийти, — загадочно сказал он.

Она выбежала на улицу, торопливо прошла по мраморному полу вестибюля к двери, на которой по-прежнему висела стеклянная табличка: «Дэгни Таггарт».

Дэгни вошла. Приемная была полна народу. Между столами, у стен, повсюду тесной толпой стояли люди. При ее появлении все замолчали и сняли шляпы. Она видела седеющие волосы, крепкие плечи, улыбающиеся лица сидевших за столами служащих и Эдди Виллерса, стоявшего в другом конце комнаты. Все понимали, что слова излишни.

Эдди стоял у открытых дверей ее кабинета. Толпа расступилась, давая ей пройти. Эдди указал рукой сначала на собравшихся, затем на стопку писем и телеграмм.

— Дэгни, все машинисты «Таггарт трансконтинентал»! Те, кто смог, пришли сюда, многие приехали издалека, здесь несколько человек из нашего отделения в Чикаго. — Он указал на стопку телеграмм: — Здесь остальные. Если быть точным, я не получил никаких известий лишь от троих: один проводит отпуск где-то в лесах на севере, второй в больнице, а третий в тюрьме за лихачество на своем автомобиле.

Дэгни оглядела собравшихся.

Она заметила скрытые улыбки на их серьезных лицах и в знак признательности склонила голову. Мгновение она так и стояла, склонив голову, словно выслушивая вердикт, который относится к ней, к собравшимся в приемной людям, ко всему миру за стенами этого здания.

Большинство машинистов много раз видели ее раньше. Но сейчас, глядя, как она поднимает голову, многие из них впервые с удивлением подумали, что лицо их вице-президента было лицом женщины, и женщины необыкновенно красивой.

Кто-то из толпы вдруг весело выкрикнул:

— К черту Джима Таггарта!

За возгласом последовал взрыв. Люди смеялись, одобрительно свистели и наконец разразились аплодисментами. Ответная реакция не шла ни в какое сравнение с самим возгласом, он был лишь поводом. Казалось, люди аплодируют сказавшему эти слова в знак своего пренебрежения к вышестоящему начальству, но каждый в этой комнате прекрасно понимал, кого именно они приветствуют.

Дэгни, смеясь, подняла руку:

— Мы рано торжествуем. Подождите неделю. Тогда и отпразднуем. И поверьте мне, праздник состоится.

Бросили жребий, кому выпадет право вести первый поезд. Дэгни вытащила маленький листочек бумаги из кучи подобных, где были написаны имена. Человека, которому выпал жребий, среди присутствующих не было. Им оказался Пэт Логган, машинист «Кометы Таггарта» из отделения в Небраске, один из лучших машинистов «Таггарт трансконтинентал».

— Пошли Пэту телеграмму и сообщи, что его перевели на товарный, — сказала она Эдди и добавила словно между прочим, как будто приняла решение в последний момент: — Да, вот еще что, извести его, что я поеду с ним.

Стоявший рядом с ней старый машинист усмехнулся:

— Я так и знал, что вы поедете, мисс Таггарт.

Реардэн был в Нью-Йорке в тот день, когда Дэгни позвонила ему из своего офиса.

— Хэнк, я собираюсь завтра устроить пресс-конференцию.

— Не может быть, — рассмеялся он.

— Может, — сказала она серьезно, даже угрожающе серьезно. — Газетчики вдруг вспомнили обо мне и задают вопросы. Я собираюсь ответить им.

— Желаю тебе хорошо провести время.

— Непременно. Ты будешь завтра в городе? Мне бы хотелось, чтобы ты присутствовал.

— Хорошо. Мне не хотелось бы пропустить такое событие.

Репортеры, собравшиеся на пресс-конференцию в офисе «Джон Галт инкорпорейтэд», были молодыми людьми, которых учили думать, что их работа заключается в том, чтобы скрывать от мира природу происходящих в нем событий. Их повседневной обязанностью было выступать слушателями какого-нибудь общественного деятеля, который тщательно подобранными фразами, лишенными всякого смысла, разглагольствовал о благосостоянии общества. Их повседневная работа заключалась в том, чтобы собрать эти слова в любых приемлемых сочетаниях, но так, чтобы они не выстраивались в последовательную цепочку, выражающую что-то определенное. Они не могли понять того, что сейчас говорила Дэгни.

Она сидела за столом в своем похожем на заброшенный подвал кабинете. На ней была белая блузка и синий идеально сшитый и очень дорогой костюм, отчего она выглядела очень официально и почти по-военному элегантно. Она сидела за столом с видом подчеркнутого, несколько преувеличенного достоинства.

Рearдэн сидел в углу, развалившись в ломаном кресле. Всем своим весом он опирался на один подлокотник, свесив ноги через другой. В его поведении чувствовались раскованность и нарочитая неофициальность.

Четким, ровным голосом, каким обычно докладывают военные, не заглядывая в бумажки и глядя прямо на журналистов, Дэгни изложила технические данные линии Джона Галта, назвала точные цифры, касающиеся рельсов, предельной грузоподъемности моста, метода строительства и затрат. Затем холодным, бесстрастным тоном банкира обрисовала финансовые перспективы новой линии и назвала огромную норму прибыли, на которую рассчитывала.

— Это все, — сказала она.

— Все? — спросил кто-то из репортеров. — Разве вы не хотите передать послание общественности?

— Это и было моим посланием.

— Но, черт побери, неужели вы не собираетесь защищаться?

— От чего?

— Разве вы не хотите сказать что-нибудь в оправдание вашей новой линии?

— Я это уже сказала.

— Я хочу спросить вас о том, на что в свое время указал Бертрам Скаддер: как нам обезопасить себя, если ваша линия все же окажется ненадежной? — поинтересовался репортер, губы которого были сжаты в складку, напоминавшую не сходящую с лица презрительную усмешку.

— Не пользуйтесь ею, — ответила Дэгни.

— Какими мотивами вы руководствовались при строительстве линии? — спросил кто-то другой.

— Я уже сказала: я рассчитываю на прибыль.

— О, мисс Таггарт, не говорите так! — выкрикнул молодой парень. Он был новичком в журналистике и все еще честно и добросовестно относился к своей работе. Сам не зная почему, он чувствовал, что симпатизирует Дэгни Таггарт. — Вы говорите не то. Это другие так о вас говорят.

— Неужели?

— Я уверен, что вы хотели сказать совсем другое... и думаю, вы захотите внести ясность в этот вопрос.

— Хорошо, раз вы этого хотите. В настоящий момент среднегодовой показатель рентабельности железных дорог составляет два процента от капиталовложений. Таковую

низкую рентабельность в такой крупной отрасли можно считать аморальной. Как я уже объяснила, исходя из соотношения капитальных затрат на линию Джона Галта и предполагаемого грузооборота и пропускной способности я вправе рассчитывать по крайней мере на пятнадцать процентов прибыли от общих затрат. Разумеется, любая доля прибыли, превышающая четыре процента, считается сейчас ростовщической. Тем не менее я сделаю все возможное, чтобы линия Джона Галта приносила мне прибыль в двадцать процентов, если, конечно, это в моих силах. Это и есть мотив, которым я руководствовалась при строительстве линии. Надеюсь, теперь вам все ясно?

Молодой репортер беспомощно смотрел на нее.

— Вы же не имели в виду, что рассчитываете получить прибыль для себя лично? Мисс Таггарт, вы хотели сказать, что надеетесь заработать ее для мелких акционеров? — подсказал он с надеждой в голосе.

— Почему? Нет. Мне принадлежит один из самых крупных пакетов акций «Джон Галт инкорпорейтэд», соответственно моя доля прибыли будет одной из самых больших. А вот мистер Реардэн находится в еще более выгодном положении, потому что у него нет акционеров и ему не нужно ни с кем делиться. Или, может быть, мистер Реардэн предпочитает сделать собственное заявление?

— С удовольствием, — сказал Реардэн. — Поскольку формула металла Реардэна известна мне одному, а также принимая во внимание тот факт, что его выплавка стоит намного меньше, чем вы, ребята, можете себе представить, я рассчитываю в ближайшие годы содрать с общества прибыль в двадцать пять процентов.

— Мистер Реардэн, что значит — содрать с общества? — спросил молодой репортер. — В вашей рекламе говорится, что срок эксплуатации металла Реардэна в три раза дольше, чем у любого другого металла, и что он в два раза дешевле. Если это правда, разве общество не окажется в выигрыше?

— О, так вы и это заметили? — спросил Реардэн.

— Вы хоть понимаете, что все сказанное вами будет напечатано в газетах? — спросил репортер с презрительно сжатыми губами, обращаясь к Дэгни и Реардэну.

— Но, мистер Хопкинс, — сказала Дэгни с вежливым удивлением в голосе, — зачем мы стали бы разговаривать с вами, если не для того, чтобы наше интервью попало в печать?

— Вы хотите, чтобы мы напечатали все, что вы сказали?

— Надеюсь, так оно и будет. Не могли бы вы передать мою следующую фразу дословно? — Она выдержала паузу, подождав, пока они подготовят блокноты и ручки, затем продиктовала: — Мисс Таггарт сказала... откройте кавычки... я рассчитываю получить с линии Джона Галта кучу денег. И я их получу. Закройте кавычки. Большое спасибо.

— Джентльмены, еще вопросы будут? — спросил Реардэн.

Репортеры молчали.

— Теперь несколько слов об открытии линии Джона Галта, — сказала Дэгни. — Первый поезд отправится двадцать второго июля в четыре часа пополудни со станции

«Таггарт трансконтинентал» в Шайенне, штат Вайоминг. Это будет специальный товарный состав, состоящий из восьмидесяти вагонов с дизельэлектровозом мощностью в восемь тысяч лошадиных сил, который я арендую у «Таггарт трансконтинентал». Поезд проследует без остановок до узловой станции Вайет в Колорадо со средней скоростью сто миль в час.

Кто-то продолжительно присвистнул.

— Что вы сказали, мисс Таггарт?

— Я сказала — сто миль в час, с учетом спусков, подъемов, поворотов и так далее.

— Но не лучше ли снизить скорость до обычной, чем... Мисс Таггарт, неужели вам абсолютно безразлично общественное мнение?

— Да нет же. Если бы меня не волновало общественное мнение, средней скорости в шестьдесят пять миль в час было бы вполне достаточно.

— А кто поведет этот поезд?

— Здесь возникли определенные сложности. Дело в том, что все машинисты «Таггарт трансконтинентал» изъявили желание первыми выйти на линию. То же можно сказать о помощниках машинистов, тормозных кондукторах и проводниках. Пришлось тянуть жребий. Он выпал Пэту Логгану, машинисту «Кометы Таггарта», и помощнику машиниста Рэю Маккиму. Я поеду с ними.

— В самом деле?!

— Приходите на открытие. Церемония состоится двадцать второго июля. Присутствие прессы чрезвычайно желательно и важно. Вопреки своей обычной политике, я хочу как можно больше рекламы. Нет, правда. Я бы хотела, чтобы там были прожекторы, микрофоны и телекамеры. Советую вам установить несколько камер вокруг моста. Когда он рухнет, у вас будет возможность снять ряд весьма интересных кадров.

— Мисс Таггарт, почему вы не сказали, что я тоже еду с вами? — спросил Реардэн.

Дэгни взглянула на Реардэна. На мгновение они забыли о репортерах, словно в комнате, кроме них, смотревших друг на друга, никого не было.

— Да, конечно, мистер Реардэн, — ответила она.

Дэгни увидела его вновь лишь двадцать второго июля — они смотрели друг на друга, стоя на платформе станции «Таггарт трансконтинентал» в Шайенне.

Выйдя на платформу, она никого не искала взглядом: все ее чувства притупились, и она не могла различить ни неба, ни солнца, ни шума огромной толпы, ощущая лишь свет и внутреннее возбуждение.

Он был первым, кого она заметила, и Дэгни не знала, как долго она видела лишь его одного. Реардэн стоял у локомотива в голове состава и разговаривал с кем-то находившимся вне ее поля зрения. В рубашке и серых слаксах он был похож на настоящего машиниста, но люди вокруг во все глаза смотрели на него, потому что он был Хэнком Реардэном, президентом «Реардэн стал». Высоко над его головой она увидела две буквы «ТТ», красовавшиеся на посеребренной лобовой части застывшего на старте локомотива.

Их разделяла толпа, но он заметил ее, как только она ступила на платформу. Они посмотрели друг на друга, и Дэгни поняла, что Реардэн чувствует то же, что она. Это была уже не серьезнейшая акция, от которой зависело их будущее, а просто день их радости. Они сделали свое дело, и на мгновение будущее перестало существовать. Они заслужили право на настоящее.

Можно чувствовать себя поистине легко и непринужденно, лишь когда осознаешь свою значимость, как-то сказала ему она.

Что бы ни значил сегодняшний пробег для остальных, для Дэгни и Реардэна весь смысл этого дня заключался в них самих. К чему бы ни стремились в жизни другие, эти двое стремились лишь обрести право чувствовать то, что они чувствовали сейчас. Казалось, стоя на платформе, разделенные толпой, они мысленно сказали это друг другу.

Затем Дэгни отвернулась. Она вдруг заметила, что на нее тоже смотрят, что ее окружила толпа, что она смеется и отвечает на вопросы.

Она не ожидала, что соберется так много народу. Люди заполнили платформу, наводнили пути и площадь за станционным павильоном; они взобрались на крыши товарных вагонов, стоявших на запасных путях, выглядывали из окон домов. Что-то притягивало их, что-то, что в последний момент заставило Джеймса Таггарта захотеть явиться на открытие линии. Но Дэгни категорически запретила. «Джим, если ты придешь, я прикажу вышвырнуть тебя с твоей же собственной станции. Тебе не доведется увидеть открытие линии», — сказала она ему. Представителем от «Таггарт трансконтинентал» она избрала Эдди Виллерса.

Дэгни взглянула на собравшихся и испытала два противоположных чувства. Ее удивляло, что все смотрят на нее, тогда как для нее это являлось глубоко личным событием и она не считала возможным делить его с другими. И все же их присутствие на открытии линии было вполне уместным и закономерным, потому что возможность стать свидетелем

великого свершения — самый большой подарок, который один человек может предложить другому.

Сейчас Дэгни ни на кого не сердилась. Все, что ей пришлось пережить, отступило на задний план, как боль, которая еще существует, но уже не в силах заслонить собой мир. Все это не соответствовало реальности момента. Смысл этого дня был ясен, как ослепительные вспышки солнечных лучей на посеребренной поверхности локомотива. Сейчас это должны были осознать все, в этом никто больше не мог сомневаться, и ей некого было ненавидеть.

Эдди Виллерс наблюдал за ней. Он стоял на платформе в окружении руководящих сотрудников «Таггарт трансконтинентал», управляющих отделениями, политических деятелей и местных должностных лиц разного масштаба, которых переубедили, подкупили или запугали, чтобы получить разрешение провести поезд со скоростью сто миль в час в черте населенных пунктов. Впервые за все время, во имя этого дня и этого события, он действительно почувствовал себя вице-президентом и держали! соответственно. Но разговаривая со стоявшими вокруг него людьми, он неотрывно следил за Дэгни сквозь толпу. На ней были голубые слаксы и рубашка. Она совершенно забыла о своих официальных обязанностях, возложив заботу об этом на него. Сейчас ее волновал лишь поезд, словно она была членом поездной бригады, и только.

Она увидела Эдди, подошла и пожала ему руку. Ее улыбка заменяла все слова, которые им не нужно было говорить друг другу.

— Эдди, сегодня «Таггарт трансконтинентал» — это ты.

— Да, — тихо и торжественно ответил он.

К Дэгни со всех сторон лезли репортеры, и они оттеснили ее от него. Ему тоже задавали вопросы: «Мистер Виллерс, какой позиции придерживается „Таггарт трансконтинентал“ по отношению к линии Джона Галта?»; «Так значит, „Таггарт трансконтинентал“ выступает лишь в качестве незаинтересованного наблюдателя?». Эдди как мог отвечал на вопросы. Он смотрел на лучи солнца, игравшие на серебристой поверхности локомотива, но видел опушку леса и двенадцатилетнюю девочку, которая говорила ему, что когда-нибудь он будет помогать ей управлять железной дорогой.

Он издали наблюдал, как поездная бригада выстраивается в шеренгу перед локомотивом, чтобы предстать перед вспышками фотокамер. Дэгни и Реардэн улыбались так, словно позировали для фотографии в память о летнем отпуске. Пэт Логган, невысокий, жилистый, с седеющими волосами и презрительно непроницаемым лицом, позировал с безразличным видом человека, которого все это слегка забавляет. Помощник машиниста Рэй Макким, молодой мускулистый великан, широко улыбался с некоторым смущением и превосходством одновременно. Остальные члены бригады держались так, будто вот-вот подмигнут в объектив.

— Ребята, пожалуйста, не могли бы вы скорчить обреченные физиономии? Я знаю, что именно этого жаждет мой редактор, — смеясь, бросил один из фотографов.

Затем Дэгни и Реардэн отвечали на вопросы журналистов. Теперь в их ответах не было ни насмешки, ни горечи. Они делали это с удовольствием, говорили так, словно вопросы задавались честно, по совести, и постепенно, никто не заметил, в какой именно момент, все стало действительно так.

— Как вы думаете, что произойдет во время этого пробега? Вы верите, что доберетесь? — спросил репортер одного из тормозных кондукторов.

— Да, верю. Мы доедем. И ты, братишка, тоже в это веришь.

— Мистер Логган, у вас есть дети? Вы застраховали свою жизнь? Я думаю про этот мост...

— Не подходите к мосту, пока я по нему не проеду, — презрительно ответил Логган.

— Мистер Реардэн, откуда вы знаете, что ваши рельсы выдержат?

— Человек, который изобрел печатный станок, — откуда он все знал? — ответил Реардэн.

— Мисс Таггарт, скажите, что удержит состав весом в семь тысяч тонн на мосту,

который весит на четыре тысячи тонн меньше?

— Мое суждение, — ответила Дэгни.

Журналисты, презиравшие свою профессию, не понимали, почему сегодня они работают с удовольствием. Один из них, молодой, но уже несколько лет широко известный репортер с циничным выражением лица, которое можно увидеть у людей вдвое старше, вдруг сказал:

— Я знаю, чего я хотел бы — освещать настоящие новости.

Стрелки часов на станционном павильоне показывали три сорок пять. Бригада двинулась к служебному вагону, находившемуся в конце состава. Шум толпы постепенно стихал.

Диспетчер получил подтверждения от всех дежурных по линии длиной в триста миль, которая, извиваясь среди гор, вела к нефтяным вышкам Вайета. Он вышел из станционного павильона и, глядя на Дэгни, подал знак, что путь свободен. Стоя у локомотива, Дэгни ответила ему тем же жестом, дав знать, что приняла и поняла сигнал.

За локомотивом тянулась длинная, состоящая из прямоугольных звеньев, похожая на спинной хребет цепочка товарных вагонов. Далеко в конце состава проводник дал отмашку. Дэгни махнула рукой в ответ.

Рearдэн, Логган и Макким молча стояли у локомотива по стойке смирно, предоставляя ей право первой подняться в кабину. Когда Дэгни начала взбираться по лестнице, кто-то из репортеров вдруг вспомнил, что забыл задать ей один вопрос.

— Мисс Таггарт, а кто такой Джон Галт? — крикнул он ей вдогонку.

Дэгни обернулась, ухватившись одной рукой за металлический поручень, и на мгновение зависла над толпой.

— Джон Галт — это мы, — ответила она.

За ней в кабину взобрался Логган, затем Макким. Рearдэн влез последним, решительно захлопнув за собой дверцу, — словно запечатав.

На сигнальном мостике горел зеленый свет. Между путями, низко над землей горели зеленые огоньки, уходившие вдаль, к тому месту, где дорога делала поворот и на фоне похожей на зеленые огоньки листвы маячил зеленый глаз семафора.

Два человека стояли перед локомотивом, натянув белую шелковую ленту. Это были управляющий отделением «Таггарт трансконтинентал» в Колорадо и главный инженер Бена Нили, оставшийся на строительстве после того, как Нили отказался продолжать работы. Эдди должен был перерезать ленту, открыв таким образом линию Джона Галта.

Фотографы долго выбирали место для Эдди, старательно устанавливая его с ножницами в руках спиной к локомотиву. Они объяснили Эдди, что он должен будет повторить церемонию открытия два или три раза, чтобы предоставить им возможность выбрать лучший кадр; у них были заготовлены новые ленточки. Эдди согласился было, но в последний момент передумал.

— Нет, — сказал он. — Никакой липы.

Спокойным и властным тоном вице-президента компании он приказал фотографам:

— Отойдите подальше. Сделаете снимок, когда я перережу ленту, и быстро освободите путь.

Фотографы повиновались, поспешно отбежав подальше от локомотива. На часах было без одной минуты четыре. Эдди повернулся спиной к объективам и встал между рельсами лицом к локомотиву, готовый перерезать ленту. Он снял шляпу и отбросил ее в сторону. Он смотрел вверх, на локомотив. Легкий ветерок теребил его светлые волосы. Локомотив походил на огромный серебряный щит, на котором красовался герб Нэта Таггарта.

Ровно в четыре часа Эдди поднял руку и крикнул:

— Давай, Пэт! Вперед!

Когда поезд тронулся, Эдди перерезал ленту и отскочил в сторону. Он увидел в окне кабины Дэгни, которая махнула рукой в ответ на его сигнал. Локомотив отъехал, а Эдди остался, глядя на запруженную людьми платформу, которая то появлялась, то исчезала в



просветах между проходившими мимо вагонами.

Зеленовато-голубые рельсы бежали навстречу, как две струи, вытекавшие из одной точки где-то за горизонтом. Шпалы сливались в сплошной ровный поток, уходивший под колеса поезда. Низко над землей, обтекая бока локомотива, неслась мощная дрожащая лавина воздуха. Деревья и телеграфные столбы неожиданно возникали в поле зрения и тут же исчезали. За окошком локомотива неторопливо проплывали зеленые просторы равнин. У самого горизонта длинная гряда гор, казалось, следовала за поездом.

Дэгни не ощущала стука колес под ногами. Движение напоминало плавный полет, локомотив словно висел над рельсами, плывя в струе воздуха. Она не чувствовала скорости. Ей казалось странным, что зеленые огни семафора каждые несколько секунд мелькают за окном. Она знала, что семафоры стоят на расстоянии двух миль друг от друга. Стрелка спидометра стояла на отметке «сто».

Дэгни сидела на месте помощника машиниста и время от времени поглядывала на Логгана. Он сидел, чуть подавшись вперед, легко и свободно, словно случайно положив одну руку на дроссель; но его глаза пристально всматривались в простиравшееся впереди железнодорожное полотно. В нем чувствовались непринужденность и раскованность высококлассного машиниста, уверенность в себе, казавшаяся обыденной, но эта внешняя легкость давалась ценой громадной, безжалостной, всепоглощающей сосредоточенности. На скамейке за ними сидел Рэй Макким. Посреди кабины, широко расставив ноги и сунув руки в карманы, стоял Реардэн. Он смотрел вперед, на дорогу. Все остальное не представляло для него сейчас ни малейшего интереса.

Право собственности, подумала Дэгни, оглянувшись на него, разве нет людей, не имеющих ни малейшего представления о его природе и сомневающих в его реальности? Нет, оно дается не документами, печатями и концессиями. Вот оно, это право, думала она, в его глазах.

Звук, заполнявший кабину, казалось, был частью пересекаемого ими пространства. В нем слышался низкий гул моторов, резкий перестук множества механизмов, звучавших каждый на свой лад, и высокий тонкий звон дребезжащего от скорости стекла.

Поезд несся вперед. За окном мелькали цистерны с водой, деревья, хижины, силосные башни. Путь напоминал траекторию движения дворников по лобовому стеклу автомобиля: он то поднимался вверх, описывая дугу, то летел вниз. Линии телеграфных проводов, как будто состязаясь в скорости с поездом, мерно поднимались и опускались от столба к столбу — вычерченная в небе кардиограмма ровного сердцебиения.

Дэгни смотрела вдаль, туда, где рельсы таяли, превращаясь в расплывчатую дымку, из которой в любой момент могло появиться нечто смертельно опасное. Она задавалась вопросом, почему сейчас чувствует себя в большей безопасности, чем тогда, когда ехала в вагоне за локомотивом, почему ей спокойнее здесь, когда, возникни вдруг любое препятствие, она первая, сметая все с пути, врежется грудью в лобовое стекло. Дэгни улыбнулась, поняв, что знает ответ на этот вопрос. Она чувствовала себя в безопасности, потому что была первой и осознавала свой путь к поставленной цели, а не руководствовалась слепым чувством, когда человека тянет в неизвестность неведомая сила. Это было величайшее ощущение жизни: не верить, а знать.

Из окон кабины просторы полей казались шире: земля выглядела открытой навстречу движению, как она была открыта взору. И не было ничего далекого и недостижимого. Едва впереди блеснула водная гладь, как они уже оказались рядом, а еще через мгновение озеро скрылось из виду.

Словно сократился промежуток между взглядом и прикосновением, между желанием и его исполнением, между — эти слова отчетливо прозвучали в ее сознании после недоуменной паузы — душой и телом. Сначала видение — затем его материальное воплощение. Сначала мысль — затем целенаправленное движение по единственному пути к избранной цели. Может ли одно иметь хоть какой-то смысл без другого? Разве это не порок

— желать чего-то и бездействовать или действовать, не имея цели? Какое зло витает в мире, сиюсь разорвать две половинки, составляющие единое целое, и настроить их друг против друга?

Дэгни тряхнула головой. Ей не хотелось размышлять, почему оставшийся позади мир был таким, каков он есть. Ей было все равно. Она летела от него прочь со скоростью сто миль в час. Она наклонилась к открытому окну и почувствовала, как стремительный поток ветра развеивает упавшие на лоб волосы. Дэгни запрокинула голову, не чувствуя ничего, кроме удовольствия от теребившего ее волосы ветра.

И все же ее разум бодрствовал. Обрывки мыслей проносились у нее в голове, как телеграфные столбы, мелькавшие у обочины. Физическое наслаждение? — думала Дэгни. Стальной поезд, бегущий по рельсам из металла Реардэна, приводимый в движение энергией сгорающей нефти и динамомашин... физическое ощущение движения сквозь пространство... не это ли причина и смысл того, что я сейчас чувствую?.. Низменное, животное удовольствие, так, кажется, называют это чувство. Пусть рельсы вдруг треснут и разлетятся под нами на кусочки — этого, конечно, не произойдет, — мне все равно, ведь я испытала его, это порочное, низменное, животное наслаждение. Закрыв глаза, Дэгни улыбалась. Поток ветра теребил ее волосы.

Она открыла глаза и увидела, что Реардэн смотрит на нее так же, как недавно смотрел на рельсы. Она почувствовала, что от слабого дуновения ветерка ее сила воли словно улетучилась и она не в силах шелохнуться. Она смотрела ему в глаза, откинувшись в кресле, потоки ветра прижимали к груди тонкую ткань блузки.

Реардэн отвернулся, и Дэгни вновь поглотило зрелище раскрывавшегося перед ними пространства.

Ей не хотелось думать, но мысли продолжали звучать в ее сознании, как гул двигателей. Дэгни обвела взглядом кабину. Потолок из тонких стальных листов, скрепленных заклепками, — кто его создал? Грубая сила мышц? Благодаря кому три циферблата и три рычага управляют огромной мощностью шестнадцати двигателей, гудевших у них за спиной, и благодаря кому Пэт Логган может легко, одной рукой управлять ими? Кто сделал возможным все это?

Все эти вещи и способности, благодаря которым они появились, — это люди считают злом? Это они называют постыдным преклонением перед материальным миром? Является ли это полным подчинением человеческого духа его плоти?

Дэгни тряхнула головой, словно хотела выбросить эту мысль в окно, чтобы она разбилась под колесами поезда. Она посмотрела на озарявшее летние поля солнце. Нет, об этом не нужно думать, потому что эти проблемы лишь частности известной ей истины. Пусть они пролетают мимо, как телеграфные столбы. Та истина, которую она знала, представлялась ей летящей над головой непрерывной линией проводов, и она могла сказать о ней словами, которые относились и к ее чувству, и к этому путешествию, и ко всему человечеству: «Это так просто и так правильно».

Дэгни выглянула в окно. Она уже некоторое время замечала стоявших у дороги людей. Но земля проносилась мимо так стремительно, что было не понять, что они там делают, пока фрагменты увиденного не слились, словно кадры киноплетки, в единое целое, и тогда она все поняла. С тех пор как завершилось строительство, линию охраняли, но Дэгни не нанимала этих людей, выстроившихся цепочкой вдоль полотна. У каждого помильного столба стоял человек. Некоторые из охранников были школьниками, другие были так стары, что на фоне неба отчетливо выступали их согбенные силуэты. Все вооружились тем, что смогли найти, — от дорогих карабинов до допотопных берданок. У всех на головах красовались железнодорожные фуражки. Это были сыновья работников «Таггарт трансконтинентал» и старые железнодорожники, которые ушли на пенсию, проработав всю жизнь на дорогах компании. Их никто не звал, они сами пришли охранять этот поезд. Когда он проезжал мимо, каждый из них по-военному отдавал честь, стоя по стойке смирно с ружьем на плече.

Когда до Дэгни дошел смысл происходящего, она рассмеялась, рассмеялась резко и внезапно — как заходятся в безутешном плаче. Она смеялась, дрожа всем телом, как ребенок; ее смех звучал как всхлипывания роженицы. Пэт Логган с едва уловимой усмешкой кивнул ей; он давно заметил этот почетный караул. Дэгни подскочила к открытому окну и торжествующе помахала рукой стоявшим вдоль дороги людям.

Вдалеке, на склоне холма, она увидела толпу размахивавших руками людей. Внизу, на равнине, рассыпались невзрачные серые деревенские домики, словно их когда-то поставили здесь, а потом забыли. Крыши покосились, годы смыли краску со стен. Наверное, здесь жили поколения людей, для которых единственным событием, отмечавшим течение дней, было движение солнца с востока на запад. Сегодня эти люди взобрались на вершину холма, чтобы посмотреть, как сереброголовая комета, словно зов горна, разрывающий вековое молчание, рассекает просторы их равнин.

Дома стали попадаться чаще, теперь они придвинулись ближе к железнодорожному полотну. Дэгни видела людей на крышах, в окнах, на крылечках. Она видела толпы, перегородившие дороги у переездов. Дороги мелькали перед ее глазами, как лопасти вентилятора, она не могла различить силуэты людей, а видела лишь руки, приветствовавшие поезд и колышавшиеся словно ветви деревьев на ветру. Люди стояли у "переездов, над их головами мигали красные огни семафоров и возвышались знаки «Внимание, переезд!», «Осторожно».

Станция, которую они миновали, проехав город со скоростью сто миль в час, представляла собой колышущуюся массу людей, заполнивших все пространство от платформы до крыши вокзального павильона. Дэгни видела машущие руки, подброшенные в воздух шляпы, заметила, как что-то рассыпалось, ударившись в лобовое стекло, — из толпы бросили навстречу поезду букет цветов.

Они неслись вперед, минуя города и станции, поезд не останавливался, но его ожидали толпы людей, пришедших лишь для того, чтобы увидеть их, поприветствовать и обрести надежду. Под покрытыми копотью и сажей карнизами старого станционного здания Дэгни увидела гирлянды цветов, а на покалеченных временем стенах красовались бело-красно-голубые флаги. Это напоминало картинки, которые она рассматривала в учебниках истории, с завистью думая о тех временах, когда люди собирались, чтобы поприветствовать пробег первого поезда. Это напоминало эпоху, когда Нэт Таггарт продвигался через континент; там, где он останавливался, собирались люди, мечтавшие стать свидетелями величайшего свершения. Она думала, что это время давно миновало, что поколения людей прожили жизнь, видя лишь трещины, расползающиеся на возведенных Нэтом Таггартом стенах. Но люди пришли, как приходили в его время, влекомые все тем же желанием увидеть нечто достойное восхищения.

Дэгни оглянулась на Реардэна. Он стоял, прислонившись к переборке, безразличный к толпам людей и их восторгу. Он сосредоточенно, с глубочайшей профессиональной заинтересованностью наблюдал за дорогой и движением поезда, всем своим видом давая понять, что для него не имеет значения мысль: «Им это нравится»; все его сознание заполняло одно-единственное слово: «Получилось».

Высокий, в однотонной серой рубашке и легких брюках, он выглядел раскрепощенным и готовым к действию. Легкие брюки подчеркивали его длинные ноги и непринужденную, уверенную позу — в нем не ощущалось и тени напряжения. Реардэн расстегнул пуговицы на рубашке, и Дэгни видела упругую кожу его груди и сильные, жилистые руки.

Она отвернулась, внезапно осознав, что слишком часто оглядывается на него. Но сегодняшний день не был связан ни с прошлым, ни с будущим, она осознавала лишь сиюминутную глубину чувства, ощущала, что заключена в едином пространстве с ним, что его присутствие подчеркивает значение этого дня, как его рельсы подчеркивали стремительный полет поезда.

Она еще раз оглянулась. Реардэн смотрел на нее. Он не отвернулся, а холодно, подчеркнуто выдержал ее взгляд. Дэгни с вызовом улыбнулась, не осознавая до конца смысл

своей улыбки, зная лишь, что это самый болезненный удар, какой она могла нанести по его непроницаемому лицу. Ей вдруг захотелось увидеть, как он задрожит, услышать вырвавшийся у него крик. Дэгни медленно отвернулась, чувствуя безрассудную радость и удивляясь, почему ей вдруг стало тяжело дышать.

Она сидела, откинувшись на спинку кресла, и смотрела вперед, зная, что он так же остро осознает ее присутствие, как она — его. Это вызывало приятное ощущение какой-то особой неловкости и смущения. Когда она забрасывала ногу на ногу, наклонялась к окну или откидывала назад спадавшую на лоб прядь волос, каждое ее движение было проникнуто чувством, выразившимся словами, в которых она себе не признавалась: «Видит ли он?»

Города остались далеко позади. Сейчас дорога поднималась вверх, проходя по все более неприветливой местности, которая нехотя пропускала поезд в свои владения. Рельсы то и дело исчезали за поворотом, а холмы подступали все ближе и ближе, словно равнины собирались в складки. Каменные уступы Колорадских гор приближались к краю полотна, а далекие просторы неба переходили в голубоватые гребни горных вершин.

Далеко впереди Дэгни увидела легкий дымок над заводскими трубами, затем паутину электростанции и одиноко стоящую стальную конструкцию. Они подъезжали к Денверу.

Она взглянула на Пэта Логгана. Машинист сидел, наклонившись вперед; Дэгни заметила, что его пальцы слегка напряглись, а взгляд стал еще сосредоточеннее. Он, как и она, прекрасно понимал, насколько опасно проезжать город на такой огромной скорости.

Пролетели одна за другой несколько минут, но они показались им одним мигом. Сначала они увидели проносящиеся за окном одинокие силуэты заводов и фабрик, затем их очертания слились в расплывчатые полосы улиц, и наконец впереди раскинулась дельта рельсов — словно жерло дымохода, засасывавшего поезд в глубину станции, где единственной защитой были лишь разбросанные над землей маленькие зеленые огоньки. С высоты кабины они видели, как мимо сплошной лентой промелькнули крыши стоящих на запасных путях товарных вагонов. Темный зев вагонного депо несясь им навстречу. Поезд мчался в вихре звуков: стука колес, восторженных криков приветствующей толпы, которая, как жидкость, бурлила в темноте среди стальных колонн. Они стремительно неслись к арке, за которой на фоне открытого неба горели зеленые огни семафора. Эти огни словно одну за другой открывали перед ними двери в пространство. Затем, исчезая позади, замелькали забитые транспортом улицы, люди в открытых окнах домов; слышался вой сирен, сверху опустилось облако бумажных снежинок-конфетти, сброшенных с крыши небоскреба, откуда кто-то наблюдал, как серебристая пуля летит сквозь пристально следящий за ее полетом город.

Они вновь очутились на скалистом склоне, и перед ними с потрясающей внезапностью возникли горы, словно город швырнул поезд прямо на гранитную стену и лишь в самый последний момент его успела подхватить спасительная тонкая полоска рельсов. Поезд жался к краю отвесной скалы; исчезая из виду, внизу дрожала земля, гигантские ярусы искореженных валунов вздымались ввысь, закрывая небосклон, а люди в поезде неслись вперед сквозь голубоватую пелену сумерек, не видя ни земли, ни неба.

Повороты превратились в витки спирали, закручивавшейся среди скалистых стен, которые угрожающе надвигались со всех сторон, словно хотели раздавить поезд и сбросить вниз. Но рельсы ныряли в гранит, и горы расступались, расправляясь, как два крыла, — одно густо поросло соснами и походило на толстый зеленый ковер, другое состояло из голой красно-коричневой породы.

Дэгни высунулась из окна и посмотрела вниз. Она увидела нависавший над пропастью серебристый бок локомотива. Далеко внизу виднелась тоненькая ниточка ручейка, падавшего с уступа на уступ, а к воде склонялись похожие сверху на папоротник верхушки берез. Она увидела длинный хвост тянувшихся за локомотивом товарных вагонов и раскручивающуюся за составом зеленовато-голубую спираль рельсов.

Внезапно на их пути выросла скалистая стена. В кабине стало темно. Стена была так близко, что казалось, избежать столкновения невозможно. Но Дэгни услышала, как колеса

заскрипели на повороте, и кабина вновь наполнилась светом. Они очутились на узком уступе горы, который, обрываясь, уходил в пропасть. Голова локомотива была нацелена прямо в небо. Ничто не могло удержать их, кроме двух зеленовато-голубых полосок металла, протянувшихся по дуге вдоль узкого уступа:

Выдержать ревущее неистовство шестнадцати двигателей, тяжесть семи тысяч тонн груза и удержать состав на крутом вираже, думала Дэгни. С этой казавшейся невыполнимой задачей справились две зеленовато-голубые полоски металла шириной с ее ладонь. Что сделало это возможным? Что вложило в невидимый набор молекул силу, от которой зависела их жизнь и жизни множества людей, ожидавших прибытия этих восьмидесяти вагонов? Дэгни увидела мерцание, освещавшее лицо и руки человека, склонившегося ночью в лаборатории над белой расплавленной массой опытного образца металла.

Она испытала наплыв чувств, которые не в силах была сдерживать, они рвались наружу. Дэгни повернулась и открыла дверь машинного отделения. Ее обдало ревущим потоком звуков, и в следующее мгновение она скрылась в лихорадочно бьющемся сердце локомотива.

На мгновение все ее чувства слились в одно — слух. До ее ушей доносился долгий то нарастающий, то затихающий пронзительный гул. Она стояла, глядя на гигантские генераторы. Ей захотелось увидеть их, потому что торжество, бушевавшее в ее душе, было тесно связано с ними, с ее любовью к ним, со смыслом дела, которому она посвятила жизнь. Дэгни вдруг с необыкновенной ясностью ощутила, что чувствует себя так, словно вот-вот поймет нечто, чего никогда не знала, но обязана узнать. Она громко рассмеялась, но не услышала себя. В непрерывном грохоте было просто невозможно что-нибудь услышать.

— Линия Джона Галта! — прокричала Дэгни в наплыве чувств.

Дэгни медленно шла через машинное отделение по узкому проходу между двигателями и стенкой локомотива.

Она чувствовала некоторую неловкость, как человек, бесцеремонно вторгшийся туда, куда его не звали, она словно пробралась внутрь живого существа, под его серебристую кожу, и наблюдала за его жизнью, пульсирующей в металлических цилиндрах, катушках, сваренных трубах и неистовом вращении подшипников. Неукротимая сила, яростно бушевавшая в сложных механизмах, сводилась к хрупким стрелкам циферблатов, зеленым и красным огонькам, мигавшим на панелях, и длинным электрическим щитам с надписью «Высокое напряжение».

Почему, глядя на машины, она всегда испытывала радостную уверенность? Во всех этих гигантских формах блистательно отсутствовали две черты, характерные для неодушевленных предметов: беспричинность и бесцельность. Каждая деталь была воплощением ответа на вопросы «почему?» и «зачем?» — подобно этапам жизненного пути того вида разума, который она боготворила. Эти двигатели были воплощенным в стали моральным кодексом.

Они живые, думала Дэгни, потому что являются материальной формой действия живой силы — человеческого разума, который в состоянии постичь их сложность, определить их предназначение, придать им необходимую форму. На мгновение ей показалось, что двигатели прозрачны и она видит их нервную систему. Это была система куда более сложная и важная, чем все ее цепи и проводки: система разумных связей, созданная человеческим разумом, который изобрел каждую ее деталь.

Они живые, эти двигатели, думала Дэгни, но их душа управляет ими опосредованно — она существует в каждом живом человеке, который обладает равными им по величию способностями. Исчезни с лица земли душа, и моторы останутся, потому что это и есть сила, поддерживающая их в движении; не нефть, которая вновь стала бы грязью первобытных болот, не стальные цилиндры, которые превратились бы в пятна ржавчины на стенах пещер, где дрожат от страха дикари, — сила человеческого разума: сила мысли, выбора и цели.

Дэгни шла обратно в кабину. Ей хотелось засмеяться, упасть на колени или взмахнуть

руками, хотелось высвободить все то, что она чувствует, но она знала, что это невозможно выразить.

Она остановилась. В дверях' кабины стоял Реердэн и смотрел на нее так, словно знал, почему она убежала и что она чувствует. Они стояли неподвижно, превратившись в два взгляда, которые встретились в узком проходе машинного отделения. Ее сердце билось в такт двигателям, и она чувствовала себя так, словно биение исходило от Реердэна. Этот гулкий ритм лишил ее воли. Они молча возвратились в кабину, зная, что между ними произошло то, о чем нельзя упоминать.

Скалы впереди походили на расплавленное золото. Внизу, на равнине, удлинились полосы тени, падавшие с гор. Солнце клонилось к вершинам гор на западе. Поезд мчался вверх — на запад, навстречу солнцу.

Начинало темнеть, когда они увидели вдали на равнине дымовые трубы. Это был один из новых городов Колорадо, которые росли и становились все сильнее, как сияние, исходившее от нефтяных вышек Вайета. Дэгни увидела угловатые очертания современных домов, их плоские крыши и большие окна. Они проезжали слишком далеко от города, и она не могла различить людей. В то мгновение, когда она подумала, что люди не будут наблюдать за поездом с такого большого расстояния, высоко над городом взлетела ракета и рассыпалась на фоне темнеющего неба фонтаном золотистых звездочек. Люди, которых Дэгни не могла видеть, издали следили за тем, как серебристая полоска поезда летит вперед, огибая гору, и посылали свое приветствие — одинокую огненную вспышку в пламенеющем небе, символ торжества или крик о помощи.

За следующим поворотом, во внезапно открывшемся впереди пространстве, низко над землей Дэгни увидела две точки — электрические огни, белый и красный. Это были не самолеты — она видела конусообразные металлические балки, поддерживавшие огоньки; и в то мгновение, когда она поняла, что это нефтяные вышки «Вайет ойл», поезд стремительно метнулся вниз, земля распахнулась, словно горы разбросало по сторонам, и внизу, у подножия нефтяных вышек Вайета, Дэгни увидела мост из металла Реердэна, переброшенный через темную пропасть каньона.

Они летели вниз. Дэгни забыла о крутых поворотах на спуске, ей казалось, что поезд падает с высоты. Она смотрела на мост, который все рос и рос, приближаясь, — небольшой прямоугольный тоннель из металлического кружева и несколько зеленовато-голубых балок, перекрещенных в воздухе, освещенные длинными лучами заходящего солнца, долетавшими сквозь просвет в скалистой гряде гор. У моста толпой стояли люди, но ей не было до них дела. Она слышала нарастающий стук колес и, в унисон, звуки какой-то мелодии. Мелодия звучала все громче и громче, заполняя кабину, но Дэгни знала, что музыка звучит лишь в ее сознании. Это был Пятый концерт Ричарда Хэйли. В честь какого события он написал его? Было ли ему ведомо то чувство, что испытываю я? — думала Дэгни. Поезд мчался все быстрее, ей казалось, что они слетели с гор, как с трамплина, и несутся по воздуху. Это испытание, думала Дэгни, будет нечестным, потому что мы даже не коснемся моста, мы перелетим его. Реердэн стоял рядом с ней, и она видела его лицо. Поезд с шумом влетел в тоннель моста, они услышали резкий звон дребезжащего металла, почувствовали глухую дрожь под ногами и увидели диагональные балки, которые стремительно мелькали за окном, заполняя кабину шумом, похожим на звук, возникающий, когда металлическим прутом проводят по частотоколу. Затем все исчезло еще внезапнее, чем появилось. Поезд мчался вверх по холму, впереди вырастали нефтяные вышки «Вайет ойл». Пэт Логган повернулся и с едва уловимой улыбкой посмотрел на Реердэна.

— Вот и все, — сказал Хэнк.

Вывеска на крыше гласила: «Узловая станция Вайет». Дэгни смотрела на нее, чувствуя, что в этом есть что-то странное, пока наконец не поняла, что именно: вывеска не двигалась. Дэгни испытала самое большое потрясение за все время путешествия, осознав, что поезд стоит.

До нее донеслись голоса. Она взглянула вниз и увидела, что платформа полна народа.

Затем дверца локомотива распахнулась; она знала, что должна сойти вниз первой, и ступила на верхнюю ступеньку лесенки. На мгновение она ощутила стройность своего тела, легкость человека, стоящего в полный рост лицом к потоку свежего воздуха. Ухватившись за металлические поручни, Дэгни начала спускаться вниз. Она спустилась лишь наполовину, когда почувствовала, как чьи-то руки подхватили ее за талию, оторвали от лестницы, пронесли по воздуху и поставили на землю. Она не могла поверить, что молодой парень, смеявшийся ей в лицо, был Эллисом Вайетом. На его лице, которое она помнила напряженным, полным презрения, лежала печать чистоты и радостной доброжелательности ребенка, попавшего в мир, для которого он был рожден.

Он стоял, обняв ее за талию, Дэгни оперлась на его плечо, чувствуя себя неустойчиво на твердой земле. Она смеялась, слушала, что он говорит, отвечала на его вопросы:

— А то ты не знал, что все будет нормально? — говорила она.

Через мгновение она начала узнавать лица стоявших вокруг людей. Это были акционеры «Джон Галт инкорпорейтэд»: Нильсен, Хэммонд, Стоктон и остальные. Дэгни молча пожимала им руки; она чуть склонилась, опершись на Эллиса Вайета, отбрасывая с глаз пряди волос, оставляя на лбу полосы сажи. Так же молча она пожала руки членам поездной бригады. Они широко улыбались ей. Вокруг сверкали вспышки фотокамер. Дэгни видела людей, приветственно махавших руками с нефтяных вышек на склонах гор. Над ее головой и над толпой на серебристом щите в лобовой части локомотива красовались две буквы «ТТ», освещенные последними лучами заходящего солнца.

Эллис Вайет взял бразды правления в свои руки. Он куда-то вел Дэгни, раздвигая рукой толпу и освобождая проход. Кто-то из репортеров протиснулся к ним и сказал:

— Мисс Таггарт, не могли бы вы сделать заявление для общественности?

— Она его уже сделала, — ответил Эллис Вайет, указав на длинную цепочку товарных вагонов.

Потом она сидела на заднем сиденье машины с открытым верхом, поднимавшейся вверх по извилистой горной дороге. Рядом с ней сидел Реардэн. Машину вел Вайет.

Они остановились около дома, стоявшего на самом краю скалы. Вокруг не было никакого жилья, лишь нефтяные вышки внизу, на склонах гор.

— Конечно, вы оба переночуете у меня, — сказал Вайет, когда они вошли в дом. — А где ты собиралась остановиться?

Дэгни рассмеялась: — Не знаю. Я как-то не думала об этом.

— Ближайший город в часе езды отсюда. Туда отвезли твою поездную бригаду. Рабочие вашего отделения в этом городе устроили банкет в их честь, а вместе с ними и весь город. Я сказал Нильсену и всем остальным, что для тебя не надо устраивать банкеты и произносить громкие хвалебные речи. Если ты, конечно, сама этого не захочешь.

— Боже мой, нет. Спасибо, Эллис, — сказала Дэгни. Было уже темно, когда они сели ужинать в комнате с большими окнами и дорогой мебелью. Ужин подал пожилой, молчаливый, одетый в белое индеец с непроницаемым лицом и безукоризненно почтительными манерами. Кроме него и Вайета, в этом огромном доме никто не жил. В оконном стекле дрожало отражение нескольких огненных точек: пламя стоявших на столе свечей, огни нефтяных вышек и сиявшие в темном небе звезды.

— Думаешь, теперь у тебя полно работы? — говорил Эллис Вайет. — Дай мне только год, и у тебя действительно будет дел невпроворот. Что такое два состава в день? Дэгни, я заполню четыре, шесть составов — да сколько хочешь. — Он указал рукой в сторону гор: — Это? Да это ничто по сравнению с тем, что у меня на подходе. — Вайет указал на запад: — Перевал Буэна-Эсперанса. Это в пяти милях отсюда. Всех очень интересует, что я там делаю. Сланцевая нефть. Сколько лет назад там прекратили добычу нефти из-за того, что это обходилось очень дорого? Я выплесну им в лицо самую дешевую нефть в истории человечества, непочатые безграничные запасы, по сравнению с которыми самый большой нефтяной бассейн покажется грязной лужей... Трубопровод? Нам с тобой придется строить трубопроводы во всех направлениях... О, прошу прощения. По-моему, я не представился,

когда разговаривал с вами на станции. Я даже не сказал, как меня зовут. Реардэн широко улыбнулся:

— К этому времени я уже сам догадался.

— Прошу простить мою невнимательность, но я был слишком взволнован.

— Чем? — спросила Дэгни, насмешливо сощурившись. Вайет взглянул ей прямо в глаза; в его ответе прозвучала глубокая торжественность, странно не сочетавшаяся со смеющимся голосом:

— Самой звонкой оплеухой в своей жизни, которую вполне заслужил.

— Ты имеешь в виду нашу первую встречу?

— Именно.

— Не надо, Эллис. Ты был прав.

— Да, во всем, кроме одного. Я ошибся в тебе. Дэгни, встретить исключение после стольких лет... А, да ну их всех к черту! Хочешь, я включу радио, и мы послушаем, что о вас говорят?

— Нет.

— Хорошо. Я тоже не желаю их слышать. Пусть сами глотают свои речи. Они сейчас пытаются примазаться к победившей стороне. А победители — это мы. — Он посмотрел на Реардэна: — Хэнк, чему ты улыбаешься?

— Мне всегда было очень любопытно, какой ты на самом деле.

— До сегодняшнего дня у меня не было возможности быть таким, какой я есть.

— Ты что, так и живешь здесь один, вдали от всего?

— Я лишь в нескольких шагах от всего, — ответил Вайет, указав на окно.

— А как же люди?

— В моем доме есть комнаты для гостей, предназначенные для тех, кто приезжает ко мне по делу. А что до людей другого рода, то чем больше миль отделяет их от меня, тем лучше. — Вайет наклонился вперед, чтобы вновь наполнить вином их бокалы. — Хэнк, почему бы тебе не переехать в Колорадо? К черту Нью-Йорк и Восточное побережье. Здесь столица Возрождения. Второго Возрождения — не картин, писанных масляными красками, и соборов, а нефтяных вышек, электростанций и двигателей из металла Реардэна. Был же каменный век, железный век, а это столетие будут называть веком металла Реардэна, потому что твой металл открыл перед человечеством безграничные возможности.

— Я собираюсь купить несколько квадратных миль земли в Пенсильвании, — сказал Реардэн. — Вокруг моих заводов. Конечно, было бы намного дешевле построить филиал здесь, как, собственно, я и хотел, но ты знаешь, почему я не могу этого сделать. Что ж, пусть они катятся ко всем чертям. Так или иначе, я положу их на обе лопатки. Я собираюсь расширить свои заводы, и если Дэгни сможет три раза в неделю перевозить мои грузы в Колорадо, то я потягаюсь с тобой насчет того, где быть столице Возрождения.

— Дайте мне год поработать на линии Джона Галта, — сказала Дэгни, — дайте мне время поставить «Таггарт трансконтинентал» на ноги, и три раза в неделю я буду перевозить твои грузы по линиям из металла Реардэна через весь континент, от океана к океану.

— Кто из великих сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю»? — спросил Эллис Вайет. — Так вот, уберите с моего пути все препятствия, и я сделаю то же самое.

Дэгни спрашивала себя, что ей так нравилось в смехе Эллиса Вайета. В их голосах, даже в ее собственном, звучали нотки, которых она никогда раньше не слышала. Когда они встали из-за стола, Дэгни с удивлением заметила, что комната освещена лишь свечами, стоявшими на столе, в то время как ей казалось, что столовая залита необыкновенно ярким светом.

Эллис Вайет поднял свой бокал, посмотрел на их лица и сказал:

— За мир, каким он видится нам сейчас.

Он залпом выпил содержимое бокала.

Дэгни увидела, как Вайет широко размахнулся, и услышала звон бокала, с неистовой силой разбитого о стену. Это не был обычный жест, когда в день праздника бокал разбивают



на счастье, это был жест мятежного гнева, яростный жест, заменивший крик боли.

— Эллис, — прошептала она, — что с тобой?

Он обернулся и посмотрел на нее. Его взгляд столь же внезапно прояснился, а на лице вновь появилось выражение невозмутимого спокойствия. Но она испугалась, увидев, как он нежно улыbnулся.

— Извините, — сказал он. — Ничего. Будем надеяться, что мир достаточно долго останется таким, каким он видится сейчас.

Земля была залита лунным светом, когда Вайет провел их по наружной лестнице на второй этаж, к открытой террасе, куда выходили двери комнат для гостей. Он пожелал им спокойной ночи, повернулся и начал спускаться вниз. Лунный свет словно поглощал звуки — так же, как он впитал в себя все краски дня. Шаги Вайета удалялись, и, когда они затихли, вокруг воцарилась тишина, походившая на длившееся целую вечность одиночество, словно нигде вокруг не осталось ни души.

Дэгни не прошла мимо дверей своей комнаты. Реардэн стоял не двигаясь. Узкие угловатые перила террасы спускались вниз, отбрасывая тень, похожую на стальной узор нефтяных вышек, — скрещенные черные линии, отчетливо проступавшие на освещенной лунным светом скалистой поверхности. Несколько красных и белых огоньков дрожали в воздухе, словно капельки дождя, упавшие на концы стальных балок. Вдали виднелись три небольшие зеленые капельки, выстроившиеся в ряд вдоль железнодорожного полотна. За ними у самого горизонта висел паутинчатый прямоугольник моста.

Дэгни ощутила беззвучный ритм, напряжение, словно она все еще мчалась в поезде по линии Джона Галта. Медленно, отвечая на немой зов и сопротивляясь ему, она развернулась и посмотрела на Реардэна.

Увидев его лицо, она поняла, что знала уже давно: конец их путешествия будет именно таким. Он смотрел на нее совсем не так, как обычно смотрят на желанную женщину, — слегка приоткрыв рот, с безумным голодом в глазах. Напряжение придавало его лицу особую чистоту и четкость форм, отчего он казался очень молодым. Плотные сжатые губы подчеркивали линию рта. Лишь глаза словно затянуло поволокой, и их затуманенный пристальный взгляд напоминал о ненависти и боли.

Дэгни стояла, словно оцепенев. Она чувствовала, как что-то сдавило ей горло и живот, и не осознавала ничего, кроме этой конвульсии, лишившей ее способности дышать. Но она чувствовала: да, Хэнк, да, сейчас — это продолжение того же сражения, я не могу этого объяснить, но это именно так... это будет подтверждением того, что мы против них... доказательством нашей великой способности, за которую они нас так мучают, способности быть счастливыми... Сейчас, вот так, не говоря ни слова и ни о чем не спрашивая... потому что мы этого хотим.

Это было похоже на взрыв ненависти, на обжигающий удар плетью, опоясавшей ее тело: он обнял ее, привлек к себе, прижался к ней так, что она, откинув голову, отклонилась назад и почувствовала, как их губы слились в поцелуе.

Ее руки скользнули с плеч Реардэна на талию, к его ногам, высвобождая желание, которое она испытывала при каждой встрече с ним и в котором отказывалась признаться самой себе. Когда Дэгни оторвала от него губы, она беззвучно торжествуя смеялась, словно говоря: Хэнк Реардэн, суровый, неприступный Хэнк Реардэн из кабинета, похожего на монашескую келью; деловые встречи, резкие споры — помнишь ли ты их сейчас? Я думаю о них, потому что мне приятно осознавать: к этому мгновению привела тебя я. Реардэн не улыбался, его лицо оставалось жестким и напряженным. Это было лицо врага. Он запрокинул Дэгни голову и вновь прильнул к ее губам, словно хотел ранить ее, причинить ей боль.

Дэгни чувствовала, что он дрожит всем телом, и подумала, что это именно тот крик, который она хотела вырвать из него — поражение после длительного, мучительного сопротивления. И в то же время она понимала, что это его триумф, что ее смех был данью уважения к нему, что ее вызывающее поведение было ничем иным, как повинованием, что

целью ее яростного сопротивления было сделать его победу еще величественнее. Реардэн крепко прижимал ее к себе, словно давая ей понять, что сейчас она для него лишь предмет удовлетворения желания, страсти, и Дэгни очень хотелось, чтобы он одержал эту победу. Кем бы я ни была, думала Дэгни, каким бы чувством собственного достоинства ни обладала, как бы ни гордилась своим мужеством, своей работой, разумом и свободой, — все это я предлагаю тебе в обмен на то неописуемое наслаждение, которое дарит мне твое тело; я хочу, чтобы ты пользовался всем этим, и то, что ты хочешь им пользоваться, является для меня самым большим вознаграждением.

В комнатах за их спиной горел свет. Реардэн взял ее за руку и втолкнул в свою комнату, давая понять, что не нуждается ни в согласии, ни в сопротивлении. Глядя ей прямо в глаза, он закрыл за собой дверь. Выпрямившись и не сводя с него глаз, Дэгни протянула руку к лампе, стоявшей на столе, и выключила ее. Реардэн подошел к ней и одним презрительным движением руки вновь зажег свет. Она заметила, как впервые за все время на его лице медленно проступила насмешливая сладострастная улыбка, подчеркивавшая цель его действий.

Дэгни полулежала на кровати, а он, целуя ее, срывал с нее одежду. Она целовала его губы, шею, плечи. Она понимала, что каждое проявление ее страстного желания принадлежать ему было для него ударом по больному месту, что внутри он весь дрожал от неудержимого гнева, но знала и то, что никакие свидетельства ее страсти не насытят его алчного желания видеть их снова и снова.

Реардэн стоял, глядя на ее обнаженное тело. Он склонился над ней, и она услышала его голос — это больше походило на утверждение, произнесенное с презрительным триумфом, чем на вопрос:

— Ты хочешь этого?

Дэгни лежала, закрыв глаза и приоткрыв губы.

— Да, — задыхаясь, выдавила она из себя.

Она чувствовала ткань его рубашки под своими ладонями, его губы на своих губах, но их плоть слилась воедино, как душа и тело. Все прожитые годы они шаг за шагом неуклонно следовали по избранному пути; их любовь к жизни выросла из осознания того, что ничто в ней не дается даром, что человек должен сам понять, в чем заключается его желание, и обязан сам добиваться его исполнения. Они шли по жизни, движимые мыслью, что человек переделывает окружающий мир себе на радость, что дух человека придает значение и смысл неодушевленной материи, заставляя ее служить достижению намеченной цели. Этот путь привел их к мгновению, когда дух берет положенное ему от плоти, растворяясь в таком глубочайшем ощущении радости, что во всех других мотивах существования отпадает необходимость. В то мгновение, когда Реардэн услышал стон, вырвавшийся из ее груди, Дэгни почувствовала, как по его телу пробежала дрожь.

## **Глава 9**

### **Святое и оскверненное**

Дэгни смотрела на сияющие полосы, браслетами охватившие ее руку от запястья до самого плеча. Это полосы солнечного света падали сквозь жалюзи на окне незнакомой ей комнаты. Ее рука лежала поверх одеяла, и чуть повыше локтя она заметила синяк. Она чувствовала свои ноги и бедра, но остальное ее тело было невесомо, словно она застыла в висящей в воздухе клетке из солнечных лучей.

Поворачиваясь, чтобы взглянуть на Реардэна, Дэгни подумала: и это Хэнк Реардэн, с его отчужденностью, непробиваемой ледяной официальностью, его гордостью, основанной на том, что ничто не в силах возбудить в нем какие-либо чувства, лежит рядом с ней в постели после часов неописуемой, неистовой страсти, страсти, которая читалась в их глазах, когда они смотрели друг на друга, страсти, которую они хотели подчеркнуть и бросить друг другу в лицо.

Рearдэн увидел лицо молодой девушки, смотревшей на него с едва уловимой улыбкой, словно ее естественным состоянием было лучезарное великолепие. На плечо Дэгни спадала прядь волос; она смотрела на Рearдэна так, словно готова согласиться со всем, что он скажет, — как с готовностью приняла все, что он с ней сделал.

Он протянул руку и осторожно поднял волосы с ее щеки, словно они были очень хрупкими. Он держал эту прядь в пальцах и смотрел в лицо Дэгни. Затем его пальцы внезапно сжались, он поднес ее волосы к губам и поцеловал. В том, как он коснулся их губами, чувствовалась нежность, но его сжатые пальцы выдавали отчаяние.

Рearдэн откинулся на подушку и замер, закрыв глаза. Когда он отдыхал, его лицо казалось очень молодым. Увидев его лицо лишенным неизменного напряжения, Дэгни вдруг поняла, насколько он был несчастен и как тяжело было гнетущее бремя, которое он носил в себе. Но теперь это все в прошлом, думала она, теперь этому пришел конец.

Не глядя на нее, Рearдэн встал с кровати. Его лицо вновь стало непроницаемым. Он подобрал валявшуюся на полу одежду и, стоя посреди комнаты вполоборота к ней, начал одеваться. Он вел себя не так, словно ее не было в комнате, а так, словно ее присутствие не имело значения. Он застегивал пуговицы рубашки и затягивал ремень брюк быстрыми и точными движениями человека, выполняющего привычный ритуал.

Дэгни, откинув голову на подушку, с удовольствием наблюдала за ним. Ей нравились его серые брюки и рубашка. Опытный машинист с линии Джона Галта, думала Дэгни, весь в полосках солнечного света и тени — как заключенный за решеткой. Но эти полосы не были тюремной решеткой, это были трещины на стене его неуязвимости, разрушенной ею, напоминание о том, что их ожидает за окнами этого дома. Она подумала об обратном пути по новой дороге, на первом поезде, вышедшем с узловой станции Вайет, о возвращении в свой кабинет в здании «Таггарт трансконтинентал» и обо всем, что ждало ее впереди. Но она была вправе повременить, ей не хотелось сейчас думать об этом. Дэгни думала о его первом поцелуе — ничто не мешало ей остановить то мгновение, когда все остальное не представляло для нее никакого интереса. Она с вызовом улыбнулась, глядя сквозь жалюзи на полосы неба.

Рearдэн стоял у кровати, уже одетый, и смотрел на нее.

— Я должен тебе кое-что сказать. Я хочу, чтобы ты знала это.

Он произнес эти слова отчетливо, ровным голосом. Дэгни послушно подняла на него глаза.

— Я презираю тебя. Но это ничто по сравнению с презрением, которое я испытываю к себе. Я не люблю тебя. Я никогда никого не любил. Но я хотел тебя с нашей первой встречи. Хотел, как хотят проститутку, по той же причине и с той же целью. Два года я проклинал себя, считая, что ты выше подобного желания. Но ты такое же животное, как я. То, что я открыл это для себя, должно вызывать у меня отвращение. Но я его не чувствую. Еще вчера я убил бы любого, кто сказал бы мне, что ты примешь то, что сделал с тобой я. Сегодня я отдал бы жизнь, лишь бы ты не стала другой, лишь бы оставалась той самкой, какая ты на самом деле. Все величие, которое я вижу в тебе, — я не променял бы его на твой бесстыдный талант к животному наслаждению. Ты и я — мы были великими людьми, мы гордились своей силой и мужеством, не так ли? Вот все, что осталось от нас, и я не хочу никакого лицемерия и самообмана.

Рearдэн говорил медленно, словно стегал себя словами. В его начисто лишенном эмоций голосе звучало лишь безжизненное усилие. Он произносил слова не как человек, который хочет говорить, а как человек, который обязан сказать из чувства долга, хотя это причиняет ему мучительные страдания.

— Я всегда гордился тем, что мне никто не нужен. Теперь мне нужна ты. Я гордился тем, что всегда поступал в соответствии со своими убеждениями. Я поддался желанию, которое презираю. Это желание унижает мой разум, мою волю, мою силу, все мое естество и ставит их в унижительную зависимость от тебя — даже не от Дэгни Таггарт, которой я восхищался, а от твоего тела, твоих рук, твоих губ и нескольких секунд твоих содроганий. Я

никогда не нарушал своего слова. Вчера я нарушил клятву всей своей жизни. Я ни разу в жизни не совершил ничего, что следовало бы скрывать. Теперь мне придется лгать, изворачиваться, притворяться. Чего бы я ни захотел раньше, я мог громко заявить об этом и на глазах у всего мира добиваться своего. Сейчас моим единственным желанием стало то, о чем даже я сам не могу думать без отвращения. Но это единственное, чего я хочу. Ты будешь принадлежать мне, ради этого я готов бросить все, что у меня есть, — мои заводы, мой металл, достижения всей моей жизни. Я хочу владеть тобой, отдав за это нечто большее, чем жизнь, — отдав мое самоуважение, и я хочу, чтобы ты знала это. Я хочу называть вещи своими именами. Я не хочу никакого притворства насчет любви, верности или уважения, не хочу ни крупицы чести и благородства, которой мы могли бы оправдаться. Я никогда не просил пощады. Я сам выбрал этот путь, и я возьму на себя все его последствия, включая полное осознание своего выбора. Это падение — я признаю и воспринимаю все как есть, но нет таких вершин добродетели, которыми бы я не пожертвовал ради этого. Теперь, если хочешь, можешь влить мне пощечину. Мне бы очень хотелось, чтобы ты поступила именно так.

Дэгни слушала, сидя на кровати и прикрываясь одеялом, которое прижимала к горлу. Сначала он заметил, как ее глаза затуманились от изумления. Затем ему показалось, что она слушает с большим вниманием, но видит не только его лицо, хотя и смотрит ему прямо в глаза. Она словно пристально изучала что-то ставшее для нее откровением, что-то, с чем она никогда раньше не сталкивалась. У него было такое ощущение, словно от его лица тянется луч света, потому что он видел его отражение в ее глазах, смотревших на него. Реедэн заметил, как потрясение, а потом и удивление исчезли с ее лица, уступив место какому-то необыкновенному спокойствию. Когда он замолчал, Дэгни рассмеялась.

Его поразило, что в ее смехе не слышалось гнева. Она смеялась легко и непринужденно, с радостью и облегчением — не как человек, нашедший решение проблемы, а как человек, который вдруг обнаружил, что проблемы и не существовало.

Дэгни намеренно размашистым движением сбросила с себя одеяло и встала с кровати. Она увидела свою одежду, лежавшую на полу, и ногой отбросила ее в сторону. Она, обнаженная, стояла перед ним и смотрела ему в лицо.

— И я хочу тебя, Хэнк. Я еще больше животное, чем ты думаешь. Я хотела тебя с той самой минуты, как впервые увидела, и стыжусь только того, что не знала этого. Я не знала, почему целых два года самыми яркими минутами в моей жизни были те, когда я сидела у тебя в кабинете, где могла поднять голову и посмотреть на тебя. Я не знала природы того, что чувствовала в твоём присутствии, не понимала причины этого чувства. Теперь я это знаю. Это все, чего я хочу, Хэнк. Я хочу, чтобы ты был в моей постели, — все остальное время ты от меня свободен. Тебе не придется притворяться, не думай обо мне, ничего ко мне не чувствуй — мне не нужен твой разум, твоя воля, твоя душа, лишь бы ты приходил ко мне, чтобы удовлетворить самое низменное из всех своих желаний. Я — животное, жаждущее того самого животного наслаждения, которое ты так презираешь, и я хочу получать его от тебя. Ты говоришь, что пожертвовал бы высочайшей добродетелью ради этой низменной страсти, мне же... мне нечем жертвовать. Я настолько низка, что променяла бы всю красоту мира на то, чтобы увидеть тебя стоящим в кабине локомотива. И глядя на тебя, я не могу оставаться равнодушной. Ты не должен бояться, что попадешь в зависимость от меня. Это я теперь буду зависеть от малейшего твоего каприза. Я буду твоей всегда, когда ты захочешь, в любое время, в любом месте, на любых условиях. Ты назвал это бесстыдным талантом животного наслаждения? Благодаря ему ты владеешь мной безраздельнее, чем любой другой собственностью, которая тебе принадлежит. Ты можешь в любой момент отказаться от меня. Я не боюсь признаться в этом, потому что мне нечего защищать от тебя и нечего таить. Ты видишь в случившемся угрозу всему, чего достиг, я о себе этого сказать не могу. Я буду сидеть за столом, работать, а когда все вокруг станет невыносимым, буду думать о том, что в награду проведу ночь с тобой. Ты называешь это развратом? Я намного развратней тебя: для тебя это грех, для меня гордость. Я горжусь этим больше, чем тем, что когда-либо сделала в

своей жизни, даже больше, чем строительством линии. Если у меня спросят, чем я больше всего горжусь, я скажу: «Я спала с Хэнком Рееардэном. Я это заслужила».

Он опрокинул ее на кровать, и их тела слились, словно два звука, встретившихся в пространстве комнаты, — его сдавленный стон и ее смех.

Дождь невидимой пеленой висел в уличной мгле, но в свете фонаря на перекрестке он спадал на землю сверкающей бахромой абажура. Порывшись в карманах, Джеймс Таггарт обнаружил, что потерял носовой платок. Он шел, злобно ругаясь вполголоса, словно потерянный платок, дождь и его простуда были частью заговора против него.

Мостовые были покрыты жидкой кашицей грязи. Она чавкала под подошвами, а от холодного ветерка, то и дело задувавшего за воротник, по телу пробегала дрожь. Таггарт бесцельно брел по городу, сам не зная куда.

Выйдя из своего кабинета после заседания совета директоров, Таггарт вдруг понял, что на сегодня все дела закончены и его ожидает длинный вечер, который ему предстоит провести в одиночестве. Газеты всю ночь кричали о триумфе линии Джона Галта, как вчера об этом всю ночь кричали по радио. Имя «Таггарт трансконтинентал», как и железнодорожные линии этой компании, протянулось в заголовках газет через всю страну, и он улыбался в ответ на поздравления. Он улыбался, сидя во главе длинного стола на заседании совета, когда директора говорили о стремительном взлете курса акций «Таггарт трансконтинентал» на фондовой бирже, когда они осторожно просили его показать им — так, на всякий случай — соглашение, которое он подписал с Дэгни, и, комментируя его, говорили, что все в порядке, что Дэгни несомненно придется возвратить новую линию «Таггарт трансконтинентал», рассуждали об ожидающем их блестящем будущем и о глубочайшей признательности, которую компания обязана выразить Джеймсу Таггарту.

Сидя на совете, он хотел, чтобы совещание поскорее закончилось и можно было уйти. Выйдя на улицу, он вдруг понял, что у него не хватает духу отправиться сейчас домой. Он не хотел быть один, во всяком случае последующие несколько часов, но зайти было не к кому. Он никого не хотел видеть. Он все еще видел глаза директоров, говоривших о его заслугах: мутновато-хитрые, коварные взгляды, в которых сквозило презрение к нему и, что еще ужаснее, к самим себе.

Он шел, опустив голову, капли дождя изредка падали ему на шею. Всякий раз, проходя мимо газетных киосков, он отворачивался. Газеты словно выкрикивали имя Джон Галт, и еще одно, которое он не хотел слышать: Рагнар Даннешильд. Прошлой ночью он захватил корабль со станками, направлявшимися в дар бедствующей Народной Республике Норвегия. Происшествие как-то очень по личному взволновало и встревожило его. Это чувство было сродни тому, что он испытывал по отношению к линии Джона Галта.

Это все из-за того, что я простудился, думал Таггарт; если бы не простуда, я бы не чувствовал себя так паскудно; когда человек болен, не стоит надеяться, что он будет в наилучшей форме; что я мог поделать; чего они ожидали от меня сегодня? Что я буду петь и плясать? Таггарт сердито швырял эти вопросы в воображаемых судей своего дурного настроения. Он опять порылся в карманах в поисках носового платка, выругался и решил зайти куда-нибудь и купить пачку разовых бумажных платков.

Через площадь некогда оживленного квартала он увидел свет в окнах маленького магазинчика, в это позднее время все еще открытого в надежде на покупателей. Еще один скоро вылетит в трубу, подумал он, переходя площадь; эта мысль доставила ему удовольствие.

В магазине горел яркий свет, несколько усталых продавщиц стояли за пустынными прилавками, в углу надрывался проигрыватель, на котором проверяли пластинку для одинокого равнодушного покупателя. Звуки музыки заглушили резкие нотки, прорвавшиеся в голосе Таггарта: он попросил бумажные носовые платки таким тоном, словно продавщица была виновата, что он простудился. Девушка повернулась к полкам, оглянулась и бросила на Таггарта быстрый взгляд. Она взяла пачку платков и в нерешительности остановилась,

пристально, с необычным любопытством глядя на него.

— Вы случайно не Джеймс Таггарт? — спросила она.

— Да, — резко ответил Таггарт, — а что? — Ой!

Девушка, раскрыв рот, смотрела на него с восхищением, как ребенок на вспышку праздничного фейерверка. Таггарт подумал, что таких восторженных взглядов удостоиваются лишь кинозвезды.

— Мистер Таггарт, я видела вашу фотографию в утренних газетах, — быстро сказала девушка, слегка покраснев. — В них говорилось, что это выдающееся достижение и что оно принадлежит именно вам, только вы не хотели, чтобы об этом стало известно.

— Неужели? — улыбнулся Таггарт.

— Вы выглядите точно так же, как на фотографии, — с огромным удивлением сказала девушка и добавила: — Просто не верится — вы... вдруг входите в этот магазин!

— А что, не надо было?

— Я хочу сказать, все о вас говорят, вся страна, вы, человек, который все это сделал, — вдруг входите сюда! Я никогда раньше не видела такого человека. Я никогда в жизни не находилась так близко к чему-нибудь важному, я имею в виду то, о чем пишут все газеты!

Таггарт никогда еще не испытывал ощущения, что своим присутствием он украсил место, куда зашел: девушка выглядела так, словно позабыла о своей усталости, словно дешевый магазинчик превратился в сцену, на которой разворачиваются удивительные, драматические события.

— Мистер Таггарт, это правда — то, что пишут о вас в газетах?

— А что в них пишут?

— О вашей тайне.

— Какой тайне?

— В газетах говорится, что, когда все препирались из-за вашего моста, устоит он или нет, вы не вступали в спор, вы шли вперед, потому что знали — мост выдержит, а все остальные были в этом далеко не уверены; линия Джона Галта — ваш проект, вы были его вдохновителем, его путеводной звездой, но действовали втайне, потому что вам было безразлично, воздадут вам по заслугам или нет.

Таггарт вспомнил размноженные материалы, заготовленные в отделе по связям с прессой.

— Да, — сказал он, — это правда.

Девушка смотрела на него так, что у него возникло ощущение, будто это действительно правда.

— Это так благородно с вашей стороны!

— Ты всегда так хорошо помнишь то, о чем читаешь в газетах?

Да, мне кажется, всегда — все, что интересно. Значительные события. Мне нравится о них читать. Со мной никогда не происходит ничего значительного.

Она сказала это весело, без тени жалости к себе. В ее движениях и голосе чувствовались присущие молодости решительность и быстрота. У нее были кудрявые рыжевато-каштановые волосы, широко расставленные глаза и немного веснушчатый курносый нос. Таггарт подумал, что ее можно было бы назвать привлекательной, если бы кто-нибудь обратил на нее внимание, на что не было никакой особой причины. У нее было заурядное личико, если не считать выражения настороженности и живого интереса, словно она думала, что в этом мире за каждым углом сокрыта какая-то захватывающая тайна.

— Мистер Таггарт, каково быть великим человеком?

— А каково быть незаметной маленькой девочкой?

— Просто прекрасно, — рассмеявшись, ответила она.

— В таком случае ты в лучшем положении, чем я.

— О, как вы можете так...

— Может быть, это твое счастье, что ты не имеешь ничего общего с теми значительными событиями, о которых пишут в газетах. Значительными... Что вообще, по-

твоему, является значительным?

— Как?.. То, что важно.

— А что важно?

— А это мне может объяснить такой человек, как вы, мистер Таггарт.

— В мире нет ничего важного. Девушка недоверчиво посмотрела на него:

— И это говорите мне вы, Джеймс Таггарт, да еще в такой день?!

— Я чувствую себя прескверно, если это тебе интересно. Мне еще никогда в жизни не было так плохо.

Он с удивлением заметил, что девушка пристально вглядывается в его лицо — с таким беспокойством и заботой, какой никто не проявлял к нему раньше.

— Вы страшно устали, мистер Таггарт. Пошлите-ка их всех к черту, — сказала она серьезным тоном.

— Кого?

— Всех, кто изводит и мучает вас. Это несправедливо.

— Что?

— То, что вам сейчас так плохо. Вам пришлось очень трудно, но вы всем утерли нос и сейчас должны радоваться и веселиться. Вы заслужили это.

— И как же, по-твоему, я должен веселиться?

— Ну, не знаю. Но я думала, у вас сегодня будет торжество, прием, где соберутся важные люди, будет много шампанского, и вам будут дарить подарки, такие как, например, ключи от города, одним словом, шикарная вечеринка, на которой вы прекрасно проведете время, вместо того чтобы бродить в одиночестве по городу и покупать дурацкие бумажные платочки.

— Кстати, дай мне эти платочки, пока ты о них совсем не забыла, — сказал Таггарт, протянув ей десять центов. — А что касается шикарного приема, тебе не приходило в голову, что у меня может возникнуть желание никого не видеть сегодня вечером?

Девушка призадумалась.

— Нет, — сказала она, — не приходило. Но я понимаю, почему вы этого не хотите.

— Почему? — Это был вопрос, на который он сам не знал ответа.

— Потому что все они недостойны вас, мистер Таггарт, — просто сказала она. Это была не лесть, а констатация само собой разумеющегося.

— Ты действительно так думаешь?

— Я не очень-то люблю людей, мистер Таггарт. Во всяком случае большинство из них.

— Я тоже. Никого из них.

— Я думала, что такой человек, как вы... Вы не знаете, какими злыми и жестокими они могут быть, как они пытаются держать вас в узде и сесть вам на шею, если им позволить. Я думала, что великие люди должны отделаться от них и не кормить блох, но возможно, я ошибалась.

— Кормить блох? Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, когда становится невмоготу, я всегда говорю себе, что должна выбиться туда, где всякая вшивость не будет допекать меня, как укусы блох, но похоже, везде все одинаково, только блохи, наверное, крупнее.

— Значительно крупнее.

Девушка немного помолчала, словно размышляя.

— Забавно, — грустно сказала она в ответ на какую-то свою мысль.

— Что забавно?

— Я когда-то читала книгу, в которой говорилось, что великие люди всегда несчастны, и чем они значительней — тем несчастней. Тогда это показалось мне нелепостью, но может быть, это правда.

— В большей степени, чем ты думаешь.

Девушка отвернулась. На ее лице отразилось беспокойство.

— Почему ты так переживаешь за великих людей? — спросил Таггарт. — Ты что,

своего рода идолопоклонница, обожательница героев?

Она повернулась, посмотрела на него, и на ее оставшемся серьезным лице он увидел свет внутренней улыбки; это был самый красноречивый взгляд, который он когда-либо ловил на себе.

— Мистер Таггарт, чем же тогда восхищаться, кого уважать? — тихим, бесстрастным голосом ответила она.

Внезапно раздался скрипучий звук, не похожий ни на звонок, ни на гудок и продолжавший звучать с раздражающей настойчивостью.

Девушка вскинула голову, словно проснувшись от звона будильника.

— Пора закрываться, — вздохнув, с сожалением сказала она.

— Иди оденься, я подожду тебя на улице, — сказал Таггарт.

Она смотрела на него, широко раскрыв глаза, словно из всего, что могло случиться с ней в жизни, это было нечто, о чем она не смела даже помышлять.

— Кроме шуток? — прошептала она.

— Кроме шуток.

Девушка повернулась и побежала к двери служебного помещения, забыв о прилавке, о своих обязанностях и о том, что, принимая приглашение мужчины, женщине следует сохранять хладнокровие.

Некоторое время Таггарт стоял и, прищурившись, смотрел ей вслед. Он не пытался определить природу того, что чувствует, — никогда не разбираться в своих эмоциях было единственным жизненным правилом, которого он строго придерживался. Он просто ощущал это чувство в своей душе — оно было приятным, и он больше ничего не хотел о нем знать. Но это чувство породила мысль, которую он не хотел высказывать. Он часто встречался с девушками из более низких слоев общества, с девушками, которые с неутомимым притворством демонстрировали глубокое уважение к нему и по весьма очевидным причинам буквально осыпали его грубой лестью. Они не нравились ему, но и не вызывали отвращения. Их общество забавляло его, и он держался с ними на равных, участвуя в игре, которую считал вполне естественной для обеих сторон. Эта девушка была совсем другой.

В голове у него все время вертелись невысказанные слова: «Черт возьми, эта дурочка не лукавит».

Он с нетерпением ждал ее, стоя под дождем, сегодня вечером она оказалась единственным нужным ему человеком, и это не вызвало в нем беспокойства или удивления. Он не пытался определить, почему она нужна ему. А неопределенное и произнесенное не могло вылиться в противоречие.

Когда девушка вышла из магазина, Таггарту бросилось в глаза необыкновенное сочетание: ее лицо выражало застенчивость, но она шла с гордо поднятой головой. На ней был некрасивый плащ, казавшийся еще более безобразным из-за дешевых украшений на отворотах, и маленькая шляпка с плисовыми цветочками, вызывающе красовавшаяся среди ее кудряшек. Как ни странно, из-за гордо поднятой головы это убогое одеяние выглядело довольно привлекательным, было видно, что она умеет носить одежду, даже некрасивую.

— Хочешь, поедem ко мне и чего-нибудь выпьем? — предложил Таггарт.

Девушка молча кивнула в знак согласия, словно боялась, что не найдет нужных слов, чтобы выразить это. Затем, не глядя на него, она сказала, словно обращаясь к себе самой:

— Сегодня вечером вы никого не захотели видеть, но вы хотите побыть со мной...

Никогда в жизни он не слышал в голосе человека таких торжественных ноток гордости.

Она молча сидела рядом с ним в такси и смотрела на небоскребы, мимо которых они проезжали.

— Я слышала, что в Нью-Йорке случаются подобные вещи, но никогда бы не подумала, что это может произойти со мной, — сказала она некоторое время спустя.

— Откуда ты родом? — Из Буффало.

— У тебя есть семья? — Вроде бы. Там же, в

— Что значит — вроде бы?



— Я ушла от них.

— Почему?

— Я подумала, что, если хочу чего-нибудь добиться в этой жизни, должна уйти.

— Но почему? Что случилось?

— Ничего. Ничего и не могло случиться. Именно это я и не могла больше выносить.

— То есть?

— Они... мистер Таггарт, мне кажется, я должна сказать вам правду. Мой отец всегда был неудачником и никчемным человеком, а матери было наплевать на это, и мне в конце концов надоело, что всегда получалось так, что из нас семерых только я имела постоянную работу, а им все время не везло. Я подумала, что, если не уеду, это меня добьет, и я, как и они, сгнию в этой дыре. Однажды я купила билет на поезд и уехала. Я даже не попрощалась с ними. —

Девушка тихонько хихикнула. — Мистер Таггарт, это был поезд вашей компании.

— Когда ты приехала в Нью-Йорк?

— Полгода назад.

— И ты здесь совсем одна?

— Да, — радостно ответила девушка.

— И что же ты хотела делать?

— Ну... добиться чего-нибудь своими силами.

— Чего?

— Не знаю... люди же добиваются своего в этом мире. Я смотрела на фотографии Нью-Йорка и думала. — Она указала на громадные здания за размытыми окнами такси. — Я думала: ведь кто-то же построил эти здания, кто-то не просто сидел и ныл, что на кухне грязно, крыша течет, водопровод забился и этот проклятый мир так опостыл что... — Она, вздрогнув, подняла голову и посмотрела ему глаза: — Мистер Таггарт, мы нищали на глазах, и нам было наплевать на это. Я не могла с этим смириться. Им действительно было все равно. Они не хотели и пальцем шевельнуть, даже чтобы вынести мусорное ведро. А соседка твердила, что я обязана им помогать, мол, неважно, что случится со мной, с ней — с любым из нас, потому что мы бессильны что-либо изменить. — Живой, веселый взгляд словно обнажил душу девушки, и Таггарт увидел, что ей очень тяжело и больно. — Я не хочу говорить о них, — сказала девушка, — тем более с таким человеком, как вы! То, что я встретила вас... С ними этого и быть не могло. И я вовсе не собираюсь делиться этим с ними. Это мое, а не их.

— Сколько тебе лет? — спросил Таггарт.

— Девятнадцать.

Уже у себя дома, глядя на нее в залитой светом гостиной, Таггарт подумал, что, если бы девушка ела несколько раз в день, у нее была бы очень хорошая фигура; для своего роста и телосложения девушка казалась слишком уж хрупкой. На ней было поношенное узкое черное платье, которое она пыталась скрасить довольно безвкусными пластмассовыми браслетами, побрякивавшими на запястье. Она рассматривала комнату, словно музей, где ничего нельзя трогать руками и нужно все запомнить, до мельчайших подробностей.

— Как тебя зовут? — спросил Таггарт.

— Шеррил Брукс.

— Садись, Шеррил, что ты стоишь.

Таггарт молча смешал коктейли, пока Шеррил послушно ждала, присев на краешек кресла. Когда он протянул ей стакан, она покорно сделала несколько глотков, но Таггарт знал, что она даже не распробовала, что пьет, сейчас ей было не до этого.

Он отпил из своего стакана и раздраженно поставил его на стол; ему тоже не хотелось пить. Таггарт молча ходил взад-вперед по комнате, зная, что ее глаза неотрывно следят за ним, и получая удовольствие от осознания этого, наслаждаясь чувством огромной значимости, которую приобретали в глазах этой девушки его движения, запонки, шнурки его туфель, лампы и пепельницы на его столе.

— Мистер Таггарт, из-за чего вы так несчастны?

— А почему тебя так беспокоит, счастлив я или нет?

— Потому что... если у вас нет права быть счастливым, то у кого же тогда оно есть?

— Именно это я и хочу знать — у кого оно есть? — Он резко повернулся к ней и разразился словами, словно его прорвало: — Разве это он изобрел железную руду и плавильные печи?

— Кто?

— Реардэн. Не он изобрел домны, химию и сжатый воздух. Он ни за что не получил бы свой сплав, если бы не тысячи и тысячи других людей. Его сплав! Почему его? Почему он считает, что именно он изобрел его? Каждый из нас пользуется трудом других. Никто никогда ничего не изобретает.

— Но руда существовала всегда. Почему же именно мистер Реардэн, а не кто-то другой изобрел этот сплав? — озадаченно спросила Шеррил.

— Он сделал это не ради благородной цели, а ради личной выгоды. Он в жизни ничего не делал из других соображений.

— Но, мистер Таггарт, что же в этом плохого? — Она тихо рассмеялась, словно вдруг нашла ответ на загадку. — Мистер Таггарт, это же чепуха. Вы говорите не всерьез. Вы знаете, что мистер Реардэн так же, как и вы, нажил свое состояние честным трудом. Вы говорите это из скромности, ведь все прекрасно знают, какое огромное дело сделали вы, мистер Реардэн, и ваша сестра, которая, должно быть, прекрасный человек!

— Да? Это ты так думаешь. Она жестокая, безжалостная, бесчувственная тварь, которая посвятила жизнь строительству железных дорог и мостов, но она делает это не во имя идеала, а потому, что ей это нравится. А раз ей это нравится, чем же тогда восхищаться? Я далеко не уверен, что строительство этой линии действительно выдающееся событие. Ее построили для процветающих промышленников Колорадо, а ведь в бедствующих отсталых районах живет так много бедняков, которые отчаянно нуждаются в транспортных средствах.

— Но, мистер Таггарт, вы же сами боролись за строительство линии Джона Галта.

— Да, боролся, потому что это мой долг — перед компанией, перед акционерами, перед рабочими. Но не думай, что я от этого в восторге. Сомневаюсь, что изобретение этого сплава такое уж великое дело, когда во многих странах недостает самого обыкновенного железа. Ты знаешь, что в Китайской Народной Республике не хватает даже гвоздей, чтобы построить хоть какое-нибудь жилье?

— Но... я не думаю, что вы в этом виноваты.

— Кто-то должен решать эти проблемы, кто-то, кто видит дальше своего бумажника. Сейчас, когда вокруг столько страданий, ни один человек, способный к состраданию, не станет сорить деньгами и тратить десять лет жизни на какой-то хитроумный сплав. Ты считаешь это великим? Нет, это не какие-то сверхъестественные способности, это всего лишь толстая шкура, которую не пробить, даже если на него вылить тонну его сплава. В мире много куда более одаренных и талантливых людей, чем он, но о них не пишут в газетах, на них не глазят, стоя у переезда, потому что они не могут думать о нерушимых мостах, когда у них болит душа за человечество.

Она молча, почтительно смотрела на него; ее радостный пыл угас, а взгляд помрачнел. Таггарт почувствовал себя лучше.

Он взял со стола стакан, сделал глоток и, вдруг вспомнив о чем-то, отрывисто хохотнул.

— Хотя, должен признать, это было весьма забавно, — доверительно, как закадычному другу, сказал он ей повеселевшим голосом. — Видела бы ты, что стало с Ореном Бой-лом, когда он услышал по радио первое сообщение со станции Вайет. Да, на него стоило посмотреть. Он буквально позеленел. Лицо у него стало цвета дохлой рыбы, которая долго валялась на солнце. Знаешь, что он отколол вчера вечером, по-своему переживая это событие? Снял люкс в отеле «Вальхалла», а ты знаешь, чем славится этот отельчик, и, насколько мне известно, гудел там и сегодня, напившись до чертиков с несколькими

избранными друзьями и доброй половиной женского населения верхней Амстердам-авеню.

— А кто такой Орен Бойл? — с изумлением спросила Шеррил.

— Жирный червь, который слишком много на себя берет. Шустрый малый, который временами становится слишком шустрым. Видела бы ты его вчера вечером! Я вот, к примеру, получил от этого огромное удовольствие. А доктор Флойд Феррис, элегантный доктор Феррис из Государственного института естественных наук, красноречивый слуга народа! Этому красавчику сообщение по радио тоже не понравилось, еще как не понравилось. Но должен признать, он не подал виду, даже глазом не моргнул, только его буквально корежит, — я имею в виду интервью, которое он дал сегодня утром. Он сказал: «Страна дала Реардэну этот металл, и хочется надеяться, теперь он, в свою очередь, что-то даст стране». Ловко, ничего не скажешь, если принять во внимание, кто загребает государственные денежки... И все равно он повел себя умнее, чем Бертрам Скаддер, который не придумал ничего лучше, чем «никаких комментариев», когда коллеги-журналисты попросили его высказать свое мнение. «Никаких комментариев» — и это сказал Бертрам Скаддер, который с рождения не закрывал рта, разглагольствуя о чем просят и не просят, начиная с абиссинской поэзии и кончая состоянием женских туалетов на текстильных фабриках. А доктор Притчет! Этот старый дурак талдычит всем подряд, что точно знает, будто Реардэн вовсе не изобретал этот сплав; ему, мол, стало известно из надежных источников, на которые он не имеет права ссылаться, что Реардэн украл формулу сплава у бедного изобретателя, которого убил.

Таггарт то и дело удовлетворенно хихикал. Шеррил ничего не понимала, словно ей читали лекцию по высшей математике, не понимала даже его манеры выражаться, отчего тайна казалась еще более загадочной: она была уверена, что раз эти слова произносит он, то они не могут означать того, что означали бы в устах любого другого человека.

Он вновь наполнил свой стакан и осушил его, но веселье улетучилось столь же внезапно, как и появилось. Он бухнулся в кресло напротив Шеррил, исподлобья глядя на нее помутневшим, затуманенным взглядом.

— Она возвращается завтра, — невесело усмехнулся он.

— Кто?

— Моя сестра. Моя разлюбленная сестрица. О, она возомнит себя великим человеком!

— Мистер Таггарт, вы не любите свою сестру?

Он снова горько усмехнулся. Смысл этой усмешки был столь красноречив, что она заменяла ответ.

— Но почему?

— Потому что она считает себя такой хорошей. Какое она имеет право так думать? Кто из нас имеет право считать себя хорошим? Мы все — ничтожные посредственности.

— Мистер Таггарт, вы говорите это не всерьез. Я просто хочу сказать, что мы всего лишь люди — а что такое человек? Слабое, гадкое, порочное существо, рожденное во грехе, нравственно испорченное и прогнившее до мозга костей. Смирение и покорность — единственные добродетели, которым должен следовать человек. Он должен жить на коленях, вымаливая прощение за свою грязную жизнь. Но когда человек возомнил себя хорошим — вот тогда он омерзителен по-настоящему, вне зависимости от поступков.

— Но если человек знает, что то, что он сделал, хорошо?

— В таком случае он должен извиниться.

— Перед кем?

— Перед теми, кто этого не сделал.

— Я... я вас не понимаю.

— Конечно, не понимаешь, и неудивительно. Для этого нужны годы и годы серьезнейших интеллектуальных изысканий. Ты слышала о книге «Метафизические противоречия вселенной», написанной доктором Притчетом? — Шеррил испуганно покачала головой, — Откуда ты знаешь, что хорошо? Откуда человек знает, что хорошо? Как он может быть в этом уверен? В мире нет абсолютов, как неопровержимо доказал доктор

Притчет. Все лишь вопрос мнения. Откуда ты знаешь, что мост не рухнул? Ты всего лишь так думаешь. Откуда ты знаешь, что этот мост вообще существует? Ты думаешь, что философская система доктора Притчета — это что-то сугубо теоретическое, далекое от жизни, непрактичное? Это не так, далеко не так.

— Но, мистер Таггарт, железная дорога, которую вы построили...

— Да что в ней особенного, в этой дороге? Это всего-навсего материальное достижение. Что в ней такого значительного? Вообще, какое величие может быть в чем-то материальном? Лишь низменное животное может паяться на этот мост, когда в жизни так много несравненно более достойного. Но разве что-нибудь достойное может завоевать признание? Нет! Только посмотри на людей. Из-за чего вся эта газетная шумиха? Из-за какого-то хитроумного сплетения кусков материи. Разве их волнуют более благородные проблемы? Разве они предоставляют первые полосы газет состоянию человеческой души? Разве замечают и ценят человека тонкого и чувствительного? И ты еще удивляешься, что великие люди обречены на несчастье в этом порочном мире. Я тебе вот что скажу... несчастье — это признак добродетели. Если человек несчастен, по-настоящему несчастен, это значит, что он — необыкновенная личность, на голову выше других.

На лице девушки появились озадаченность и беспокойство.

— Но, мистер Таггарт, вы же добились всего, чего хотели. Вам принадлежит лучшая железная дорога в стране, газеты называют вас выдающимся бизнесменом столетия, говорят, что акции вашей компании в мгновение ока принесли вам огромное состояние. Неужели вы не рады?

— Нет, — сказал Таггарт.

Шеррил испугалась, уловив в его коротком ответе внезапное проявление страха.

Она сама не знала, почему перешла на шепот, когда спросила:

— Неужели вы считаете, что было бы лучше, если бы этот мост рухнул?

— Я этого не говорил, — резко ответил Таггарт. Он пожал плечами и презрительно взмахнул рукой: — Ты не понимаешь.

— Извините, мистер Таггарт... Я знаю, мне еще так многому нужно научиться.

— Я говорю о жажде чего-то большего, чем этот мост. О жажде, которую не сможет утолить ничто материальное.

— Что это, мистер Таггарт? Чего вы хотите?

— Опять ты за свое! Как только ты спрашиваешь «что это», ты вновь возвращаешься в грубый материальный мир, где все может быть измерено и на все должен быть наклеен ярлык. Я говорю о вещах, которые невозможно описать материалистическими понятиями... о высочайших сферах духа, которых человеку не суждено достичь. Что значит любое достижение человека? Земля — всего лишь крохотный атом, затерявшийся в безграничных просторах вселенной. Что значит этот мост по сравнению с солнечной системой?

Взгляд Шеррил прояснился, на лице появилось радостное выражение понимания.

— Мистер Таггарт, это просто замечательно с вашей стороны — считать, что ваше достижение недостойно вас. Мне кажется, что, чего бы вы ни добились, вам всегда будет хотеться большего. Вы честолюбивы. Честолюбие — им я восхищаюсь больше всего. Не останавливаться, не опускать руки, не сдаваться, а упорно трудиться и добиваться своего... Я понимаю, мистер Таггарт... даже если мне и недоступны все высокие мысли.

— Научись.

— О, я буду так стараться!

Она по-прежнему смотрела на него с восхищением. Он ходил по комнате, купаясь в этом взгляде, как в нежном солнечном свете. Таггарт подошел к бару, чтобы вновь наполнить свой стакан. В нише за баром висело зеркало. В нем он увидел свое отражение: длинное тело, искривленное небрежной, неряшливой позой, как будто отрицавшее само понятие грациозности, редющие волосы и вялый, бесцветный рот. Его внезапно поразила мысль, что она не видит его истинного лица, а видит героя-строителя, с гордо расправленными плечами и развевающимися на ветру волосами. Таггарт усмехнулся,

чувствуя, что неплохо подшутил над ней, ощущая смутное удовлетворение, напоминавшее радость победы: превосходство, порожденное тем, что он ее околпачил.

Потягивая коктейль, он посмотрел на дверь своей спальни и подумал об обычном завершении подобных приключений. Ему казалось, что это будет нетрудно: девушка слишком благоговела перед ним, чтобы сопротивляться. Она сидела на свету, слегка склонив голову, и он видел красно-коричневые отблески ее волос и полоску нежной, гладкой кожи у нее на плече. Таггарт отвернулся. «А зачем?» — подумал он.

Слабое желание, которое он испытывал, было не более чем чувством физического дискомфорта. Главным импульсом, подталкивавшим его к действию, была мысль не о девушке, а о мужчинах, которые не упустили бы подобной возможности. Он признавал, что Шеррил куда лучше, чем Бетти Поуп, пожалуй, она была самым лучшим человеком, с которым его сводила судьба. Это признание оставило его абсолютно равнодушным. Он испытывал к Шеррил то же, что и к Бетти Поуп: полное отсутствие чувств. Перспектива получить удовольствие не стоила труда; у него не было никакого желания получать удовольствие.

— Уже поздно, — сказал он. — Где ты живешь? Давай-ка я налью тебе еще и отвезу тебя домой.

Когда он попрощался с ней, стоя у дверей жалкого дома, расположенного в районе трущоб, Шеррил заколебалась, пытаясь подавить в себе желание задать ему вопрос, хотя ей очень этого хотелось.

— Я еще... — начала было она и замолчала.

— Что?

— Нет, нет, ничего.

Таггарт знал, что Шеррил хотела спросить, увидит ли она его еще, и ему доставило удовольствие не отвечать, хотя он знал, что обязательно увидит.

Она снова, словно в последний раз, взглянула на него и серьезно сказала тихим голосом:

— Мистер Таггарт, я очень благодарна вам за то, что вы... любой другой мужчина на вашем месте попытался бы... ему было бы нужно только это, но вы настолько выше всего этого, настолько выше...

Таггарт наклонился к ней. На его лице появилась легкая улыбка заинтересованности.

— А ты бы согласилась? — спросил он.

Она отстранилась от него, внезапно ужаснувшись собственным словам.

— О Господи... я не это хотела сказать. Я не пыталась намекнуть...

Она густо покраснела, резко повернулась и убежала вверх по длинной крутой лестнице.

Таггарт стоял на тротуаре, ощущая непривычное тяжелое, смутное удовлетворение, словно он совершил добродетельный поступок и тем самым отомстил каждому, кто приветствовал поезд, стоя вдоль линии Джона Галта.

Когда они прибыли в Филадельфию, Реардэн ушел, не сказав ни слова, словно ночи, проведенные вместе на обратном пути, ничего не значили в мире дневной реальности наводненных людьми платформ и проезжавших мимо поездов, — реальности, которую он всегда так уважал. В Нью-Йорк Дэгни поехала одна. Но поздно вечером в день приезда в ее квартире раздался звонок, и она знала, что ждала этого.

Войдя, Реардэн ничего не сказал, но посмотрел на Дэгни так, что его молчание показалось ей куда более теплым приветствием, чем любые слова. На его лице появилось что-то вроде презрительной улыбки, одновременно признававшей и насмехавшейся над его осознанием тех томительных часов нетерпеливого ожидания, которые пережили они оба. Он стоял посреди гостиной и неторопливо осматривался; это была ее квартира, единственное место в городе, которое было причиной его двухлетних мучений, о котором он не смел даже думать, но куда постоянно устремлялись его мысли, место, недоступное для него. Сейчас он вошел с небрежным видом хозяина. Он сел в кресло, вытянув ноги, а Дэгни стояла перед

ним, словно ждала разрешения сесть, и это ожидание доставляло ей удовольствие.

— Должен ли я сказать, что ты блистательно проявила себя, построив эту линию? — спросил он.

Дэгни удивленно взглянула на него — он никогда не говорил ей подобных комплиментов. В его голосе сквозила неподдельная искренность, но лицо сохраняло едва уловимое насмешливое выражение; у нее возникло чувство, будто он говорит все это с какой-то непонятной целью.

— Я целый день только и делал, что отвечал на вопросы о тебе, о линии, о металле и о будущем. И еще принимал заказы на металл Реардэна. Они поступают со скоростью тысяча тонн в час. Когда это было, девять месяцев назад? Я не мог получить ни единого заказа. Сегодня мне пришлось отключить телефон, чтобы отделаться от тех, кто хотел поговорить лично со мной о том, как им необходим металл Реардэна. А что делала сегодня ты?

— Не знаю. Пыталась слушать отчеты Эдди, пыталась скрыться от людей, пыталась найти подвижной состав, чтобы вывести на линию Джона Галта побольше поездов, потому что расписание, которое я составила раньше, явно не годится, так мы не справимся даже с заказами, которые поступили лишь за эти три дня.

— Сегодня многие хотели увидеться с тобой, не так ли?

— Да, а что?

— Они отдали бы все на свете, чтобы поговорить с тобой, да?

— Да... наверно.

— Репортеры расспрашивали меня, какая ты. Молодой парень из местной газетенки все повторял, что ты необыкновенная женщина. Он сказал, что побоялся бы разговаривать с тобой, если бы ему предоставилась такая возможность. И он прав. Будущее, о котором все говорят и которого так боятся, будет таким, каким его сделаешь ты, потому что ты обладаешь силой и мужеством, которых никому из них не понять. Это твоя сила открыла перед ними дорогу к богатству, по которой все они теперь ползут, сила идти против всех и не признавать ничьей воли, кроме собственной.

Дэгни поняла, какую цель он преследовал, говоря все это. Она стояла посреди комнаты, выпрямившись и уперев руки в бока. Ее лицо было суровым и непреклонным. Она выслушивала его похвалы так, словно это были обжигающие оскорбления.

— Тебе ведь тоже все время задавали вопросы? — сказал он, наклонившись вперед и пристально глядя ей в глаза. — На тебя смотрели с восхищением, словно ты стоишь на вершине горы, и тебя отделяет от всех огромное расстояние, и люди могут только обнажить перед тобой головы, да?

— Да, — прошептала она.

— Люди смотрели на тебя так, словно знали, что никто не имеет права приблизиться к тебе, заговорить в твоём присутствии или прикоснуться к складке твоего платья. Они ведь смотрели на тебя с уважением, с восторгом?

Реардэн схватил Дэгни за руку, повалил на колени, наклонился и поцеловал ее. Дэгни беззвучно рассмеялась, но глаза ее уже были полузакрыты, окутаны пеленой наслаждения.

Несколько часов спустя, когда, лежа в постели, Реардэн нежно гладил ее тело, он вдруг спросил, склонившись над ней, — и она поняла, что этот вопрос долго мучил его, увидев, как напряглось его лицо, услышав сдавленный стон, вырвавшийся из его груди, поняла, хотя его голос прозвучал тихо и ровно:

— Кто обладал тобой до меня?

Он смотрел на нее так, будто его вопрос обрел зримое воплощение — четкое, со всеми подробностями — и это зрелище было ему омерзительно, но он не хотел отвести взгляд. В его голосе звучали презрение, ненависть, страдание и вместе с тем какая-то необыкновенная заинтересованность, не имевшая ничего общего с душевными терзаниями. Он задал этот вопрос, крепко прижав ее к себе.

Она ответила, и ее голос прозвучал ровно и спокойно, но он заметил в ее глазах недобрые огоньки, словно предостерегавшие его, что она все поняла.

— До тебя у меня был всего один мужчина, Хэнк.

— Когда?

— Когда мне было семнадцать.

— И долго это продолжалось?

— Несколько лет.

— Кто он?

Лежа на его руке, Дэгни слегка отстранилась. Он наклонился к ней, лицо его напряглось. Она выдержала его взгляд.

— Этого я тебе не скажу, — ответила она.

— Ты любила его?

— Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Тебе нравилось спать с ним?

— Да.

От смеха, искрившегося в ее глазах, ответ прозвучал как звонкая пощечина. Дэгни смеялась, потому что знала: именно такого ответа он боялся и именно такой ответ хотел услышать.

Он заломил ей руки за спину. Дэгни лежала беспомощная, прижавшись к нему грудью; она почувствовала резкую боль в лопатках и услышала злость и удовольствие, прозвучавшие в его хриловатом голосе:

— Кто он?

Дэгни, не отвечая, смотрела на него. Ее темные глаза излучали какой-то необыкновенный свет, и он заметил, что ее искаженные болью губы сложились в насмешливую улыбку.

Поцеловав ее, он увидел, как эта улыбка исчезла, уступив место выражению покорности и смирения. Он сжимал ее тело так, словно неистовство и отчаяние, с которыми он овладевал ею, могли уничтожить его неведомого соперника, стереть его из ее прошлого, более того, словно благодаря неистовству и отчаянию все, что было связано с ней, даже его соперник, превращалось для него в источник наслаждения. Она прильнула к нему, яростно обхватив его руками, и он понял, что она хотела, чтобы ею овладевали именно так и не иначе.

Лента конвейера мерно ползла на фоне огненных полосок вечернего неба, поднимая уголь к вершине далекого элеватора; бесчисленное множество маленьких черных бадеек появлялось словно откуда-то из-под земли и по диагонали поднималось вверх через освещенное лучами заходящего солнца небо. Гремя цепями, молодой человек в синей спецовке закреплял станки и оборудование на вагонах-платформах, стоявших на запасных путях шарикоподшипниковой компании Квинна из Коннектикута.

Мистер Моуэн из Объединенной компании по производству стрелок и сигнальных систем стоял рядом с человеком в спецовке. Он остановился, чтобы понаблюдать за ним, возвращаясь домой со своего завода. На нем было легкое пальто, обтягивающее приземистое, с брюшком тело, и котелок, покрывавший голову с седеющими светлыми волосами. В воздухе чувствовалось дыхание приближающихся осенних холодов. Все заводские ворота были широко распахнуты; рабочие вывозили краны и станки. Как будто из тела вынимают все жизненно важные органы и оставляют лишь скелет, подумал мистер Моуэн.

— Еще одна? — спросил Моуэн, указав пальцем на завод, хотя ответ был ему прекрасно известен.

— Что? — отозвался молодой человек, который только сейчас заметил, что Моуэн стоит рядом.

— Еще одна компания переезжает в Колорадо?

— Угу.

— За последние две недели это уже третья компания. Из Коннектикута. А что сейчас

творится в Нью-Джерси, на Род-Айленде, в Массачусетсе и по всему Атлантическому побережью... — Молодой человек не обращал на Моуэна никакого внимания и, похоже, не слушал. — И все утекает в Колорадо. Все деньги. — Молодой человек перебросил цепь через что-то покрытое брезентом и начал взбираться вверх. — Людям подобает испытывать хоть какое-нибудь чувство к родному штату, преданность ему... А они бегут. Не понимаю, что происходит с людьми.

— Это все из-за закона.

— Из-за какого закона?

— Закона о равных возможностях.

— То есть как?

— Я слышал, что мистер Квинн год назад собирался открыть филиал в Колорадо. Закон лишил его такой возможности, вот он и решил полностью перебраться туда.

— Не думаю, что это может служить оправданием. Этот закон был необходим. Стыд и позор — старые фирмы, которые проработали здесь целые поколения... Нужен специальный закон...

Молодой человек работал быстро и ловко, словно получал от этого удовольствие. За его спиной к небу, грохоча, поднимался конвейер. Вдали, возвышаясь словно флагштоки, виднелись четыре трубы, над которыми в освещенном закатом небе медленно развевались длинные дымовые знамена.

Моуэн помнил эти трубы еще со времен своего отца и деда, когда был маленьким. Тридцать лет он наблюдал из окон своего кабинета за лентой конвейера. То, что компания Квинна исчезнет с этой улицы, казалось ему непостижимым. Он знал о решении Квинна и не верил этому; скорее, верил так же, как всем словам, которые слышал или сам произносил: как звукам, которые не имели непосредственного отношения к реальному миру. Теперь он знал, что это не пустые слова. Он стоял на запасном пути около вагонов, словно их еще можно было остановить.

— Это несправедливо. — Он обращался главным образом к полоске вечернего неба, но слышать его мог только молодой человек. — Во времена моего отца все было иначе. Я птица невысокого полета, ни с кем не хочу драться. Да что же происходит с миром? — Его вопрос остался без ответа. — Вот ты, к примеру. Они забирают тебя с собой в Колорадо?

— Меня? Нет. Я здесь не работаю. Я получил эту работу лишь на время, помогаю все отгрузить.

— И куда же ты пойдешь, когда они уедут?

— Понятия не имею.

— А что ты будешь делать, если и другие последуют за ними?

— Ждать и смотреть.

Моуэн в сомнении уставился на рабочего: он не знал, к кому в большей степени относится этот ответ — к нему или к этому парню. Но тот сосредоточился на работе и даже не смотрел вниз. Парень двинулся к следующей платформе, и Моуэн последовал за ним, глядя вверх и словно взывая к чему-то в небесах:

— У меня тоже есть права! Я здесь родился. И думал, что, когда вырасту, все старые компании останутся здесь. Я думал, что буду управлять заводом, как мой отец. Человек — часть общества, разве он не имеет права рассчитывать на общество?... С этим надо что-то делать.

— С чем?

— Я знаю, ты считаешь это чем-то выдающимся — весь этот бум вокруг «Таггарт трансконтинентал» и металла Реардэна, эту золотую лихорадку в Колорадо, это шумное веселье, устроенное Вайетом и его друзьями, которые расширяют свое производство, словно переполненный чайник, брызжащий кипятком во все стороны! Все думают, что это что-то грандиозное, куда ни ткнишь, везде только об этом и говорят. Люди просто обалдели, все что-то планируют, словно шестилетние дети, собирающиеся на каникулы. Можно подумать, наступил какой-то общенациональный медовый месяц, бесконечное Четвертое июля.



Парень не ответил.

— Я так не считаю, — сказал Моуэн и добавил чуть тише: — Газеты тоже так не думают, учти, газеты ничего такого не пишут.

В ответ Моуэн услышал лишь лязг цепей.

— Почему все бегут в Колорадо? Что там есть такого, чего нет у нас?

Парень усмехнулся:

— Может быть, здесь есть что-то такое, чего нет у них?

— Но что именно? Я этого никак не могу понять. Это же отсталый, примитивный штат. У них нет даже нормального правительства. Это худшее правительство во всей федерации. Самое ленивое. Оно ничего не делает, если не принимать во внимание суд и полицию. Оно ничего не делает для людей. Никому не помогает. Не понимаю, почему наши лучшие компании так рвутся туда.

Парень взглянул на него, но ничего не ответил. Моуэн вздохнул:

— Это неправильно. Закон о равных возможностях по замыслу очень хорош. У каждого должен быть шанс в жизни. Стыд и позор, что такие люди, как Квинн, нечестно используют этот закон. Почему он не позволил кому-то другому начать производство шарикоподшипников в Колорадо?.. Почему люди из Колорадо не оставят нас в покое? Компания «Стоктон фаундри» не имела права начинать производство железнодорожных стрелок и сигнальных систем. Я занимаюсь этим уже долгие годы, у меня право старшинства. Это несправедливо, это самая что ни на есть хищническая конкуренция, надо запретить ее. Где я теперь буду продавать стрелки и сигнальные системы? Кому я их буду продавать? В Колорадо были две большие железные дороги. Теперь «Финикс — Дуранго» больше нет, осталась лишь «Таггарт трансконтинентал». Это несправедливо. Зачем они прогнали Дэна Конвэя? Должно же быть место для конкуренции. Я целых полгода ждал, когда Орен Бойл поставит мне сталь, а сейчас он говорит, что не может ничего обещать, потому что металл Реардэна разрушил его рынок ко всем чертям, на этот металл возник небывалый спрос, и Бойл вынужден сокращать производство. Несправедливо, что Реардэну дозволено разрушать чужие рынки сбыта. Я тоже хочу получить этот металл, он мне нужен, но поди достань его! За ним такая очередь, что, выстрой всех в одну колонну, и она растянется на три штата. Никто не может получить его металл за исключением его старых друзей, таких как Вайет, Денеггер и им подобные. Это несправедливо. Это дискриминация. Я ничем не хуже других и имею право на свою долю металла.

Парень оторвался от работы и сказал:

— На прошлой неделе я был в Пенсильвании и видел заводы Реардэна. Вот где кипит работа! Они строят четыре новые печи, еще шесть на подходе... Новые печи, — сказал он, глядя на юг, — последние пять лет их не строили на всем Атлантическом побережье. — Он стоял на завернутом в брезент моторе и смотрел на сгущавшиеся сумерки с едва уловимой улыбкой, в которой чувствовались пыл и страстное стремление, — так человек вспоминает вдалеке о любимой. — Кипит работа... — повторил он.

Затем улыбка резко исчезла с его лица. Он дернул цепь — это был первый срыв в его спокойных, уверенных движениях, что-то вроде вспышки гнева.

Моуэн посмотрел на горизонт, на конвейер, колеса и дым; дым медленно и спокойно рассеивался в воздухе, растянувшись в сторону Нью-Йорка длинной лентой, исчезающей где-то за горизонтом. Ему стало спокойнее, когда он подумал о Нью-Йорке, объятom этими языками священного огня, окольцованном трубами заводов, цистернами с бензином, кранами и линиями высоковольтных передач. Он почувствовал приток сил, исходивший от каждого строения знакомой улицы. Ему нравился силуэт возвышавшегося над ним молодого парня; в том, как тот работал, было что-то успокаивающее, как в линии горизонта... И все же Моуэн задавался вопросом, почему у него возникло такое чувство, будто где-то росла и ширилась трещина, разъедающая прочные, сложенные на века стены.

— Надо что-то делать, — сказал Моуэн. — На прошлой неделе разорился один мой друг. Он добывал нефть, у него было несколько скважин в Оклахоме. Не смог конкурировать

с Вайетом. Надо ввести ограничения на добычу нефти. Надо запретить Вайету добывать так много нефти, не то он всех смое с рынка... Вчера я застрял в Нью-Йорке. Пришлось оставить там машину и возвращаться домой на этом чертовом поезде. Я не смог заправиться, говорят, в городе страшная напряженка с бензином... Так нельзя. С этим надо что-то делать... — Глядя на горизонт, мистер Моуэн задался вопросом, в чем заключается безымянная угроза всему окружающему и от кого она исходит.

— Что вы хотите с этим делать? — спросил парень.

— Кто, я? — удивился Моуэн. — Откуда я знаю? Я человек маленький и не могу решать национальных проблем. Я просто хочу зарабатывать себе на жизнь. Но должен же кто-то исправить все это... Это неправильно... Послушай, как тебя зовут?

— Оуэн Келлог.

— Послушай, Келлог, как ты думаешь, что будет с миром?

— Вам это ни к чему.

На одной из башен вдали раздался гудок для рабочих ночной смены, и Моуэн вдруг понял, что время уже позднее. Он вздохнул и, застегивая пальто, повернулся, чтобы уйти.

— Любые проблемы решаются, — сказал он. — Предпринимаются шаги. Конструктивные шаги. Законодательное собрание приняло закон, который дает более широкие полномочия Отделу экономического планирования и национальных ресурсов. На должность директора назначен очень способный человек. Не могу сказать, что слышал о нем раньше, но газеты говорят, что он еще заявит о себе. Его зовут Висли Мауч.

Дэгни стояла у окна в своей гостиной и смотрела на город. Было поздно, и огни города напоминали последние искорки, догоравшие на черном пепелище большого костра.

Она ощущала необыкновенное спокойствие и жалела, что не может дать волю чувствам и вновь пережить каждое мгновение месяца, который стремительно промчался мимо нее. У нее не было времени почувствовать, что она возвратилась в свой кабинет в здании «Таггарт трансконтинентал». Работы было так много, что она забыла, что это возвращение из ссылки. Она не помнила, что сказал ей Джим по возвращении и сказал ли он что-нибудь вообще. В мире был лишь один человек, мнение которого ей хотелось узнать. Она позвонила в отель «Вэйн-Фолкленд», но ей сказали, что сеньор Франциско Д'Анкония уехал обратно в Буэнос-Айрес.

Она помнила мгновение, когда расписалась под длинным юридическим документом, положив тем самым конец линии Джона Галта. Отныне это вновь стало линией Рио-Норт компании «Таггарт трансконтинентал», но рабочие поездных бригад называли линию прежним именем. Ей тоже трудно было забыть его. Дэгни заставляла себя не употреблять слова «линия Джона Галта» и задавалась вопросом, почему это требовало от нее усилий и почему от этого ей становилось грустно.

Однажды вечером, поддавшись внезапному порыву, она завернула за угол здания компании и направилась к глухому закоулку, чтобы в последний раз взглянуть на офис «Джон Галт инкорпорейтэд». Дэгни сама не знала, чего хотела, — просто посмотреть, думала она. Вдоль тротуара стоял деревянный забор — старое здание сносили. Дэгни перелезла через забор и при свете уличного фонаря, который когда-то отбрасывал на тротуар тень таинственного незнакомца, посмотрела через окно на то, что осталось от ее бывшего офиса. От первого этажа не осталось ничего; стены рухнули, с потолка свисали искореженные трубы, пол был усеян битым кирпичом. Смотреть было не на что.

Она спросила Реардэна, не приходил ли он однажды ночью прошлой весной к ней под окна, борясь с желанием зайти. Но прежде чем тот ответил, поняла, что это был не он. Дэгни не сказала ему, почему задала этот вопрос. Она сама не понимала, почему это воспоминание временами беспокоило ее.

За окном гостиной в темном небе, словно небольшой ярлык, висел светящийся прямоугольник календаря: второе сентября. Дэгни дерзко улыбнулась, вспомнив о гонке, которую вела с календарем: больше нет никаких крайних сроков, подумала она, нет преград,

нет угроз, нет предела.

Дэгни услышала звук поворачивающегося в замке ключа; она ждала этого звука, и ей очень хотелось услышать его сегодня вечером.

Реардэн вошел, как входил уже много раз, известив о своем приходе лишь скрипом ключа, который дала ему она сама. Он бросил на стул шляпу и пальто — этот жест уже стал для нее привычным. На нем был черный вечерний костюм.

— Привет, — сказала Дэгни.

— Я все еще жду вечера, когда, войдя в квартиру, не застаю тебя дома, — ответил он.

— В таком случае тебе придется позвонить в «Таггарт трансконтинентал».

— В любой вечер? И ты не можешь быть в другом месте?

— Ревнуешь, Хэнк?

— Нет. Просто любопытно, что это за чувство — ревность.

Он смотрел на нее, не позволяя себе приблизиться, намеренно продлевая удовольствие от осознания того, что может сделать это, когда захочет. На Дэгни была узкая юбка от делового костюма и блузка из прозрачной белой ткани, сшитая как мужская рубашка. Просторная блузка, заправленная в юбку, поднималась к груди пышным колоколом, подчеркивая изящество бедер. В свете лампы, стоявшей за спиной Дэгни, Реардэн видел изящные очертания ее стройной фигуры сквозь прозрачную ткань блузки.

— Как прошел банкет? — спросила Дэгни.

— Отлично. Я сбежал, как только представилась возможность. А ты почему не пришла? Тебя ведь приглашали.

— Мне не хотелось видеть тебя в обществе.

Он посмотрел на нее, давая понять, что понял смысл ее ответа. На его лице появилась едва уловимая веселая улыбка.

— Ты много потеряла. Национальный совет по вопросам металлургической промышленности никогда больше не пойдет на такое испытание и не пригласит меня в качестве почетного гостя. Никогда, если это будет зависеть от них.

— Что случилось?

— Ничего. Просто морс громких речей.

— А для тебя это было тяжким испытанием?

— Нет... Хотя да — в некотором роде. Мне действительно хотелось получить удовольствие от этого банкета.

— Хочешь выпить?

— Да, не откажусь.

Дэгни повернулась к бару, но он остановил ее, схватив сзади за плечи. Он запрокинул ей голову и поцеловал ее. Когда он отнял губы, она вновь требовательным жестом наклонила его голову, словно подчеркивая свое право на это. Затем Дэгни отошла от него.

— Не надо, не наливай, — сказал Реардэн. — Мне не хочется пить, просто хотелось посмотреть, как ты меня обслужишь.

— Что ж, тогда позволь мне обслужить тебя.

— Нет уж.

Он улыбался, растянувшись на кушетке и заложив руки за голову. Он чувствовал себя как дома; это был первый дом, который он обрел в своей жизни.

— Знаешь, хуже всего на этом банкете было то, что все хотели, чтобы он скорее закончился. Не понимаю, зачем они вообще его устроили. Они не обязаны были этого делать. И тем более не в мою честь.

Дэгни взяла пачку сигарет, протянула ее ему, затем, щелкнув зажигалкой, поднесла язычок пламени к кончику его сигареты, давая понять, что ждет. Она улыбнулась в ответ на его усмешку и села на подлокотник кресла в другом конце комнаты.

— Почему ты принял приглашение, Хэнк? Ты ведь всегда отказывался присоединиться к ним, — спросила она.

— Мне не хотелось отвергать предложение о перемирии — ведь я их победил, и они

это знают. Я никогда не стану одним из них, но просьба быть почетным гостем... Я подумал, что они умеют проигрывать, что это великодушно с их стороны.

— С их стороны?

— Ты хочешь сказать — с .моей?

— Хэнк! После всего, что они сделали, чтобы остановить тебя?

— Но победил ведь я? Вот я и подумал... Знаешь, я не виню их в том, что они не смогли сразу понять, насколько ценен мой металл... ведь в конце концов они это поняли. Каждый из нас познает все по-своему и в свое время. Конечно, я понимал, что во всем этом много трусости, зависти и лицемерия, но думал, что это лишь поверхностное. Теперь, когда я доказал свою правоту, доказал во всеуслышание, я подумал, что истинным мотивом, из-за которого они пригласили меня, является то, что они по достоинству оценили металл Реардэна, и...

Он на мгновение замолчал, и Дэгни улыбнулась, зная слова, которых он не произнес: «И ради этого я простил бы кого угодно и что угодно».

— Но все было не так, и я не понимаю их мотивов. Дэгни, я вообще не думаю, что они чем-то руководствовались, устраивая этот банкет. Они сделали это не для того, чтобы польстить мне, что-то получить от меня или оправдаться в глазах общества. Этот банкет не преследовал никакой цели, не имел никакого смысла. Им было наплевать, когда они обливали мой металл грязью, им наплевать и сейчас. Они не так уж и боятся, что я вышвырну их с рынка, их, в сущности, не волнует даже это. Знаешь, на что это было похоже? Они словно слышали, что существуют определенные ценности, которые следует почитать, и что подобный банкет как раз и является способом выражения почтения, — так они и сделали. Они похожи на призраков, движимых каким-то отдаленным эхом, доносящимся из лучших времен. Это... это выше моих сил.

— И ты еще сомневаешься в своем великодушии! — сказала Дэгни. Ее лицо напряглось.

Реардэн взглянул на нее, и в его глазах блеснули веселые огоньки.

— Почему они приводят тебя в такую ярость?

— Тебе хотелось получить удовольствие от этого банкета... — тихо сказала Дэгни, чтобы скрыть нежность, прозвучавшую в ее голосе.

— Пожалуй, так мне и надо. Не стоило ожидать чего-то необыкновенного. Я и сам не знаю, чего хотел.

— Я знаю.

— Мне никогда не нравились подобные мероприятия. Не понимаю, почему мне показалось, что все будет иначе. Понимаешь, я шел туда с таким чувством, словно мой металл изменил все на свете, даже людей.

— Да, Хэнк. Я понимаю.

— Похоже, это не то место, где следует чего-то искать... Помнишь, ты как-то сказала, что праздники должны быть у тех, кому есть что праздновать?

Огонек сигареты остановился и завис в воздухе. Дэгни сидела неподвижно. Она никогда не говорила с ним о том приеме или о чем-нибудь, связанном с его семейной жизнью.

— Да, помню, — тихо сказала она через мгновение.

— Я понял тогда, что ты хотела этим сказать. Я понимаю это и сейчас.

Реардэн смотрел прямо на нее. Дэгни опустила глаза. Некоторое время Реардэн сидел молча. Когда он вновь заговорил, его голос звучал очень весело.

— Самое худшее — не оскорбления, которыми тебя осыпают, а комплименты. Сегодня меня просто тошнило от них, особенно когда все время повторяли, как я всем нужен — им, городу, стране, просто всему миру. Судя по всему, в их понимании вершина славы — это когда человек имеет дело с людьми, которым он нужен. Терпеть не могу тех, кто во мне нуждается. — Реардэн посмотрел на нее: — А ты нуждаешься во мне?

— Отчаянно, — серьезно ответила Дэгни. Реардэн рассмеялся:

— Нет. Не в этом смысле. Ты сказала это не так, как они.

— Как я это сказала?

— Как делец, который платит за то, что ему нужно. Они же говорят как нищие, которые в качестве платежного требования протягивают жестяную кружку.

— Я... плачу за это, Хэнк?

— Не надо корчить из себя невинность. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.

— Понимаю, — улыбаясь, прошептала Дэгни.

— А, ну их к черту! — весело сказал Реардэн, растянувшись на кушетке. — Общественный деятель из меня ни к черту. Да и не все ли равно? Нам плевать, что они понимают, а что нет. Главное, что они оставят нас в покое. Путь свободен. Каким будет ваше следующее предприятие, госпожа вице-президент?

— Трансконтинентальная железная дорога из металла Реардэна.

— Когда желаете получить?

— Желаю завтра утром. Реально — через три года.

— Думаешь, сможешь сделать это всего за три года?

— Смогу, если Джон Галт... если Рио-Норт будет приносить такой же доход, как сейчас.

— Твои доходы возрастут. Это только начало.

— Я уже разработала план капиталовложений. По мере поступления денег я постепенно, отделение за отделением, начну замену старого главного пути на новый, из металла Реардэна.

— Ладно. Как только дашь знать, я приступлю к работе.

— Старые рельсы я переброшу на боковые ветки. Если этого не сделать, они долго не протянут. Через три года ты сможешь доехать по своим рельсам до самого Сан-Франциско, если кому-то вздумается устроить там банкет в твою честь.

— Через три года мои заводы будут производить металл Реардэна в Колорадо, Мичигане и Айдахо. Это уже мой план капиталовложений.

— Твои заводы? Филиалы?

— Ага.

— А как же Закон о равных возможностях?

— Неужели ты думаешь, что он продержится три года? Мы показали им такой наглядный пример, что всю эту гниль как ветром сдует. С нами вся страна. Кто осмелится остановить все это? Кто будет прислушиваться к этой пустой болтовне? Сейчас в Вашингтоне работает мощное лобби толковых людей. На следующем же заседании от этого закона и мокрого места не останется.

— Будем надеяться.

— В последние несколько недель я положил много сил, чтобы начать строительство новых печей. Но сейчас дело пошло. Я могу расслабиться, спокойно сидеть за своим столом, купаться в деньгах, заниматься пустяками, наблюдать, как нескончаемым потоком поступают заказы на мой металл, и выбирать среди заказчиков тех, кто мне нравится... Послушай, в котором часу завтра утром отходит первый поезд в Филадельфию?

— Не знаю.

— Не знаешь? Какой прок от такого вице-президента? Завтра в семь утра я должен быть у себя на заводе. Есть что-нибудь около шести?

— По-моему, первый поезд отходит в пять тридцать.

— Ты разбудишь меня, чтобы я успел на него, или прикажешь задержать поезд?

— Разбужу.

Реардэн молчал. Дэгни сидела и смотрела на него. Он выглядел усталым, когда вошел, но сейчас все признаки утомления исчезли с его лица.

— Дэгни, — сказал он вдруг изменившимся тоном, в котором слышалась озабоченность, — почему ты не захотела видеть меня в обществе?

— Я не хочу быть частью твоей... официальной жизни. Реардэн ничего не ответил, но через некоторое время спросил, словно между прочим:

— Когда ты последний раз была в отпуске?

— По-моему, два... нет, три года назад.

— И что ты делала?

— Поехала на месяц в горы Адирондак. Вернулась через неделю. На большее меня не хватило.

— Я брал отпуск пять лет назад. Только проводил его в Орегоне. — Он лежал на спине и смотрел в потолок. — Дэгни, давай возьмем отпуск и проведем его вместе. Сядем в мою машину и махнем куда-нибудь на несколько недель, поедem куда глаза глядят, но проселочными дорогами, туда, где нас никто не знает. Не оставим адреса, не будем читать газет, забудем о том, что существуют телефоны, — полностью отрешимся от официальной жизни.

Дэгни встала, подошла к кушетке и, заслонив собой свет лампы, посмотрела на него. Ей не хотелось, чтобы он видел ее лицо; она с трудом сдерживала улыбку.

— Ты же сможешь взять пару недель отпуска? — спросил Реардэн. — Все наладилось и идет своим чередом. Можно не волноваться. Другой такой возможности в ближайшие три года у нас не будет.

— Хорошо, Хэнк, — сказала Дэгни, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно спокойней.

— Ты согласна?

— Когда ты хочешь выехать?

— В понедельник утром,

— Хорошо.

Дэгни повернулась, собираясь отойти от него. Реардэн схватил ее за запястье и притянул к себе. Она упала на него сверху. Он целовал ее, запустив одну руку ей в волосы, а другую под блузку, лаская ее, опускаясь от плеч к талии, к ногам.

— И ты еще спрашиваешь, нуждаюсь ли я в тебе!.. — прошептала Дэгни.

Она отстранилась от него и поднялась с кушетки, отбросив назад упавшие на лицо волосы. Реардэн лежал неподвижно и, прищурившись, смотрел на нее. В его глазах блестели яркие огоньки необыкновенного интереса — пристального и слегка насмешливого. Дэгни взглянула вниз: бретельки бюстгалтера разорвались, и он свисал от плеча к талии. Реардэн лежал и смотрел на ее грудь, видневшуюся под прозрачной тканью блузки. Она подняла руку, чтобы поправить бюстгалтер, но Реардэн легонько шлепнул ее по ладони. Дэгни понимающе и насмешливо улыбнулась. Она нарочито медленно прошла через комнату и, опершись руками о стол и отведя назад плечи, чуть склонилась вперед. Ему так нравился этот контраст — строгость одежды и полуобнаженное тело, серьезный железнодорожный руководитель и женщина, которая принадлежит ему.

Реардэн выпрямился. Он сел, скрестив и вытянув вперед ноги, сунув руки в карманы, и смотрел на нее взглядом человека, оценивающего свою собственность.

— Вы сказали, что хотите построить трансконтинентальную железную дорогу из металла Реардэна, госпожа вице-президент? — спросил он. — А что, если я вам его не дам? Сейчас я могу выбирать клиентов и назначать любую цену, какую только захочу. Если бы это было год назад, я бы потребовал, чтобы ты спала со мной в обмен на мой металл.

— Жаль, что ты этого не сделал.

— А ты бы согласилась?

— Конечно.

— В качестве сделки?

— Если бы покупателем был ты. Тебе бы это понравилось, правда?

— А тебе?

— Да... — прошептала она.

Он подошел к ней, схватил за плечи и сквозь тонкую ткань блузки прижался губами к

ее груди.

Затем, продолжая держать Дэгни за плечи, молча посмотрел на нее.

— Что ты сделала с браслетом? — наконец спросил он. Они никогда раньше не затрагивали эту тему. Дэгни пришлось выдержать паузу, чтобы ее голос прозвучал ровно и спокойно:

— Он у меня.

— Я хочу, чтобы ты носила его.

— Если кто-нибудь догадается, тебе будет гораздо хуже, чем мне.

— Носи его.

Дэгни достала браслет из его металла и молча протянула Реардэну, глядя ему в глаза. На ее ладони, поблескивая, лежал зеленовато-голубой браслет. Не отводя глаз, Реардэн застегнул браслет на ее запястье. Когда замочек застежки клацнул в его пальцах, Дэгни наклонилась и поцеловала его (рук)

Земля убегала под капот автомобиля. Разматывавшаяся среди холмов Висконсина автострада была единственным свидетельством труда человека, непрочной нитью, протянувшейся через море низкого кустарника, травы и деревьев. Это море расстилалось вокруг, играя желтыми и оранжевыми красками, временами вспыхивая ярко-красными полосками на склонах холмов и остатками зелени в ложбинах, простиравшихся под нависавшим сверху чисто-голубым небом. Среди этих открыточных красок капот автомобиля, в котором, поблескивая солнечными лучами, отражалось осеннее небо, напоминал произведение ювелирного искусства.

Дэгни сидела у окна, вытянув ноги вперед. Ей нравилось удобное широкое сиденье, нравилось ощущать тепло солнечных лучей на плечах. Она наслаждалась простиравшимся перед ней великолепным пейзажем.

— Что я действительно хотел бы увидеть, так это рекламный щит, — сказал Реардэн.

Дэгни рассмеялась: сам того не зная, он высказал ее мысль.

— Что продавать и кому? Нам уже час не попадается навстречу ни единого дома или машины.

— Вот это мне и не нравится. — Реардэн нахмурился и слегка наклонился вперед, ближе к рулю. — Взгляни на эту дорогу.

Длинная полоска бетона побелела, как кости, брошенные в знойной пустыне, словно солнце и снег начисто стерли следы колес, масла и бензина, лишив поверхность блеска, всегда сопутствующего автомобильному движению. Из трещин в бетоне торчала зеленая трава. Эту дорогу уже много лет не ремонтировали и не пользовались ею; но трещин было мало.

— Хорошая дорога, — сказал Реардэн. — Ее строили надолго, и у того, кто ее построил, должно быть, были веские основания предполагать, что здесь будет очень оживленное движение.

— Да... ты прав.

— Мне это не нравится.

— Мне тоже, — сказала Дэгни и улыбнулась. — Но вспомни, как часто люди жалуются, что рекламные щиты уродуют пейзаж. Что ж, вот им не обезображенная местность. Пусть любуются. — И добавила: — Я таких людей ненавижу.

Ей не нравилось беспокойство, которое она ощущала и которое еле заметно разъедало удовольствие этого дня. За последние три недели это беспокойство временами посещало ее, когда она смотрела на пейзаж, мелькавший за окошком автомобиля. Дэгни улыбнулась: капот был неподвижной точкой в поле ее зрения, под которой бежала земля; он был центром, фокусом, источником чувства безопасности в мутном расплывающемся мире... капот автомобиля у нее перед глазами и руки Реардэна на рулевом колесе... Она улыбнулась, подумав, что чувствует себя вполне удовлетворенной, ограничив свой мир этими очертаниями.

После недели путешествия, когда они ехали наугад, отдаваясь на милость неведомых проселочных дорог, Реардэн однажды утром сказал:

— Дэгни, должен ли отдых быть бесцельным? Она рассмеялась:

— Нет. Какой завод ты хочешь осмотреть?

Реардэн улынулся — ему не нужно было чувствовать себя виноватым, не нужно было ничего объяснять.

— Я слышал об одном заброшенном руднике возле Сагино Бей. Говорят, он полностью выработан.

Они поехали через Мичиган к этому руднику. Приехав, долго ходили по пустынным заброшенным участкам. На фоне неба, словно скелет, возвышались останки крана, у них из-под ног, гремя, выкатился какой-то ржавый котелок. Дэгни ощутила наплыв уже знакомого беспокойства, на этот раз более острого и грустного, но Реардэн бодро сказал:

— Выработанный, черта с два! Я им покажу, сколько руды и Аенег отсюда еще можно выкачать.

Возвращаясь к машине, он сказал:

— Я купил бы этот рудник завтра же утром, если бы мог найти нужного человека и поставить его работать здесь.

На следующий день, когда они ехали на юго-запад, он вдруг сказал после долгого молчания:

— Нет, придется подождать, пока этот закон не отправят в мусорную корзину. Если кто может разработать этот рудник, ему моя помощь не нужна. А кому она нужна, тот гроша ломаного не стоит.

Они, как всегда, свободно говорили о своей работе, в полной уверенности, что поймут друг друга. Но они никогда не разговаривали о себе. Реардэн вел себя так, словно их страстное влечение было физическим явлением, не подлежащим разумному определению. Каждую ночь она словно лежала в объятиях чужого, незнакомого человека, который позволял ей видеть дрожь ощущений, пробегающих по его телу, но ничто не выдавало, отзывается ли эта дрожь какими-нибудь чувствами в его душе. Каждую ночь она лежала рядом с ним, обнаженная, на ее руке неизменно поблескивал зеленовато-голубой браслет из металла Реардэна.

Она знала, каких мучений ему стоило расписываться в регистрационных журналах замызганных придорожных гостиниц — мистер и миссис Смит, — знала, как он ненавидел это. Иногда по плотно сжатым губам она замечала едва уловимое выражение злости на его лице, появлявшееся, когда он вписывал эти имена, столь естественные для той банальной лжи, к которой они вынуждены были прибегать, — злости на тех, из-за кого эта ложь стала неизбежной. Ей было безразлично понимающее лукавство гостиничной прислуги, словно подразумевавшее, что служащие и постояльцы являются соучастниками постыдного деяния, имя которому — стремление к наслаждению. Но Дэгни знала, что, когда они одни, когда он обнимает ее, это не имеет для него никакого значения; в такие минуты его глаза были живыми и безгрешными.

Они колесили по забытым людьми проселочным дорогам, минуя маленькие города, проезжая места, которых они давно не видели. Глядя на эти города, Дэгни ощущала тревогу — Прошло много дней, прежде чем она поняла, чего ей не хватает: вида свежей краски. Дома походили на людей в помятых костюмах, которые утратили всякое желание горделиво выпрямиться: карнизы напоминали опущенные плечи, ступеньки крылечек — разорвавшиеся швы, а разбитые окна — неряшливые заплатки. Люди на улицах глазели на новую машину не как на что-то редкостное, а так, словно блестящий черный силуэт был призрачным миражом из другого мира. Машин на улицах городов было очень мало, и большую часть их тащили за собой лошади. Дэгни уже забыла изначальный смысл словосочетания «лошадиная сила», и ей не нравилось видеть, как все это возвращается.

Она не рассмеялась, когда однажды на переезде местной железной дороги Реардэн усмехнулся, указав на доисторический паровоз, который, натужно пыхтя, выполз из-за



холма, выкашливая через длинную трубу клубы черного дыма.

— Боже мой, Хэнк, это не смешно!

— Я знаю, — ответил он.

От этого места их отделяли семьдесят миль — час пути, когда она сказала:

— Хэнк, ты можешь себе представить «Комету Таггарта», которую тащит через весь континент паровоз?

— Что с тобой, Дэгни? Возьми себя в руки!

— Извини... Просто я подумала, что все бесполезно, моя новая дорога и твои новые печи, если мы не найдем человека, который смог бы производить двигатели для локомотивов. Если мы не найдем его как можно быстрее.

— Тед Нильсен из Колорадо — вот человек, который тебе нужен.

— Да, если он найдет способ открыть новый завод. Он вложил больше денег, чем следовало, в акции «Джон Галт инкорпорейтэд».

— Но это оказалось весьма прибыльным капиталовложением, правда?

— Да, но он потерял время. Сейчас он готов взяться за дело, но не может найти станков. Их нигде не купить, нигде и ни за какие деньги. Он не получает ничего, кроме обещаний и отсрочек. Он перешерстил буквально всю страну в поисках старого оборудования с закрытых заводов, которое мог бы использовать. Если он в ближайшее время не начнет производство...

— Начнет.

— Хэнк, — вдруг сказала она, — мы не могли бы съездить в одно место?

— Конечно. Куда угодно. Где это?

— В штат Висконсин. Во времена моего отца там была крупная компания по производству двигателей. Наша железнодорожная ветка обслуживала ее, но лет семь назад, после закрытия завода, мы ее закрыли. По-моему, это одна из кризисных зон. Может быть, там осталось какое-нибудь оборудование, которое пригодились бы Теду Нильсену. Завод давно закрыт, там нет транспортного сообщения, — может быть, про него забыли.

— Мы найдем этот завод. Как он назывался?

— «Твентис сенчури мотор компани».

— Да, точно. Это была одна из лучших моторостроительных фирм в годы моей юности, пожалуй, самая лучшая. По-моему, они разорились каким-то странным образом... не помню, как именно.

Им потребовалось целых три дня, чтобы навести справки, но в конце концов они нашли заросшую и заброшенную дорогу и теперь ехали по отливающему золотом ковру из осенних листьев к «Твентис сенчури мотор компани».

— Хэнк, а вдруг что-нибудь случится с Тедом Нильсеном? — вдруг спросила Дэгни.

— Ас какой стати с ним должно что-то случиться?

— Не знаю... был же Дуайт Сандерс. Был и исчез. Компания «Юнайтэд локомотив» обречена, а другие заводы не в состоянии производить дизельные моторы. Я уже перестала выслушивать их обещания... А чего стоит железная дорога без двигателей?

— А чего стоит без них все остальное?

Листья деревьев сверкали, раскачиваясь на ветру. Играя огненными красками, они раскинулись на многие мили — кустарники, деревья. Казалось, они достигли своей цели и теперь торжествовали, пламенея несметным, нетронутым изобилием.

Реардэн улыбнулся:

— Все-таки в дикой природе что-то есть. Она начинает мне нравиться. Новая, никем не тронутая.

Дэгни весело кивнула:

— Хорошая земля — только посмотри, как все растет. Я бы расчистила эти кусты и построила здесь...

И вдруг улыбки исчезли с их лиц. В траве на обочине дороги они заметили ржавую цистерну и осколки стекла — все, что осталось от бензоколонки.

То, что когда-то было бензоколонкой, теперь поглотили кусты, а то, что еще можно было различить, лишь внимательно присмотревшись, должно было через год-другой полностью скрыться из виду.

Они отвернулись и поехали дальше. Им не хотелось знать, что еще поросло сорняком, раскинувшимся на много миль. Ехали молча; и Реардэн, и Дэгни удивлялись одному и тому же: как много всего поглотил сорняк и как быстро.

За холмом дорога резко оборвалась. От нее осталось лишь несколько островков бетона, торчавших из усеянной ямами и выбоинами длинной полосы смолы и грязи. Кто-то сорвал и увез практически все бетонное покрытие; на опустевшей полосе земли не хотела расти даже трава. Далеко на вершине холма, словно крест над огромной могилой, одиноко стоял покосившийся телеграфный столб.

Через три часа, тащась на самой малой скорости и проколов колесо, им удалось добраться до селения, находившегося за холмом с телеграфным столбом.

Внутри остова, бывшего когда-то индустриальным городком, все еще стояло несколько домов. Все, что могло двигаться, покинуло городок, но несколько человек все же остались. Пустые строения напоминали скелеты; их разрушило не время, а люди, которые поотрывали доски, кровлю, проломили дыры в опустошенные погреба. Создавалось впечатление, будто здесь вслепую хватали все, что отвечало потребности момента, даже не задумываясь о том, как жить завтра. Заселенные дома были беспорядочно разбросаны среди руин. Поднимавшийся из труб дым был единственным заметным движением в городе. На окраине стояла бетонная коробка — все, что осталось от школы. Она походила на череп — пустые глазницы, незастекленные окна и оборванные провода, свисавшие несколькими жиденькими волосками.

За городом, на отдаленном холме стоял завод «Твентис сенчури мотор компани». Стены, очертания крыш и трубы выглядели аккуратными и неприступными, как крепость. Могло показаться, что завод миновала участь городка, если бы не опрокинутая серебристая цистерна для воды.

На заросших деревьями склонах холмов не было никаких следов дороги, ведущей к заводу. Дэгни и Реардэн подъехали к дверям первого дома, из трубы которого, проявляя слабые признаки жизни, вилась тонкая струйка дыма. Дверь была открыта. На звук мотора, шаркая ногами, из дома вышла старая, сгорбленная, босая женщина, одетая в какое-то тряпье из мешковины. Она посмотрела на машину без тени удивления и любопытства, пустым взглядом существа, потерявшего способность чувствовать что-либо, кроме голода.

— Не могли бы вы объяснить, как проехать к заводу? — спросил Реардэн.

Женщина ответила не сразу; можно было подумать, что она не говорит по-английски.

— К какому заводу? — спросила она наконец.

— Вон к тому, — указал пальцем Реардэн.

— Он закрыт.

— Я знаю, что закрыт. Туда можно как-нибудь доехать

— Не знаю.

— Есть какие-нибудь дороги? — В лесу есть дороги.

— Есть такие, по которым можно проехать на машине?

— Может быть.

— А по какой дороге лучше всего проехать?

— Не знаю.

Через открытую дверь была видна обстановка дома, комнате стояла совершенно бесполезная газовая плита, духовка которой, забитая всяким тряпьем, служила комодом. В углу сутулилась каменная печь, в которой, подогревая старый чайник, тлело несколько поленьев. Вверх по стене тянулись длинные полосы копоти. На полу лежало что-то белое, придвинутое к ножкам стола: это оказался фарфоровый умывальник, оторванный от стены ванной комнаты в каком-то из домов. Раковина была доверху набита вялой капустой. На столе стояла бутылка с воткнутой в горлышко сальной свечой. От краски на полу не осталось

и следа; его выскобленные доски служили как бы зримым воплощением ноющих костей человека, который, низко склонившись, мыл и скреб, но все же проиграл сражение с грязью, намертво въевшейся в доски.

У дверей молча, по одному собрался выводок оборванных детей. Они глазели на машину не с присущим детям любопытством, а с настороженностью дикарей, готовых исчезнуть при первом же признаке опасности.

— Сколько отсюда миль до завода? — спросил Реардэн.

— Десять, — сказала женщина. — А может, пять.

— А до ближайшего поселка?

— Поблизости нет поселка.

— Но есть же где-то другие города. Они далеко?

— Да, где-то есть.

Рядом с домом на бельевой веревке, которой служил обрывок телеграфного провода, висело выцветшее тряпье. Трое цыплят грелись на грядках запущенного огорода. Четвертый съежился на насесте из водопроводной трубы. В гряде отбросов рылись двое поросят. Через жидкий навоз и грязь вела дорожка, вымощенная кусками бетонного покрытия автострады.

Издали донесся скрежет. Дэгни и Реардэн обернулись и увидели мужчину, достававшего воду из колодца. Они смотрели, как он медленно идет по улице, неся два ведра, которые казались слишком тяжелыми для его тонких рук. Трудно было сказать, сколько ему лет. Мужчина подошел и остановился, глядя на машину. Он украдкой посмотрел на чужаков и тотчас отвел взгляд, подозрительный и пугливый.

Реардэн вытащил десятидолларовую банкноту и протянул мужчине:

— Не могли бы вы показать нам дорогу к заводу? Мужчина с полным безразличием смотрел на деньги, не двигаясь, не проявляя никакого желания взять их, по-прежнему держа в руках ведро. Если в мире есть человек начисто лишенный алчности, подумала Дэгни, то он стоит передо мной.

— Нам здесь деньги ни к чему, — сказал мужчина.

— Разве вы не работаете, чтобы жить?

— Работаем.

— И что же вы используете в качестве денег?

Мужчина поставил ведро на землю, словно до него только сейчас дошло, что незачем надрываться, держа их в руках.

— Мы не пользуемся деньгами. Просто меняемся.

— А как вы обмениваетесь с жителями других мест?

— Мы не ходим в другие места.

— Похоже, вам здесь несладко приходится.

— А что вам до этого?

— Да ничего. Обыкновенное любопытство. Почему вы остались здесь?

— У моего отца здесь была бакалейная лавка. Только завод закрыли.

— Почему же вы не переехали?

— Куда?

— Куда угодно.

— Зачем?

Дэгни смотрела на ведра. Это были канистры для бензина с веревками вместо ручек.

— Послушайте, — сказал Реардэн, — вы не могли бы сказать, есть ли какая-нибудь дорога до завода?

— Туда много дорог.

— Есть такая, по которой можно проехать на машине?

— Наверное.

— Какая?

Мужчина некоторое время сосредоточенно обдумывал проблему:

— Если свернете у школы налево и проедете прямо до кривого дуба, то выедете на дорогу, которая ничего себе, если недели две не было дождя.

— Когда в последний раз шел дождь?

— Вчера.

— Есть другая дорога?

— Ну, если проехать через пастбища Хэнсона и дальше через лес, попадете на хорошую, твердую дорогу, которая ведет до самой реки.

— Через реку есть мост?

— Нет.

— Как еще можно проехать?

— Если вам нужна такая дорога, чтобы проехала машина, то лучше всего та, что позади участка Миллера. Она заасфальтирована, это самая лучшая дорога. Повернете у школы направо и...

— Но эта дорога не ведет к заводу?

— Нет, не ведет.

— Хорошо, спасибо, — сказал Реедэн. — Думаю, мы сами как-нибудь доедем.

Когда он включил стартер, в лобовое стекло врезался камень. Стекло, хоть и армированное, все же покрылось множеством трещин. Они увидели маленького оборванца, который, визжа от восторга, скрылся за углом, ему вторил хриплый детский смех, доносившийся откуда-то из-за руин.

Реедэн едва сдержал вырвавшееся было ругательство. Мужчина, слегка нахмурившись, скушаяще смотрел на другую сторону улицы. На лице старой женщины ничего не отразилось. Она стояла и смотрела молча, без интереса, без цели — так химические элементы на фотопластине впитывают изображение, но не могут хоть как-то осмыслить его.

Дэгни некоторое время пристально смотрела на нее. Тело женщины было совершенно бесформенным, но эта бесформенность вовсе не походила на неизбежный результат преклонного возраста: похоже, женщина была беременна. Это казалось невероятным, но, присмотревшись, Дэгни заметила, что на лице женщины нет морщин, а русые волосы ничуть не поседели. Лишь бессмысленный взгляд, сгорбленные плечи и шаркающая походка придавали ей вид маразматической старухи.

— Сколько вам лет? — спросила она, высунувшись из окна.

Женщина посмотрела на нее без негодования, с видом человека, услышавшего бессмысленный вопрос.

— Тридцать семь, — ответила она.

Они проехали пять кварталов, прежде чем Дэгни заговорила.

— Хэнк, — сказала она в ужасе, — эта женщина всего на Два года старше меня.

— Да.

— Боже мой, как они дошли до такого? Реедэн пожал плечами:

— Кто такой Джон Галт?

Последнее, что они увидели, выезжая из городка, был рекламный щит. Краска на нем давно облупилась, но все же можно было разобрать, что на щите рекламировалась стиральная машина.

В поле, далеко за пределами города, они увидели медленно движущуюся, обезображенную нечеловеческим напряжением фигуру: человек пахал землю плугом.

Проехав две мили, они через два часа добрались до завода «Твентис сенчури мотор компани». Поднявшись на вершину холма, они поняли, что все их усилия оказались напрасны. На воротах висел ржавый навесной замок, но стекла огромных окон были разбиты вдребезги, и завод был открыт всем и всему: суркам, кроликам и сухим листьям, кучами валявшимся внутри.

Завод давным-давно разграбили. Все оборудование и станки были вывезены цивилизованным способом — в бетонном полу остались лишь аккуратные отверстия от

креплений. Остальное растащили случайные визитеры. Внутри ничего не осталось, кроме хлама, который последний бродяга счел совершенно бесполезным, груды искореженного, ржавого железа, гнилых досок, осколков штукатурки и стекла — и стальная винтовая лестница, ведущая на крышу, построенная на века и выдержавшая испытание временем.

Они остановились в большом зале, куда через дыру в потолке пробивался косой луч света; гулкое эхо их шагов затихло где-то далеко в веренице пустых помещений. Из-за груды железа выпорхнула птица и, со свистом рассекая крыльями воздух, вылетела наружу.

— Надо осмотреть здесь все, так, на всякий случай, — сказала Дэгни. — Ты проверь цеха, а я осмотрю пристройки. И давай сделаем это как можно быстрее.

— Мне не нравится, что ты будешь бродить здесь одна. Не знаю, насколько надежны перекрытия и лестницы.

— Ерунда. Ничего со мной не случится. Давай поскорее покончим с этим. Я хочу уйти отсюда.

Проходя тихими, пустынными заводскими дворами, где над головой, словно геометрические линии, прочерченные на фоне неба, нависали стальные мостики, Дэгни испытывала единственное желание — не видеть всего этого, но заставляла себя смотреть. Это было все равно что делать вскрытие любимому человеку. Она шла, крепко стиснув зубы, окидывая взглядом все вокруг, словно бесстрастным прожектором. Она шла быстро — останавливаться не было необходимости.

В помещении, где когда-то размещалась лаборатория, ее внимание привлекла индукционная катушка, обмотанная проводом. Дэгни остановилась. Катушка торчала из кучи хлама. Она никогда раньше не видела такой катушки, и все же та показалась ей знакомой, словно затронула какие-то смутно-далекие воспоминания. Она попыталась вытащить катушку, но не смогла даже сдвинуть ее с места: похоже, это была лишь часть какого-то захороненного в куче хлама большого предмета.

Судя по всему, в свое время здесь действительно располагалась научно-исследовательская лаборатория, если Дэгни правильно поняла назначение того, что видела: множество электрических розеток, куски кабеля и свинцовой оплетки, встроенные в стену шкафчики с оторванными полками и дверцами. Весь пол был усеян битым стеклом, обрывками пожелтевшей бумаги, резины, пластмассы, обломками железа и темно-серыми осколками грифельной доски. На полу валялось и то, что не могли принести сюда хозяева бывшей лаборатории: пакетики от кукурузных хлопьев, бутылка из-под виски, брошюра какой-то секты.

Дэгни еще раз попыталась вытащить катушку, но все ее усилия оказались напрасны. Она встала на колени и принялась разгребать хлам.

Она вся перепачкалась и порезала ладони, когда наконец раскопала интересовавший ее предмет. Это оказались развороченные останки модели двигателя. Большею части деталей не доставало, но и того, что осталось, было вполне достаточно, чтобы получить представление о его форме и назначении.

Дэгни никогда не видела подобного двигателя или чего-нибудь похожего на него. Она не могла понять его необычной конструкции и назначения отдельных узлов.

Дэгни внимательно осмотрела окислившиеся трубки и необычные сочленения. Она пыталась угадать их назначение, перебирая в уме все известные ей типы двигателей и функции их узлов. Ничто не походило на эту модель. То, что она видела, напоминало электромотор, но она не могла определить, на какое топливо он был рассчитан.

Вырвавшийся из ее груди возглас изумления был похож на толчок, швырнувший ее на кучу хлама. Ползая на четвереньках, она рылась в мусоре, хватала каждую бумажку, отбрасывала в сторону и продолжала искать. Ее руки дрожали.

В конце концов ей повезло, и она нашла часть того, что надеялась найти: сухие, пожелтевшие, скрепленные вместе листы бумаги — описание двигателя. Начало и конец рукописи отсутствовали. Количество обрывков, оставшихся под скрепкой, свидетельствовало о том, что когда-то рукопись была значительно толще.

Стоя в пустом помещении бывшей генераторной станции завода, Репардэн услышал ее крик, прозвучавший как вопль ужаса:

— Хэнк!

Он побежал на голос. Дэгни стояла посреди лаборатории, зажав в руке пачку бумаг. Ее руки кровоточили, чулки порвались, а костюм покрылся толстым слоем пыли.

— Хэнк, на что это похоже? — спросила она, показав на лежавший у ее ног обломок развороченного двигателя. Она говорила как человек, испытавший страшное потрясение и отрезанный от реалий окружающего мира. — На что это похоже?

— Ты порезалась? Что случилось?

— Нет... Ничего страшного, не смотри на меня. Посмотри лучше сюда. Ты знаешь, что это такое?

— Что с тобой?

— Я в полном порядке. Мне пришлось выкопать его из кучи хлама.

— Ты вся дрожишь.

— Ты сейчас тоже задрожешь, Хэнк! Взгляни на это. Просто взгляни и скажи, что это, по-твоему, такое.

Репардэн бегло взглянул вниз, затем присмотрелся внимательней — через минуту он сидел на полу и пристально рассматривал лежавший у ее ног предмет.

— Интересно склепан моторчик, — сказал он нахмурившись.

— Прочитай вот это, — сказала Дэгни, протягивая ему рукопись.

Репардэн просмотрел листки и поднял на нее глаза.

— Боже мой! — только и смог произнести он.

Дэгни сидела на полу рядом с ним. Некоторое время они были не в состоянии говорить.

— Сначала я заметила катушку, — сказала Дэгни. У нее было такое ощущение, будто разум ее мчится вперед, и ей было трудно угнаться за всем тем, что, словно после яркой вспышки, открылось ее глазам, слова захлеб вылетали из нее одно за другим. — Я заметила катушку, потому что видела похожие чертежи, не совсем такие, но наподобие, давным-давно, когда училась в колледже. Я видела этот чертеж в одной старой книге, от него давно отказались как от невозможного, но мне нравилось читать все, что удавалось найти о двигателях для поездов. В книге говорилось, что в свое время люди пытались сконструировать такой двигатель, работали над этим, много лет экспериментировали, но не смогли решить этой проблемы и отказались от нее. Об этом забыл недолгие годы. Мне казалось, что современные ученые об этом и думать забыли. Но кто-то же вспомнил. Кто-то решил эту задачу. Сегодня, сейчас... Хэнк, ты понимаешь? Люди давным-давно пытались изобрести двигатель, который черпал бы из атмосферы статическое электричество, преобразовывал его и вырабатывал энергию. Это не удалось. От этой идеи отказались. — Она указала на обломки: — Но вот он, здесь.

Репардэн кивнул. Он не улыбался. Он сидел и смотрел на останки двигателя, погружившись в свои мысли; похоже, мысли эти были не очень-то радостными.

— Хэнк! Неужели ты не понимаешь, что это значит? Это же величайшая революция со времен изобретения двигателя внутреннего сгорания! Это отменяет все, что было прежде, — и раздвигает границы возможного! К черту Дуайта Сандерса и всех остальных! Кто захочет смотреть на дизели? Кто будет переживать из-за нефти, угля и бензоколонки? Ты понимаешь то, что понимаю я? Новенький электровоз размером в два раза меньше, чем дизельный локомотив, и в десять раз мощнее. Генератор, работающий на нескольких каплях горючего и обладающий безграничной мощностью. Самое чистое, быстрое, дешевое из когда-либо изобретенных средств передвижения. Ты представляешь, что это сделает с системой транспортировки и со всей страной всего за один год?

На лице Репардэна не было и тени возбуждения.

— Кто изобрел этот двигатель? Почему его бросили здесь? — медленно произнес он.

— Мы выясним это.

Репардэн задумчиво взвесил рукопись на ладони:

— Дэгни, если ты не найдешь человека, который изобрел этот двигатель, ты сможешь сама воссоздать его из того, что уцелело?

Дэгни долго молчала.

— Нет, — наконец сказала она упавшим голосом.

— И никто не сможет. У него был этот двигатель, и он работал, судя по тому, что здесь написано. Это величайшее творение из всего, что я когда-либо видел. Вернее, было им. Мы не сможем его воссоздать, для этого нужен столь же титанический ум, как у самого изобретателя.

— Я найду его, даже если мне придется ради этого все бросить.

— Если он еще жив.

В его голосе Дэгни услышала сомнение.

— Почему ты так говоришь?

— Потому что сомневаюсь в этом. Если бы он был жив, разве он оставил бы такое изобретение гнить в куче хлама? Если бы он был жив, у тебя уже давно были бы бестопливные локомотивы и тебе не пришлось бы искать его, потому что весь мир знал бы его имя.

— Я думаю, эту модель собрали не так давно. Реердэн посмотрел на рукопись и темную ржавчину двигателя.

— Лет десять назад, — сказал он. — Может, чуть больше.

— Мы должны найти его или кого-то, кто его знал. Это важнее, чем...

— ...чем все, что кому-либо принадлежит и кем-либо производится. Не думаю, что мы его найдем. А если не найдем, никто не сможет сделать то, что сделал он. Никто не сможет восстановить его двигатель. От него осталось слишком мало. Это всего лишь ключ, бесценный ключ, но, чтобы открыть им дверь, нужен ум, который рождается раз в столетие. Ты можешь себе представить, что современным конструкторам под силу сделать это?

— Нет.

— В стране не осталось первоклассных конструкторов. За многие годы в моторостроении не появилось ни единой новой идеи. Похоже, эта профессия попросту вымирает или уже вымерла.

— Хэнк, ты понимаешь, что значил бы этот двигатель, если его восстановить?

Реердэн усмехнулся:

— Я бы сказал, что он продлил бы жизнь каждого человека в этой стране лет этак на десять, если принять во внимание, насколько легче и дешевле стало бы производство товаров, сколько часов труда он бы освободил для другой работы и насколько больше труд каждого человека приносил бы ему. Локомотивы? А автомобили, корабли, самолеты, оснащенные таким двигателем? Тракторы? Электростанции? Все подсоединилось бы к безграничному источнику энергии, который нуждается лишь в нескольких каплях горючего, чтобы поддерживать работу конвертора. С помощью этого двигателя можно перевернуть мир. Он принес

. Збы электрическую лампочку в каждую Богом забытую дыру, даже в дома людей, которых мы видели внизу, в городе.

— Принес бы? Принесет! Я найду человека, который его изобрел.

— Попробуем.

Реердэн резко поднялся, посмотрел на разбитые останки мотора и сказал с невеселой усмешкой:

— Это был двигатель для линии Джона Галта. — Затем он заговорил непререкаемым тоном: — Прежде всего попытаемся найти, где здесь находился отдел кадров. Нужно просмотреть картотеку, если от нее что-то осталось. Необходимо узнать имена сотрудников лаборатории и инженеров. Не знаю, кому сейчас принадлежит завод, подозреваю, что найти владельцев будет очень трудно, в противном случае они не позволили бы довести дело до такого состояния. Затем вернемся в лабораторию и еще раз все там проверим. Позже откомандируем сюда наших инженеров. Пусть все здесь перероят.

Они направились к выходу, но в дверях Дэгни остановилась.

— Хэнк, этот двигатель был самой большой ценностью на заводе, — тихо сказала она. — Он был куда ценнее самого завода со всем оборудованием. Но его не забрали. Его оставили гнить в куче хлама.

— Именно это и пугает меня больше всего, — ответил Реардэн.

В бывшем отделе кадров они пробыли недолго. Они нашли его по табличке, все еще висевшей на двери, но, кроме таблички, там ничего не было: ни мебели, ни бумаг, лишь мелкие осколки стекла.

Реардэн и Дэгни вернулись в лабораторию. Ползая на четвереньках, они еще раз перебрали валявшийся на полу хлам. Нашлось очень немного: несколько листов бумаги, содержащих лабораторные заметки, не имевшие никакого отношения к рукописи, и несколько металлических обломков, которые могли быть частями двигателя, но были слишком малы, чтобы представлять какую-то ценность. Двигатель выглядел так, словно кто-то выдрал из него некоторые детали, надеясь найти им применение в быту. То, что осталось, было слишком необычным, чтобы кого-то заинтересовать.

Ползая на четвереньках, Дэгни чувствовала, что вся дрожит от бессильной ярости при виде оскверненной святыни. Она думала, что, может быть, сейчас, в эту минуту, чьи-то полотенца сушатся на натянутых вместо бельевой веревки проводах двигателя, что с помощью его валиков кто-то достает воду из колодца, а его цилиндр стоит на подоконнике в развалюхе подружки какого-нибудь пропойцы — горшком для герани.

К тому времени, как они закончили, уже стемнело.

Дэгни поднялась и оперлась на раму разбитого окна. Она почувствовала на лице прохладное прикосновение осеннего воздуха. Перед ней простиралось темно-синее вечернее небо. «С его помощью можно было бы перевернуть мир». Дэгни взглянула на мотор, затем снова взглянула в окно. Внезапно по ее телу пробежала дрожь, она уронила голову на руки и застонала, прижавшись к оконной раме.

— Что с тобой? — спросил Реардэн. Дэгни не ответила.

Реардэн подошел к ней и выглянул в окно.

Далеко внизу, на равнине, в сгущавшейся темноте ночи дрожало несколько слабых, бледных огоньков сальных свечей.

## Глава 10 Факел Эллиса Вайета

— Господи помилуй, мэм! — сказал клерк в бюро регистрации. — Никто не знает, кому сейчас принадлежит этот завод. И кажется, никогда не узнает.

Клерк сидел за столом в комнате первого этажа, куда редко заходили посетители, — стопки папок покрылись толстым слоем пыли. Он посмотрел на сверкающий автомобиль, припаркованный за окном на грязном пустыре, бывшем когда-то главной площадью процветающего окружного центра. Он смотрел на двух незнакомых посетителей с едва уловимым задумчивым удивлением.

— Почему? — спросила Дэгни.

Он беспомощно указал на груды бумаг, которые достал из папок:

— Кому принадлежит этот завод, должен решить суд, чего, как мне кажется, ни один суд не сможет сделать, даже если возьмется за это.

— Почему? Что случилось?

— Его продали, я имею в виду завод. Продали двум покупателям одновременно. Года два назад из-за этого разразился большой скандал, а сейчас... сейчас это всего лишь груды бумаги, ожидающая судебного разбирательства. Не знаю, каким образом и какой судья сможет распутать эту историю и определить, кому принадлежит право собственности — и какое-нибудь право вообще.

— Не могли бы вы рассказать поподробней, что именно произошло?



— Последним законным владельцем завода была Народная ипотечная компания из Рима, штат Висконсин. Это город, расположенный в стороне от завода, милях в тридцати на север. Эта ипотечная компания была крикливой лавочкой, которая на всех углах вопила о льготных кредитах. Компанию возглавлял Марк Йонтс. Никто не знал, откуда он взялся, и никто не знает, куда он делся, но на следующее утро после того, как Народная ипотечная компания обанкротилась, выяснилось, что Марк Йонтс продал завод «Твентис сенчури мотор» кучке паразитов из Южной Дакоты и одновременно отдал его в залог под займ, полученный от банка в Иллинойсе. После осмотра завода выяснилось, что он вывез все оборудование и продал его по частям неизвестно куда и Бог весть кому. Вот и получается, что сейчас завод принадлежит всем... и никому. Парни из Южной Дакоты, банк и адвокаты кредиторов Народной ипотечной компании — все подают в суд друг на друга, все заявляют о своих правах на этот завод, и никто не имеет права завезти туда хоть шестеренку, хотя сейчас и шестеренки днем с огнем не сыщешь.

— А Марк Йонтс действительно руководил заводом до того, как продал его?

— Господи, мэм, нет, конечно. Он из тех, кто никогда не работает. Он не хотел делать деньги, он хотел получать их. И похоже, получил их больше, чем можно было выжать из этого завода.

Клерк удивился, почему при его словах светловолосый, с суровым лицом мужчина, сидевший напротив него рядом с женщиной, нахмурившись, посмотрел в окно на машину — на большой завернутый в брезент и туго перевязанный веревками предмет, лежавший в открытом багажнике.

— А что случилось с документацией завода?

— Какой именно, мэм?

— Производственная документация, учетно-отчетные данные... документация отдела кадров.

— О, от этого ничего не осталось. Там все разграбили. Все претенденты на завод тащили оттуда мебель и прочее представлявшее хоть какую-нибудь ценность. Шериф опечатал ворота, но это их не остановило. Все бумаги и прочие подобные вещи скорее всего забрали бродяги из Старнсвилла. Это городок внизу, на равнине. Им там сейчас приходится туго. Скорее всего бумаги пошли на растопку.

— Здесь остался кто-нибудь из тех, кто работал на этом заводе? — спросил Реардэн.

— Нет, сэр. Все рабочие жили в Старнсвилле.

— Все? — прошептала Дэгни; она подумала о руинах. — И... инженеры тоже?

— Да, мэм. Все служащие жили в этом городке. Но они давно уехали.

— Может быть, вы помните имена кого-нибудь из тех, кто работал на этом заводе?

— Нет, мэм.

— Кто из предыдущих владельцев действительно управлял заводом? — спросил Реардэн.

— Не знаю, сэр. Там было столько проблем, завод много раз переходил из рук в руки после того, как умер старик Старнс. Он построил этот завод, да что завод, пожалуй, он своими руками создал всю эту часть страны. Он умер двенадцать лет назад.

— Вы можете назвать имена всех владельцев завода после его смерти?

— Нет, сэр. Года три назад в старом здании суда случился пожар и все документы сгорели. Не знаю, сможете ли вы сейчас это выяснить.

— А вы не знаете, у кого Марк Йонтс перекупил завод?

— Знаю. Он купил его у мэра Рима, Баскома. Как завод попал в руки Баскома, я не знаю.

— А где сейчас этот Баском?

— Все там же, в Риме.

— Большое спасибо, — сказал Реардэн. — Мы к нему заедем.

Они были уже в дверях, когда клерк спросил:

— Сэр, а что вы ищете?

— Мы ищем одного друга, — ответил Реардэн. — Друга, которого потеряли и который когда-то работал на этом заводе.

Мэр Баском сидел, откинувшись на спинку стула, на нем; была грязная рубашка, а очертания груди и живота напоминали грушу. На улице было душно и пыльно. Он махнул рукой, блеснув перстнем с большим низкокачественными топазом.

— Бесполезно, леди, совершенно бесполезно. Расспрашивая людей, вы только потеряете время. В городе не осталось никого из бывших рабочих завода и никого, кто что-нибудь помнил бы о них. Из города уехало столько народу, а те, что остались, ровно ничего собой не представляют и ничем не могут быть вам полезны. Можете мне поверить, ведь я мэр этой помойки.

Он предложил гостям сесть, но не возражал, когда леди предпочла стоять на пороге. Откинувшись на спинку стула, он пристально разглядывал ее; шикарная штучка, подумал он, но ведь и мужчина, что с ней, несомненно богат.

Дэгни стояла на пороге, глядя на улицы Рима. Она видела дома, тротуары, фонари, даже вывеску, рекламировавшую безалкогольные напитки. Но все выглядело так, словно город на волосок от участи, постигшей Старнсвилл.

— Нет, никакой заводской документации не осталось. Если вы ищете это, бросьте, не стоит стараться. Это все равно что гоняться за листьями во время урагана. Кому нужны эти бумаги? В такие времена, как сейчас, люди стремятся сберечь добротные материальные вещи. Ничего не поделаешь, приходится быть практичным.

Сквозь запыленные окна виднелась гостиная его дома: на деревянном полу лежали персидские ковры, в комнате стояли переносной бар, украшенный полосками хромированной стали, и дорогой радиоприемник, на крышке которого возвышалась старинная керосиновая лампа.

— Ну конечно, это я продал завод Марку Йонтсу. Марк был хорошим парнем, веселым и энергичным. Не спорю, он недостаточно чтит кодекс, но кто из нас без греха? Конечно, он зашел слишком далеко. Этого я от него не ожидал. Я думал, что он достаточно умен, чтобы оставаться в рамках закона — вернее, того, что от него осталось.

Мэр Баском улыбнулся, глядя на них с безмятежной отрешенностью. Во взгляде его сквозила хитрость, лишенная ума, а улыбка излучала добродушие, лишенное доброты.

— Не думаю, что вы, ребята, детективы, — сказал он, — но даже если и так, мне все равно. Взятки от Марка я не брал, а в свои дела он меня не посвящал. Где он сейчас, я не имею ни малейшего представления. — Он вздохнул. — Мне нравился этот парень. Жаль, что он уехал. Плевать на воскресные проповеди. Ему же надо было как-то жить. Он ничуть не хуже других, просто умнее. Кого-то на таких делах ловят, а кого-то нет, вот и вся разница... Нет, я не знаю, что он собирался делать с заводом. Конечно, он заплатил мне куда больше, чем стоила эта развалюха, и конечно, он оказал мне услугу, купив завод. Нет, я не оказывал на него никакого давления. Не было необходимости. Он, так сказать, был моим должником. Я несколько раз оказывал ему некоторую помощь. Знаете, есть такие законы, словно резиновые, и мэру вполне по силам слегка растянуть их для друга. А что, черт побери! Только так и можно разбогатеть в этом мире, вам это наверняка известно, — добавил он, взглянув на роскошный черный автомобиль.

— Вы рассказывали о заводе, — напомнил Реардэн, стараясь держать себя в руках.

— Вот кого я терпеть не могу, так это людей, которые разглагольствуют о принципах, — сказал Баском. — Принципами сыт не будешь. Единственное, что чего-то стоит в жизни, — это добротные материальные вещи. Тут уж не до теорий, когда все вокруг рушится. Вот я, к примеру, не собираюсь идти ко дну. Пусть они берут себе идеи, а я возьму завод. Мне не нужны идеи, я хочу три раза в день прилично питаться.

— Для чего вы купили этот завод?

— А для чего покупают бизнес? Чтобы выжать из него все что можно. Когда я вижу возможность сделать деньги, я ее не упускаю. Завод шел с молотка, и немногие изъявили

желание купить его. Поэтому он достался мне почти даром. Но у меня он тоже долго не задержался. Месяца через три я продал его Марку. Конечно, это была выгодная сделка, я вам уже говорил. Я здорово все провернул. Ни один крупный воротила не придумал бы ничего лучше.

— Завод работал, когда вы его купили?

— Нет, он был закрыт.

— Вы пытались его открыть?

— Только не я. Я человек практичный.

— Вы можете вспомнить хоть кого-нибудь, кто работал там?

— Нет. Никогда их не видел.

— Вы вывозили что-нибудь с завода?

— Хорошо, вам я скажу. Я там все осмотрел, и мне понравился стол старика Старнса. В свое время он был очень важной шишкой. Прекрасный стол добротного красного дерева. Я отвез его к себе домой. Еще у одного начальника, сейчас уже не помню у кого, в туалете была душевая со стеклянной дверью, на которой была вырезана русалка. Настоящее произведение искусства, к тому же очень эротичная, скажу я вам, зажигает похлеще любых картинок. Так вот, душевую я тоже перевез домой. В конце концов, что в этом такого? Это же был мой завод. Я имел право забрать оттуда все ценное.

— А кто обанкротился? Кому до вас принадлежал завод?

— О, разорился Народный общедоступный банк в Мэдисоне. Господи, какой это был крах! Банкротство этого банка чуть не погубило весь Висконсин, а уж эту часть штата точно доконало. Одни говорят, что завод разорил банк, другие утверждают, что завод был лишь последней каплей, потому что у Народного банка были совершенно безрассудные, убыточные вложения в трех или четырех штатах. В те времена банком руководил Юджин Лоусон. Его еще называли банкиром с сердцем. Два-три года назад он был очень популярной личностью в этих краях.

— А Лоусон управлял заводом?

— Нет. Он лишь вложил в него кучу денег, значительно больше, чем можно было выжать из этой старой свалки. Когда завод закрылся, Лоусон окончательно пошел ко дну. Через три месяца банк разорился. — Баском тяжело вздохнул. — Это был жестокий удар для жителей окрестных городов. Все они хранили свои сбережения в этом банке.

Мэр Баском с сожалением посмотрел на город. Он указал пальцем на другую сторону улицы, где седая уборщица, с трудом ползая на коленях, отмывала ступеньки крыльца.

— Видите вон ту женщину? У ее мужа был магазин тканей. Они были зажиточными, уважаемыми людьми. Ее муж проработал всю жизнь, чтобы обеспечить ей безбедную старость, и к тому времени, когда он умер, она была довольно состоятельной женщиной — только все деньги хранились в Народном общедоступном банке.

— А кто управлял заводом, когда он закрылся?

— А, была такая шустрая корпорация. Называлась «Всеобщий сервис». Так, мыльный пузырь. Появилась из ничего, в ничто и превратилась.

— А где сейчас члены этой корпорации?

— А куда деваются брызги лопнувшего мыльного пузыря? Сыщи их теперь!

— А где сейчас Юджин Лоусон?

— Вот с Лоусоном все в порядке. Он сейчас работает в Вашингтоне, в Отделе экономического планирования и национальных ресурсов.

В порыве гнева Реардэн резко поднялся, но взял себя в руки.

— Спасибо за информацию, — сказал он.

— Не за что, друг мой, не за что, — безмятежно отозвался Баском. — Не знаю, чего вы добиваетесь, но послушайте моего совета, бросьте вы это. От этого завода теперь никакого толку.

— Я же вам сказал, мы ищем одного друга.

— Что ж, пусть будет так. Должно быть, очень хороший друг, раз уж вы пошли на

такие хлопоты, чтобы найти его, вы и очаровательная леди, которая вам не жена.

Дэгни увидела, как лицо Реардэна мертвецки побледнело, так, что невозможно было различить даже губы.

— Закрой свой грязный... — начал было он, но Дэгни встала между ними.

— Почему вы решили, что я не его жена? — спокойно спросила она.

Баском был очень удивлен реакцией Реардэна. Он бросил это замечание без злого умысла, просто как мошенник, демонстрирующий свою проницательность сообщникам.

— Леди, я многое повидал на своем веку, — добродушно ответил он. — Супруги не смотрят друг на друга так, словно у них на уме спальня. В этом мире вы либо добродетельны, либо наслаждаетесь жизнью. Одно из двух, леди, одно из двух.

— Я задала ему вопрос, — сказала Дэгни, обращаясь к Реардэну как раз вовремя, чтобы помешать ему заговорить, — он дал мне исчерпывающее объяснение.

— Хотите совет, леди? — сказал Баском. — Купите дешевое обручальное кольцо и носите его. Это, конечно, не стопроцентная гарантия, но все же помогает.

— Спасибо, — сказала Дэгни. — До свидания.

Строгие, подчеркнуто спокойные нотки в ее голосе прозвучали как приказ, что заставило Реардэна молча последовать за ней к машине.

Они были уже далеко от города, когда он, не глядя на нее, тихо, с отчаянием сказал:

— Дэгни, Дэгни, Дэгни... мне очень жаль, что так вышло.

— А мне нет.

Через некоторое время, когда к нему вернулось самообладание, она сказала:

— Никогда не сердись на человека за то, что он говорит правду.

— Эта правда не его дело.

— Но и то, что он о ней думает, не наше дело.

Ответ прозвучал как единственная мысль, терзавшая разум Реардэна и помимо его воли вылившаяся в слова. Он процедил сквозь зубы:

— Я не смог защитить тебя от этого низкого, ничтожного...

— Я не нуждалась в твоей защите. Реардэн молчал. Он не смотрел на нее.

— Хэнк, когда сможешь сдерживать гнев, завтра или через неделю, вспомни объяснение этого человека и подумай, согласен ли ты с ним.

Реардэн посмотрел на нее, но ничего не сказал. После долгого молчания он заговорил — лишь для того, чтобы сказать ровным, усталым голосом:

— Мы не можем позвонить в Нью-Йорк и откомандировать наших инженеров осмотреть завод. Не можем их встретить. Не можем придать огласке то, что вместе нашли этот двигатель. Там... в лаборатории... я совсем забыл об этом.

— Нужно найти телефон, и я позвоню Эдди. Он пришлет сюда двоих инженеров компании. Я здесь одна, провожу свой отпуск. Это все, что они узнают. И больше им ничего знать не обязательно.

Они проехали целых двести миль, прежде чем нашли междугородный телефон. Эдди Виллерс вскрикнул, услышав ее голос:

— Дэгни, слава Богу! Где ты?

— В Висконсине. А что?

— Я не знал, как с тобой связаться. Тебе надо немедленно приехать. Как можно быстрее.

— Что случилось?

— Пока ничего. Но здесь такое творится... Надо немедленно их остановить, если это в твоих силах. Если их вообще кто-нибудь сможет остановить.

— Эдди, что происходит?

— Ты что, не читала газет? — Нет.

— Я не могу всего объяснить по телефону. Не могу изложить тебе подробности. Дэгни, ты решишь, что я сошел с ума, но мне кажется, они собираются уничтожить Колорадо.

— Я немедленно возвращаюсь.

Врезанные в гранит Манхэттена, под терминалом «Таггарт трансконтинентал» простирались многочисленные тоннели, которые когда-то, во времена, когда движение непрерывным грохочущим потоком протекало по всем артериям терминала, использовались как запасные пути. Со временем, с уменьшением интенсивности движения, запасные тоннели забросили, как высохшие устья рек.

Дэгни спрятала останки двигателя в подвале одного из тоннелей; в этом подвале когда-то размещался запасной электрогенератор, на случай аварии. Но его давно оттуда убрали. Дэгни не доверяла бездарным юнцам из научно-исследовательского отдела компании. В «Таггарт трансконтинентал» работало лишь двое талантливых инженеров, которые могли по достоинству оценить ее находку. Она посвятила их в свою тайну и направила в Висконсин еще раз обследовать завод. Затем она спрятала двигатель там, где никто не мог бы его обнаружить.

Когда рабочие отнесли двигатель в подвал и разошлись, Дэгни собралась было последовать за ними и закрыть стальную дверь, но внезапно остановилась, держа ключи в руке, словно тишина и одиночество подтолкнули ее к проблеме, беспокоившей ее все эти дни, и сейчас настало время принять решение.

Ее личный вагон ожидал у одной из платформ терминала, прицепленный к хвосту поезда, который должен был через несколько минут отбыть в Вашингтон. Дэгни договорилась о встрече с Юджином Лоусоном, но решила отложить ее, чтобы что-то предпринять против того, что обнаружила по возвращении в Нью-Йорк, против того, с чем Эдди умолял ее бороться.

Она не видела никаких способов борьбы, никаких правил, никакого оружия. Беспомощность оказалась для Дэгни странным, новым, неведомым ей прежде чувством. Ей никогда раньше не было трудно обратиться лицом к проблеме и принять решение. Но сейчас она столкнулась с чем-то неопределенным — с туманом, бесформенным туманом, в котором что-то постоянно вырисовывалось и исчезало, прежде чем это удавалось рассмотреть, как сгустки грязи в вязкой жиже. Словно она боковым зрением смутно видела приближение катастрофы, но не могла сменить угол зрения и рассмотреть, что ей угрожает.

Профсоюз машинистов требовал, чтобы максимальная скорость движения поездов по линии Джона Галта была снижена до шестидесяти миль в час. А профсоюз проводников и тормозных кондукторов выдвинул требование сократить длину составов до шестидесяти вагонов.

Штаты Вайоминг, Нью-Мексико, Юта и Аризона требовали, чтобы количество поездов, перегоняемых в Колорадо, не превышало аналогичные показатели в каждом из соседних штатов.

Группа промышленников под предводительством Орена Бойла требовала принятия закона, который ограничил бы производство металла Реардэна до уровня выработки других сталелитейных заводов, соразмерно производственной мощности.

Другая группа, возглавляемая Моуэном, требовала принятия закона, обуславливавшего право каждого желающего на равную для всех долю поставок металла Реардэна.

Группа под предводительством Бертрама Скаддера требовала принятия закона об общественной стабильности, который запретил бы фирмам Восточного побережья покидать пределы своих штатов.

Висли Мауч, директор Отдела экономического планирования и национальных ресурсов, делал одно за другим заявления, определить содержание и цель которых было просто невозможно; в каждом абзаце были такие слова, как «чрезвычайные полномочия» и «несбалансированная экономика».

— Дэгни, по какому праву? — спросил Эдди Виллерс. Его голос прозвучал спокойно, но слова походили на крик. — По какому праву они это делают?

Дэгни явилась в кабинет Джеймса Таггарта и сказала:

— Джим, я свое сражение выиграла. Теперь твоя очередь. Ты, должно быть, спец там,

где приходится иметь дело с бандитами. Останови их.

— Ты же не думаешь, что экономикой страны будут управлять в угоду тебе одной? — сказал Таггарт, не глядя на нее.

— Мне нет никакого дела до экономики страны. Я хочу одного: чтобы твои приятели, ведающие экономикой страны, оставили меня в покое. Я должна руководить железной дорогой, и я прекрасно знаю, что случится с твоей национальной экономикой, если разорится моя дорога.

— Не вижу никаких причин для паники.

— Джим, неужели я должна объяснять тебе, что доходы от Рио-Норт — это все, что у нас есть, все, что может спасти нас от банкротства? Неужели ты не понимаешь, что сейчас нам дорог каждый цент, каждый килограмм груза?

Таггарт не ответил.

— Когда нам нужна каждая лошадиная сила каждого нашего локомотива, когда у нас недостаточно дизелей, чтобы обеспечить для Колорадо тот уровень транспортных услуг, в которых нуждается штат, — что случится, если мы снизим скорость движения и уменьшим длину составов?

— Ну, знаешь, профсоюзы тоже можно понять. Они считают, что несправедливо устанавливать такую высокую скорость на Рио-Норт, в то время как многие железные дороги закрываются и огромное число железнодорожников остается без работы. Они считают, что скорость нужно снизить, чтобы было больше поездов и, соответственно, больше рабочих мест. Они считают несправедливым, что только мы имеем прибыль от новой линии. Они хотят получить свою долю.

— Кто хочет получить свою долю? В уплату за что? Таггарт не ответил.

— Кто покроет затраты на два состава, выполняющие работу одного? Где ты возьмешь локомотивы и вагоны?

Таггарт не ответил.

— Что будут делать твои профсоюзы после того, как уничтожат «Таггарт трансконтинентал»?

— Я намерен самым решительным образом защищать интересы нашей компании.

— Как?

Таггарт не ответил.

— Как — если вы уничтожите Колорадо?

— Мне кажется, что прежде чем дать некоторым возможность расширить производство, мы должны позаботиться о тех, кто нуждается хоть в какой-то поддержке, чтобы выжить.

— Если вы уничтожите Колорадо, что останется твоим чертовым бандитам? За счет чего они собираются выжить?

— Ты всегда препятствовала любым прогрессивным социальным мерам. Помнится, ты предсказывала катастрофу, еще когда мы приняли резолюцию «Против хищнической конкуренции». Но катастрофы не последовало.

— Потому что я спасла вас, безмозглые дураки! Я уже не смогу повторить это.

Не глядя на нее, Таггарт пожал плечами. — А если не я, то кто же вас спасет?

Таггарт не ответил.

Здесь, под землей, все это казалось нереальным. Думая об этом сейчас, Дэгни знала, что не сможет участвовать в начинаниях Джима. Она ничего не могла предпринять против людей с неопределенными мыслями, неизвестными мотивами, непонятными целями и шаткой моралью. Ей нечего было им сказать — они ничего не услышали бы и ничего не ответили. Какое оружие может быть там, где разум им уже не является? — думала она. Туда ей нет пути. Она вынуждена оставить это Джиму и уповать на его личную заинтересованность. В сознании Дэгни смутно промелькнула жутковатая мысль: а ведь личной заинтересованности у Джима как раз и нет.

Она посмотрела на лежавшие перед ней обломки двигателя. Где он, человек, который его изобрел? Эта мысль внезапно пронеслась у нее в голове, словно крик отчаяния. Ей вдруг страшно захотелось найти его, опереться на его плечо, чтобы он сказал, что ей делать. Человек такого титанического ума знал бы путь к победе.

Дэгни огляделась вокруг. В чистом, рациональном мире подземных тоннелей не было ничего важнее, чем задача найти человека, который создал этот двигатель. «Надо ли откладывать поиски ради того, чтобы спорить с Ореном Бойлом, пытаться переубедить Моуэна и Скаддера?» — думала Дэгни. Она представила себе двигатель смонтированным и установленным на локомотиве, который со скоростью двести миль в час вел за собой по полотну из металла Реардэна состав из двухсот вагонов. Если в ее силах сделать это видение явью, стоит ли торговаться из-за каких-то шестидесяти вагонов и шестидесяти миль в час? Она не могла унизиться до такого существования, ее разум взорвался бы от постоянного давления, от принуждения держаться в границах бездарности. Она не могла жить по правилу: не торопись, поостынь, постой, не старайся сделать все, что в твоих силах, это никому не нужно.

Полная решимости, Дэгни повернулась и вышла из подвала. Она уже не колебалась, ехать ли ей в Вашингтон.

Когда она закрывала стальную дверь, ей послышалось слабое эхо шагов. Она посмотрела влево, потом вправо. В тоннеле никого не было. Дэгни увидела лишь полосы голубого света, блеск на сырых гранитных стенах.

Реардэн не мог бороться с группировками, требовавшими принятия законов. Он стоял перед выбором: либо драться, либо работать. Он должен был выбрать что-то одно. И на то и на другое у него не хватало времени.

Вернувшись в город, он обнаружил, что ожидавшаяся по графику партия железной руды не доставлена. От Ларкина не поступило никаких объяснений. Реардэн вызвал его к себе, но Ларкин явился тремя днями позже назначенного срока, не соизволив даже извиниться. Плотн сжав губы, с видом оскорбленного достоинства он сказал, не глядя на Реардэна:

— В конце концов, ты не имеешь права приказывать людям сломя голову бежать к тебе, когда тебе вздумается.

— Почему не доставлена руда? — медленно выговаривая слова, спросил Реардэн.

— Я решительным образом отказываюсь терпеть оскорбления за то, что произошло совершенно не по моей вине. Я могу управлять рудником не хуже тебя, ничуть не хуже. Я делал то же, что и ты. Не знаю, почему в самый неожиданный момент что-то всегда не ладится. Меня нельзя в этом обвинять.

— Кому ты отправил руду в прошлом месяце?

— Я собирался отправить тебе твою долю, честно собирался, но что я мог поделать, если в прошлом месяце мы потеряли целых десять дней из-за этих проклятых дождей, которые шли по всей Северной Миннесоте. Я намеревался отправить тебе руду, и ты не имеешь права обвинять меня, мои намерения были абсолютно честны.

— Если остановится одна из моих печей, я смогу снова запустить ее, загрузив вместо руды твои намерения?

163ак. 3— Поэтому никто и не хочет иметь дела с тобой — ты бесчеловечен.

— Я узнал, что последние три месяца ты перевозишь руду не по озеру, а по железной дороге. Почему?

— Знаешь, я, в конце концов, имею право вести дела так, как считаю нужным.

— Почему ты пошел на большие расходы?

— А какая тебе разница? Не ты же их оплачиваешь.

— А что ты будешь делать, когда обнаружишь, что перевозить руду по железной дороге для тебя слишком дорого, а водных перевозок благодаря тебе больше не существует?

— Я не уверен, что ты поймешь какие-то доводы, кроме денежных, но некоторые серьезно относятся к своему гражданскому и патриотическому долгу.

— Какому?

— Я считаю, что такая железная дорога, как «Таггарт трансконтинентал», является жизненно важной для благосостояния нации, и мой общественный долг — поддерживать убыточную ветку Джима Таггарта в Миннесоте.

Реардэн перегнулся через стол. Он начал понимать последовательность звеньев той цепочки, о которой раньше не задумывался.

— Кому ты в прошлом месяце отправил руду? — ровным голосом спросил он.

— В конце концов, это мое личное дело, я не обязан...

— Орону Бойлу, да?

— Неужели ты считаешь, что мы должны пожертвовать сталелитейной промышленностью всей страны в угоду твоим эгоистичным интересам и...

— Вон отсюда, — не повышая голоса, сказал Реардэн. Ему все стало ясно.

— Не пойми меня превратно, я вовсе не хотел сказать...

— Вон. Ларкин вышел.

Затем последовали дни и ночи, когда Реардэн вел телефонные переговоры, рассылал телеграммы, летал самолетом по всему континенту в поисках рудников — заброшенных или тех, которые вот-вот закроют. Дни и ночи напряженных экстренных совещаний, проводившихся в грязных, неосвещенных, забытых Богом забегаловках. Судя лишь по лицу, манерам и голосу человека, Реардэну приходилось решать, может ли он рискнуть и вложить в него деньги. Ему была ненавистна мысль, что он вынужден надеяться на честность как на некое благодеяние. Он передавал большие суммы денег в руки незнакомых людей взамен на ничем не подкрепленные обещания, без всяких расписок и документов ссужая их владельцам полуразорившихся рудников. Деньги передавались украдкой, как между преступниками, они выливались в не имеющие законной силы контракты, и обе стороны понимали, что в случае мошенничества наказан будет не тот, кто обманул, а тот, кого обманули. Все это он делал для того, чтобы питать рудой свои печи, чтобы из печей непрерывным потоком тек белый расплавленный металл.

— Мистер Реардэн, если вы будете продолжать в том же духе, как вы собираетесь получать прибыль? — спросил его как-то начальник отдела закупок.

— Мы все компенсируем на тоннаже, — устало сказал Реардэн. — У нас неограниченный рынок.

Начальник отдела закупок был пожилым мужчиной с седеющими волосами и сухощавым лицом, который, как говорили, был предан одной цели: выжать все до последнего из каждого цента.

Не сказав больше ни слова, он стоял у рабочего стола Реардэна и, прищурившись, смотрел на хозяина своими суровыми, холодными глазами. Это был взгляд глубочайшего сочувствия, который Реардэн когда-либо видел в своей жизни.

Другого пути нет, думал Реардэн, как он думал уже много дней и ночей подряд. Он не знал другого оружия — только платить за то, чего он хотел, мерой за меру, ничего не просить от природы, не предлагая взамен свои усилия, ничего не требовать от людей, не расплатившись с ними продуктом своих усилий. Как можно действовать, если этот принцип больше не работает? — думал Реардэн.

— Вы говорите, неограниченный рынок, мистер Реардэн? — сухо переспросил начальник отдела закупок.

Реардэн посмотрел на него.

— Наверное, я не настолько умен, чтобы проворачивать сделки, как диктуют обстоятельства, — сказал он в ответ на его невысказанную мысль.

Тот отрицательно покачал головой:

— Нет, мистер Реардэн. Тут уж или одно, или другое. Вы либо стоящий бизнесмен, либо удачливый политик. В одном человеке это несовместимо.



— Может быть, мне стоит научиться играть по их правилам?

— У вас это не получится, и это не пойдет вам на пользу. Неужели вы не понимаете? Вы — человек, у которого бандитам есть что отнять.

Оставаясь один. Реардэн ощущал приступы уже знакомой слепящей ярости, короткие и внезапные, как удар током, — ярости, вспыхивавшей от осознания, что он не может победить зло — откровенное, преднамеренное зло, которое не имело и не искало себе никакого оправдания. Но когда у него появлялась решимость драться и защитить себя, когда возникало чувство, что, если он убьет это зло, правда будет на его стороне, перед его глазами вставала оплывшая, усмехающаяся физиономия мэра Баскома и он слышал его тягучий голос: «...вы и очаровательная леди, которая вам не жена».

И от его правоты не оставалось и следа, а боль благородной, ярости превращалась в постыдную боль покорности. Он не имел права никого обвинять, не имел права драться и умереть радостно, с гордо поднятой головой, как человек, погибающий за благое дело. Невыполненные обещания, тайные желания, предательство, обман, ложь — он был виноват во всем. Имел ли он право презирать какую бы то ни было форму порочности? Степень не имеет значения, думал он, о степени зла не торгуются.

Повалившись на стол и думая о том, что не может больше считать себя честным человеком, думая о чувстве справедливости, которое он утратил, Реардэн не знал, что именно его непоколебимая честность и беспощадное чувство справедливости выбили сейчас из его рук его единственное оружие. Он будет драться с этими бандитами, но его пыл и ярость исчезли. Он будет драться, но всего лишь как один отъявленный негодяй против других. «Кто я такой, чтобы бросить первый камень?» Он не произнес этих слов, но терзавшая его страшная боль была их эквивалентом.

Дэгни, думал он, Дэгни, если это цена, которую я должен заплатить, я ее заплачу... Он по-прежнему оставался предпринимателем в истинном смысле слова, то есть не знал никаких других законов, кроме как сполна платить за все свои желания.

Было уже поздно, когда он пришел домой и, стараясь не шуметь, быстро проскользнул вверх по лестнице к себе в спальню. Он ненавидел себя за то, что вынужден делать это крадучись, как вор, но это повторялось практически изо дня в день вот уже много месяцев. Он сам не знал, почему лица родных стали ему противны. Не смей ненавидеть их за свои грехи, говорил он себе, но смутно осознавал, что не в этом кроется источник его ненависти.

Он закрыл за собой дверь спальни, словно беглец, на мгновение спрятавшийся от преследователей. Раздеваясь перед сном, Реардэн ходил по комнате осторожно: он не хотел, чтобы какой-нибудь звук выдал его присутствие, не хотел, чтобы родные хотя бы подумали о нем.

Он надел пижаму и остановился, чтобы прикурить сигарету, когда дверь спальни открылась. Единственный человек, который имел право войти к нему без стука, никогда не изъяслял такого желания, поэтому, прежде чем Реардэн понял, что в дверях стоит его жена, он некоторое время смотрел на нее тупым, невидящим взглядом. На ней было одеяние в стиле ампира цвета светлого шартреза. Плиссированная юбка изящно спадала с высокой талии. С первого взгляда нельзя было определить, то ли это вечернее платье, то ли negligée. Лилиан остановилась на пороге. Ее освещенная сзади фигура выглядела очень привлекательно.

— Я знаю, что не должна представляться незнакомому человеку, — мягко сказала Лилиан, — но мне придется это сделать: я — миссис Реардэн.

Он не понял, что прозвучало в ее словах: сарказм или мольба.

Она вошла и небрежным царственным жестом, жестом хозяйки закрыла за собой дверь.

— В чем дело, Лилиан? — тихо спросил Реардэн.

— Дорогой, нельзя так грубо и откровенно выдавать свои чувства. — Лилиан неторопливо пересекла комнату и села в кресло. — Ты же ясно дал понять, что я должна предъявить веские причины, чтобы отнять у тебя время. Может быть, мне лучше договориться о встрече через твоего секретаря?

Реардэн стоял посреди спальни с сигаретой во рту, не изъявляя никакого желания отвечать на ее вопрос. Лилиан рассмеялась:

— Причина моего визита столь необычна, что, я уверена, она никогда не пришла бы тебе в голову: одиночество, дорогой. Не мог бы ты бросить несколько минут своего драгоценного внимания бедной нищенке? Ты не возражаешь, если я останусь здесь просто так, без всякой формальной причины?

— Нет, не возражаю, — тихо сказал Реардэн. — Оставайся, если хочешь.

— У меня нет ничего важного, чтобы обсудить с тобой, — ни миллионных заказов, ни трансконтинентальных сделок, ни рельсов, ни мостов. Я не хочу говорить даже о политическом положении. Я просто хочу поболтать, как обыкновенная женщина, об абсолютно тривиальных вещах.

— Я тебе этого не запрещаю и ничего не имею против.

— Генри, чтобы остановить меня, нет способа лучше, чем этот, не так ли? — В ее голосе прозвучала трогательно-беспомощная откровенность. — Что я могу сказать после этого? Предположим, я хотела рассказать тебе о новом романе, который пишет Боульф Юбенк. Он посвящен мне. Это бы тебя заинтересовало?

— Если ты хочешь знать правду — ничуть. Лилиан рассмеялась:

— А если я не хочу ее знать?

— Тогда я не знаю, что тебе сказать, — ответил Реардэн и почувствовал, как от внезапного прилива крови у него застучало в висках. Он вдруг осознал двойную низость лжи, изреченной во имя честности. Он произнес это с искренностью, но подразумевая то, чем он не имел больше права гордиться. — А зачем тебе неправда?

— Вот в этом-то и состоит жестокость честных людей. Ведь ты бы меня не понял, если бы я сказала, что истинная самозабвенная любовь состоит в готовности солгать, обмануть для того, чтобы сделать другого человека счастливым, чтобы создать для него ту реальность, которую он ищет, если ему не нравится та, в которой он живет. Ведь не понял бы?

— Нет, — медленно сказал Реардэн, — не понял бы.

— Все очень просто. Если ты говоришь прекрасной женщине, что она прекрасна, что ты ей даешь? Это не более чем факт, и он тебе ничего не стоил. Но если ты говоришь уродливой женщине, что она прекрасна, ты оказываешь ей величайшую честь, поправ и извратив само понятие красоты. Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это. Это плата, а не дар. А вот любить женщину за ее пороки — это и есть настоящий дар, потому что она не заслуживает этого. Любить ее за ее пороки значит осквернить ради нее все понятия о добродетели, и это является истинной данью любви, потому что ты приносишь в жертву свою совесть, свой разум, свою честность и свое неоценимое самоуважение.

Реардэн непонимающе посмотрел на нее. В том, что она сказала, прозвучала какая-то чудовищная порочность, исключавшая самую возможность задаваться вопросом, может ли человек говорить подобное всерьез. Его интересовало только одно: зачем она говорила все это?

— А что же тогда любовь, если не самопожертвование, дорогой? — непринужденно, тоном светской беседы продолжала Лилиан. — Что же тогда самопожертвование, если не принесение в жертву того, чем человек больше всего дорожит и что представляет для него наибольшую значимость? Но я не думаю, что ты это поймешь. Только не такой безупречный, стальной пуританин, как ты. В этом как раз и состоит безграничный эгоизм пуритан. Скорее небо упадет на землю, чем ты позволишь запятнать свое безупречное Я хоть чем-то, за что тебе было бы стыдно.

— Я никогда не считал себя безупречным, — медленно произнес Реардэн. Его голос прозвучал странно натянуто и серьезно.

Лилиан рассмеялась:

— А разве сейчас ты себя ведешь не безупречно? Ведь ты же честно ответил на мой вопрос. — Она пожала плечами. — О, дорогой, не воспринимай меня всерьез. Я просто

болтаю.

Рearдэн затушил сигарету о пепельницу; он ничего не ответил.

— Дорогой, на самом деле я пришла лишь потому, что все время думала, будто у меня есть муж, и захотела узнать, как он выглядит.

Рearдэн стоял посреди спальни. Однотонная темно-синяя пижама подчеркивала стройность его фигуры. Сидя в кресле, Лилиан пристально смотрела на него.

— Ты очень хорош собой. Последние несколько месяцев ты выглядишь намного лучше, — сказала она. — Моложе. Пожалуй, даже счастливее, а? Ты менее напряжен. О, я знаю, у тебя сейчас забот как никогда, и ты действуешь, как командир во время авиабомбежки. Но это касается лишь внешней стороны. Ты менее напряжен внутренне.

Рearдэн удивленно посмотрел на нее. Лилиан была права. Он и сам этого не знал, вернее, не сознавался себе в этом. Он был очень удивлен ее наблюдательностью. В эти последние месяцы Рearдэн виделся с женой крайне редко. Он не входил в ее спальню с тех пор, как вернулся из Колорадо. Он думал, что Лилиан одобрит их разобщенность. Сейчас же он спрашивал себя, что сделало ее столь чувствительной к произошедшей в нем перемене, — если, конечно, причиной было не то чувство, на которое, как он думал, она была не способна.

— Я этого не чувствую.

— Дорогой, это очень тебе к лицу, и... это удивительно, поскольку ты сейчас переживаешь такие трудные времена. — Лилиан сделала паузу, словно ожидая ответа, но, немного помолчав, продолжила все тем же непринужденным тоном: — Я знаю, что сейчас у тебя на заводе появилась масса проблем, к тому же и политическая ситуация принимает угрожающий оборот, не так ли? Для тебя будет жестоким ударом, если они примут все законопроекты, о которых сейчас говорят. Так ведь?

— Да, так. Но мне кажется, Лилиан, для тебя эта тема не представляет никакого интереса.

— Да нет же, как раз наоборот. Эта тема меня очень даже интересует... Хотя и не из-за возможных финансовых потерь.

Лилиан подняла голову и посмотрела на Рearдэна. В ее глазах он увидел то почти неуловимое выражение, которое замечал и раньше, — выражение преднамеренной таинственности и уверенности в его неспособности разобраться, что за этим выражением кроется.

Он впервые задумался, не была ли ее язвительность, ее саркастичность, ее малодушная манера наносить оскорбления под покровом улыбки чем-то полностью противоположным тому, чем он всегда их считал, — не способом пытки, а формой отчаяния, не желанием причинить ему страдания, а признанием в собственной боли, защитой для гордости нелюбимой жены, что ее ирония, намеки, ее уклончивость и то, что она умоляла его понять, было не откровенной злостью, а скрытой любовью. Рearдэн пришел в ужас от этой мысли, его вина показалась ему куда больше, чем он когда-либо предполагал.

— Генри, раз уж мы заговорили о политике, то у меня появилась забавная мысль. Сторона, к которой ты принадлежишь, — какой там у вас девиз, который все вы так часто повторяете и которому должны быть всегда верны? «Нерушимость контракта», да?

Она заметила его быстрый взгляд, напряженную сосредоточенность в его глазах. Рearдэн впервые за все время разговора как-то отреагировал на ее слова, и Лилиан рассмеялась.

— Продолжай, — сказал он тихим, угрожающим голосом.

— Зачем, дорогой? Ты и так меня прекрасно понял.

— Что ты хотела этим сказать?

— Неужели ты на самом деле хочешь унижить меня до такой степени, чтобы я начала жаловаться? Это так банально, а причина моего недовольства столь обыденна, хотя я думала, что замужем за человеком, который гордится тем, что отличается от других, мелких людишек. Хочешь, чтобы я напомнила, как ты однажды поклялся сделать мое счастье целью своей жизни? И что ты не можешь со всей честностью сказать, счастлива ли я, потому что

никогда не замечал, существую ли я вообще?

Было невозможно, чтобы все горести навалились на него разом и словно рвали его на части. Но он чувствовал их как физическую боль. Ее слова были мольбой, думал он и чувствовал жгучую, темную волну угрызений совести. Он чувствовал жалость, холодную, противную жалость, в которой не было и тени любви. Он ощущал смутный гнев, как некий голос, который он старался заглушить, но который все же возмущенно кричал: «Почему я обязан жить с этой порочной, изворотливой, лживой женщиной? Почему я должен лишь из жалости терпеть все эти мучения? Почему я должен принимать на себя безнадежное бремя попыток пощадить ее чувства, чувства, в которых она не хочет сознаться и которые я не в силах понять? Если она любит меня, то почему, черт бы побрал ее трусливую душу, не скажет об этом прямо?»

Но он слышал и другой, более громкий голос, спокойно говоривший ему: «Не сваливай вину на нее, это самая старая уловка всех малодушных. Ты виноват, и, что бы она ни сделала, это ничто по сравнению с твоей виной. Она права. Тебе противно, да? Противно от осознания ее правоты? Ну и пусть. Так тебе и надо, проклятый прелюбодей. Она права».

— А что сделало бы тебя счастливой, Лилиан?

Она улыбнулась, расслабленно откинувшись на спинку кресла. Все это время она пристально наблюдала за ним.

— О, дорогой! Это же нечестно. Этот вопрос — лазейка для тебя. Ты пытаешься увильнуть. — Она встала и беспомощно пожала плечами. — Что сделало бы меня счастливой, Генри? Это должен сказать мне ты. Ты сам должен был это понять. Ответа на этот вопрос я не знаю. Ты должен был создать для меня счастье и предложить его мне. Это было твоей обязанностью. Но ты не первый, кто не выполнил своего обещания. Из всех долгов от этого отказаться проще всего. Ты бы никогда не позволил себе не уплатить за поставленную тебе партию железной руды. А вот мою жизнь ты обокрал. — Лилиан непринужденно расхаживала по комнате. — Я знаю, что подобные притязания абсолютно непрактичны. У меня нет на тебя ни закладных, ни долговых расписок, ни пистолета, ни цепей. Мне нечем тебя удержать. Я могу рассчитывать лишь на одно, Генри, — на твою честность.

Реардэн стоял, глядя на нее так, словно смотреть ей в глаза и выносить ее присутствие стоило ему огромных усилий.

— Лилиан, чего ты хочешь? — спросил он.

— Дорогой, ты и сам мог бы о многом догадаться, если бы действительно хотел знать, чего я хочу. К примеру, разве мне не интересно было бы узнать, почему ты так настойчиво избегаешь меня вот уже несколько месяцев?

— Я был очень занят. Лилиан пожала плечами:

— Каждая жена надеется стать главным предметом забот в жизни своего мужа. Я не знала, что, когда ты клялся отказаться ради меня от всего, это все не включало плавильные печи.

Она подошла к Реардэну и с довольной улыбкой, словно насмехаясь над собой и над ним, обняла его.

Реардэн чисто инстинктивно быстрым, резким движением оторвал от себя ее руки и отбросил их в сторону, словно новобрачный, отталкивающий наглую, надоедливую шлюху. На мгновение его словно парализовало, и он замер, потрясенный собственной грубостью. Лилиан смотрела на него, широко раскрыв глаза, с откровенным замешательством, в котором уже не было ни загадочности, ни притворства. Она ожидала всего, только не этого.

— Извини, Лилиан, — тихо сказал он искренним, страдающим тоном.

Она не ответила.

— Прости... Просто я очень устал, — добавил Реардэн, но уже как-то безжизненно. Он был сломлен тройной ложью. Одной ее частью была измена, но не измена Лилиан.

Она усмехнулась:

— Если это работа оказывает на тебя такое воздействие, то вполне возможно, что я

начну относиться к ней весьма одобрительно. Прости меня, я всего лишь пыталась исполнить свой долг. Я думала, что ты чувственный человек, который никогда не подыметься над звериными инстинктами помойки. Я ведь не из тех сучек, что на ней ошииваются.

Она швыряла в него слова холодно, безразлично, бездумно, а все ее мысли были устремлены к одному — что же, что он ответит на ее вопросы, заданные в форме утверждений.

При ее последних словах Реардэн вдруг повернулся к ней лицом, но уже не как человек, который защищается.

— Лилиан, ради чего ты живешь? — спросил он.

— Фу, какой грубый вопрос. Ни один воспитанный человек не задал бы его.

— Хорошо. А что воспитанные люди делают со своей жизнью?

— Наверное, они не пытаются что-либо делать. В этом и состоит их воспитанность.

— На что же они тратят свое время?

— Ну уж всяко не на производство канализационных труб.

— Скажи, зачем ты постоянно отпускаешь эти шуточки? Я знаю, что канализационные трубы не вызывают у тебя ничего, кроме презрения. Ты давно уже дала мне это понять. Твое презрение для меня ровным счетом ничего не значит. Зачем тогда постоянно повторять это?

Реардэн спрашивал себя, почему эти слова задели ее за живое; он не знал, каким образом, но точно знал, что задели. Он чувствовал абсолютную уверенность, что сказал именно то, что нужно.

— С чего это ты вдруг начал меня расспрашивать? — холодно спросила Лилиан.

— Просто я хотел бы узнать, есть ли что-нибудь, чего ты действительно хочешь. Если есть, то я хотел бы дать это тебе, если это в моих силах.

— Купить это для меня, да? Это все, что ты умеешь: платить за то, что тебе нужно. Нет, Генри, все не так просто. То, чего я хочу, нематериально.

— Что же это?

— Ты

— То есть как, Лилиан? Не в смысле помойки?

— Нет, не в смысле помойки.

— Тогда как?

Стоя в дверях, Лилиан повернулась, посмотрела на него и холодно улыбнулась.

— Ты этого не поймешь, — сказала она и вышла из спальни.

Реардэн по-прежнему испытывал мучительную боль от осознания того, что она никогда не оставит его и у него никогда не будет права бросить ее; он мучился при мысли, что должен испытывать к ней хоть какое-то сочувствие, уважение к ее чувству, которого не мог понять и на которое ничем не мог ответить, мучился, понимая, что не испытывает к ней ничего, кроме презрения, необычного, полнейшего, нерассуждающего презрения, глухого к состраданию, к упрекам, к ее мольбе о справедливости, — и, что тяжелее всего, чувствовал гордое отвращение к собственному осуждению, к требованию считать себя ниже и ничтожнее этой женщины, которую презирал.

Затем это утратило для него всякое значение, исчезло, оставив лишь мысль, что он готов вынести что угодно, погрузив его в состояние напряженности и покоя одновременно, потому что он лежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и думал о Дэгни, о ее чувственном теле, вздрагивающем при каждом прикосновении его пальцев. Он пожалел, что она уехала из Нью-Йорка. Если бы она была дома, он бросил бы все и поехал к ней прямо сейчас, среди ночи.

Юджин Лоусон сидел за своим столом, словно за штурвалом бомбардировщика, под крылом которого простирался целый континент. Но временами он забывал об этом и, сгорбившись, расслабив мышцы, склонялся вниз, словно досадуя на мир. Собеседнику бросалось в глаза, что его непропорционально большой и пухлый рот всегда приоткрыт, и, говоря, он нервно подергивал нижней губой.

— Я не стыжусь этого, — сказал Лоусон. — Мисс Таггарт, я хочу, чтобы вы знали, что я не стыжусь своей прошлой карьеры в качестве президента Народного общедоступного банка.

— Я ничего не говорила относительно того, что вам должно быть стыдно, — холодно сказала Дэгни.

— За мной не может быть никакой моральной вины, поскольку в результате банкротства этого банка я потерял все, что у меня было. Мне кажется, что я имею право гордиться подобной жертвой.

— Я всего лишь хотела задать вам несколько вопросов о «Твентис сенчури мотор компани», которую...

— Я с радостью отвечу на любые вопросы. Мне нечего скрывать. Моя совесть чиста. Вы ошибались, если думали, что эта тема будет мне неприятна.

— Я хотела расспросить вас о людях, которым вы предоставили кредит на покупку...

— Это были очень хорошие люди. С моей стороны не было никакого риска, хотя, говоря это, я оперирую чисто человеческими понятиями, а не понятиями бездушной наличности, чего вы привыкли ожидать от банкира. Я предоставил им кредит на покупку этой фабрики, потому что им были нужны деньги. Если люди нуждались в деньгах, для меня этого было достаточно. Потребность — вот критерий, из которого я исходил, мисс Таггарт. Потребность, а не алчность. Мой отец и дед создали этот банк лишь для того, чтобы сколотить состояние для себя. Я же поставил их богатство на службу более высоким идеалам. Я не сидел на куче денег и не требовал долговых расписок от тех, кому нужны были деньги. Чистое сердце заменяло мне долговую расписку. Конечно же, я не думаю, что в этой материалистической стране меня кто-то поймет. Людям такого типа, как вы, мисс Таггарт, не дано оценить то вознаграждение, которое я получал. Те, кто приходил ко мне в банк, не сидели за моим столом так, как вы. Это были неуверенные в себе, наученные горьким опытом люди, которые боялись говорить. Наградой мне были слезы благодарности в их глазах, их дрожащие голоса, их благословения, женщина, которая поцеловала мою руку, когда я дал ей кредит, в котором, несмотря на все ее мольбы, ей везде отказывали.

— Не могли бы вы назвать мне имена людей, которым принадлежал завод?

— Этот завод был важен для данного региона страны, жизненно важен. Я совершенно оправданно предоставил им этот кредит. Это сохранило работу тысячам рабочих, которые не имели никаких других средств к существованию.

— Вы знали кого-нибудь из работавших на этом заводе?

— Конечно. Я знал их всех. Меня интересовали люди, а не машины. Я прежде всего принимал во внимание человеческий аспект промышленности, а не ее кассовую сторону.

Дэгни с надеждой наклонилась к нему через стол:

— Вы знали кого-нибудь из работавших там инженеров?

— Инженеров? Нет. Я был куда более демократичен. Меня интересовали простые рабочие. Обыкновенные люди. Они все знали меня в лицо. Бывало, когда я заходил в цеха, они приветливо махали мне рукой и кричали: «Привет, Юдж». Так они меня называли — Юдж. Но я уверен, что это не представляет для вас никакого интереса. Все это в прошлом. Если на самом деле вы приехали в Вашингтон для того, чтобы поговорить со мной о своей железной дороге, — он резко выпрямился, вновь приняв позу пилота бомбардировщика, — то я даже не знаю, могу ли обещать вам по-особому подойти к рассмотрению вашей проблемы, поскольку по долгу службы ставлю благосостояние нации превыше любых личных привилегий или интересов, которые...

— Я приехала не затем, чтобы говорить с вами о своей железной дороге. У меня нет никакого желания беседовать с вами на эту тему, — с недоумением произнесла Дэгни.

— Да? — разочарованно спросил Лоусон.

— Да. Мне нужна информация об этом заводе. Не могли бы вы припомнить имена кого-нибудь из работавших там инженеров?

— Нет. Меня интересовали не паразиты из кабинетов и лабораторий, а настоящие

рабочие, люди с мозолистыми руками, благодаря которым и работал завод. Они были моими друзьями.

— Вы можете назвать хоть несколько имен? Любых имен кого-нибудь из рабочих?

— Мисс Таггарт, дорогая, это было так давно. Их было тысячи. Как я могу их помнить?

— Неужели вы не можете вспомнить хотя бы одно имя?

— Конечно же, нет. Мою жизнь всегда наполняло столько людей. Как я могу помнить одну индивидуальную каплю в этом безбрежном океане?

— Вы знали, какую продукцию выпускает завод? Вам было известно о том, чем они занимаются, об их планах на будущее?

— Конечно же. Я проявлял личную заинтересованность в во всех своих капиталовложениях. Я очень часто бывал на заводе. Дела там шли просто превосходно. Они творили чудеса. Жилищный вопрос для рабочих завода был решен самым наилучшим образом. В каждом окне я видел кружевные занавески и цветы на подоконниках. У каждой семьи рядом с домом был участок для небольшого сада. Для детей в городке построили новую школу.

— Вам было известно что-нибудь о работе исследовательской лаборатории завода?

— Да, да. У них была прекрасная исследовательская лаборатория, передовая, очень динамичная, перспективная и с большими планами.

— Вы слышали что-нибудь... об их планах... наладить выпуск двигателей нового типа?

— Двигателей? Каких двигателей, мисс Таггарт? У меня не было времени вникать в подробности. Моей целью был социальный прогресс, всеобщее благосостояние, человеческое братство и любовь. Любовь, мисс Таггарт. Вот ключ ко всему. Если бы люди научились любить друг друга, это решило бы все их проблемы.

Дэгни отвернулась, чтобы не видеть его дергающуюся губу.

В углу кабинета на консоли лежал камень с египетскими иероглифами, в нише стояла статуя индийской богини, шестирукая, как паук, а на стене висела диаграмма с непонятными геометрическими обозначениями.

— Поэтому, мисс Таггарт, если вы думаете о своей железной дороге, а вы наверняка о ней думаете в связи с возможностью определенного развития событий, я должен указать вам на то, что, хотя я прежде всего забочусь о благосостоянии всей страны, ради которого без колебаний пожертвую чьими бы то ни было выгодами, я никогда не был глух к мольбам о сострадании и помощи, и...

Дэгни посмотрела на него и наконец поняла, чего он от нее хотел.

— Я не хочу обсуждать с вами ничего касающегося моей железной дороги, — сказала она, стараясь говорить спокойно и ровно, тогда как ей хотелось с отвращением выкрикнуть эти слова. — Если у вас есть что сказать на эту тему, будьте добры, изложите это моему брату, Джеймсу Таггарту.

— Мне кажется, что в данных обстоятельствах вам не следовало бы упускать столь редкую возможность обсудить свои проблемы с...

— У вас сохранились какие-нибудь данные об этом заводе?

— Какие данные? Я ведь уже сказал вам, что потерял все, что у меня было, когда разорился мой банк. — Он склонился над столом. Его интерес угас. — Но я не вижу в этом ничего страшного. То, чего я лишился, — всего лишь материальное богатство. Я не первый человек в истории, который пострадал за идею. Меня погубила эгоистичная алчность окружающих меня людей. Я не смог создать систему братства и любви всего лишь в одном штате, со всех сторон окруженном алчностью и властью денег. В этом нет моей вины. Но я не сдамся. Меня не остановишь. Я борюсь — уже в более широком масштабе — за право служить своим соотечественникам. Данные, мисс Таггарт? Уезжая из Мэдисона, я оставил все данные там, они запечатлены в сердцах бедняков, которым до меня никто и никогда не предоставлял возможности выкарабкаться из нужды.

Дэгни не хотелось произносить ни единого лишнего слова, но она не смогла

сдержаться: перед ее глазами плясали дрожащие огоньки сальных свечей.

— Вы когда-нибудь были в этой части страны с тех пор, как уехали?

— Я в этом не виноват! — вскричал Лоусон. — Виноваты богачи, у которых тогда были деньги, но они не пожертвовали ими, чтобы спасти мой банк и население Висконсина. Вы не имеете права меня обвинять. Я потерял все до последнего цента.

— Мистер Лоусон, — с усилием сказала Дэгни, — может быть, вы помните имя человека, возглавлявшего корпорацию, которой принадлежал завод? Компания «Всеобщий сервис» — так, по-моему, она называлась. Кто был ее президентом?

— Да, я помню его. Его звали Ли Хансакер. Очень способный молодой человек, которого жизнь здорово потрепала.

— Где он сейчас? У вас остался его адрес?

— По-моему, он живет где-то в Орегоне. Да, точно, в Орегоне, город Грэнджвилл. Мой секретарь даст вам его адрес. Но я не понимаю, какой он может представлять для вас интерес... Мисс Таггарт, если вы хотите встретиться с мистером Висли Маучем, то смею вам заметить, что мистер

Мауч очень ценит мое мнение в вопросах, касающихся железных дорог, и...

— У меня нет никакого желания встречаться с мистером Маучем, — сказала Дэгни, поднимаясь с места.

— Но тогда я не понимаю... зачем вы сюда приезжали.

— Я пытаюсь найти одного человека, который работал на заводе «Твентис сенчури мотор компани».

— Зачем он вам?

— Я хочу, чтобы он работал на мою компанию. Лоусон широко развел руками, недоверчиво глядя на нее с выражением легкого возмущения:

— Ив такой момент, когда решаются столь жизненно важные вопросы, вы тратите свое время на поиски какого-то одного работника? Поверьте мне, судьба вашей железной дороги в неизмеримо большей степени зависит от мистера Мауча, чем от любого найденного вами работника.

— Всего доброго, — сказала Дэгни. Она повернулась к выходу.

— Вы не имеете никакого права презирать меня! — выкрикнул Лоусон, повысив голос. Дэгни остановилась и посмотрела на него:

— Я не высказывала никакого мнения о вас.

— Я абсолютно невиновен, поскольку потерял все свои деньги, потерял все до последнего цента во имя доброго дела. Мои мотивы были чисты. Мне ничего не было нужно для себя. Я никогда ни к чему не стремился из личных корыстных побуждений. Мисс Таггарт, я с гордостью могу сказать, что за всю свою жизнь ни разу не получил прибыли.

Голос Дэгни прозвучал спокойно и торжественно, когда она сказала:

— Мистер Лоусон, мне кажется, я должна вам сказать, что из всех заявлений, которые может сделать человек, такое я считаю самым позорным.

— У меня никогда не было ни одного шанса, — говорил Ли Хансакер.

Он сидел посреди кухни за столом, заваленным бумагами. Ему не мешало бы побриться и простирнуть рубашку. Его возраст было трудно определить: кожа на лице выглядела гладкой и чистой, не тронутой годами, но седеющие волосы и воспаленные глаза придавали ему изнуренный вид. Ему было сорок два года.

— Никто и никогда не давал мне ни одного шанса. Надеюсь, теперь они довольны тем, что сделали со мной. Не думайте, что я не понимаю этого. Я знаю, что меня надули со всем, что мне принадлежало по праву рождения. И пусть не прикидываются добренькими. Это просто шайка вонючих лицемеров.

— Кто? — спросила Дэгни.

— Все, — ответил Ли Хансакер. — Люди по натуре своей подлецы, и не стоит требовать от них чего-то иного. Справедливость? Ха! Взгляните на это. — Рука Ли описала



окружность. — Довести до этого такого человека, как я!

Свет полудня за окном казался серыми сумерками среди пасмурных крыш и обнаженных ветвей деревьев; это место не походило на деревню, но и до города явно не дотягивало. Туман и сырость пропитали стены кухни. Груда оставшейся от завтрака посуды высилась в мойке, кастрюля с тушеным мясом урчала на газовой плите, испуская пар с жирным запахом дешевого мяса; пыльная пишущая машинка стояла среди бумаг на столе.

— «Твентис сенчури мотор компани», — сказал Ли Хансакер, — носила одно из самых славных имен в истории американской промышленности. А я был президентом этой компании. Мне принадлежал завод. Но они так и не захотели дать мне ни одного шанса.

— Разве вы были президентом «Твентис сенчури мотор»? А я думала, что вы возглавляли корпорацию «Всеобщий сервис», разве не так?

— Да, да, но это одно и то же. Мы перекупили у них завод. Мы собирались преуспеть, как и они, только еще больше. И вообще, кем, черт возьми, являлся Джед Старнс? Да просто механиком в захолустном гараже, — разве вы не знаете, что именно так он и начинал, с пустого места? А моя семья принадлежала к сливкам нью-йоркского общества. Мой дед был членом Законодательного собрания страны. Не вина моего отца, что он не смог дать мне собственный автомобиль, когда послал меня учиться. У всех других школьников были собственные машины. Но семья моего отца была отнюдь не хуже семьи любого из них. Когда я начал учиться в университете... — Он внезапно осекся. — Так из какой вы, говорите, газеты?

Она уже говорила, как ее зовут, а теперь почему-то обрадовалась, что он не понял, кто она, хотя и не знала, зачем ей это и почему ей не захотелось, чтобы он узнал ее.

— Я не говорила, что я из газеты, — ответила Дэгни. — Мне нужна некоторая информация о моторостроительном заводе для моих личных целей, а не для публикации.

— О... — Казалось, он был разочарован. И мрачно продолжил, как будто она была виновата в том, что намеренно нанесла ему обиду: — Я подумал, что вы, возможно, пришли за предварительным интервью, потому что я пишу сейчас свою биографию. — Он ткнул рукой в сторону бумаг на столе. — И мне есть что сказать. Я намерен... Ох, черт подери! — вдруг вскричал Хансакер, внезапно вспомнив что-то.

Он рванулся к плите, поднял крышку с кастрюли и начал энергично мешать свое варево, не думая о том, что делает. Он бросил мокрую ложку на плиту — жир с нее закапал на газовую горелку — и вновь вернулся к столу.

— Да-а, я напишу о своей жизни, если только мне дадут такой шанс, — продолжал он. — Как я могу сконцентрироваться на серьезной работе, когда вынужден заниматься этим? — Он кивнул в сторону плиты. — Друзья, ха-ха! Они полагают, что только из-за того, что они позволили мне войти к ним в дело, меня можно эксплуатировать, как китайского кули! Только из-за того, что мне больше некуда идти. У них-то жизнь что надо, у друзей моих. Он пальцем не пошевелит в доме, просто сидит весь день в своей лавке, в этой вшивой, маленькой, почти не приносящей дохода лавчонке — разве можно сравнить ее с важностью книги, которую я пишу? А она выходит за покупками и просит меня покараулить для нее это чертово варево. Она знает, что писатель нуждается в спокойствии и сосредоточенности, но разве она заботится об этом? Вы знаете, что она выкинула сегодня? — Он заговорщически склонился над столом и показал на мойку с посудой. — Она отправилась на рынок и оставила всю посуду после завтрака там, сказав, что займется ею потом. Я знаю, на что она надеется. Она надеется, что посуду помою я. Так вот, пусть не надеется. Я оставлю все это там, где оно сейчас.

— Вы не позволите мне задать вам несколько вопросов о моторостроительном заводе?

— Не воображайте себе, что моторы были единственным занятием в моей жизни. До них я занимал немало важных постов. Я успешно занимался в разное время предприятиями по производству хирургических инструментов, упаковки из бумаги, изготовлению мужских шляп и пылесосов. Конечно, такого рода занятия не давали больших дивидендов. А вот моторостроительный завод — это уже был для меня огромный шанс. Это было тем, к чему я

стремился.

— Как вам удалось приобрести его?

— Он был создан для меня, моя мечта, обернувшаяся действительностью. Завод был закрыт — он обанкротился. Наследники Джеда Старнса быстро довели его до этого. Не знаю уж точно, как это все случилось, но они затеяли какую-то глупость, и компания прогорела. Парни из железной дороги закрыли там местную линию. Место стало никому не нужным, никто туда не ехал. Но он-то был там, большой завод со всем оборудованием, станками, со всем тем, что принесло Джеду Старнсу миллионы. Это было как раз то, что мне было нужно, тот самый шанс, на который я имел все права. Тогда я собрал вместе нескольких друзей, и мы учредили корпорацию «Всеобщий сервис» и вложили в нее немного денег. Но у нас их было недостаточно, нам был необходим кредит, чтобы помочь начать дело. А дело было верное. Мы были молоды и готовы начать большую карьеру, мы были довольны и с надеждой смотрели в будущее. И вы думаете, хоть кто-то нас ободрил? Ничуть. Они ничего не дали, эти жадные, завистливые стервятники, окопавшиеся в своих привилегиях! Как же можно преуспеть в жизни, если никто не дает вам завода? Мы не могли соперничать с этими сопляками, которые унаследовали целую кучу заводов, разве не так? Разве мы не имеем права на такие же возможности? Вот так, и незачем при мне говорить о справедливости. Я работал как вол, пытался упрямить хоть кого-нибудь дать нам кредит, но этот подлец Мидас Маллиган сразу бросил меня на канаты. Дэгни выпрямилась:

— Мидас Маллиган?

— Да... Банкир, который выглядел как водитель грузовика, да, впрочем, и говорил, и действовал так же.

— Вы знали Мидаса Маллигана?

— Знал ли я его? Да я единственный, кто задал ему трепку... хотя это и не принесло мне ничего хорошего.

Время от времени Дэгни с чувством внутреннего неудобства вспоминала о Мидасе Маллигане, о его исчезновении, как вспоминают рассказы о кораблях-призраках, которые носятся по волнам, покинутые командой, или о непонятных огнях, вспыхивающих на небе. Об этих загадках она вспоминала без всяких причин, если не считать того, что это были тайны, которым никак не следовало быть тайнами; конечно, на то были свои причины, но ни одна известная причина не могла прояснить их.

Мидас Маллиган был в свое время самым богатым и, следовательно, самым порицаемым человеком в стране. Он никогда не оставался в проигрыше, куда бы ни вкладывал свой капитал. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото. «Это потому, что я знаю, к чему можно прикасаться», — объяснял он. Никто не мог понять систему его расчетов: он отвергал сделки, которые казались совершенно надежными, и вкладывал весьма крупные суммы в предприятия, о которых другие банкиры и слышать не хотели. В течение многих лет он был спусковым крючком, посылавшим неожиданные, совершенно невероятные пули промышленного успеха, свистевшие во всех уголках страны. Именно он первым вложил деньги в «Реардэн стил», таким образом он помог Реардэну завершить покупку брошенных сталелитейных заводов в Пенсильвании. Когда один из экономистов, обращаясь к нему, назвал его удачливым игроком, Маллиган ответил:

— Знаете, почему вам никогда не быть богатым? Потому что вы считаете мою работу азартной игрой.

Ходили слухи, что тот, кто хочет иметь дело с Мидасом Маллиганом, должен соблюдать неписаное правило: проситель кредита никогда не должен упоминать о своих личных нуждах или каких-либо личных чувствах. В противном случае беседа прекращалась и просителю больше никогда не представлялось случая говорить с Мидасом Маллиганом.

— Отчего же, могу, — ответил Мидас Маллиган, когда его спросили, может ли он назвать человека более скверного, чем тот, чьему сердцу неведома жалость. — Человек, который пользуется жалостью к себе как оружием.

В течение всей своей долгой деятельности он не обращал внимания на нападки

общества, кроме одного раза. Его звали Майкл, но как-то раз один из газетчиков из клики радетелей за человечество назвал его Мидасом Маллиганом, и это прозвище пристало к нему как ругательное. Маллиган обратился в суд с требованием официально изменить его имя на Мидас. Суд удовлетворил его требование.

В глазах современников он был человеком, совершившим один из смертных грехов: он гордился своим богатством.

Дэгни хорошо знала все, что говорили о Мидасе Маллигане, но никогда с ним не встречалась. Семь лет назад Мидас Маллиган исчез. Однажды утром он вышел из своего дома, и больше никто ничего о нем не слышал. На следующий день вкладчики банка Маллигана получили извещения, в которых их просили получить свои депозиты в связи с тем, что банк закрывается. В последовавшем расследовании выяснилось, что Маллиган запланировал закрытие банка заранее и позаботился обо всех деталях; служащие просто выполняли его инструкции. Это было самое образцовое закрытие банка, которое когда-либо видела страна. Все вкладчики получили свои деньги со всеми процентами, вплоть до сотой доли процента. Все имущество банка было продано по частям различным банковским организациям. Когда подвели баланс, оказалось, что он сведен аккуратнейшим образом до последнего цента, ничего не осталось сверх должного, и таким образом банк Маллигана прекратил существование.

Ничто не могло помочь понять решение Маллигана, выяснить его личную судьбу и судьбу его многомиллионного состояния. Человек и его богатство исчезли, как будто их никогда не было. Никто не был предупрежден о его решении, и не произошло никаких событий, которые могли бы это объяснить. Если бы, удивлялись досужие умы, ему захотелось удалиться от дел, отчего бы не продать с большой прибылью свой банк, что можно было легко сделать, а не ликвидировать его? Никто не мог дать ответа. У него не было ни семьи, ни друзей. Его служащие ничего не знали; в то утро он вышел, как всегда, из дому и не вернулся, и это было все.

На исчезновении Маллигана, многие годы печально думала Дэгни, лежала печать какой-то невероятности; словно однажды в Нью-Йорке пропал небоскреб, оставив после себя лишь пустое место на перекрестке. Человек, подобный Маллигану, и состояние, которое он унес с собой, нигде не могли бы скрыться, как не мог потеряться небоскреб, — он все равно возвышался бы посреди какой-нибудь долины или леса, избранных в качестве укрытия. Даже если бы его разрушили, все равно осталась бы гора обломков, которые нельзя было бы не заметить. Но Маллиган исчез — и с тех пор минуло уже семь лет, и в путанице слухов, догадок, предположений, историй в приложениях к воскресным газетам, свидетелей, которые утверждали, что видели его в различных уголках планеты, так никогда и не появилось достоверного объяснения этого исчезновения.

Среди всяческих историй была одна, столь непохожая на остальные, что Дэгни в нее поверила. Говорили, что последней его видела старушка, продававшая цветы на перекрестке в Чикаго возле банка Маллигана. Она рассказывала, что он остановился и купил у нее букет первых в том году колокольчиков. Она в жизни не видела такого счастливого лица, как у него; он выглядел юношей, перед которым открывалось огромное, ничем не замутненное видение будущей жизни; все признаки боли и напряжения, отметины прожитых лет на лице человека, — все куда-то ушло, а то, что осталось, можно было назвать радостным ожиданием и спокойствием. Он купил цветы, словно повинаясь внезапному порыву, и подмигнул старушке, будто приглашая ее разделить с ним веселую шутку. Он сказал ей:

— Знали бы вы, как я всегда любил ее — жизнь!

Она в изумлении воззрилась на него, а он уже отошел, сжимая цветы в руке словно мячик, — широкая прямая фигура в неброско-дорогом пальто бизнесмена, затерявшаяся среди прямых линий высоких зданий деловых центров, в окнах которых отражалось весеннее солнце.

— Мидас Маллиган был порочным негодяем, у него на сердце был выжжен знак доллара, — говорил Ли Хансакер в прогорклom дыму от варева. — Все мое будущее зависело

от жалкого полумиллиона долларов, который для него был разменной монетой, но, когда я попросил его о кредите, он наотрез отказал, и все потому, что я не смог предложить ему никакого обеспечения. Но как я мог предложить ему какое-то обеспечение, когда никто и никогда не дал мне шанса на что-нибудь серьезное? Почему другим он давал деньги, а мне — нет? Это же сущая дискриминация. Ему было наплевать на мои чувства, он сказал, что мои прошлые неудачи показали, что мне нельзя доверять даже тележку с овощами, не говоря уже о заводе, изготавливающем моторы. Какие неудачи? Что я мог сделать, если невежественные бакалейщики отказались покупать у меня бумажную тару? По какому праву он взялся судить о моих способностях? Почему мои планы в отношении моего собственного будущего должны зависеть от случайного суждения эгоистичного монополиста? Этого я не мог снести. Я подал на него в суд.

— Что-что вы сделали?

— Ну да, — гордо ответил Хансакер. — Я подал на него в суд. Уверен, что это показалось бы странным в ваших ультраконсервативных восточных штатах, но в штате Иллинойс было очень гуманное, очень прогрессивное законодательство, по которому я мог судиться с ним. Должен сказать, что это был первый случай такого рода, но я нанял весьма ловкого либерального адвоката, который нашел для меня лазейку. Он сослался на Закон о чрезвычайном экономическом положении, запрещающий дискриминацию по любым причинам, касавшимся любого человека в его правах обеспечить свое существование. Его приняли, чтобы оградить права поденных рабочих и им подобных, но его можно было применить и ко мне и моим партнерам, ведь так? Итак, мы отправились в суд и засвидетельствовали все наши злключения в прошлом, и я рассказал о словах Маллигана, утверждавшего, что мне нельзя доверять и тележку с овощами, и мы доказали, что все члены корпорации «Всеобщий сервис» не имели ни престижа, ни кредитов, ни других средств к существованию; и, таким образом, приобретение моторостроительного завода было нашим единственным шансом выжить; и, таким образом, Мидас Маллиган не имел права нас дискриминировать; и, таким образом, мы были вправе требовать по закону, чтобы он предоставил нам кредит. О, у нас были все основания выиграть процесс, но председательствующим в суде оказался его честь судья Наррагансетт, один из тех старомодных монахов от судопроизводства, которые мыслят как математики и никогда не принимают в расчет человеческую сторону дела. Он просто сидел во все время процесса как мраморная статуя — одна из тех мраморных статуй, ну тех, что с завязанными глазами. В конце процесса он рекомендовал членам жюри вынести вердикт в пользу Мидаса Маллигана — и произнес много очень обидных слов в мой адрес и в адрес моих партнеров. Но я подал апелляцию в суд высшей инстанции, и суд высшей инстанции пересмотрел дело и приказал Маллигану выдать нам кредит на наших условиях. В его распоряжении было три месяца, чтобы выполнить решение суда, но, прежде чем срок истек, случилось нечто, чего никто не мог предположить, — он буквально растворился в воздухе вместе со своим банком. На счетах банка не осталось ни цента сверх положенного, чтобы получить причитающуюся нам по суду сумму. Мы потратили массу денег на детективов, пытаясь его отыскать, — кто бы этого не сделал? — но нам пришлось отступить.

Нет, размышляла Дэгни, этот процесс, хотя он и вызывает тошнотворное чувство, отнюдь не хуже многого из того, что годами приходилось терпеть Мидасу Маллигану. Он понес большие потери по постановлениям суда в подобных процессах, по законам и постановлениям, обошедшимся ему в гораздо большие суммы; он все вынес и работал еще упорнее, не похоже, что именно этот процесс сломил его.

— Что случилось с судьей Наррагансеттом? — непроизвольно поинтересовалась она и удивилась, в какой связи задала этот вопрос. Она почти ничего не знала о судье Наррагансетте, но слышала и запомнила это имя, потому что оно не могло принадлежать никому, кроме жителя Северной Америки. И только сейчас вдруг вспомнила, что ничего не слышала о нем в последние годы.

— А, он ушел на пенсию, — ответил Ли Хансакер.

— Разве? — Ее вопрос прозвучал как выдох.

— Ну да.

— Когда же?

— А, где-то полгода спустя.

— Чем он занимался после того, как ушел на пенсию?

— Не знаю. Не думаю, что кто-нибудь с тех пор слышал о нем.

Он удивился, почему у нее такой испуганный вид. Частично ее испуг объяснялся тем, что она сама не могла понять причину этого.

— Пожалуйста, расскажите мне о моторостроительном заводе, — с усилием произнесла Дэгни.

— Ну что ж, Юджин Лоусон из Народного общедоступного банка округа Мэдисон наконец выдал нам кредит, чтобы выкупить завод, но он был всего лишь пустозвон и жмот, у него не было достаточно денег, чтобы помочь нам, и он ничего не смог сделать, когда мы обанкротились. Это случилось не по нашей вине. С самого начала все было против нас. Как мы могли наладить производство, если у нас не было железной дороги? Разве мы могли купить железную дорогу? Я попытался упротить их вновь открыть железнодорожную ветку, но эти негодяи из «Таггарт транс...» — Он замолчал. — Послушайте, а вы не из тех Таггартов?

— Я вице-президент «Таггарт трансконтинентал».

Он воззрился на нее в полном оцепенении, она увидела в его подернутых поволокой глазах борьбу страха, подострастия и ненависти. Все это вылилось во внезапный вопль:

— Да на что вы мне сдались, вы, большие шишки! Не думайте, что я вас боюсь, не ждите, что я стану молить вас о работе. Я ни у кого не прошу милости. Ручаюсь, вы не привыкли, чтобы с вами так разговаривали, разве нет?

— Мистер Хансакер, я буду вам весьма признательна, если вы сообщите необходимые мне сведения о заводе.

— Ваш интерес несколько запоздал. В чем дело? Вас стала мучить совесть? Вы позволили Джеду Старнсу здорово разбогатеть на этом заводе, но нам вы не дали никакой отсрочки. Мы ведь делали все то же самое, что и он. Мы как раз начали выпускать тот самый тип двигателя, который и приносил ему многие годы больше всего денег. А потом какой-то пришелец, о котором никто ничего не слышал, открыл заводик в Колорадо под вывеской «Нильсен моторе» и начал выпускать новый двигатель того же класса, что и модель Старнса, но в два раза дешевле! Разве мы могли с этим справиться? Для Джеда Старнса все кончилось хорошо, в его время еще не появился соперник со столь разрушительными идеями, но нам-то что было делать? Где нам было тягаться с этим Нильсеном, когда никто не создал для нас двигателя, который выдержал бы конкуренцию с ним?

— Вы получили исследовательскую лабораторию Старнса полностью?

— Да, да, она у нас была. Все было.

— И его сотрудники?

С — О, некоторые из них. Большинство ушли в тот период, когда закрывали завод.

— И его исследовательский персонал?

— Они ушли.

— Нанимали ли вы сами новых сотрудников?

— Да, да, нескольких — но позвольте вам сказать, что у меня не было больших денег, чтобы тратить их на такие вещи, как лаборатория, у меня не доставало фондов, даже чтобы сделать передышку. Я даже не мог оплатить абсолютно необходимую модернизацию и ремонт, который вынужден был делать, — к несчастью, завод оказался устаревшим с точки зрения условий для производительного труда. В кабинетах наших служащих были только голые стены и маленькие умывальные комнатки. Любой современный психолог скажет вам, что никто не смог бы успешно работать в такой наводящей тоску обстановке. Я вынужден был придать своему кабинету более яркую цветовую гамму и приличный современный туалет с небольшим душем. Более того, я потратил много денег на новую столовую, комнату

для игр и комнату отдыха для рабочих. Нужно же было создать психологический климат, не так ли? Любой просвещенный человек знает, что человека создают материальные факторы его окружения, а орудия производства определяют его сознание. Но люди не хотят ждать, пока законы экономического детерминизма окажут на них свое воздействие. До сих пор у нас не было завода по производству моторов. Мы должны были дать орудиям производства время преобразовать наши мозги, не так ли? Но никто не дал нам этого времени.

— Можете ли вы рассказать мне, как работал ваш исследовательский персонал?

— А, у меня сложилась группа многообещающих молодых людей, все они имели дипломы наших лучших университетов. Но это не принесло мне ничего хорошего. Не знаю, чем они там занимались. Думаю, просто сидели и проедали свою зарплату.

— Кто отвечал за вашу лабораторию?

— Черт возьми, как я теперь могу это помнить?

— Вы помните имя хоть одного сотрудника исследовательской лаборатории?

— Вы что, полагаете, будто у меня было время лично знакомиться с каждым поступающим?

— Кто-нибудь из них когда-то упоминал о каких-либо экспериментах с... с совершенно новым типом двигателя?

— Какого двигателя? Позвольте напомнить вам, что руководитель моего уровня не сует нос в лаборатории. Я проводил почти все время в Нью-Йорке и Чикаго, пытаюсь выколотить деньги, чтобы мы могли функционировать дальше.

— Кто был главным инженером завода?

— Очень способный парень по имени Рой Каннингэм. Он погиб в прошлом году в результате автокатастрофы. Говорили, что вел машину пьяным.

— Не можете ли вы дать мне имена и адреса ваших сотрудников? Кого-нибудь, кого вы вспомните?

— Я не знаю, что с ними стало потом. У меня не было настроения следить за этим.

— Сохранились ли у вас какие-то документы по заводу?

— Конечно, они у меня есть. Она встрепелась:

— Не позволите ли взглянуть на них?

— Спрашиваете!

Казалось, Хансакер горит желанием помочь, он поднялся и поспешно вышел. То, что он положил перед ней, оказалось толстым альбомом вырезок: в нем были вырезки из газетных интервью и отчетов его агента по связям с прессой.

— Я тоже был одним из крупных промышленников, — гордо заметил он. — Национального масштаба, как вы сможете убедиться. Моя жизнь составит целую книгу глубокой человеческой значимости. Я бы давно закончил ее, если бы мне дали подходящие орудия производства. — Он ожесточенно ударил по пишущей машинке. — Я не могу работать на этой проклятой машинке. Она не делает пробелов. Как я могу обрести вдохновение и написать бестселлер, если пишущая машинка не делает пробелов?

— Благодарю вас, мистер Хансакер, — сказала Дэгни. — Полагаю, это все, что вы могли мне сообщить. — Она поднялась. — Вы случайно не знаете, что случилось с наследниками Старнса?

— О, они поспешили скрыться, когда покончили с заводом. Их было трое: два сына и дочь. Последнее, что я слышал, — они укрылись в Дюрансе, в штате Луизиана.

Последним, что она увидела, повернувшись к выходу, был внезапный скачок Ли Хансакера к плите; он сбросил с кастрюли крышку и уронил ее на пол, он дул себе на пальцы и матерился — жаркое сгорело.

От состояния Старнса мало что осталось, а от его наследников и того меньше.

— Они не понравятся вам, мисс Таггарт, — сказал начальник полиции города Дюранс, штат Луизиана. Это был пожилой мужчина с ожесточенным выражением лица, вызванным не слепой озлобленностью, а верностью четким жизненным критериям. — В мире много

разных людей — преступников, убийц-маньяков, но знаете, мне кажется, что таких людей, как Старнсы, нельзя показывать ни одному порядочному человеку. Это дурные, гадкие люди... Да, они все еще живут в этом городе, вернее, двое из них. Третий умер. Покончил жизнь самоубийством. Это случилось четыре года назад. Мерзкая история. Его звали Эрик Старнс, самый младший из троих. Он был одним из тех невзрослеющих юнцов, которые плачутся о своей чувствительности и ранимости, хотя им давно перевалило за сорок. Все твердил, что жить не может без любви. Жил на содержании женщин старше себя, когда ему удавалось таких найти. Потом начал увиваться за шестнадцатилетней девчонкой, очень красивой. Но она не захотела иметь с ним ничего общего. Она была помолвлена с одним парнем, за которого и вышла замуж. В день их свадьбы Эрик Старнс влез к ним в дом, и когда после венчания они вернулись из церкви домой, то нашли его мертвым у себя в спальне. Он перерезал себе вены. Там все было залито кровью... Конечно же, можно простить человека, когда он тихо, по собственной воле уходит из жизни. Кто вправе судить о страданиях человека и о границах того, что он может вынести? Но когда человек убивает себя и выставляет свою смерть напоказ, чтобы причинить боль другому, когда он уходит из жизни от злобы, ему нет и не может быть никакого прощения или оправдания. Такой гнилой до мозга костей человек заслуживает, чтобы люди плевались при воспоминании о нем, а не испытывали жалость и боль, как он хотел... Это то, что касается Эрика Старнса. Если хотите, я скажу вам, где найти двух других.

Джеральда Старнса Дэгни нашла в ночлежке. Свернувшись калачиком, он лежал на койке. В его волосах не было седины, но на подбородке торчала белая, как высохшая трава, щетина. Его лицо совершенно ничего не выражало. Он был в стельку пьян. Когда он говорил, его голос то и дело прерывался бессмысленным злобным смешком.

— Он прогорел, этот знаменитый завод. Лопнул к чертям собачьим, как мыльный пузырь. Вот что с ним случилось. Вас это беспокоит, мэм? Этот завод ни к черту не годился. Дерьмовый был завод. И люди — дерьмо. Похоже, я должен перед кем-то извиниться, но я не собираюсь этого делать. Мне наплевать. Люди изворачиваются, пытаюсь и дальше ломать эту комедию, тогда как все это гниль, все: машины, дома, души — и в любом случае это ничего не изменит. Видели бы вы этих умников, которые на все лады плясали под мою дудку, когда я был при деньгах. Все эти профессора, поэты и интеллектуалы, спасители мира, возлюбившие братьев своих. Весело было. Мне хотелось делать добро, теперь уже не хочется. Добро? Нету его. Ни хрена его нету в этом чертовом мире. Знаете что, если я чего-то не хочу, то не хочу, и все тут. Если хотите что-то узнать об этом заводе, обращайтесь к моей сестре. К моей дражайшей любезной сестрице, которая сгребла под себя все денежки, а другим и взглянуть на них не давала. Она не очень-то от всего этого пострадала, хотя питаться в закусочных — это не то, что раньше. Это тебе не шикарные ресторанные блюда. Но все равно, разве она дала хоть цент своему брату? Этот благородный план, который с треском провалился, был нашей общей идеей. Но она дала мне хоть цент? Ха! Идите посмотрите на эту герцогиню. Какое мне дело до этого завода? Это была всего лишь куча измазанных маслом станков. За стакан виски я продам вам все свои права на него, и свое имя в придачу. Я — последний из Старнсов. О, это было громкое имя — Старнс. Я продам вам его — за стакан виски. Вы думаете, что я вонючий бродяга. Но они ничем не лучше. Это в равной степени относится и к ним, и к таким богатым дамам, как вы. Я хотел делать добро людям. Ха! Чтоб они варились в кипящем масле. Вот была бы потеха. Чтоб они подавились. Да что толку?

Седой бродяга на соседней койке застонал во сне и перевернулся с боку на бок. Из его тряпья на пол выпала пятицентовая монета. Джеральд Старнс поднял ее и сунул себе в карман. Злобно улыбаясь, он посмотрел на Дэгни:

— Что, хочешь разбудить его и насолить мне? А я скажу, что ты врешь.

Айви Старнс жила в вонючем бунгало, стоявшем на берегу Миссисипи, на самом краю города. Скрестив ноги, она сидела на подушке, словно дряхлый Будда. У нее был капризный рот ребенка, требующего, чтобы его обожали, — на толстом, бесцветном лице

пятидесятилетней женщины. Глаза ее напоминали стоячие лужи. Произносимые ею слова своей монотонностью напоминали падающие капли дождя.

— Девочка моя, я не могу ответить на твои вопросы. Исследовательская лаборатория? Инженеры? С какой стати мне о них помнить? Этим интересовался мой отец, я же — никогда. Мой отец был плохим человеком. Кроме бизнеса, его ничто не интересовало. У него не было времени для любви, только для денег. Мы с братьями жили в другом мире. Нашей целью было не производить всякие технические штучки, а творить добро. Мы принесли с собой на завод новый план. Это было одиннадцать лет назад. Нас погубили алчность, эгоизм и низменная, животная человеческая натура. Это был извечный конфликт между духом и материей, между душой и телом. Мы просили от них только одного: отречься от преклонения перед материей. Но они не смогли этого сделать. Я никого не помню из тех людей, которые тебя интересуют. Я не хочу о них помнить... Инженеры? По-моему, это из-за них началась гемофилия. Да, да, ты не ослышалась. Я сказала — гемофилия, несворачиваемость крови, кровотечение, которое невозможно остановить. Они ушли первыми. Ушли от нас, один за другим... Наш план? Мы воплотили в жизнь благороднейший из всех принципов, известных в истории. От каждого по способности, каждому по потребности. Все на заводе, начиная от уборщиц и кончая директором, получали одинаковую зарплату — самый что ни на есть минимум. Два раза в год мы собирались на собрание, где каждый излагал, в чем, как он считает, заключаются его потребности. Мы голосовали по каждому случаю и большинством голосов устанавливали для каждого его потребности и определяли его способности. Подобным же образом мы делили и доходы завода. В вознаграждениях исходили из потребностей, в штрафах — из способностей. Тот, кто, по мнению большинства, больше всех нуждался, больше всех и получал. Тех, кто, по мнению большинства, работал не в полную силу своих способностей, штрафовали, и они обязаны были работать сверхурочно, но уже бесплатно. Таким вот был наш план. Он основывался на принципах альтруизма и требовал от людей работать не из личной заинтересованности, а из любви к ближнему.

Дэгни слышала холодный, безжалостный внутренний голос, говоривший ей: «Запомни это, запомни хорошенько, не так уж часто человек видит перед собой зло в чистом виде, посмотри на него, запомни — и однажды ты найдешь слова, выражающие его сущность...» Этот голос доносился до нее сквозь другие голоса, вопившие в бессильном неистовстве: «Это ничто, я слышала это и раньше, я слышу это везде, это все та же старая болтовня, чушь, но почему я не могу ее выносить? Почему? Почему?»

— Девочка моя, что с тобой? Почему ты вдруг вскочила? Почему ты дрожишь?.. Что? Говори погромче, я тебя не слышу... Как сработал этот план? Я не хочу об этом говорить... Все получилось очень плохо, и с каждым годом дела шли все хуже и хуже. Это стоило мне веры в людей. Я потеряла ее. Через четыре года этот план, исходивший не из холодных заумных расчетов, а от чистого сердца, с треском провалился, закончившись кучей полицейских, юристов и долгих судебных разбирательств. Но я поняла свою ошибку и сейчас свободна от нее. Я навсегда порвала с миром машин и денег, с миром, поработанным материей.

Ослепленная яростью, Дэгни видела длинную полосу бетона, в трещинах которого росла трава, когда-то бывшую скоростным шоссе, видела искаженную нечеловеческим усилием фигуру человека, пахавшего землю плугом.

— Но, девочка моя, я же сказала, что не помню... Я не помню их имен, не знаю, каких авантюристов мой отец мог взять для работы в этой лаборатории... Ты что, меня не слышишь? Я не привыкла, чтобы меня допрашивали таким тоном и... Ну что ты заладила? Ты что, кроме как «инженер», других слов не знаешь?.. Ты что, совсем не слышишь, что я говорю?.. Что с тобой?.. Мне не нравится твое лицо, ты... Оставь меня в покое. Я не знаю тебя, я тебе ничего не сделала, я старая женщина, не смотри на меня так!.. Отойди!.. Не подходи ко мне, или я позову на помощь!.. Я... Да, да. Этого я знаю! Главный инженер. Да. Он возглавлял лабораторию. Уильям Хастингс. Его звали Уильям Хастингс. Я помню. Он



уехал в Брэндон. Это в Вайоминге. Он уволился на следующий день после введения нашего плана. Он был вторым, кто уволился... Нет. Нет, я не помню, кто был первым. Какой-то рядовой служащий.

У женщины, открывшей ей дверь, были седеющие волосы и спокойный, исполненный достоинства вид хорошо воспитанного человека. Дэгни потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, что ее наряд — всего лишь простое домашнее платье из хлопка.

— Могу ли я видеть мистера Уильяма Хастингса? — осведомилась Дэгни.

Женщина взглянула на нее и всего лишь на какую-то долю секунды задержалась с ответом; это был странный взгляд, одновременно вопрошающий и серьезный.

— Могу ли я узнать ваше имя?

— Я Дэгни Таггарт из «Таггарт трансконтинентал».

— О, пожалуйста, проходите, мисс Таггарт. Я — миссис Уильям Хастингс. — Размеренная серьезность прослушивалась во всех модуляциях ее голоса, подобно предупреждению. Ее манеры были любезны, но она не улыбалась.

Это был скромный дом в пригороде промышленного города. Обнаженные ветви деревьев на вершине подъема, который вел в дом, врезались в ясное, холодное голубое небо. Стены гостиной были оклеены серебристо-серыми обоями, солнечный свет играл на хрустальной подставке лампы с белым абажуром, за открытой дверью виднелась столовая, оклеенная белыми, с красными точками обоями.

— Вы были знакомы с моим мужем, мисс Таггарт?

— Нет, я никогда не встречалась с мистером Хастингсом. Но я хотела бы поговорить с ним о чрезвычайно важном деле.

— Мой муж умер пять лет назад, мисс Таггарт.

Дэгни закрыла глаза, тупой, щемящий шок содержал заключение, которое она не смогла выразить словами: этот человек и был тем, кого она искала, и Реардэн прав — именно поэтому двигатель так и остался не востребованным в куче хлама.

— Извините, — сказала она, обращаясь одновременно и к миссис Хастингс, и к себе.

Подобие улыбки на губах миссис Хастингс свидетельствовало о горечи, но на лице ее не было печати трагедии, только твердость, приятие и спокойная серьезность.

— Миссис Хастингс, вы не позволите задать вам несколько вопросов?

— Конечно, пожалуйста, садитесь.

— Знакома ли вам научная деятельность вашего мужа?

— Очень мало. Скорее нет. Он никогда не говорил о ней дома.

— Он был одно время главным инженером «Твентис сенчури мотор компани»?

— Да. Он работал на них восемнадцать лет.

— Я хотела расспросить мистера Хастингса о его работе там и причине его ухода. Не могли бы вы рассказать мне об этом? Я хотела бы услышать, что случилось на этом заводе.

Улыбка печали и юмора полностью утвердилась на лице миссис Хастингс.

— Я и сама хотела бы это узнать, — сказала она. — Но боюсь, теперь уже никогда не узнаю. Я знаю, почему он покинул завод. Это произошло потому, что наследники Джеда Старнса ввели совершенно дикие порядки. В этих условиях он не смог работать. Но там было что-то еще. Я всегда чувствовала, что в «Твентис сенчури» произошло что-то еще, чего он мне не рассказывал.

— Мне очень нужна любая нить, которую вы могли бы дать мне.

— Я не могу дать вам этой нити. Я попыталась гадать и отказалась. Я не могу понять или объяснить это. Но я знаю, что-то произошло. Когда мой муж ушел из «Твентис сенчури», мы переехали сюда и он устроился на должность начальника моторостроительного отдела фирмы «Акме моторс». Тогда это был растущий, процветающий концерн. Они дали моему мужу такую работу, которая ему нравилась. Он не был склонен к внутренним конфликтам, он всегда был уверен в своих действиях и жил в мире с самим собой. Но целый год с тех пор, как мы покинули Висконсин, он вел себя так, словно его что-то мучило, словно

он боролся с какой-то личной проблемой и не мог ее разрешить. В конце того года однажды утром он сказал мне, что уходит из «Акме моторе» и не хочет работать где-нибудь еще. Ему нравилась его работа, она составляла для него смысл жизни. И все же он выглядел спокойным, верящим в себя и счастливым — впервые с тех пор, как мы переехали сюда. Он попросил меня не расспрашивать о причинах своего решения. Я не задавала ему вопросов и не возражала. У нас был этот дом, были сбережения, на которые при достаточной бережливости мы могли прожить остаток своей жизни. Мы продолжали жить здесь спокойно и очень счастливо. Он, казалось, чувствовал себя глубоко удовлетворенным. У него было странное спокойствие духа, которого я раньше за ним не замечала. В его поведении и в его поступках не было ничего необычного — за исключением того, что время от времени, очень редко, он уходил и не говорил мне ни куда идет, ни с кем виделся. В последние два года своей жизни он уезжал один, каждое лето, на месяц, не говоря куда. Во всем остальном он жил как всегда. Он много работал, занимался самостоятельными исследованиями в подвале нашего дома. Я не знаю, что он сделал со своими заметками и экспериментальными моделями. После его смерти я ничего не нашла в подвале. Он умер пять лет назад от болезни сердца, которой болел уже некоторое время. Без всякой надежды Дэгни спросила:

— А вы случайно не знаете, над чем он экспериментировал?

— Я мало что смыслю в технике.

— Были ли вы знакомы с его коллегами по профессии или сослуживцами, которые могли бы быть в курсе его исследований?

— Нет. Когда он работал в «Твентис сенчури мотор», он был занят допоздна, и времени у него почти не оставалось, а что оставалось, мы проводили вместе. Мы не участвовали в светской жизни. И он никогда не приглашал к себе своих сослуживцев.

— Работая в «Твентис сенчури мотор», он никогда не упоминал о созданном им двигателе, совершенно новом типе двигателя, который мог произвести настоящую революцию в промышленности?

— Двигатель? Да. Да, он несколько раз говорил о нем. Он сказал, что это открытие неопределимой важности. Но создал его не он, а его молодой помощник. — Она заметила выражение лица Дэгни и медленно проговорила, без всякого упрека, скорее в печальном изумлении: — Понимаю.

— Ох, простите, — спохватилась Дэгни, осознав, что позволила своим чувствам отразиться на лице, и ее улыбка была столь же откровенна, как крик облегчения.

— Все совершенно правильно. Я понимаю. Вас интересует изобретатель этого двигателя. Не знаю, жив ли он еще, по крайней мере у меня нет оснований предполагать худшее.

— Я отдала бы половину своей жизни, чтобы узнать, кто он... и найти его. Вот насколько это важно, миссис Хастингс. Кто он?

— Я не знаю. Мне неизвестно ни его имя, ни что-то о его жизни. Я никогда не была знакома ни с одним подчиненным моего мужа. Он только сказал мне, что у него работает молодой инженер, который однажды потрясет весь мир. Мужа ничто не интересовало в людях, кроме их способностей. Я думаю, что этот молодой человек был единственным, кого он когда-либо любил. Он этого не говорил, но я это видела по тому, как он говорил о своем молодом помощнике. Я вспоминаю — это было в тот день, когда он сообщил мне, что двигатель готов, — как звучал его голос, когда он произнес: «А ему только двадцать шесть!» Это было примерно за месяц до смерти Джеда Старнса. Больше он никогда не упоминал ни о двигателе, ни о молодом помощнике.

— Вы не знаете, что случилось с этим молодым инженером?

— Нет.

— Вы не предполагаете, как можно его найти?

— Нет.

— У вас нет ни ключа, ни нити, чтобы помочь мне узнать его имя?

— Ничего. Скажите, что, этот двигатель действительно чрезвычайно ценен?

— Даже более ценен, чем вы можете вообразить.

— Это странно, потому что, видите ли, я об этом однажды думала. Это было через несколько лет после того, как мы уехали из Висконсина. Я тогда спросила мужа, что случилось с тем изобретением, которое он считал таким великим. Что с ним сделали? Он как-то странно взглянул на меня и ответил: «Ничего».

— Почему?

— Он не хотел мне этого говорить.

— Можете ли вы припомнить хоть кого-то из тех, кто работал в «Твентис сенчури мотор»? Кого-нибудь из его друзей?

— Нет. Я... Погодите! Погодите, кажется, я могу предложить вам ниточку. Я могу сказать, где вы можете найти одного из его друзей. Правда, я даже не помню его имени, но знаю адрес. Это странная история. Мне лучше рассказать вам, как все это произошло. Однажды вечером — через два года после нашего переезда сюда — мой муж уходил из дома, а мне вечером нужен был наш автомобиль, поэтому он попросил меня встретить его после обеда в ресторане на железнодорожной станции. Он не сказал мне, с кем будет там обедать. Когда я подъехала к станции, то увидела его стоящим на улице у ресторана и беседующим с двумя мужчинами. Один из них был молод и высок, второй был пожилой и выглядел очень представительно. Я и сейчас узнала бы этих мужчин при встрече, такие лица трудно забыть. Муж заметил меня и распрощался с ними. Они направились к железнодорожной платформе, скоро ожидался поезд. Муж указал на молодого человека и сказал: «Видишь его? Это мальчик, о котором я тебе рассказывал». — «Тот, что делает великолепные двигатели?» — «Да, тот».

— И больше он ничего не прибавил?

— Ничего. Это случилось девять лет назад. В прошлом году, весной, я отправилась навестить своего брата, который живет в Шайенне. Однажды днем мы всей семьей отправились на длительную прогулку. Мы забрались в дикую глушь, высоко в Скалистых горах, и остановились пообедать в придорожном кафе. За стойкой стоял представительный седой мужчина. Я все смотрела на него, пока он готовил для нас сэндвичи и кофе, потому что была уверена, что где-то видела его лицо раньше, но не могла вспомнить где. Мы поехали назад, и, когда отъехали на несколько миль от кафе, я вспомнила. Вам стоит туда съездить. Это дорога номер восемьдесят шесть в горах на запад от Шайенна, недалеко от маленького промышленного поселка возле меднолитейного завода Леннокса. Может показаться странным, но я уверена: повар этого кафе — как раз тот человек, которого я видела на железнодорожной станции с молодым идолом моего мужа.

Кафе стояло на вершине длинного тяжелого подъема. Его стеклянные стены бросали свой отблеск на поросшие соснами скалы, ломаными линиями ниспадавшие в сторону заходящего солнца. Внизу было уже темно, но вокруг кафе все еще разливался ровный, теплый свет. Как остаются маленькие озера морской воды за отливом.

Дэгни сидела в конце стойки и ела гамбургер. Это был самым лучшим образом приготовленный гамбургер из всего, что она где-нибудь пробовала, — продукт из простых составляющих и необычного мастерства. Двое рабочих заканчивали свой ужин, и она ожидала, когда они уйдут.

Она изучала стоявшего за стойкой мужчину. Он был высок и строен, вид у него был значительный, напоминавший о многих поколениях людей, живших в замках или занимавших высокие посты в банках. Но его отличало то, что он заставлял все вокруг себя выглядеть значительным. Хотя он всего лишь стоял за стойкой кафе. Белая поварская куртка сидела на нем как фрак. В его манере работать чувствовался мастер высокого класса; движения его были плавны, разумно экономны. У него было худощавое лицо и седые волосы, тон которых гармонировал с холодной голубизной глаз; и несмотря на вежливо-отстраненное выражение лица, в нем сквозил отблеск веселой усмешки, но настолько слабый, что тотчас исчезал, как только кто-то пытался взглянуть, чтобы различить его.

Рабочие закончили еду, расплатились и вышли, каждый из них оставил десять центов чаевых. Дэгни наблюдала, как мужчина убрал их тарелки, сунул в карман своей белой куртки десятицентовые монеты, вытер стойку и все это с необыкновенной точностью и быстротой. Затем он повернулся и взглянул на нее. Взгляд его ничего не выражал, даже намерения завязать разговор, но она была уверена, что он уже давно отметил ее нью-йоркский костюм, туфли-лодочки на высоком каблуке, ее вид женщины, которая не теряет времени даром; его холодные, пронизательные глаза, казалось, говорили ей, что он понимает, что она не местная жительница, и ждет, когда она раскроет свои намерения.

— Как идут дела? — спросила она.

— Отвратительно. На следующей неделе хотят закрыть медеплавильный завод Леннокса, а значит, и мне пора закрываться и двигаться отсюда. — Его голос звучал четко, безлично-обходительно.

— И куда?

— Еще не решил.

— А чем бы вам хотелось заняться?

— Не знаю. Я подумываю открыть гараж, если найду где-нибудь подходящее место.

— О нет! Вы слишком хорошо все здесь делаете, чтобы менять работу. Вы не должны хотеть стать кем-то кроме повара.

Странная тонкая улыбка тронула его губы.

— Нет? — вежливо спросил он.

— Нет! А как бы вам понравилась работа в Нью-Йорке? Он изумленно взглянул на нее.

— Я вполне серьезно. Я могу дать вам работу на большой железной дороге — заведовать отделом вагонов-ресторанов.

— Могу ли я спросить, чему этим обязан?

Она подняла гамбургер в белой бумажной салфетке:

— Вот одна из причин.

— Благодарю вас. А каковы следующие?

— Я полагаю, вы не жили в больших городах, иначе вы знали бы, до чего жутко трудно найти компетентного человека для какой-либо работы.

— Я немного слышал об этом.

— Так что ж? Как насчет моего предложения? Нужна ли вам работа в Нью-Йорке за десять тысяч долларов в год?

— Нет.

Радость от того, что она нашла мастера своего дела и способна вознаградить его за мастерство, завела ее слишком далеко. Дэгни, пораженная, молча смотрела на него.

— Мне кажется, вы меня не поняли, — наконец произнесла она.

— Вполне понял.

— И вы отказываетесь от такой возможности? — Да.

— Но почему?

— По причинам личного характера.

— Зачем вам работать вот так здесь, если вы можете получить работу получше?

— Я не гонюсь за работой получше.

— Вы что, не хотите подняться вверх и делать деньги?

— Нет. Но почему вы настаиваете?

— Потому что я не переносу тех, кто попусту растрчивает свои способности!

Он медленно и многозначительно произнес:

— И я тоже.

То, как он произнес эти слова, затронуло в ее душе какую-то струну, отозвавшуюся в них обоих глубоким общим чувством; это сломало в ней ту сдержанность, которая всегда мешала ей просить о помощи.

— Меня тошнит от них! — Ее испугал собственный голос, это был непроизвольно вырвавшийся крик души. — Я так изголодалась по людям, которые способны созидать, чем

бы они ни занимались!

Она прикрыла глаза ладонью, пытаясь совладать со взрывом отчаяния, которого не позволяла себе даже в мыслях; она не знала, насколько оно велико и как мало у нее осталось сил после этих поисков.

— Извините, — тихо сказал он. Это прозвучало не как извинение, а как констатация разделенного чувства.

Она подняла голову и взглянула на него. Он улыбнулся, и она поняла, что эта улыбка предназначена для того, чтобы показать, что он также переступил сковывавший его барьер. В его улыбке она прочла легкую вежливую насмешку. Он сказал:

— Но я не верю, что вы проделали весь этот путь из Нью-Йорка, лишь бы поохотиться на поваров со Скалистых гор для железной дороги.

— Нет, я приехала ради кое-чего еще. — Она подалась вперед, твердо поставив локти на стойку, вновь чувствуя себя спокойной, полностью владея собой, понимая, что перед ней достойный противник. — Не помните ли вы, тому уже лет десять, молодого инженера, работавшего в «Твентис сенчури мотор компани»?

Она считала секунды его молчания. Она не могла определить, в чем заключалась особенность его взгляда, разве что в нем присутствовала особая внимательность.

— Да, помню, — ответил он.

— Не могли бы вы сообщить мне его имя и адрес? — Для чего?

— Страшно важно, чтобы я нашла его.

— Этого человека? И что в нем такого уж важного?

— Он самый важный человек в мире.

— Разве? И почему?

— Вы что-нибудь знали о его работе? — Да.

— Разве вы не знаете, что он натолкнулся на идею, следствия которой чрезвычайно важны?

Он помолчал секунду, прежде чем сказать:

— Могу ли я спросить, кто вы?

— Дэгни Таггарт. Я вице-прези...

— Да, мисс Таггарт. Я знаю, кто вы. — Он произнес это почтительно и отстраненно. Но выглядел он как человек, который нашел ответ на ряд вопросов, возникших в его голове, и теперь больше уже не удивляется.

— Тогда вы понимаете, что мой интерес к этому не просто любопытство, — сказала она. — Я в состоянии дать ему шанс, в котором он нуждается, и я готова заплатить столько, сколько он запросит.

— Могу ли я спросить, в чем состоит ваш интерес к нему?

— Мне нужен его двигатель.

— Как вам удалось узнать о его двигателе?

— Я нашла его останки в развалинах завода «Твентис сенчури». Их недостаточно, чтобы суметь восстановить двигатель или узнать, как он действует. Но совершенно достаточно, чтобы понять, что он работал и что это изобретение может спасти мою железную дорогу, страну и экономику всего мира. Не просите меня рассказать вам теперь же, каких усилий мне стоило найти этот двигатель и вести розыски его изобретателя. Это не имеет никакого значения, как для меня сейчас не важны моя жизнь и моя работа, сейчас уже ничто не важно, за исключением того, что я должна его найти. Не спрашивайте меня и о том, как мне удалось разыскать вас. Вы конец моего пути к нему. Назовите его имя.

Он выслушал все, не пошевелившись, глядя прямо на нее, его внимательные глаза, казалось, впитывали каждое ее слово и осторожно отбрасывали их после оценки, не давая ей возможности понять, зачем это он делает. Его молчание продлилось долго. Потом он произнес:

— Бросьте это дело, мисс Таггарт. Вы его не найдете.

— Как его имя?

— Я не могу ничего рассказать вам о нем.  
— Но он все еще жив?  
— Я не могу вам ничего рассказать. — Тогда кто вы?  
— Хью Экстон.

В течение нескольких секунд, пока перебирала в памяти, с чем связано для нее это имя, она продолжала твердить себе: «Ты впадаешь в истерику... Не будь душой... Это просто совпадение...» Хотя она, цепenea от непонятного страха, уже совершенно определенно знала, что это тот самый Экстон.

— Хью Экстон?.. — С запинкой произнесла она. — Философ?.. Последний из защитников разума?

— Конечно, — мягко улыбнулся он. — Или первый, кто сейчас признан таковым.

Его не поразил ее испуг, но казалось, он считал такую реакцию совершенно необязательной. Он держался просто, почти дружески, как будто не испытывал нужды скрывать свою личность или неудовольствия от того, что ее раскрыли.

— Я уж и не думал, что кто-нибудь из молодых людей может вспомнить мое имя или придавать этому какое-либо значение — в наши-то дни, — сказал он.

— Но... но что вы здесь делаете? — Рука Дэгни очертила помещение. — Это какая-то бессмыслица!

— Вы уверены?

— Что это? Какое-то представление? Эксперимент? Секретная миссия? Вы что-то изучаете в своих целях?

— Нет, мисс Таггарт. Я зарабатываю себе на жизнь. — Его слова и тон были совершенно искренни.

— Доктор Экстон, я... Это ни с чем не соотнобразуется, это... Вы же... вы же философ... величайший из живущих... бессмертное имя... Почему вы это сделали?

— Потому что я философ, мисс Таггарт.

Она была полностью уверена, хотя чувствовала, что способность быть уверенной и понимать покинула ее, что ее вопросы бессмысленны, что он не даст ей объяснения, не расскажет ни о судьбе изобретателя, ни о своей собственной.

— Бросьте, мисс Таггарт, — спокойно повторил он, будто хотел доказать, что может читать ее мысли, будто она не знала, что он действительно может. — Это безнадеежные поиски, еще более безнадеежные от того, что вы даже не понимаете, какую невыполнимую задачу поставили перед собой. Мне хотелось бы оградить вас от необходимости искать какие-то аргументы, выдумывать что-то или умолять меня снабдить вас информацией о том, что вам необходимо. Поверьте моему слову: этого нельзя сделать. Вы сказали, что я конец вашего пути, на самом же деле это тупик, мисс Таггарт. Не стоит тратить деньги и усилия и на другие, обычные приемы: не надо нанимать детективов. Они ничего для вас не узнают. Вы вольны не прислушаться к моим словам, но я полагаю, что вы человек высокого интеллекта, способный понять, что я знаю, о чем говорю. Откажитесь. Тайна, которую вы хотите раскрыть, гораздо больше, намного больше, чем изобретение двигателя, приводимого в действие статическим электричеством. Я могу предложить только одно полезное соображение: исходя из сути и природы бытия противоречий не существует. Если вы находите невероятным, что изобретение гения может быть брошено среди развалин, а философ может хотеть работать поваром в кафе, проверьте свои исходные положения; вы обнаружите, что одно из них неверно.

Она вздрогнула, вспомнив, что слышала это утверждение раньше, и человеком, от которого она его слышала, был Франциско. А затем она вспомнила, что человек, стоявший перед ней, один из учителей Франциско.

— Как вы пожелаете, доктор Экстон, — сказала она. — Я больше не буду расспрашивать вас об этом. Но не будете ли вы против, если я спрошу вас о совершенно других вещах?

— Нисколько.

— Доктор Роберт Стадлер как-то говорил мне, что, когда вы работали в Университете Патрика Генри, у вас было трое учеников, которых вы особенно выделяли, так же как и он, три блестящих ума, от которых вы многого ожидали в будущем. Одним из них был Франциско Д'Анкония.

— Да. А другим — Рагнар Даннешильд.

— Кстати, это еще не мой вопрос, а кто был третьим?

— Его имя вам ничего не скажет. Он неизвестен.

— Доктор Стадлер сказал, что вы с ним соперничали из-за этих троих студентов, потому что оба относились к ним как к своим сыновьям.

— Соперничали? Но ведь он их потерял.

— Скажите, горды ли вы теми путями, которые они избрали?

Он смотрел куда-то вдаль, на умиравшие на отдаленных вершинах скал отблески солнца; его лицо было лицом отца, который смотрит на своих сыновей, истекающих кровью на поле боя. Он ответил:

— Более, чем когда-либо мог надеяться.

Почти стемнело. Он резко повернулся, вытащил из кармана пачку сигарет, достал одну, но остановился, вспомнив о ее присутствии, словно на миг забыл о ней, и протянул ей пачку. Дэгни взяла сигарету, он, чиркнув спичкой, дал прикурить ей и прикурил сам, а затем отбросил спичку — остались только два небольших огонька в темноте помещения и многие мили черного пространства вокруг.

Она поднялась, заплатила по счету и сказала:

— Благодарю вас, доктор Экстон, я не буду надоедать вам своими хитростями или мольбами. Я не стану нанимать детективов. Но полагаю, что должна сообщить вам, что ни от чего не откажусь. Я должна найти изобретателя этого двигателя, и я найду его.

— Нет, пока не настанет день, который он выберет, чтобы найти вас. И такой день настанет.

Когда она шла к своей машине, он зажег свет в кафе, и она увидела почтовый ящик у дороги и отметила невероятный факт: на нем совершенно открыто стояло имя — Хью Экстон.

Она вела машину вниз по извилистой дороге, огни кафе давно скрылись из виду, и только тогда она отметила, что ей нравится вкус сигареты, которую он ей дал, — он отличался от вкуса всех сигарет, которые она курила до сих пор. Она поднесла оставшийся небольшой окурочек к свету приборной доски в поисках названия. На сигарете не было названия, лишь товарный знак. На тонкой белой бумаге был отпечатан золотистый знак доллара.

Она с любопытством оглядела его: до сих пор ей не приходилось встречать эту марку в магазинах. Затем вспомнила о старике в табачном киоске в терминале Таггарта. И улыбнулась при мысли, что это экспонат для его коллекции. Дэгни затушила сигарету и опустила окурочек в свою сумочку.

Когда она приехала в Шайенн, сдала машину в гараж, где брала ее напрокат, и вышла на платформу станции «Таггарт трансконтинентал», поезд номер пятьдесят семь стоял на линии, готовый отправиться к станции Вайет. До отправления ее поезда в Нью-Йорк оставалось полчаса. Она прошла в конец платформы и остановилась, устало прислонившись к фонарю. Она не хотела, чтобы ее узнали работники станции, ей ни с кем не хотелось говорить. Она хотела отдохнуть. Несколько человек, собравшись группами, стояли на полупустой платформе и оживленно разговаривали, чаще обычного ссылаясь на газеты.

Дэгни смотрела на освещенные окна пятьдесят седьмого поезда, желая на мгновение обрести облегчение при виде выдающегося достижения. Пятьдесят седьмой отправлялся по линии Джона Галта — через город, через горные отроги, мимо зеленых сигналов семафоров, у которых когда-то толпились торжествующие люди, мимо домен, где когда-то в летнее небо взмывали ракеты. Сейчас листья на деревьях скрючились от холода, а пассажиры, взбираясь в вагоны, кутались в меха и теплые шарфы. Поезда стали для них обыденным

явлением. Дэгни думала: «По крайней мере мы сделали хотя бы это».

Ее мысли резко, словно внезапный удар, прервал обрывок случайно услышанного разговора двоих мужчин, стоявших за ее спиной.

— Но нельзя же так быстро принимать законы.

— Это не законы, а указы.

— Значит, они не имеют юридической силы.

— Имеют, потому что месяц назад Законодательное собрание предоставило ему полномочия издавать указы.

— Все равно нельзя сваливать указы на людей таким вот образом, как гром среди ясного неба, как щелчок по носу.

— Когда в стране чрезвычайная ситуация, совещаться некогда.

— Все равно это неправильно. Что же будет делать Реардэн, если здесь говорится...

— А чего ты так переживаешь за Реардэна? Он и так богат. Он найдет способ делать все что угодно. •

Дэгни подбежала к ближайшему киоску и схватила вечерний выпуск газеты.

Это было на первой полосе. Висли Мауч, директор Отдела экономического планирования и национальных ресурсов, писала газета, в качестве «внезапного хода» и в связи со сложившейся в стране «чрезвычайной ситуацией» издал ряд указов, перечисленных ниже.

Железным дорогам страны предлагалось снизить максимальную скорость движения поездов до шестидесяти миль в час, уменьшить длину составов до шестидесяти вагонов и перегонять одинаковое количество поездов в каждом штате зоны, состоящей из пяти соседствующих штатов.

Сталелитейным заводам страны надлежало ограничить максимальную выработку металловсплавов до размеров, равных выпуску других металловсплавов, производимых на заводах, отнесенных к аналогичному разряду по производственной мощности, а также поставлять равную долю продукции любым покупателям, желающим приобрести ее.

Всем предприятиям страны, любых размеров и рода деятельности, запрещалось покидать пределы своих штатов без получения на то особого разрешения от ОЭПиНР.

С целью компенсации железным дорогам страны дополнительных затрат и смягчения процесса перестройки выплата дивидендов и погашение замораживались сроком на пять лет по всем видам акций и облигаций железнодорожных компаний: конвертируемых и неконвертируемых, со специальным обеспечением и без такового.

Для обеспечения фондов выплаты жалования служащим, следящим за исполнением вышеперечисленных указов, Колорадо, как штат, наиболее подходящий для задачи облегчения бремени чрезвычайной ситуации в стране и помощи терпящим бедствие соседним штатам, облагался налогом в размере пяти процентов от объема продаж продукции, производимой промышленными концернами Колорадо.

— Что нам делать? — Дэгни никогда раньше не позволяла себе произносить эти слова, потому что гордилась тем, что всегда сама давала на них ответ. Но сейчас она закричала. Она видела, что в нескольких шагах от нее стоит человек, но не разглядела, что это оборванный бродяга, и все же у нее вырвался этот крик, потому что это было воззвание к разуму, а стоявший рядом бродяга был человеком.

Бродяга безрадостно улыбнулся и пожал плечами: — Кто такой Джон Галт?

Вовсе не мысли о «Таггарт трансконтинентал» переполнили ее ужасом и не беспокойство о Хэнке Реардэне, которого тем самым тоже раздирали на части, — нет, она вспомнила об Эллисе Вайете. Эта мысль вытеснила все остальные, заполнила все ее существо, не оставив ни места для слов, ни времени для удивления. Как красноречивый ответ на все вопросы, которые еще не начали формироваться в ее голове, у нее перед глазами встали две картины: вот непримиримый Эллис Вайет стоит перед ее столом, бросая слова: «...сейчас я в вашей власти, и вы в состоянии уничтожить меня. Возможно, мне придется



уйти, но учтите, что, уходя, я позабочусь о том, чтобы прихватить всех вас с собой», а вот он, резко развернувшись, яростно швыряет свой бокал в стену.

Единственным ощущением, оставшимся у нее от этих картин, было предчувствие какой-то немыслимой катастрофы и сознание, что она должна ее предотвратить. Она должна найти Эллиса Вайета и остановить его. Она не понимала, что же, в сущности, должна предотвратить. Понимала только, что надо остановить его.

Даже если бы она лежала погребенной под обломками здания, была разорвана на куски во время воздушного налета, раз она все еще существовала, она должна была знать" что наиглавнейшей обязанностью человека является обязанность действовать, независимо от того, какие чувства он испытывает, — и потому она смогла добежать до платформы и найти начальника станции, а когда нашла, приказала ему: «Задержите для меня отправление пятьдесят седьмого», а затем добралась до убежища в телефонной будке в темноте за краем платформы и продиктовала телефонистке междугородной связи номер домашнего телефона Эллиса Вайета.

Она стояла, закрыв глаза и опираясь на стенку будки, и прислушивалась к безжизненным металлическим шорохам, которые говорили ей, что где-то звонят. Но ответа не было. Она слушала длинные гудки, то затихавшие, то спазматически взрывающиеся в ее ушах и отдававшиеся во всем теле. Она крепко сжимала в руке трубку — это была все же какая-то связь. Ей хотелось, чтобы звонки были громче. Она забыла, что звонки, которые она слышит, совсем не те, что звучали в его доме. Она не осознавала, что кричит: «Эллис, не надо! Нет, нет, нет!» — пока не услышала холодно-неодобрительный голос телефонистки:

— Абонент не отвечает.

Она сидела у окна в купе поезда номер пятьдесят семь и прислушивалась к гулу колес по рельсам из металла Реардэна. Она, не сопротивляясь, отдавалась движению поезда. Черный блеск стекол скрывал ландшафт за окнами, который ей не хотелось видеть. Это была ее вторая поездка по линии Джона Галта, и она старалась не вспоминать о первой.

Держатели акций, думала она, держатели акций линии Джона Галта, ведь они доверили под мое честное имя деньги, накопленные и преумноженные за годы, ведь они сделали ставку на мои способности, это был мой труд, они вверились мне, а оказалось, что я предала их, заманила в ловушку бандитов, оказалось, что поезда больше не пойдут, не будут больше бежать по рельсам, как кровь по жилам, поезда с грузом; линия Джона Галта оказалась просто фановой трубой, позволяющей Джеймсу Таггарту заключать сделки, и по этой трубе их благосостояние незаслуженно прольется в его карманы в обмен на разрешение использовать, сгубить его железную дорогу; акции линии Джона Галта, которые еще утром были горделивыми хранителями их собственной безопасности и будущего, через какой-то час станут бесполезными клочками бумаги, которые уже никто не купит, потому что они не представляют собой ни ценности, ни залога будущего, ни силы, если не считать усилий, чтобы закрыть двери и остановить колеса последней надежды страны, — и «Таггарт трансконтинентал» будет уже не живым организмом, питающимся кровью, которую он сотворил сам, а каннибалом существующего положения вещей, который пожирает неродившихся детей величия.

Налог на Колорадо, думала она, налог, полученный от Эллиса Вайета, чтобы оплатить поддержку людей, чья деятельность заключалась в том, чтобы сковать его, лишить способности к жизни, людей, которые станут следить, чтобы он не получил ни поездов, ни цистерн, ни нефтепровода из металла Реардэна; и вот он, Эллис Вайет, лишенный права на самооборону, оставленный без права голоса, без оружия и еще хуже — ставший орудием собственной гибели, вынужденный поддерживать своих палачей, снабжать их пищей и оружием, — вот он, Эллис Вайет, который хотел открыть для всех неисчерпаемые источники нефти и мечтал о втором Возрождении.

Она сидела, сгорбившись, подперев рукой голову, прижавшись к окну вагона, а мимо нее, невидимые в темноте, проносились зеленовато-голубые рельсы, горы, долины, новые города штата Колорадо.

Внезапный толчок тормозов заставил ее выпрямиться. Остановка не была предусмотрена расписанием, но платформа небольшой станции была переполнена людьми, смотревшими в одну сторону. Окружавшие Дэгни пассажиры вглядывались в темноту, прижавшись к окнам вагона. Она вскочила со своего места и понеслась по проходу к выходу, навстречу бушевавшему снаружи холодному ветру.

За мгновение до того, как она увидела это и ее крик заглушил шум толпы, Дэгни поняла, что знала: она увидит именно это. В разломе гор, освещая все небо, горели нефтяные вышки «Вайет ойл», превратившиеся в огромную плотную стену пламени, отсветы которого плясали на крышах и стенах строений небольшой станции.

Позже, когда ей сказали, что Эллис Вайет бесследно исчез, оставив после себя лишь прибитую к столбу у подножия холма дощечку, когда, посмотрев на нее, она узнала его почерк, у Дэгни появилось такое чувство, будто она знала, что он напишет именно эти слова:

«Я оставляю месторождение таким, каким нашел. Забирайте его. Оно ваше».